Мухтар Ауэзов

ПУТЬ АБАЯ

МУХТАР АУЭЗОВ

ПУТЬ АБАЯ

РОМАН-ЭПОПЕЯ

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

ПЕРЕВОД АНАТОЛИЯ КИМА

АЛМАТЫ
ИД «ЖИБЕК ЖОЛЫ»
2012

УДК 821.512.122-03-161.1
ББК 84 (Каз – Рус) 7-44
А 93

Выпущено по программе
«Издание социально важных видов литературы»
Комитета информации и архивов Министерства культуры
и информации Республики Казахстан

Фонд Мухтара Ауэзова

Ауэзов М.
А 93 Путь Абая / Пер. А. Кима. – Алматы: ИД «Жибек жолы», 2012.

Кн. 4. – 528 с.

ISBN 978-601-294-111-1

УДК 821.512.122-03-161.1
ББК 84 (Каз – Рус) 7-44

ISBN 978-601-294-111-1 (Кн. 4)
ISBN 978-601-294-107-4 (общ.)

© Фонд Мухтара Ауэзова, 2012
© ИД «Жибек жолы», 2012

ВО ТЬМЕ

1

Кучер сидел на козлах, натянув вожжи, далеко откинувшись назад. Пара вороных, казалось, понесла: лошади выкатывали легкую повозку прямо на край высокого яра, за которым тускло блестела река. Через мгновение и кони, и люди сорвутся в бездну. Но лошади оказались хорошо наезжены: круто свернув перед самым обрывом, пара вороных вынесла коляску по немыслимой дуге на дорогу и покатила по-над берегом, привычно перейдя на мелкую рысь. Да и река оказалась не так близка, и за крутым яром неожиданно открылся довольно широкий прибрежный луг.

Только сейчас, когда повозка покатила медленнее вдоль крутояра, путники заметили, как сегодня жарко и душно, – даже в вечернюю пору.

Поздний вечер был тихим, безветренным. Казалось, что большая река замерла в своем течении – так твердо стояли в воде отраженные первые звезды…

Вдали, за высоким лесом Полковничьего острова, едва заметно мерцали огни Большого Семипалатинска. Лишь лай собак свидетельствовал о том, что на обоих берегах реки, разделявшей город, еще бодрствует человеческая жизнь. Представлялось, что два полчища псов перекликаются, переругиваются через сонную гладь спокойной воды, – собаки то грозно лаяли, то примирительно повизгивали, затем снова поднимали отнюдь не дружественный гвалт. Под эти звуки повозка прокатила по слободке, миновала несколько приземистых домов с плоскими

крышами и подъехала к темным воротам небольшого крытого двора.

Кучер проворно спрыгнул с козел, пробежал до ворот и принялся стучать кнутовищем по доскам. Тут с арбы слез и его спутник, человек крупный, массивный. С той стороны послышались легкие шаги, явно женские, затем прозвучал чистый, звонкий голос:

– Е-е, кто тут?

Женщина тщетно пыталась разглядеть приезжих в щель ворот. Повторила:

– Да кто вы такие?

Она вопрошала громко, грозя, казалось, перебудить всех в округе, и кучер не замедлил с ответом:

– Открой, это я – Баймагамбет. Приехал Абай-ага!

Абай меж тем направился в сторону яра и, стоя на самом краю, снял легкий просторный чапан и стряхнул с него дорожную пыль, пустив ее по ветру.

– Абай-ага, неужели это вы? – голос женщины звучал уже гораздо приветливее. – Сейчас, сейчас открою!

Лязгнули запоры, быстро отворились ворота. В темноте не различить было лиц, но внушительное телосложение гостя не вызывало у хозяйки сомнений, что перед нею Абай.

– Ты ли это, голубушка Дамежан? – радостно воскликнул он, также узнавая женщину. – Как поживаете, мои дорогие? Как твои чада и домочадцы, все ли живы-здоровы?

Произнеся в ответ несколько подобающих случаю слов, Дамежан, в свою очередь, принялась обстоятельно расспрашивать Абая о близких его и сородичах.

Дамежан всегда радовала своим приятным и мелодическим голосом, который звучал, словно музыка. Вот и сейчас гости с удовольствием выслушали и рассказ ее, и несколько последующих замечаний о том, что на дворе, дескать, ничего не видать, и надо бы немедля принести лампу.

Быстро повернувшись, хозяйка пошла в глубь уже совсем темного двора. Под его деревянной крышей лишь стучали ее кебисы[1] Пока этот звук удалялся во мраке, Баймагамбет говорил, успокаивая то ли Абая, то ли коней, что стояли перед распахнутыми воротами, ударяя копытами оземь, и, потряхивая головой, звенели удилами.

– Сейчас, сейчас… – торопливо повторял он. – Сейчас принесут лампу!

Жилище Дамежан было устроено отнюдь не по-городскому, но ближе к тому, как строят в степи зимники. Теплый дом и крытый двор – под общей кровлей. Суровая снежная зима не страшна такому дому. Под навесом двора, в самом углу устроен вход в комнаты.

Сейчас дом медленно освещался, – по мере того, как из глубины двора шла, бережно держа масляную лампу, хозяйка Дамежан. Свет показывал пустые углы, закоулки, по очереди выявляя подпорки, на которых держалась крыша двора.

Следом за Дамежан из дальней комнаты вышли ее муж и старший сын. Даже в полутьме было заметно, что мужчина слегка прихрамывает, а у сына тонкая, длинная шея. Сына звали Жумаш, он был высокого роста, статный, но лицо его несколько портили большие выпученные глаза. Абай и Баймагамбет тепло поприветствовали обоих.

Вновь прибывшую повозку завернули на правую сторону двора, а слева уже стояла какая-то распряженная арба. У ворот две тощих лошади, видимо, и притащившие сюда эту арбу степных гостей, с жадностью, которая выражалась в громком фырканье и хрусте, поедали щедрый сноп травы с низких кирпичных яслей. Сами степные гости лежали в своей арбе, похоже, уже почивая. Абай попросил Дамежан посветить на эту самую арбу:

– Подойди-ка поближе, я хочу взглянуть на твоих гостей.

---

[1] *Кебисы* – кожаные калоши, надеваемые на ичиги.

Впрочем, с улыбкой разглядывая лежащих в арбе, Абай успел краем глаза хорошо рассмотреть и саму красавицу Дамежан.

В арбе бок о бок крепко спали двое немолодых бородатых людей. Именно эти задранные кверху большие бороды и привлекли внимание Абая. Обе они были одного окраса, темнорусые, но весьма различались по виду: одна курчавая с густыми завитушками, другая – окладистая. Свет лампы чуть не разбудил третьего жителя желтой арбы, он лежал в ногах у пожилых бородачей, поперек повозки. Когда, тоскливо замычав во сне, он перевалился на другой бок, Абай с удивлением увидел, что и у него такая же большая борода, и точно такой же масти. Он был значительно моложе тех, что лежали вдоль арбы, поэтому, видать, и устроился поперек. Никто из них так и не проснулся от яркого света лампы, которую держала, низко склонившись, Дамежан…

Пока Абай с хозяйкой разглядывали арбу, остальные быстро распрягли вороных. Когда все вместе направились к дому, Абай шел сразу за Дамежан, которая несла свет, и невольно любовался ею.

В этом бедном доме было две комнаты – прихожая и жилая. Подойдя к дверям, Дамежан пропустила гостя вперед.

На выступе низкой печки Абай увидел большую яркую лампу. Было здесь несколько светлее, чем во дворе, но только в тот момент, когда Дамежан поставила обе лампы на круглый стол посреди комнаты, все, наконец, полностью разглядели лица друг друга. Комната теперь смотрелась приветливей.

Дамежан постелила корпе и разложила подушки. Когда гости расположились, она, присев на корточки пониже мужа, принялась расспрашивать, откуда едут гости и почему так припозднились.

У нее были большие глаза, казавшиеся особенно глубокими от ясной чистоты белков – в сочетании с угольно-черными зрачками. Подобная нежность и томление бывают, наверное,

только в глазах верблюжонка, который всегда кажется добрым и ласковым существом. Когда звонкоголосая Дамежан говорила, обнажались и блестели ровные белые зубы.

Ее муж был немногословным и замкнутым, а Дамежан умела быстро сходиться с людьми. Она была настолько открытой, словоохотливой, что казалось, будто в этом доме правит именно жена, а не муж. Вот она велела старшему сыну поставить самовар, затем дала поручение и мужу – наколоть дров для очага. Залюбовавшись ее движениями, Абай сказал с улыбкой:

– Не суетись, Дамежан! Нам довольно и чая. Едва добрались до окраины с темнотой, вот и решили отдохнуть в первом же доме. Устали с дороги, поскорее бы прилечь.

– Какая может быть суета, Абай-ага! – тут же ответила Дамежан. – Все, что есть в доме, будет на этом дастархане. А я уж сама позабочусь и распоряжусь.

Было ясно, что Дамежан – умудренный человек, способный взять на себя бразды правления. Абай с восхищением глядел на нее.

– А что за бороды громоздятся на желтой арбе? – обратил он в шутку дальнейший разговор. – Уж не собираешься ли ты торговать ими на базаре, набивая шерсть в мешки?

Дамежан рассмеялась, поглядывая на Абая с явным восхищением. Смех ее был, как всегда, звонок, и белые зубы сверкнули в свете ламп.

Впрочем, и другие не удержались. Баймагамбет хохотал, тряся бородой и усами, из прихожей донесся заливистый смех Жумаша, который ставил там самовар. Абай заговорил вновь:

– Эти бороды привели меня в такой восторг, что я даже не смог толком разглядеть их хозяев. Откуда в твоих красивых руках это бородатое богатство, Дамежан? – последние слова Абай произнес с такой игривой нежностью, что сидевшие за дастарханом развеселились пуще прежнего…

Вскоре все отошли ко сну.

Место, принявшее на ночлег Абая и Баймагамбета, именовалось слободкой Бержак[1] и представляло собой окраину Семипалатинска на левобережье Иртыша. Ту часть слободки, где стоял двор Дамежан, называли головным жатаком, поскольку она располагалась выше других по течению реки. Жатаки – это те степные бедолаги, что не могут откочевать и остаются жить на зимовье круглый год. Многие из них перебираются в город. Жатаками и стали называть бедные городские кварталы, где поселились казахи, уже насовсем осевшие в городе. Здесь, в головном жатаке, городская жизнь еще не устоялась: сохранились степной быт и кочевые навыки…

Абай прекрасно выспался в удобной постели, встал рано, хорошо отдохнувший и бодрый. Умывшись, неспешно принялся за утренний чай с Дамежан, тут в комнату гуськом вошли «бороды». Хором поздоровавшись, они сели рядышком, вдоль длинной стороны стола.

Дамежан была в свежем белоснежном кимешеке. Она сидела возле большого самовара, ее лицо отражалось в сверкающей меди, крупные серебряные серьги задорно покачивались, когда женщина разливала чай.

На столе была чаша с блинами и баурсаками: хозяйка специально приготовила их для Абая. Тут бородачи, плотно сидевшие в рядку, стали по очереди запускать руки в чашу, за обе щеки уплетая блины, к коим Абай еще и не успел прикоснуться.

– Абай-ага, угощайтесь! – чуть ли не с отчаяньем воскликнула Дамежан, глядя на этих прожорливых бородачей.

Абай, впрочем, и сам не думал отказываться от еды, с нарастающим любопытством беседуя с гостями. Это были его сородичи – известный среди иргизбаев словоблуд Жуман и горластый спорщик Мака из аула Осер. Старшего сына Жумана, Мухамеджана, они взяли за кучера.

Мухамеджан, вертлявый человечек с серыми глазами и русой курчавой бородой, был такой же болтливый, как и осталь-

---

[1] *Бержак* – «эта сторона». Так принято называть левый берег Иртыша.

ные сыновья Жумана, в чем все они, бесспорно, походили на отца. Люди даже изменили их имена, назвав потомков Жумана – Кунанкырт, Доненкырт, Бестикырт[1] Этим последним как раз и был Мухамеджан. С самого утра, узнав, что здесь гостит Абай, он мучился одним желанием, которое просто распирало его… И сейчас, проглотив один за другим три-четыре блина, толком и не разжевав, шумно запив густым чаем, Бестикырт заговорил прежде старших, обращаясь через стол к Абаю:

– Е, Абай, ты все говоришь о своем ауле да сородичах. А слыхал ли ты о городских напастях?

Дамежан с укором блеснула на него глазами:

– О чем это ты?

Абай был в недоумении:

– Какие опять напасти?

Мака тут же отозвался своим высоким голосом:

– Неужто никто в степи не знает? Похоже, что в этот город нагрянула большая беда!

Абай недоуменно смотрел то на одного, то на другого:

– Скажите же, наконец, что случилось?

Отец и сын тут же заговорили наперебой:

– В городе страшная болезнь!

– Настоящая зараза!

– Люди мрут, как мухи, и на той, и на этой стороне!

– Как чума какая-то, что ни день – людей косит!

– Жители уже бегут из города!

Высказав все это, они вдруг оба разом приумолкли. Далее, будто последнее слово и должно значиться за ним, степенно заговорил Мака:

– Мы еще утром толковали о тебе, Абай. Для чего он заявился сюда? Что ему надобно в городе, где свирепствует мор? Вот какой разговор мы вели, едва проснулись…

---

[1] *Кунанкырт* – Болтун-трехлетка; *Доненкырт* – Болтун-четырехлетка; *Бестикырт* – Болтун-пятилетка.

Баймагамбет спросил:

– А сами-то вы здесь по каким делам?

– Мы покинем это проклятое место, как только выпьем чай! – воскликнул Мака.

И все трое опять затараторили, перебивая друг друга, что немедля уедут как можно дальше из этого злосчастного города, убегут от этой напасти, черного мора. Мака и Жуман даже начали настоятельно, на правах старших, советовать Абаю также скакать побыстрее отсюда, пока не поздно…

Абай посмотрел на Дамежан. Женщина пожала плечами, поведав о том, что в городе и вправду дней десять, как появилась холера, и люди в самом деле умирают… Но говорить о повальном море, делать из мухи слона – вряд ли достойно степенных, взрослых людей.

– Вот так и рождаются всякие сплетни, – недовольно заключила она.

Ее слова возмутили Мухамеджана:

– Вот они, здешние жатаки! Вечно хотят обелить свою городскую жизнь. Но если смерть можно утаить, то покойника не скроешь, ведь придется его на кладбище прилюдно нести. Нет бы, сразу сказать, еще ночью, дескать, черный мор гуляет по очагам. К чему скрывать правду до утра?

Дамежан в ответ усмехнулась, но улыбка сразу слетела с ее красивых губ. Ее лицо одновременно выражало и усмешку, и досаду. Говоря, она бросала быстрые взгляды то на Абая, то на бородатых стариков:

– Вы только посмотрите, как он укоряет меня! Воистину, Аллах сотворил иргизбаев и хорошими, и плохими, но я не из числа последних! Неужто я с порога скажу усталым гостям: в городе холера, ночевать здесь опасно! Выходит, гоню их от двора? А что подумает Абай-ага? Будто бы я, на самом деле, просто пожалела кусок мяса, чашку чая, чем угодно отговариваюсь, только бы не пустить его к своему дастархану!

Видя, что Абай слушает с улыбкой, Дамежан также договорила, смеясь. Абай, в свою очередь, кивком принял ее шутку и

повернулся к Мухамеджану, своему сородичу и сверстнику. Тот, еще не понимая, что только что был осмеян, раскрыл было рот, но Абай перебил его:

– Хватит, не молоти! Разве ты еще не понял, что тебя подшибли, джигит? Будь ты умнее да болтал бы меньше, – не нарекли б тебя люди Бестикыртом!

Абай только сейчас заметил, как красноречива Дамежан, что, по-видимому, было присуще ей всегда. Это и понятно: по бойкости характера она пошла в отца. Бородатые гости были как раз родственниками Дамежан по отцовской линии, она говорила с ними открыто и смело.

Дамежан происходила из аула Абая, была старшей дочерью Изгутты. Случилось так, что она полюбила Жабикена, хромого семипалатинского торговца, который на убогой арбе ездил в степь торговать всякой мелочью – зеркальцами да расческами. Дамежан дала ему слово верности и однажды ночью сбежала с ним в город.

На окраине, где проезжает немало караванов, они построили этот скромный двор. Жили хоть и бедно, но по-своему, родились у них дети. Дамежан никому не позволяла наговаривать на себя лишнего. Это было решительным свойством ее натуры, о чем знали все жители слободки, за что любили и уважали ее. Абай по этому разговору понял основную черту Дамежан – она была честолюбива во всем, что касалось ее очага.

Впрочем, замолчав надолго, Абай перешел к иным мыслям… Как поступить ему теперь? Дело, ради которого он так спешил в город, было неотложным и весьма важным. Но Жуман, а за ним и Дамежан предостерегали о заразной болезни…

После чая Абай спросил у хозяйки листок бумаги, быстро написал несколько слов по-русски и вручил бумагу Баймагамбету. Наказал:

– Запрягай сейчас лошадь и отвези это Федору Ивановичу Павлову. Если у него есть время, проси, пусть немедля приедет сюда. Постарайся сам и привезти его!

Абай остался ждать Павлова, а Мака и Жуман, решившие уехать в полдень, отправились по каким-то своим делам на базар.

Дамежан проводила всех троих детей на промысел, которым они занимались каждый день. У старшего Жумаша, того, что ставил самовар ночью, было еще два брата – Салимжан и Алимжан, пятнадцати и двенадцати лет. Жумаш взял их с собой, и все трое ушли. Абай остался наедине с Жабикеном и Дамежан.

Он принялся расспрашивать супругов об их житье-бытье… Дамежан не скрывала истинного положения дел семьи, ведь Абай, по отцовской линии, был ее близким родственником, она даже считала его своим старшим братом. Нечего ей было скрывать…

Немного они с мужем нажили имущества, если не считать одной-единственной коровы, которая приносила крошечный доход: Дамежан продавала молоко соседям. Эту корову надо было чем-то кормить, о чем заботились дети: косили траву на острове, собирая заодно сухие ветви тугая и плавник для топлива на зиму. Все это они делали, когда выдавалось время, свободное от их главного промысла. А промысел у сыновей был такой: в прошлом году заимели небольшую лодчонку и занялись перевозкой через Иртыш и Карасу. По берегам с утра до ночи шатаются всякие пешие люди, они и дают работу сыновьям.

Дамежан и Жабикен считали большим утешением, что их сыновья работали, и даже гордились этим.

– С нынешней весны, – сказал муж, – и младший сынок учится управлять лодкой. Алимжан пошел на реку с братьями, как только ему исполнилось двенадцать лет и он смог крепко держать в руках весла.

Те гроши, что добывали сыновья, были главным, но не единственным достатком семьи: Дамежан и Жабикен также прирабатывали. Дамежан шила тымаки, борики, такия[1], а Жабикен

---

[1] *Тымак, борик, такия* – головные уборы.

продавал их на базаре. Иногда Дамежан удавалось получить заказ на другое шитье: камзолы, бешметы, платья для женщин из зажиточных домов головного жатака. Случалось ей также вышивать узоры и плести позументы для дорогой одежды тех, кто мог себе ее позволить.

Когда сыновья были еще малы, все пятеро домочадцев кормились лишь рукоделием Дамежан. Ее искусство так же ценилось соседями, как и душевные свойства. Говоря об этом, Жабикен с теплотой смотрел на жену. Абай был столь же восхищен Дамежан, ее искусством, стойкостью и смелостью, что он считал первыми качествами хорошей матери, сколь и расстроен бедственным положением семьи.

– Мы ведь прямо говорим, не лукавим, – продолжала Дамежан. – Клюем, как курица по зернышку, но в итоге хватает на жизнь. На еду да на кое-какую одежду. Крутимся с утра до ночи, чтобы не только поддержать эту жизнь, но и как-то поправить свое положение. Слава Аллаху, не приходится обивать пороги чужих людей, стоять с протянутой рукой… Мы все-таки не самые бедные здесь, есть и такие, кто круглый год живет в холоде и голоде. Говорим себе: эти – и то не умирают!

Дамежан замолчала. Ее лицо было задумчивым, глаза застыли неподвижно…

Абай спросил о городских делах, и Дамежан обстоятельно рассказала ему о действительно тяжелом море, напавшем на город.

– Что творится в других местах, не знаем, – сказала она, – но, говорят, на той стороне холера не слишком свирепствует.

– Ходят слухи, – вмешался Жабикен, – что и на той стороне, на окраинах Затона, немало заболевших людей…

Дамежан сердито глянула на мужа:

– Зачем далеко ходить? Скажем только о том, что знаем. В таких делах нет ничего хуже кривотолков!

– Слухам верить, конечно, не стоит! – согласился Абай. – Скажите лучше, что происходит вокруг вас. Правда, что в слободе больные умирают?

– Да! – воскликнула Дамежан. – И с каждым днем все больше.

– Что за люди умерли? – нахмурившись, спросил Абай, и муж с женой перечислили несколько знакомых ему имен.

– Керейбай, – назвала Дамежан. – А первой умерла его старая мать. Затем скончался старик Садык.

– Отца Жылкыбая, жену Жумабека, тещу Семейбая, – сказал Жабикен, – также забрала смерть… И дети тоже мрут! Все трое малышей нашего соседа Жубандыка – умерли за две последние недели…

– Очень много детей умирает! – с горечью воскликнула Дамежан. – Во многих семьях погибли их любимые чада: у кого единственное дите, у кого первенец.

Абай задумался, сел, поджав под себя ноги. Выходит, эпидемия была настолько серьезна…

– А взрослые люди, молодые джигиты? Неужто их тоже косит болезнь? По вашим же словам, болеют одни старики да дети.

– Так оно и есть, верно вы подметили! – подхватил Жабикен.

Но Дамежан несогласно покачала головой.

– А Букпа, Сапар, Кайыр, Исабек? – перечислила она. – Разве не говорили, что им под силу железо гнуть?

– Е, так-то оно так! – возразил Жабикен. – Но эти джигиты работали на разделке шкур, где самая зараза. Да и труд там тяжелый, даже таким богатырям не по плечу.

Дамежан кивала, подтверждая слова мужа. Ее большие черные глаза вдруг сверкнули, словно угли, – скорее, потому, что их переполнили слезы.

– Оно так и есть, Абай-ага, – сказала она. – Я тоже заметила, что холера прежде всего нападает на заморенные голодом очаги. Молодые мужчины и женщины, которые живут в тяжелом труде, сгорают в болезни быстрее. К тому же, болезнь-то заразная, передается от одного к другому. Слава Богу, соседних домов еще не коснулась эта напасть. Но мы все равно стара-

емся никуда не ходить, поменьше разговаривать с людьми. Так и сидим дома.

По эту сторону реки, в слободке, жили в основном казахи. Среди них было и немало зажиточных людей – купцов, байбатча[1] Что-то пока никто не слышал о болезни и смерти таких людей… Эта холера, похоже, косит прежде всего бедняков.

Когда Дамежан и Жабикен заговорили о том, что делается с больными, их лица выразили страдание.

Люди, на кого нападает болезнь, выглядят страшнее, чем трупы. У них глубоко впадают глаза, заостряется подбородок, нос. Вокруг глаз темнеют синие круги, которые прозвали «пятнами смерти».

– Говорят, у больного холодеет даже дыхание! – воскликнула Дамежан.

– Руки-ноги коченеют! – добавил Жабикен.

– Голос у них меняется, будто из могилы!

– Мучаются, не в силах встать, мочатся и ходят под себя!

– И жажда их мучит! – сказала Дамежан, поморщившись от последних слов мужа. – Только и просят, что пить, пить… Вот, говорил мулла: придет конец света, и покойники, облачившись в саваны, выйдут из могил… Так они, больные люди, и выглядят!

Абай услышал какой-то стук и оглянулся. В дом вошел Баймагамбет, а с ним – Федор Иванович Павлов.

Абай и сам не ожидал, что, при всей своей дородности, вскочит с места столь проворно: так велика была его радость при виде долгожданного гостя. Федор Иванович раскрыл объятия еще на подходе и горячо обнял Абая. Крепко сжимая его руку, долго, молча тряс ее.

Когда расселись и заговорили, Павлов спросил Абая: что за дела привели его в город? Абай был на радостях словоохотлив, а Павлов, в свою очередь, не прочь был его послушать.

Конечно, Абай не мог не приехать в город! Ведь Абиш окончил в этом году учебу в Петербурге, приехал в аул в отпуск, пе-

---

[1] *Байбатча* – богатый казах.

ред тем, как отправиться к месту службы. Он женился на своей горячо любимой Магыш и вместе с нею собирается отправиться из Семипалатинска в крепость Верный – Алматы, в Туркестанский военный округ, куда направлен командованием.

Павлов поздравил его. Абай продолжал говорить, друг слушал внимательно, в дальнейшем ни разу не перебив его.

Сын с невесткой едут далече, и Абай приехал в город, чтобы проводить их. Еще надо было приготовить Абишу деньги на дорогу, для чего и пригнал Абай скот на продажу.

– Помимо прочего, – улыбаясь, продолжал Абай, – соскучился я по городским друзьям. Просто захотелось побыть в городе. Поэтому я и здесь… Федор Иванович, что ж это я все один говорю? Расскажите-ка и вы о себе! Как поживает Александра Яковлевна? Говорят, сейчас какая-то напасть в городе, холера? Она же врач, что говорит по поводу этой болезни? Я совершенно в неведении о здешних делах. Проясните, пролейте свет в мое сознание! – закончил он шутливо, подражая герою какой-то прочитанной им книги.

Первым делом Федор Иванович рассказал о главном событии, как сам понимал его: об эпидемии холеры, захватившей не только этот город. Было уже заражено не менее пятидесяти губерний. Эта болезнь за последние шестьдесят-семьдесят лет в третий раз возвращается в Россию. Выйдя откуда-то из глубин Индии, холера обошла Россию, Англию, Китай, Японию и даже перекинулась через океан, в Америку. Эпидемия не выбирала ни страны, ни народа…

Не будучи медиком, Павлов рассказал о событиях в городе, ссылаясь на «слова Саши» – своей жены Александры Яковлевны, которая, кстати, велела кланяться Абаю. Вот она-то как раз и была настоящим медиком и могла поведать о многом. С началом эпидемии Александру Яковлевну перевели в больницу на Бержак – по эту сторону реки.

Павлов сообщал новости сухо, коротко, было ясно, что у него что-то тревожное на уме. Так и оказалось. Речь шла об одной

особенности степняков, что беспокоило и Павлова, и его жену. Это также было связано с холерой.

У казахов сложилось особенное отношение к смерти, к умершему человеку. Похороны многолюдны, после похорон люди сходятся не единожды, но множество раз. Трапезу организуют в том же помещении, где только что был покойник. Вот почему эта заразная болезнь особенно быстро распространяется среди казахов слободки.

– Как бы обратиться к людям, предупредить их? Через кого это сделать? И в каком месте – на базаре, в мечети? – спросил Павлов.

Был у него совет и лично Абаю:

– И последнее, Ибрагим Кунанбаевич! Сашенька передает вам как медик. Надо бы вам принять некоторые меры, чтобы холера, часом, не зацепила и вас. Старайтесь не уставать, берегите силы – ведь заболевает, чаще всего, ослабленный организм. Да и с едой поосторожнее, не слишком-то наедайтесь. При этой болезни плохо быть и голодным, и чрезмерно прожорливым.

Павлов улыбнулся и добавил:

– Прямо как доктор говорю! Если начну продолжать в том же духе, то, пожалуй, буду выглядеть настоящим шарлатаном от медицины. Остановлюсь-ка, пока не дошел до такого состояния… И еще. Есть у нас с Сашей приказ в отношении вас и Баймагамбета…

– Приказ? – удивился Абай.

– Да-да, приказ! Вы только слушайте да подчиняйтесь. Вам не следует оставаться в этом доме – по той причине, что здесь люди воду пьют с реки. Эта вода – один из источников распространения холеры. Нынче не самое благоприятное время: много больных, часты смерти людей. Самые опасные места – эта сторона реки и нижняя часть слободки. Вы поскорее переезжайте в центр слободки, да в дом, где во дворе имеется колодец. И, наконец, самое главное, о чем я уже начал говорить…

Постарайтесь, будет возможность, довести до людей все то, что я сказал вам!

Договорившись напоследок о новой встрече, Павлов встал. Дамежан, бывшая при разговоре, но не понявшая ни слова, все же догадалась, с каким уважением относится к этому русскому Абай. Когда гость уже уходил, она сказала:

– Абай-ага, еда уже готова. Почему бы не попросить остаться на трапезу этого хорошего человека?

Абай перевел Павлову слова Дамежан. Тот с благодарностью посмотрел на хозяйку, улыбнулся и приложил руку к груди, однако на трапезу не остался…

За обеденным дастарханом вновь сидели бородачи иргизбаи, успевшие изрядно здесь надоесть. Как и во время утреннего чая, они не прекращали потчевать сотрапезников своей болтовней. На сей раз им не терпелось потолковать с Абаем о чем-то «дельном». Когда их желтая арба уже была запряжена, они пригласили его отведать на дорогу мяса. Разговор начал Мака, Жуман продолжил, бесцеремонно перебив сородича, затем и его самого перебил собственный сын, Мухамеджан-Бестикырт. В целом смысл всего сказанного сводился к следующему: Абай должен был сейчас же ехать в аул вместе с ними. Мол, он прибыл сюда в неведении о холере. Так пускай же горожане и гибнут, но без него!

– Это общая беда, – серьезно сказал Абай, – всего народа. Я не могу вот так бросить людей и бежать.

– Это о каком народе ты говоришь? – взвился старик Жуман. – Тобыктинцы – вот твой народ, твои сородичи, а они сейчас далеко от этой заразы. Что тебе до чужих людей, до городского жатака, сборища из сорока родов?

Эти слова вывели Абая из себя.

– Я сам знаю, кого называть народом! – сказал он. – Оставьте меня со своими мудрыми советами. Сидят тут, жрут, пьют, вещают, будто от лица самого Всевышнего. Довольно! Ступайте вон, уже запряжены ваши лошади!

Абай встал и вышел из комнаты. Троим иргизбаям ничего не оставалось, как убраться восвояси на своей желтой арбе…

Абай нашел на дворе Дамежан и поговорил с нею. Он больше не может оставаться здесь, ему надо переехать на другую квартиру. Он ждет посетителей из местных горожан, они будут приходить каждый день, что вызовет немалые хлопоты. Вдобавок, будут приезжать люди из аулов, их надо размещать, вместе с конями, экипажами. Словом, нужно более просторное жилье.

Абай поблагодарил Дамежан за ее доброту и переехал в дом к Кумашу, у которого обычно и стоял, бывая в городе.

Ташкентец Кумаш владел двухэтажным домом в среднем жатаке слободы, возле мечети. Массивный цоколь дома и первый этаж были выстроены из красного кирпича, второй этаж – из добротных бревен, завершаясь зеленой крышей из железного листа, что делало дом Кумаша весьма заметным в городе, значительным, радующим глаз. И само сооружение, и резьба его ворот и наличников на окнах были выдержаны в манере богатых русских домов в Сибири. За высокими воротами открывался обширный двор, по обходу застроенный навесами, лабазами, заездными местами для экипажей. Кумаш жил с двумя-тремя домочадцами и с выгодой сдавал пустующие комнаты приезжим.

Выбирая комнаты для постоя, Абай обычно учитывал, – в связи с тем, для чего приехал в город, – как часто ему придется выходить из дома. Прошлый раз, ища уединения, он останавливался в верхнем этаже, сегодня решил расположиться внизу, выбрав просторную светлую комнату, смотрящую своими окнами на солнечную улицу.

Средний жатак начинался приблизительно с того места, где стоял дом Кумаша. Здесь строились богатые казахские и татарские дома, главным образом, принадлежащие зажиточным торговцам. Одноэтажные из темно-красного кирпича, двухэтажные с бревенчатым верхом, крытые железом или тесом – все эти дома были построены в ряду улиц вдоль Иртыша и словно со-

стязались друг с другом по размерам и украшениям, по вычурности резьбы.

На самом высоком месте среднего жатака был разбит базар, стояли многочисленные лавки, а внизу располагалась русская часть слободки. Здесь была больница, пожарная каланча, почта. Контора слободского пристава, которого казахи называли «забедейши»[1] также находилась здесь.

Ниже и выше по течению реки, вдоль ее левого берега, простирались другие городские районы, как их называли местные жители – головной жатак и конечный жатак.

Только теперь, перекочевав в дом Кумаша, Абай мог с уверенностью сказать, что вполне устроился в городе. Он тут же послал Баймагамбета с поручением, и вскоре в его просторной комнате уже сидел Сармолла – один из самых сведущих людей слободки.

Сармолла не был ни имамом, ни халфе, кари или муэдзином[2], да и не слишком много толковал с людьми. Но все-таки он знал больше, чем Жабикен и Дамежан, ведь он был наставником, обучавшим группу детей, которые приходили за этим к нему домой, и знал, о чем говорят их родители. Перечисляя людей, умерших от холеры, он назвал цифры гораздо более значительные, чем те, что стали известны Абаю сегодня днем.

Говоря о жертвах холеры, Сармолла разделял город на приходы – махаллы, в зависимости от количества мечетей в Семипалатинске. По эту сторону, в слободе Бержак, размещались головная махалла и махалла Тыныбая – по названию мечети, которую построил богач Тыныбай. Подразумевая семь мечетей по обе стороны Иртыша, Сармолла насчитал семь махалла в Семипалатинске. Ни одну из них не миновала болезнь и смерть…

Сармолла не связывал холеру с бедностью или богатством, не ведал, что бедные, голодные, тяжело живущие люди уми-

---

[1] *Забедейши* – заведующий.

[2] *Халфе* – духовное лицо, наставник медресе; *кари* – чтец Корана; *муэдзин* – служитель мечети.

рают чаще имущих. Поскольку он сам редко принимал участие в жаназа, то и не знал о размере садака – платы, выделяемой мулле во время похорон того или иного умершего. Однако он считал, что имамы, муэдзины, кари, халфе весьма сильно обогащаются вокруг мечетей от холерных смертей. В разговоре он подчеркнул именно это и с нескрываемой завистью назвал некоторых, особенно противных ему служителей Аллаха, и высказал немало нареканий в их сторону.

Вот уж не нарадуются от этих похорон халфе Шарифжан, кари Самат, слепой кари, муэдзин Самурат из головной махаллы. Днем и ночью они извлекают немалую выгоду от отправления заупокойных молитв – фидии и хатыма[1] от семидневных, сорокадневных поминок.

– Не сомневайтесь, Ибрагим-ага! – продолжал Сармолла. – Разве халфе Шарифжан, муэдзин Самурат с горечью воспринимают чужую беду? Наоборот, они все не нарадуются, наживаясь этим. Подобных доходов муллы не видят даже в праздничные дни айта[2]. Как же им не радоваться? Потому-то я и упрекаю их. Не зря говорится в народе: «Там, где много травы, – жиреет бык, там, где смерть, – богатеет мулла». Досада берет на них, бесчувственных к бедам людей, и даже на самого главного хазрета.

Абай попросил Сармоллу оповестить людей, чтобы те были осторожнее. Пусть зовут на похороны как можно меньше гостей, хоронят быстрее. Казалось, что Сармолла внимательно слушает и все понимает, но, едва начав отвечать, он снова принялся поносить ненавистных ему муэдзинов, халфе. Абай замолчал, рассеяно глядя на него… Заметив, что Абаю что-то не нравится в его словах, Сармолла принялся хвалить сами наставления Абая.

---

[1] *Фидия* – искупительная жертва мулле за то, что он принимает на себя грехи покойного; *хатым* – чтение всего Корана по покойнику несколькими муллами.

[2] *Айт* – религиозный праздник.

Ну и ну! Трудно разговаривать с иными людьми... Превознося мысль Абая о быстрых похоронах, Сармолла вновь принялся ругать служителей Аллаха, предупреждая, что халфе Шарифжан, кари Самат, муэдзин Самурат будут рьяно противиться такому наставлению. Не болит у них душа о народе! Закончив свои речи, Сармолла закрыл глаза, качая головой, цокая языком...

Абай хорошо относился к нему, выделяя этого человека среди других служителей Аллаха. Сармолла знал восточных поэтов, хранил у себя немало книг. Абай частенько брал у него почитать некоторые диваны – сборники стихотворных сочинений Сагди, Хафиза, Навои. Абай знал, что городские казахи уважают Сармоллу, стараясь отдать в его наставнические руки своих детей.

Словом, Сармолла казался широким человеком, и Абай был изрядно удивлен, когда ему открылись некоторые его скрытые слабости. Оказывается, и этого просвещенного мусульманина обуревает зависть. «Тот отхватил больше от жаназа, а этот – от фидии, я получил мало, остался в стороне...» Вдоволь наслушавшись его причитаний, Абай остановил его резким жестом руки. Заговорил:

– Попридержи язык, Сармолла! Разве не говорил поэт: «Тот, кто хулит при мне другого, стократно охулит меня третьему...» Не стоит думать о вражде-ненависти в такое время, когда вокруг столько скорби!

– Конечно, Ибрагим-ага, у меня нет ни тени сомнения, в этом вы правы, безусловно... – залепетал Сармолла, густо покраснев, низко опустил голову в борике, и вдруг воскликнул: – Да, в этом я грешен! Говорите, что желаете поручить, все сделаю!

– Сделайте тогда наставление людям, молдеке, – сказал Абай, уважительно обращаясь к Сармолле. – Вот, например, когда все соберутся на хутпу[1] в эту пятницу... Постарайтесь

[1] *Хутпа* – пятничный намаз.

втолковать жителям махаллы, что надо теперь по-иному проводить заупокойные молитвы, хатым, трапезы по случаю похорон. Скажите, что правильнее будет приглашать как можно меньше людей.

Теперь, после отповеди Абая, Сармолла чувствовал неловкость, стыд. Очевидно, ему хотелось поскорее уйти.

– Хорошо, хорошо! – воскликнул он, поднимаясь. – Я, пожалуй, пойду, сразу отправлюсь в махаллы, начну проповедовать, причем немедленно!

– Втолкуйте это для начала хотя бы своим ученикам, – сказал Абай, пожимая гостю обе руки. – Пусть они перескажут ваши наставления родителям, соседям. Многие ваши прежние ученики уже выросли, им также передайте послание. Люди разных махалла почитают вас как наставника. Разве не к вам прислушиваются чаще, нежели к другим муллам?

Такие слова несколько смутили Сармоллу: торопливо ступая, он направился к выходу. Абай слышал, как, уходя, в дверях комнаты, он бормотал:

– Конечно, безусловно! Барекельди, ага!

Абай видел, стоя у окна, как тот бодро идет по улице в сторону мечети.

Темнело. Дважды завернув за угол, Сармолла вошел во двор храма. Сейчас здесь было до тридцати-сорока человек, собравшихся на молитву – ястау. Это были весьма религиозные старцы и муэдзины, учащиеся медресе, халфе мечети. Сармолла вышел на самую середину двора и остановился, оглядывая людей.

В глубоких сумерках он едва различал их: унылые лица, закрытые глаза… Люди сидели на корточках, в большинстве своем молчали, а если кто и говорил, то шепотом. Было видно по их одеждам, что это в основном бедные, простые жители махаллы. Сармолла приметил среди них кое-кого из глав мечети: это были слепой кари и муэдзин Самурат.

Все ждали, когда придет имам, старый хазрет. Вслед за Сармоллой подошли еще с десяток людей. Они тоже были городскими жителями, ремесленниками, мелкими лавочниками. Входя во двор, каждый молча опускался на корточки.

Вдруг один из взрослых учеников медресе, сидевший ближе всех к Сармолле, спросил его, на многих ли заупокойных молитвах ему пришлось побывать сегодня. Он явно разумел узнать про ту силу, которую набрала за последнее время смерть от холеры…

Сармолла, немного помедлив и собравшись с мыслями, ответил, да так громко, четко, что все, кто сидел во дворе, услышали и посмотрели в его сторону.

– Сегодня я не был ни на одной жаназа, да и впредь не буду ходить!

Услышав издали такие слова, слепой кари и муэдзин Самурат разом воскликнули:

– Астапыралла! Так не должен говорить верующий мусульманин!

– Покайтесь! Заберите обратно свои грешные слова.

Сармолла заговорил быстро и громко, чтобы слышали все:

– Нет больше сил молчать! Смерть хозяйничает в наших махалла. Имя этой смерти – холера. Эта болезнь заразная, люди получают ее друг от друга. Если мы не изменим наши обряды, не сократим, не уменьшим, то холера скосит нас всех.

Кари и муэдзин всполошились:

– И как же вы представляете себе похороны без жаназа? Как теперь читать хатым?

– Как мусульмане смогут отдать свой долг перед покойным?

Дав служителям высказаться, Сармолла заговорил снова:

– Никто не требует отменить жаназа. Но пусть на нее ходит лишь один религиозный наставник. И хатым пусть читает только один человек. Надо прекратить все лишние хождения по домам умерших, не распространять болезнь. И чтобы не было никакой трапезы.

Муэдзин и кари тотчас вскочили со своих мест. Они едва сдерживались от крика: ругались громким шепотом, сердито бормоча:

– Астапыралла, что он говорит?

– Безбожник! Его надо наказать по законам шариата.

– Вероотступник!

– Его греховность переходит все границы дозволенного.

Никто, однако, не подхватил эти возмущенные голоса, напротив, все смотрели на Сармоллу, ожидая от него новых слов… Вдруг те, что сидели с краю, стали подниматься со своих мест. Это значило, что пришел, наконец, хазрет, глава мечети, и пора приступать к молитве, а не вести общие разговоры…

То был пожилой седобородый человек, уже слабый ногами. Он медленно шел через двор, постукивая длинной палкой. Несмотря на возраст и немощь, хазрет держался прямо, гордо неся на голове большую белую чалму. Люди встретили его стоя.

Слепой кари и муэдзин Самурат тотчас принялись располагаться к молитве, в душе, наверное, изо всех сил пытаясь подавить злобу на Сармоллу. Известно, что с такими напастями, как злоба и ненависть, нельзя входить в мечеть…

Однако не всегда и не каждому это удается. Слепой кари вдруг стал заикаться, читая наизусть Коран сразу после молитвы ястау. Такого с ним никогда не бывало прежде! Приступив к началу суры, он вдруг вспомнил недавние слова Сармоллы и вместо «каумен» (общество) промолвил «калан» (слово). Окружающие беспокойно заерзали, кто-то раскашлялся… Повысив голос, слепой кари затянул чтение дальше, стараясь правильно выговаривать каждую букву.

«Каззап!»[1] – мысленно воскликнул он: ему казалось, что он готов убить этого Сармоллу.

Сармолла в этот миг также произнес про себя словцо в адрес слепого кари.

---

[1] *Каззап* – мерзавец, подлец, негодяй.

«Шок![1] – злорадно подумал он. – Сам Бог покарал этого кари за недобрые помыслы ко мне».

Стычка мулл стала предметом разговоров в семьях людей, которые сидели в тот вечер в мечети. Это были в основном мелкие торговцы из казахов невысокого уровня, чьи дома стояли неподалеку. Они шли к намазу, лишь отдавая дань своему положению, традиции, подражая друг другу.

Основному населению головного жатака, бедному люду, промышлявшему различными ремеслами, было не до собраний. Возвращаясь домой после трудного дня, они еле волочили ноги. Это были люди неблагодарного, собачьего труда, не имели они времени пять раз на дню читать намаз, они даже и раз в неделю не могли прийти к пятничной хутпе.

Эта масса людей едва знала в лицо своих мулл, встречаясь с ними лишь в случае кончины близких. Только теперь, в пору холеры, когда смерть стала частым гостем в их домах, они и мулл, хазретов, имамов стали видеть чаще. Наверное, потому, что появлялись те именно в связи со смертью, народ не жаловал своей любовью человека в длинной белой одежде, в чалме, всегда глубокомысленно теребящего свою бороду.

Недаром говорится: «Там, где много смертей, – жиреет мулла»... Что-то слишком бойкими стали муллы, халфе и хазреты – именно в эти скорбные дни!

Стычка мулл, казалось бы, не должна была получить широкую огласку среди населения махаллы, по крайней мере, так думали сами муллы... В действительности оказалось, что разговоры сорока-пятидесяти прихожан, что были свидетелями происшествия, с быстротой молнии разлетелись по всем трем жатакам.

И не только горожане были озабочены этими слухами... Большинство жителей слободки были казахами, а население головного жатака и вовсе полностью состояло из казахов. Именно в их домах и стояли многочисленные караваны, прибывающие

---

[1] *Шок!* – Так тебе и надо!

со степи. Слухи быстро облетели приезжих, и сегодня, на пятничный намаз, народу в мечети собралось особенно много.

Люди настолько были перепуганы холерой, так подавлены невидимой опасностью, нависшей над их жизнями, что готовы были ждать спасения откуда угодно – будет то от чудесного снадобья, или от всесильного случая, или – хоть от имама, кари, халфе и других ишанов[1]

Старый хазрет был удивлен, увидев на обычном пятничном намазе столь значительное количество народа. В своей сегодняшней хутпе он намеревался высказать наставления по поводу бедствия, поразившего город. На такого рода проповедь его надоумила вчерашняя беседа с муэдзином Самуратом и слепым кари, которые ночью, после намаза ястау, под руки проводили его домой, наперебой рассказав «об ужасной крамоле Сармоллы». С обеих сторон поддерживая старика, они торопливо, задыхаясь от возмущения, наговаривали ему, один в правое, другой в левое ухо, трактуя речь Сармоллы как некий злодейский поступок. Говорили по очереди.

– Хазрет, он бесится от того, что люди не приглашают его на жаназа...

– Хазрет, он сгорает от зависти, что другие получают фидию, а он остается ни с чем...

– Своими речами он совращает народ...

– А народ махаллы темен, готов верить всяческим бредням.

– Хазрет, опасайтесь деяний Сармоллы! – вдруг вскричал слепой кари, с поднятым перстом остановившись посреди улицы.

Впрочем, уже дошли, стояли напротив дома хазрета. Тот еще не совсем понял, что хотели ему сказать, как вдруг зычным басом заговорил муэдзин. Если до сих пор голос его звучал вполне нормально для человеческой беседы, то теперь, стремясь влить в тугие уши старца всю свою злость, Самурат использовал и мощь певческих способностей муэдзина.

---

[1] *Ишан* – религиозный служитель.

– Хазрет, слова Сармоллы весьма ядовиты! – звучно прокатилось в ночной тиши узкой улочки. – Не говорите потом, что я не предупреждал. Из-за этого Сармоллы народ и вовсе перестанет жаназа проводить, хатым читать. Хазрет, как бы народ совсем не отвернулся от вас. Субханалла![1] Как подумаю о всяких надвигающихся напастях, волосы аж дыбом встают. Люди вовсе потеряют интерес к вашим проповедям, а там – и уважение к служителям веры, прекратят давать вознаграждения!

Хазрет слушал молча, испуганными глазами посматривая то на одного, то на другого, но в конце зычной речи муэдзина у него почему-то стала подрагивать борода. Вместо ответа он начал читать молитву Лаухынама, которая, как он думал, должна была оградить от всяких напастей.

В то же самое время в другой части головного жатака шел домой и Сармолла. Он не собирался отказываться от своих слов, в душе был рад, что высказал все. В его ушах до сих пор стояли одобрительные возгласы стариков, которые окружили его после молитвы и какое-то время шли по улице вместе с ним, будто сопровождая пророка. «Баракалла![2] Спасибо! Мудрость и правда в ваших словах!» – слышалось из толпы в темноте.

Сармолла был весьма доволен собой, и отзывы людей подтверждали это. Он был умен и даровит от природы, восприимчив к чему-нибудь новому, а таким людям иногда требуется чья-то посторонняя поддержка, похвала. Теперь, когда совершенно ясно, как все уважают и слушают его, он непременно накажет и муэдзина Самурата, и слепого кари – своих многолетних врагов! Они давно вставляли ему палки в колеса, не пускали к важным делам мечети-медресе. Вот, похоже, теперь он нашел их самое уязвимое место!

И каких только козней они ему ни строили! Договорились меж собой, чтобы не звать его на жаназа, фидию, хатым. Вот уже второй год, как обездолили его в годовом зекете – подати

---

[1] *Субханалла!* – Боже упаси!

[2] *Баракалла!* – междометие, выражающее одобрение. Здесь – благодарение Богу!

баев махаллы! Милостыню, подношения прихожан в пользу мечети – тоже делили без него!

Как они могли так обойтись с ним – ведь он был гораздо ученее их всех, вместе взятых! Был выше всех мулл семи мечетей, не говоря уже о здешних имамах и халфе. Он обучался в медресе «Бухарай Шариф», «Миргарап». Затем в городе Казани, занимаясь у наставника, который целых двадцать лет провел в Каире. Он освоил премудрости писания «Шарх Габдолла». Именно его, Сармоллу, надо было ставить имамом махаллы. В крайнем случае, должны были назначить на должность старшего халфе, держать как одного из уважаемых наставников, чтобы потом, когда старый ишан умрет, посадить на его место не кого иного, как Сармоллу…

Не тут-то было! Его соперники, к которым присоединился и халфе Шарифжан, сговорившись, отдали эту должность полуграмотному мулле Самату, такому же плуту и проходимцу, как они сами.

Эти мысли не давали Сармолле покоя, от подобных мыслей его подчас даже трясло, а теперь, в пору холеры, он не мог уже думать ни о чем ином. Халфе, кари и другие служители главной мечети ни разу не удосужились отдать Сармолле читку какой-либо доходной жаназа. Они умышленно не приглашали его на хатым, фидию. Его подсиживали, оставляли в стороне злейшие враги – слепой кари и жирный муэдзин Самурат.

Сами же они за последние две недели изрядно обогатились, причем и не скрывали своего довольства от внезапного дохода, каковой им принесла холера. Слепой кари крыл железом свой дом, вскорости он станет хозяином, как говорят казахи, «дома под зеленым железным шатром». Жирный муэдзин Самурат, всегда ходивший пешком, теперь купил упитанного рыжего коня и выезжал в новой черной таратайке. Сармолла же ничего не заработал на холере, – все так же, как и прежде, набрасывал на свою тощую жилистую клячу старое потертое седло. И сбруя была старая, подвязанная, едва держалась на лошади….

Все же сегодня Сармолла был доволен собой. Своей речью во дворе мечети он нанес ненавистным врагам первый удар. Придя домой, он все не переставал ухмыляться, шевеля бровями от удовольствия. «Злосчастные черноликие, я еще не то покажу вам! Разоблачу вас, нечестивцев черноликих, перед честным людом!» – говорил он сам с собой. Сармолла еще долго вертелся в постели, строя новые планы отмщения…

2

Небольшое здание мечети не смогло вместить всех, кто пришел сегодня на пятничный намаз. Многим пришлось оставаться во дворе: люди молились, окружив мечеть с обеих сторон. Сармолла стоял на пороге, передавая прихожанам слова имама, который в глубине мечети читал намаз. Красивый голос Сармоллы завораживал своей глубиной и силой, да и выглядел Сармолла сегодня по-особому: на нем была бухарская зеленая чалма, повязанная изящно и тщательно, а длинная борода в вечернем свете казалась золотой. Люди, собравшиеся во дворе плотной толпой, хорошо видели его, высокого и стройного, ясно слышали, как громко и четко произносит он: «Аллах акбар!», «Самиголлаху лиман хамиди!», «Ассаламугалайкум уарахметолла».

Когда намаз завершился, из мечети во двор вышел жирный муэдзин Самурат с высоко поднятой рукой.

– Люди добрые! Не расходитесь, – произнес он звонким голосом. – В довершение нашего пятничного намаза хазретом будет прочитана хутпа.

Прихожане, до сих пор стоявшие рядами, поспешили опуститься на корточки. Вот в окружении пожилых послушников, халфе и кариев в чалмах, во двор из мечети вышел старый ишан. Он тяжело поднялся на минбер[1] выпрямился во весь

[1] *Минбер* – возвышение для чтения молитв.

рост, видный всем отовсюду, и начал читать своим хриплым, трескучим голосом.

Вот уже пятьдесят лет он читал здесь эту хутпу. Сегодня она не дошла до слуха многих прихожан, впрочем, так бывало и раньше, в зависимости от настроения ишана – иногда он говорил не очень-то внятно, порой бормотал, опустив голову на грудь…

Дело было не только в искусстве красноречия этого человека: хутпа по большей части состояла из арабских слов вперемежку с фарси. Многие люди махаллы были необразованными, полуграмотными казахами, если и знали намаз, то где-то наполовину. Однако это обстоятельство ничуть не смущало ни имама, ни других наставников. Они и не задавались вопросом о том, что говорят с жителями махаллы на совершенно непонятном им языке.

Правда, по традиции, к обычной хутпе, читаемой в тысячный раз, было добавлено несколько казахских речений, мыслей о насущных делах сегодняшнего дня. Так, холера была названа «напастью, ниспосланной Аллахом своим грешным чадам».

Всемогущий Создатель посылает подобное наказание в каждую эпоху, каждому обществу, когда это общество теряет свои нравственные устои, безмерно богохульствует, не зная предела своим грехам. Именно так написано в книге судеб «Лаухальмахфуз».

Человеку такая беда неподвластна: он не в силах ни вызвать, ни прекратить ее. Она пришла по велению самого Создателя и исчезнет в тот час, когда Он сочтет это нужным. Вот почему разумный мусульманин должен подходить к этой напасти спокойно. Пусть чаще молится, более искренне соблюдает обряды. Нравственно очищается, оказывает милость, добродетель убогим и больным. Пусть каждый человек, прежде чем решиться на неправедный поступок, грех, со страхом подумает о Боге…

– И да не скупится на приношения в мечеть, *зекет,* не забывает о своем долге! – повысив голос, напомнил хазрет в завершении своей невнятной речи.

В знак окончания молитвы он провел руками по лицу, то же сделали и окружающие его муллы, тотчас принявшиеся оглаживать раскрытыми ладонями свои лица, давая понять, что службе конец и пора расходиться… Многочисленные же прихожане не очень спешили: казалось, они не вполне насытились хутпой и ждали чего-то еще. Тут, словно в оправдание их помыслов, произошло нечто неожиданное.

Ступая уверенными шагами, выделяясь среди других своей зеленой чалмой, на минбер быстро взошел Сармолла. Он встал на то же самое место, где только что читал хутпу хазрет, и звонким, сильным голосом испросил у прихожан разрешения говорить. Начал, как и подобает, с арабских слов:

– *Я айюхал муслимина!*

В продолжение своей дальнейшей речи он еще не раз вставлял книжные слова, наверное, для того, чтобы никто не забывал, что имеет дело с человеком ученым. Сначала он повторил все то, что было сказано им вчера ночью, перед ястау, затем витиеватым образом развил свои же мысли:

– Оно верно, что каждую напасть, как сейчас сказал хазрет, ниспосылает нам сам великий Аллах. Однако же, наряду с этим, Вершитель и ограждает нас от всяких бед-напастей, спасает всех чад Мухаммеда. Тому свидетельство, как вы сами знаете, сура «Ясин», хвала Аллаху. Там сказано: спасу, если сам побережешься. Поэтому наш Создатель, подвергая нас напасти, предусмотрел и снадобье от нее. Эй, люди, ради вашего же блага, хочу подать вам совет! Я являюсь наставником ваших детей и считаю своим долгом мусульманина сказать вам как благожелатель. Предостерегитесь! Ради вашего же блага, не перестаю просить вас, предостерегитесь! Но одной предосторожностью не спастись от опасной холеры, сеющей тяжелую болезнь и смерть. Что требуется для предупреждений черной болезни?

Сармолла приумолк, обвел прихожан долгим взглядом, будто своих учеников, проверяя, насколько хорошо они уяснили заданный вопрос. Тут же сам и стал отвечать:

– На заупокойной молитве в доме умершего должно участвовать как можно меньше людей. В дома, откуда выносили покойников, прекратить всяческие хождения. Прекратить также и трапезы по поводу похорон, семидневные, сорокадневные обряды. Не приглашать много мулл, муэдзинов, халфе, послушников на жаназа! Пусть присутствует лишь один служитель – хазрет, халфе, без всяких мулл, и чтобы жаназа отправлял один человек. И хатым читал один мулла. Чтобы впредь многочисленные муллы, послушники, муэдзины, кари прекратили свои хождения толпами по домам как умерших от болезни, так и остальных жителей махаллы. Вы прекрасно знаете, что от холеры недавно умерли мулла Жуман, халфе Сахип, послушник Амантай. Многие муллы, сами того не зная, стали невольными переносчиками заразы. Пусть они подумают о благе людей, позаботятся о них! С состраданием в душе отнесутся к жителям махаллы! Подумают об инсафе – воздержании, посчитав его за долг мусульманина!

Последующие свои слова Сармолла произнес с особой значительностью, в его глубоком голосе прозвучали заботливые нотки:

– Народ махаллы, единокровные казахи! Пусть дойдут мои наставления до каждого двора. Еще знайте, – не только от себя одного говорю! Благожелатели ваши, пекущиеся о нуждах народных, посылают через меня эти добрые советы. Среди них и самый близкий ваш защитник, просвещенный, уважаемый эфенди. От вероучителей он требует искреннего служения людям, именно он и посоветовал вам предостерегаться так, как говорю я. Этот человек – ваш друг, хорошо известный в народе, знаменитый акын Абай!

Имя Абая прозвучало в тишине ясно, весомо. Голос муллы, произносивший его, выразил великое уважение и благоговение. Придерживая свою золотистую бороду, вдруг засиявшую в лучах яркого солнца, Сармолла с достоинством сошел с минбера.

Это был миг его торжества, он так и представлял себе, что одним махом свалил в кучу всех этих мулл во главе с имамом, – те и повалились наземь, как мешки с воза. Они вдруг почувствовали себя виноватыми перед людьми. Никто из них не осмелился подняться на минбер после Сармоллы, никто не знал, что сказать в ответ ему.

Более того, как ни снедала их злоба, они не могли выказать ее на людях, отчего досада и ненависть настолько распирали их изнутри, что слепой кари, халфе Шарифжан и прочие готовы были лопнуть. Да и народ неожиданно повел себя так, будто вознамерился подразнить служителей Аллаха. Всем, стоящим возле минбера, были ясно слышны слова расходившихся людей:

– Барекельди, Сармолла!

– Хорошо сказал!

– Его слова – истинная правда...

– Да пошлет Кудай ему удачи!..

Все эти высказывания, доносящиеся из толпы, мучительным эхом отзывались в голове каждого из вероучителей – слепого кари и муэдзина Самурата, халфе Шарифжана и остальных. Едва Сармолла сошел с минбера, как двое мулл решительно взяли его под локти и подвели к хазрету. Заметив такое дело, прихожане, уже покидавшие двор, задержались, и вокруг Сармоллы собралось немало людей из числа городских торговцев, несколько человек из степи, а также казахи-горожане.

Были среди них и люди, которые обычно не имели обыкновения хаживать в мечеть, однако на сегодняшний пятничный намаз они пришли с большим интересом. Уже пополудни до всех горожан, караванов, прибывших со степи, завсегдатаев базара дошла прелюбопытная весть о том, что вчера ночью возле мечети бодались меж собой муллы.

Эти люди были в основном городские обыватели, базарные торговцы, приезжие аткаминеры – публика, обычно не проводившая много времени в мечетях. Но в различных раздорах и

стычках, горячих словесных схватках на пустом месте, в порожнем словоблудии – они были как рыба в воде. Неудивительно, что они бросили всяческие дела, отложили важные поездки, чтобы в свое удовольствие пронаблюдать назревающий скандал. Именно потому не расходились, что пришли в мечеть не по велению души, а за зрелищем, но зрелища как такового и не было: лишь произнесенные с минбера слова… Первые, сказанные имамом в хутпе, лишь угнетали, наводили на безнадежные размышления. Но то, к чему призывал Сармолла, все же порождало какую-то надежду.

Невдалеке от входа в мечеть сидели, поджав ноги, люди степи – двое в тымаках на манер тобыктинцев и еще один с русой бородой. Разговор меж ними шел хоть и вполголоса, но довольно-таки разгоряченный.

– Сейчас послушаем, что скажет Сармолле их главный.

– При народе-то они не злословят, однако наедине друг на друга орут – будь здоров, еще как!

– То-то же, покажут сейчас свое неприкрытое лицо!

– Как я понял, Сармолла заехал местным мулам промеж ног.

– Муэдзин Самурат, слепой кари, коих я знаю, как облупленных, готовы драться с Сармоллой до смерти.

– Наверное! Как же им не горевать, если добыча ускользает из рук?

Тем временем к Сармолле, стоящему напротив хазрета, разом подошли трое – халфе Шарифжан, слепой кари, муэдзин Самурат. Они заговорили с тихим укором, их слова казались вполне приличными, однако сообразительному человеку было ясно, что Сармоллу они сейчас выставляли как закоренелого грешника.

– Сармолла, разве можно так говорить с людьми, столь свободно толковать древние заветы?

– Бедный, необразованный народ и так блуждает в темноте, а ты еще дальше загоняешь его в пучину невежества!

– Неужто жалко прочитать лишний раз молитву хадис аята, посвященную жертвам напасти, молитву, которая звучит в эти дни на устах многих мулл?

Сармолла, казалось, не слышал этих слов, лишь чуть дернул плечом. Под его рыжими усами скрывалась едва заметная улыбка: если он и сердился на мулл, то хорошо это скрывал. Глядя только на хазрета, который также уставился на него снизу вверх, Сармолла повторил лично ему, в сущности, уже раз произнесенные слова:

– То, что я сказал с минбера, это не только мои соображения. Каждый, кто в эти тяжелые дни проникнется людским горем, поймет и одобрит меня. Вот и всем известный Абай-ага придерживается того же самого мнения, а это, согласитесь, личность мудрая, глубоко уважаемая нашим степным и городским народом, теми видными людьми, которые почитают и вас как имама.

Так как Сармолла говорил громко, специально для глуховатого старика, его услышали в толпе. Тут один из аткаминеров, прибывших со степи, вдруг подал свой сердитый голос:

– Ой, молдеке![1] Что ты все долдонишь Абай да Абай? Где ты видел этого Абая?

Сармолла тотчас повернулся и отыскал глазами того, кто столь грубо к нему обратился. Это был коренастый человек с темной бородой и значительным носом, насупленными бровями, кривой на один глаз. На его голове красовался легкий борик из белой мерлушки. Сармолла заметил, что этот степной казах был не один: позади него, явно пришедшие с ним, стояли люди, хорошо знакомые Сармолле – войлочный заводчик Сейсеке, мясник Касен, владелец лавки Жакып, содержатель шерстобитки Сарсен. Все эти городские баи, торговцы, перекупщики-алыпсатары были изысканно одеты и, в большинстве своем, жили в собственных деревянных домах с зеленой крышей.

Хазрет также заметил этих людей, называемых в махалле почтенными торговцами, понял, что они сопровождают одногла-

---

[1] *Молдеке* – обиходное название муллы, без особенно выраженного почета.

зого, и посмотрел на него с уважением. Шевеля тонкими губами, мелко тряся густой бородой, хазрет, как всегда, не переставал читать молитвы.

Сармолла же увидел, что одноглазый настоятельно ожидает от него ответа, и сказал, обращаясь к нему:

– Вы спрашиваете меня об Абае, мырза? Наверное, вы полагаете, что я просто так произнес это имя. Что ж, отвечу! Да будет вам известно, я хорошо знаком как с творениями Абая, так и лично с акыном. Многие его произведения, например, те, что написаны в форме слов назиданий казахам, я знаю наизусть. Отношусь к Абаю с большим уважением и считаю его одним из самых великих людей нашего времени.

Услышав такие слова, одноглазый почему-то переменился в лице и быстро, горячо заговорил, обращаясь не только к Сармолле, но и ко всем присутствующим:

– Вот и мулла попал под дьявольские чары Абая. Не могу смолчать при виде этого несчастного! Да я живу в той самой среде, знаю Абая с пеленок. Спрашивайте о нем, что угодно, все могу рассказать. Этот Абай не кто иной, как возмутитель степного люда. Сбивает народ с пути предков, с пути ислама, а сам поклоняется русским, словно богам. Это самый что ни на есть смутьян и подстрекатель. Вот мы приехали в город, пришли сюда как правоверные мусульмане, стоим в Божьем храме. И что же? Здешний мулла, которому хотелось бы верить, и тот тоже – называет имя Абая! А ведь он даже крестится по-русскому! Хотя бы не оскверняли свой город, *байтоллу* – святое место, где мы преклоняемся перед Богом. Ты говоришь, молдеке, что даешь умные советы. Но прежде чем приниматься за назидания, не лучше ли тебе просветлить свою голову и прочистить свой рот?

Люди, пришедшие с этим бойким одноглазым стариком, одобрительно засмеялись, им вторили также и кари, муэдзины, стоявшие рядом с Сармоллой. Из толпы послышались возгласы:

– Молодец, Оразеке, аксакал!

– Верно говорит Оразбай. Барекельди!

Сармолла только теперь понял, кто перед ним. Это же кривой Оразбай, известный тем, что всюду, где только можно, порочит и чернит Абая! Такую хитрую тактику он выбрал, по-видимому, для того, чтобы наладить отношения с чиновниками и богачами, которым Абай был как кость в горле. В то же время те, о ком Сармолла был самого лучшего мнения, говорили об Оразбае следующие слова: он враг таких хороших людей, как Абай!

Стало ясно, что Оразбай не только клеветал тут на Абая, но и задел его, Сармоллу, а Сармолла был человеком вспыльчивым, его легко можно было вывести из себя. И если уж начнет словесную схватку, то его никак не остановить, – кто бы перед ним ни был!

– Е, мырза! Да ведь вы и есть тот самый Оразбай! – зловеще проговорил Сармолла, поднимая палец. – Я только что понял! Знаю, наслышан! И о том, чем промышляете, и насколько гнусными делами сколотили достояние. Послушайте-ка, что говорил хазрет Абуль-аль-Магри, великий арабский поэт, о таких, как вы:

По следу льва идут, объедками питаясь,
Два хитрых прихвостня: незрячий и хромой –
Ворона и стервятник[1]

– Что могут дать людям такие Оразбаи, как вы? – продолжал Сармолла, тыча в сторону обидчика пальцем. – Хотите возвысить свое имя, пороча имя другого? И еще хотите при этом выглядеть достойно?

Сказав так, Сармолла побагровел, его желтая борода затряслась… Люди, стоявшие возле Оразбая, молча отступили от него.

– Попридержите язык, молдеке! – воскликнул слепой кари.

[1] Перевод А. Кима.

– Мулла, что же вы делаете? – присоединился к нему толстый муэдзин Самурат.

– Ведь этот человек – наш гость. Разве можно с ним так? – сказал кто-то из простых горожан, стоявших за спиной Сармоллы.

Но тут же раздались и другие голоса:

– Сармолла прав! Нечего его ругать!

– Этот гость первым задел нашего муллу. Не наседайте на него!

– Ясно, что эфенди Сармолла душой болеет за людей, дает мудрые советы…

Теперь и старому хазрету стало не по себе от всех этих стычек, что начались после хутпы. Тряхнув обеими руками в сторону толпы прихожан, как бы отмахиваясь, он повернулся и пошел прочь. Задвигались и те, кто толпился возле минбера. Вслед за хазретом пошли, окружая его с обеих сторон, Шарифжан, слепой кари, муэдзин Самурат, высокий, чернявый халфе Самат.

Проходя мимо Сармоллы, хазрет подал ему еле заметный знак, дескать, следуй за мной. Пройдя несколько шагов по площади, Сармолла оказался лицом к лицу со стариком. Тот, похоже, был изрядно рассержен. Недовольным голосом заговорил:

– Эфенди Сармолла! Долго я вас слушал, пока, наконец, не понял, кто вы есть. Вы самый настоящий халас[1]! Вы свернули с истинного пути, поэтому и твердите всякие несусветные вещи. Боюсь, ваши намерения не совсем честны. Малгун[2]! – в сердцах воскликнул хазрет, стукнув оземь палкой.

Затем, словно ожидая ответа, он с ненавистью уставился на Сармоллу. У него были холодные, выцветшие глаза без ресниц… Вспыльчивый Сармолла не заставил себя долго ждать.

– Хазрет, вы говорите не свои слова! – сказал он, весь мгновенно побагровев. – Вас натравили на меня! Эти халфе, муэд-

---

[1] *Халас* – отступник.

[2] *Малгун* – нечестивец.

зин, кари и остальные! Вас окружают коварные, черные люди, настоящие воры и негодяи!

Услышав такое, халфе Шарифжан и слепой кари, наперебой закричали:

– Да ты сам коварный человек!

– Сам негодяй!

– Ты и есть злодей! – подхватил муэдзин Самурат, даже рванувшись к Сармолле с налитыми кровью глазами, будто собираясь ударить его, но тут Сармолла громко закричал:

– Прекратите сквернословить! Иначе я тотчас соберу народ махаллы. Сейчас же, на этом месте потребую, чтобы разобрались, кто тут злодей!

Когда поднялось такое, хазрет вдруг неверными шагами молча двинулся вперед, дав понять, что не желает больше слушать. Сармолла догнал его и, шагая рядом, стал кричать ему прямо в ухо. Это был последний, самый сильный ход в его споре: Сармолла знал, что в прошлом у мечети была весьма темная, зловещая тайна…

– Е, и слушать меня не хотите? – вскричал он. – Ну что ж! Тогда перед всем народом махаллы я назову имена настоящих злодеев. Я знаю, кто и как накликал смерть на людей. Тому есть свидетели. Свидетелями будут и живые, и мертвые. Три табыта[1] которые стоят в подвале мечети. И есть три человека, которые стучали по этим табытам![2]

Хазрет остановился, отшатнувшись, прикрываясь обеими ладонями от Сармоллы.

– Да! – вскричал Сармолла. – Задолго до холеры они все трое сетовали, что, мол, никто не умирает, прекратились заупокойные молитвы, пусты наши карманы… И они стучали по табыту! Вот их-то черные помыслы сегодня и обернулись столь

---

[1] *Табыт* – погребальные носилки.

[2] *«Стучать по табыту»* – колдовской обряд, считавшийся в народе непростительным грехом со стороны религиозных служителей, ибо это – желание людям смерти.

страшной бедой. Кто они, стучавшие по табыту? В какой день, в какой вечер, после какого намаза они стучали по табыту?

Сармолла оглядел всех, стоящих во дворе. Служители Аллаха разом притихли, некоторые тревожно посматривали друг на друга… Сармолла продолжал уверенно:

– Хазрет, это видел не только я, кроме меня – еще пять человек. Желаете, я сейчас же расскажу всем об этом позорище? Вот они стоят: муэдзин Самурат, внешне благопристойный, но в душе злодей, слепой кари, халфе Шарифжан. Вот эти трое! Позвать людей, сказать им? Пусть все узнают об этом позорном деянии мечети!

Последние слова Сармолла произнес так громко, что они зазвенели у старого хазрета в ушах. Он впервые слышал подобное! Если это было правдой… Хазрет не смог и слова вымолвить в ответ: он только и делал, что тряс седой бородой, слабым шепотом бормоча молитвы.

То, что слова Сармоллы правдивы, знали многие среди мулл, особенно это было хорошо известно троим из них. Для муэдзина, кари и халфе эта история может обернуться страшным наказанием, равнозначным сожжению на костре. Хватаясь за воротники, притворяясь потрясенными, они только и могли, что гундосить: «Астапыралла! Субханалла!» Впрочем, вскоре и совсем умолкли, опустив головы, глядя в землю…

На другое утро умер старый отец Жакыпа. Это был первый случай, когда болезнь заглянула в богатый дом – Жакып владел магазином, был одним из самых значительных баев слободы. Что бы там ни говорил Сармолла, другие люди, внимавшие его советам, Жакып решил похоронить отца как полагается, с подобающими обрядами. Ранним утром гонцы сообщили об этом имаму, халфе, муэдзинам нижней мечети, а также близким, друзьям и торговцам, что были с Жакыпом в одной упряжке.

Домочадцы готовились к приему гостей. Во всех шести комнатах двухэтажного дома с зеленой крышей расстелили дастарханы, вдоль стен уложили свернутые корпе. Во дворе стояли

большие казаны, где томился плов и на медленном огне варилось мясо. В каждой комнате тускло поблескивали медные тазы, болтались на сквозняке полотенца для рук. Всюду сновали джигиты, прислуга, приказчик и секретарь. Ожидалось большое собрание людей…

Однако, несмотря на столь тщательную подготовку, похороны вышли невзрачными, словно проводы сиротки. К величайшему удивлению Жакыпа, на жаназа пришли лишь служители двух мечетей в чалмах, да с десяток торговцев. Все собравшиеся заняли одну небольшую комнату в первом этаже. Остальные комнаты так и остались пустыми…

Так, в ожидании, может, кто еще и придет, имамы и сам Жакып долго просидели в этой комнате. Со двора доносились голоса: там собрались попрошайки – слепые, хромые, убогие, каковых в обычные дни и на порог не пускали… Прошел час, затем – другой, на исходе была субботняя похоронная пора. Было ясно, что больше никто не придет. В невольной спешке, в самый знойный полдень снесли покойного на мусульманский погост.

Возвратившись в дом, приступили к поминальной трапезе. Тут-то впервые и заговорили, и весь разговор вращался вокруг того, что многим не давало покоя со вчерашнего дня…

Войлочник Сейсеке, мясник Касен, сопровождавшие вчера Оразбая в мечеть, были особенно обозлены на Сармоллу. Подле них сидели их давние приспешники – Корабай и Отарбай. Эти двое сами были люди не бедные, мелкие лавочники, имеющие некоторое достояние, но по давней привычке, в надежде на какие-то подачки, так и смотрели богатым баям в рот, ловили каждое их слово. Главным же достоинством Корабая и Отарбая были их крепкие руки и толстые камчи. Если правильно натаскать этих людей, науськивая их на кого-либо, то они могли жестоко, без всяких лишних вопросов, расправиться с неугодными для их богатых баев…

Вот и сейчас, во время заупокойной, Сейсеке и Касен с превеликим огорчением, как бы в упрек, обвинили горожан в том,

что они оставили беззащитного Жакыпа одного в столь трудный для него час. А все из-за чего? Да из-за «пакостей, которые вчера распустил Сармолла!» Так, слово за слово, коварные баи принялись натравливать Корабая и Отарбая на Сармоллу.

Спустя какое-то время эти двое уже совершенно ненавидели Сармоллу, хотя сами и не были вчера в мечети, и не слышали, о чем он говорил.

– Сармолла – виновник всех наших бед! – с собачьей злобой заключил Корабай.

– Угомонят ли его когда-нибудь? – вторил ему Отарбай.

И они заговорили между собой, словно бы и вправду кипятясь за униженную честь Жакыпа. Войлочник Сейсеке, мясник Касен не стали вмешиваться в разговор. Они сидели, сложив руки на животах, молча кивая в знак одобрения. Дело, похоже, было сделано, двое известных мордоворотов, падких на расправы в темных углах, были заведены до предела. Все это понимали, и даже хазрет, который также хранил молчание, лишь подавил зевок кулаком. Только халфе, кари, муэдзин, которые в последние дни просто тряслись от злости при имени Сармоллы, продолжали проклинать его вслух:

– Этот Сармолла еще немало людей собьет с праведного пути!

– И как можно так себя вести в дни великого бедствия?

– Такого человека может остановить только одно – проклятие!

– Точно! Анафема имамов, хазретов, да и всего мусульманского люда.

Последние слова, окрашенные особой злостью, муэдзин Самурат запустил с неким скрытым намерением. Дело в том, что ему казалось мало поселить вражду к Сармолле в сердце своего имама. Здесь же сидел имам нижней мечети Коныркожа. Пока он хранил глубокое молчание, слушал, но Самурат был уверен, что и его удастся перетянуть на свою сторону.

Все это не нравилось Жакыпу, хозяину дома и сыну, чей отец был только что похоронен. Он сидел молча, глядел мрачно на

этих людей, которым ему придется сегодня выдать фидию, подаяние от дома усопшего. Хотя в душе он и злился на Сармоллу за сегодняшнее свое унижение, просто готов был растерзать его, однако весь свой гнев он оставил на потом. Негоже поддакивать, вести подобные разговоры, обсуждать кого угодно в такой день.

Жакып имел достаточный вес среди прочих баев. Стоило ему несколько раз молча посмотреть по сторонам своими выпученными глазами, как сидевшие за скорбным дастарханом поняли, что дальнейший разговор неуместен. Расходясь, муллы лишь шепотом произносили Сармолле свои баддуга…[1]

Прошла неделя, холера была неукротима и беспощадна, смерть ходила из дома в дом, забирая жизни людей, и таких домов становилось все больше. Теперь люди уже были научены: с каждым днем все меньше гостей посещало жаназа, хатымы, семидневки, а если и собирались, всегда возникал один и тот же разговор – о стычке в мечети, происшедшей после хутпы в прошлую пятницу.

Все только и говорили, что о раздоре между «Сармоллой и остальными муллами» – на базаре и в питейных заведениях, в лодках при переправе через Иртыш, на той и на этой стороне.

Говорили о том, что Сармолла выступил перед народом, в чем-то обличая главного имама мечети, старого ишана. Слухи были довольно туманны, поскольку их распространяли сами муллы и баи, бывшие с ними заодно. Мол, Сармолла вел некие опасные проповеди, распускал весьма спорные назидания среди казахов, которые и без того плохо разбираются в вопросах веры.

В то же время поползли встречные слухи, из народа, которые дошли до ушей имамов, халфе, кари, муэдзинов всех семи мечетей по ту сторону реки – о том, что теперь темный невежественный люд стал избегать жаназа, и даже трупы своих близких прячут от священнослужителей! Вскоре пошли разговоры, что, дескать, старый ишан предал Сармоллу баддуга…

---

[1] *Баддуга* – проклятие, анафема, молитва наказания.

Абай сидел за книгой в доме Кумаша, время было ранние пополудни, когда на пороге его комнаты появился долговязый джигит-подросток с глазами, полными слез. Это был Жумаш – старший сын Дамежан. Мать послала его сообщить о том, что сегодня утром от холеры умер глава их семьи.

Абай уже не раз бывал в домах обездоленных людей, что жили по соседству с двухэтажным домом Кумаша в головном жатаке – бедняка лодочника, дровосека, водовоза. Всем пришлось выразить соболезнование по умершим родственникам. Теперь он пришел к Дамежан…

Женщина не переставала плакать, подняв навстречу Абаю заплаканное лицо, красоту которого не могло испортить даже такое горе. Абай обнял ее, успокаивая и утешая. Умер не только Жабикен, но и ближайший сосед – Жабайхан. Абай заглянул и в этот очаг, соболезнуя сыну покойного, подростку Бидабаю.

С тех пор как Абай приехал в город, холера разыгралась пуще прежнего, унося одну жизнь за другой, и тяжко было у него на душе. Он хорошо знал соседей Дамежан, и сегодня она поведала ему о том, что многих скосила болезнь. Нищий, обездоленный люд! Как ему бороться с этой напастью? После смерти тихого, кроткого сапожника Сакыпа, которого Абай хорошо знал, осталось шестеро сирот и вдова-жена, несчастная Камар. Чтобы накормить детей, расторопная Камар пошла работать на мойке шерсти, вскоре там заразилась и умерла, проклиная и всю свою мучительную жизнь, и весь этот жестокий мир. А по другую сторону от дома Дамежан неустанно плакала о единственном десятилетнем сыне бедная мать, исхудавшая, похожая на бледный призрак…

Дровосек Тусип был также соседом Дамежан. Он нарубил дров в лесу на Полковничьем острове, хотел их снести на базар, чтобы купить какого-нибудь молочного питья для уже заболевшей жены, верной, достойной спутницы жизни, умницы Сатжан. Шел домой, неся в охапке дрова, и упал замертво у своего

порога. Умер не от холеры – от разрыва сердца, потому что еще с порога увидел свою мать и жену, лежавших рядышком, а на их лицах отпечатались верные знаки смерти…

Многие теперь говорили о Сармолле, о его словах. Бедные люди, которые жили тяжким трудом: косили траву на острове, рубили дрова – все они теперь перестали приглашать на поминовение имама, кари. От своих детей Дамежан услышала назидания наставника Сармоллы. Она с плачем рассказала Абаю, что не пригласила мулл мечети на жаназа Жабикена.

Абай согласился с ней, утешил тем, что женщина поступила правильно. Пока он сидел в ее доме, во дворе побывало немало жителей головного жатака: лодочник, сапожник, несколько мастеровых. Все они были согласны с мнением Сармоллы, и Абай еще раз подтвердил его назидания.

Возвращаясь к себе на квартиру из дома Дамежан, Абай все думал и думал об умерших людях, которых хорошо знал. Казалось, он видит смерть саму, смерть каждого в отдельности и всех вместе – сапожника Сакыпа, вдовы Камар, дровосека Тусипа… И не только смерть этих людей, но и тяжелые судьбы их, смертью закончившиеся, – скорбная их участь, беспросветная жизнь…

И она продолжается – горькая жизнь их детей, плач и стенания матерей и отцов… Только представив, что будет в домах покойных потом, когда их сородичи продолжат жить, беззащитные, голодные, крайне обездоленные, Абай вдруг почувствовал боль в сердце. Не в силах даже вздохнуть, судорожно ловя воздух, он оперся на столб какого-то забора… Воздуху не хватало, хотя день был свежим, прохладным, по пустой улице гулял ветер.

Едва Абай вернулся в дом Кумаша, как во дворе послышался скрип колес. Это прибыл со степи Абиш – сын, чей приезд ожидался со дня на день вот уже две недели. С ним, конечно же, была Магыш, которую совсем недавно он назвал своей женой. Она была настолько смущена, что осталась стоять за дверью,

когда Абиш, в своей новенькой военной форме, широко улыбаясь, вошел в комнату к отцу. Абай заволновался, толком и не ответив на приветствие молодого офицера. Сердито взмахнув рукой, ладонью на него, жестом вернул сына обратно за дверь.

– Как можно, Абиш! – вскричал он в притворном негодовании. – Ни тебя как офицера, ни меня как родителя не красит тот прискорбный факт, что твоя молодая жена стоит за дверью. Немедленно зови ее сюда! И тотчас шепни ей, пусть впредь не смущается своего пожилого свекра.

Однако такие слова смутили и самого Абиша: его обветренное лицо загорелось алой краской. Он повернулся, резко, по-военному щелкнув каблуками, и распахнул дверь, за которой стояла красавица Магыш. Все еще робея и опустив голову, она, наконец, вошла в комнату.

Высокая, стройная молодая Магыш – ее облик, казалось, складывался из самых противоречивых черт, но в целом составлялся на удивление гармоничный образ. Так, большие серые глаза, которые она подняла и тотчас опустила, самым удачным образом сочетались с темными волосами и черными дугами бровей, а дивная форма ее полных розовых губ, сложенных в легкую чарующую улыбку, подчеркивала кротость и беспорочность ее белого, как чистое молоко, лица. Здороваясь с невесткой, Абай ласково назвал ее «карагым»[1], проявив тем самым нежное родительское чувство.

– Не устала ли в дальней дороге моя Магыш, не выбилась ли из сил? – осторожно спросил Абай, на что Магыш ответила кротко, тихо, что, впрочем, не могло скрыть ее красивого голоса:

– Нет, ага, совсем не устала.

Как ни желал Абай, чтобы его дети остались возле него, он все же считал опасным их пребывание в этой части города. Нельзя было скрывать от них истинного размера бедствия. Сейчас же, не распрягая коней, они как можно быстрее должны

[1] *Карагым* – голубушка.

отправиться на ту сторону реки, в дом одного образованного человека по имени Данияр, удобный и не особо почитаемый гостями. Абиш тоже знаком с Данияром, и они немедленно поедут туда, – Абай заранее принял такое решение.

Когда Баймагамбет вышел во двор, сопровождая Магыш, Абай тронул сына за рукав и задержал его в доме. Глядя вслед стройной невестке, идущей по двору к экипажу, Абай сказал сыну:

– Как ты думаешь, нужны ли ей все эти степные наряды – кимешеки да желеки[1]? Я смотрю, Дильда повязала на Магыш толстый шелковый платок, желая подчеркнуть ее красоту, но в итоге, наоборот, скрыла ее! Нет, степная одежда, я думаю, не подойдет для нее в городе.

Сказав так, Абай с улыбкой посмотрел на сына. Тот поблагодарил его за эти слова легким поклоном. Выходя во двор, Абиш тоже улыбался – был доволен, что отец угадал его собственные мысли…

Радость встречи с сыном и невесткой, конечно, отвлекла Абая от тяжелых дум, немного рассеяла его печаль… Но, едва на улице стихли стук копыт, скрип колес повозки, в которой отъехали молодые, вся тяжесть от разговора с Дамежан, от посещения других соседних домов, встреч с людьми, снова навалилась на Абая.

И вновь он слышал скорбные голоса и тяжкие вздохи людей, попавших в объятия беды, горькие стоны и рыдания вдов и сирот. И собственная беспомощность давила его так же, как и стенания, доносящиеся до него из многих домов. Что может он сделать, как помочь умирающим? Все, что он смог,– это передать людям несколько советов через Сармоллу. И, судя по тому, что уже происходило в городе, эти слова не пропали даром. Многие верили Сармолле, и далеко не каждый обвинял его в вероотступничестве.

---

[1] *Желек* – тонкий шелковый платок, который молодые женщины носят в первые месяцы замужества.

Одно обстоятельство, о котором сегодня за утренним чаем поведал Абаю хозяин дома, насторожило его. Проводив Абиша, Абай все ходил по комнате из угла в угол, размышляя над словами Кумаша, сказанными со свойственной ему прямотой и чистосердечием.

Оказывается, вчера ночью, будучи в мечети на ястау, Кумаш виделся с муэдзином и халфе. Кроме того, в последние дни на базаре он встречал Сейсеке, Касена, Отарбая. Новости, услышанные от всех этих людей, были тревожны.

– Похоже, муллы и торгаши люто возненавидели Сармоллу, – сказал Кумаш. – Нет слов, как они обозлены! Даже и помыслить не могу, чем все это может обернуться.

Разговор с Кумашем навел Абая на мысль сходить к Павлову, посоветоваться с ним.

Павлов квартировал в русской части слободы, в одноэтажном доме под серой крышей, между пожарной каланчой и больницей. Подойдя к этому дому, Абай заметил, что ставни окон, выходящих на солнечную сторону широкой улицы, прикрыты лишь наполовину. Легкая калитка была хорошо смазана и не скрипела, – толкнув ее, Абай оказался во дворе русского дома. Посреди открытого двора стоял высокий колодезный сруб, над ним возвышался деревянный журавель. Далее был птичник, где вереницей ходили куры, гуси, утки. Был здесь и небольшой загон для скота под низким навесом.

Дом, где квартировал Павлов, принадлежал часовщику Савелию, человеку аккуратному и чистоплотному, о чем говорила вся обстановка – от наглухо закрытой бочки с водой в углу прихожей, до красного и синего, новых кусков мыла, лежавших на жестяных крылышках умывальника.

Все это – и высокий умывальник, крашенный в ярко-синий цвет и казавшийся настоящим произведением искусства, и банный веник, торчащий из-под балки потолка, – говорило о том, что в этом доме живут русские и живут порядочно.

Всего здесь было четыре комнаты: половину занимал часовщик, в двух других жил Павлов с женой.

Оба были дома, когда Абай зашел. Не только горькие думы о злосчастной судьбе бедняцких домов беспокоили его, но не так давно стали одолевать и некие сомнения, разрешить которые могла бы только Александра Яковлевна, с ее знаниями и опытом врача.

– Две недели назад, – сказал он ей, – когда я только приехал сюда, в городе было не так много случаев заболевания, смерти людей. Почему же болезнь распространяется так быстро? Не значит ли это, что холера не остановится, пока не скосит весь народ? И как остановить ее?

Александра Яковлевна долгим взглядом посмотрела на Абая, в ее усталых, совершенно изможденных глазах стояла печаль, тяжелое знание врача, которому известно многое…

– Теперь люди редко участвуют в жаназа и хатыме, – продолжал Абай, пока не дождавшись ответа. – В последнюю неделю в мечети собирается немного людей. Почему же болезнь только усиливается?

Александра Яковлевна разделяла печаль Абая, ей тоже было горько от людских слез, чей поток казался нескончаемым, словно горный сель. За последние дни ее лицо изменилось, осунулось, на висках сквозь кожу проглядывали темные прожилки вен. Она постаралась обстоятельно ответить Абаю на его отчаянный вопрос:

– Дело в июльской жаре. В жаркие дни зараза распространяется быстрее. Когда вы только приехали, Ибрагим Кунанбаевич, эпидемия едва начиналась. Конечно, мечеть, жаназа делают свое. Многие участвовали в обрядах в самом начале, теперь заражают своих домочадцев.

Но следующие слова врача подавали какую-то надежду, рассеивая совершенно безнадежную печаль Абая:

– В ближайшие две недели болезнь должна пойти на убыль и прекратиться примерно через месяц. В прохладе августа она

начнет утихать. Я, пожалуй, сейчас несколько поясню и причины того… Холеру, как и другие заразные болезни, распространяют микробы. В жаркую пору они распространяются особенно вольготно. Но прохладу они не любят, постепенно ослабевают, гибнут, истребляются сами собой. С холодами болезнь утихает и вовсе прекращается.

Абай и Павлов сидели на диване, слушая Александру Яковлевну. Раз-другой они ободряюще переглянулись. Чтобы как-то развеять тревогу, Александра Яковлевна рассказала забавный случай, происшедший сегодня в больнице. Ее бескровное, давно не знавшее улыбки лицо несколько потеплело. Придя утром в больницу, она неожиданно столкнулась с неким обстоятельством, которое, не будь вокруг столько горя, могло бы показаться смешным…

С самого начала эпидемии горожане стали видеть на улицах странные черные арбы. Никогда прежде народ не знавал ничего подобного, и черные арбы очень пугали людей, они казались как бы предвестниками смерти.

На самом деле, это были обыкновенные арбы, только приписанные к больницам. Сверху на эти холерные повозки были водружены брезентовые палатки, со всех сторон закрытые. Чтобы не распространять заразу, брезент и сама арба смазывались карболкой, а она черна, как деготь. Вот и получались черные арбы, которые ездили по городу от больниц, два раза в день, утром и вечером, подбирая на улицах трупы, отвозя в больницу тяжело больных.

Сегодня утром две такие арбы уже успели вернуться со своего объезда. С одной из них сняли двух мужчин. Все думали, что это люди, больные холерой, однако те вдруг начали материться и артачиться, бурно сопротивляться, сильно недовольные тем, что их тянут с арбы. Вскоре выяснилось, что это вовсе не больные, а просто вдрызг пьяные: они валялись на улице, и санитары приняли их за больных и подобрали. Вывалившись из арбы на землю, эти пьянчужки почему-то сразу набросились друг на

друга. Один был длинный, с изрядно помятой рыжей бородой, и он попытался подшутить над своим товарищем – маленьким лысым толстячком.

– Говорят же тебе, что ты больной, – гоготал он. – А ты прикидываешься, будто не больной, а пьяный! Зачем обманываешь таких хороших людей?

Толстяк, не ведая, куда он попал, все отмахивался кулаками, еле раскрывая свои опухшие глаза. Затем его короткие руки стали беспрестанно шарить по карманам бешмета, будто бы он пытался определить место своего пребывания, исходя из содержимого карманов. Вскоре он вытащил из правого кармана бумажник и долго, покачиваясь на месте, тупо смотрел на него. Положив на ладонь этот засаленный бумажник, он разглядывал его с удивлением и даже с опаской. Можно было подумать, что он видит эту вещь впервые…

В этот миг длинный, рыжебородый, который тоже стоял рядом, пошатываясь, и шарил по своим карманам, приметил этот бумажник в руках толстяка, и тут же начал его дубасить, впрочем, довольно вяло шевеля ослабевшими руками. Махал кулаками, не попадая, и приговаривал, продолжая зловеще улыбаться:

– Ах ты грабитель, ворюга, пьяница!

Оказывается, эти люди пили в разных местах, однако упали на улице почти что рядом. Но первым прилег отдохнуть рыжебородый, затем его увидел маленький толстяк и обшарил его карманы. Завладев бумажником, он, разумеется, хотел убежать, даже проковылял с полквартала, но выпитое не в меру вино свалило его. Если врачи были удивлены, что санитары привезли на черной арбе отнюдь не больных, то сами подобранные были не менее поражены случившимся. Один оказался вором, другой обкраденным, – и волею странной судьбы они нашли друг друга. Оба вскоре перестали волтузиться, и только недоуменно переглядывались, почесывая затылки. И на пьяных

их рожах читалась глубокая мысль: «Что это за чушь творится в этом бренном мире, словно не жизнь все это, а сон?»

Рассказанное Александрой Яковлевной событие, по своей сути жутковатое, по-разному отозвалось в душе Абая и Павлова. Улыбаясь и покачивая головой, Павлов, видимо, отметил лишь смешную сторону происшествия. Абай же оставался серьезным. Он вспомнил свои стихи, написанные о подобных людях:

И жизни будешь ты не рад,
Коль ты не глуп, не пьян…[1]

Вслух, однако, он не посчитал уместным прочесть эти иронические строки, зато поделился с хозяевами дома серьезными мыслями, заложенными в них:

– Хоть смейся, хоть плачь! В этой тяжелой жизни, которую влачат горожане, иной может найти себе и такое утешение: добровольно примет такое безумие, как бы досрочно уйдя из жизни, сказав на прощанье: «Оставьте меня! Это и есть мой удел». Эх, кого только не встретишь среди людей этого мира!

Абай рассказал Павлову в общих чертах все, что узнал и увидел за последние дни, Павлов, в свою очередь, поделился своими переживаниями, связанными с городской напастью. Он частенько бывал среди портовых рабочих Затона на том берегу, посещал также кожевенный, пимокатный, шерстобитный, сыроваренный, водочный заводы, большие и малые магазины, дружил с лодочниками по обеим сторонам реки. Подробно рассказав Абаю о том, что видел собственными глазами, он в сердцах воскликнул:

– Что за собачья жизнь! Ибрагим Кунанбаевич, все здесь застыло в одном и том же состоянии, давно и хорошо мне знакомом – нищета и мучение, тяжкое, беспросветное существование… Где, как не здесь, разгуляться злополучной болезни?

---

[1] Перевод Я. Смелякова.

В ответ Абай рассказал своим друзьям историю с обращением Сармоллы, и она очень порадовала их.

– Таких людей надо всячески поддерживать, помогать им! Надо воодушевить Сармоллу, чтобы он ничего и никого не боялся, не прекращал, а продолжал то, что уже начал! – с горячностью воскликнул Павлов.

И тут же, подхватывая и перебивая друг друга, супруги принялись давать Абаю дельные советы – о том, как научить людей бороться с болезнью, а именно – пресечь болезнь до ее начала, уберечься от самой заразы. Были кое-какие средства, и о них надо как можно быстрее оповестить людей, особенно казахов. Казалось, у Павловых нет иной печали, кроме искренней заботы о людях, попавших в лапы болезни. Они готовы оказать любую помощь, посильную поддержку несчастным. Супругами движет самое настоящее, высокое сострадание!

Видя эти искренние порывы души своего друга, его самоотверженной жены, Абай в который раз подумал и о себе: что люди могут сильно нуждаться и в нем самом. Теперь, выслушав вполне ясные слова врача, Абай понял, что надо делать, как действовать, чего он прежде просто-напросто толком и не представлял. Он знал, что именно скажет жителям города по обоим берегам, и как скажет. Он твердо знал, что вот-вот найдет способ, как это сделать…

Александра Яковлевна также хорошо понимала значимость Абая для казахов, живущих в городе. Слова такого авторитетного человека были бы важны и весомы для каждого, даже для религиозных глав, которые замышляют всякое зло против Сармоллы. Кто же, как не Абай, может вмешаться в происходящее? И Александра Яковлевна, с присущей ей деловитостью, принялась рассуждать, что, как казалось ей, надлежит сделать Абаю:

– Идите к ним, вы же ведь мусульманин! Если вы ходите в эту мечеть, тогда тоже возьмите слово на пятничном намазе.

Ибрагим Кунанбаевич, почему бы вам не выступать среди верующих?

Она говорила с несвойственной ей горячностью, ее бледное, с тонкими чертами лицо тотчас запылало.

Многого она еще не знала о человеке, которому давала советы. Павлов и Абай переглянулись, невольно улыбаясь. Абай в нескольких словах рассказал ей о своем мусульманстве, чем даже рассмешил женщину. Дело было не только в том, что мечеть, минбер в мечети, откуда произносятся речи – место только для выступления имама да халфе, но и в том, что сам Абай не то чтобы пять раз на дню присутствовать на намазах, – но даже и раз в пять месяцев не удосуживается посетить мечеть.

Все же, покидая дом, Абай дал обещание Павловым, что найдет возможность передать казахам по обе стороны реки все их полезные, жизненно необходимые советы.

Назавтра пополудни, в самый знойный час дня, Абай вышел на берег у переправы и сел в большую лодку, перевозившую людей на ту сторону.

В этой вместительной посудине уже было полно народу. Хозяина звали Сеил, он стоял на корме босой, с пеньковым арканом в руке. Чтобы пересечь Иртыш, причалив точно напротив, надо было сначала подняться вверх по течению, на значительное расстояние вдоль берега. Сеил бросил аркан двум молодым лодочникам, которые, также босые, ждали на прибрежном песке.

– Тяните! – коротко распорядился Сеил, и крепкие джигиты, накинув длинный аркан на плечи, потащили лодку бечевой.

Широкая, покрытая палубой лодка шла медленно, чуть покачиваясь, Сеил перебрался на корму и, тяжело орудуя длинным шестом, то легко подравнивал ход парома, то натужно, со всей силой толкал его вперед, подсобляя взмыленным помощникам.

По мере того как лодка, влекомая за пеньковый канат, продвигалась вверх по течению, перед глазами Абая разворачивалась череда улиц слободки, упирающихся в берег реки. В этот

час на улицах было много народу, все шли с коромыслами на плечах, легко сбегая к реке, гремя ведрами, и, тяжело согнувшись, – обратно. Это были женщины – пожилые, молодые, а то и совсем девочки-подростки. Порой к берегу спускались телеги с бочками, лошади по колено заходили в воду. Бочки были большие и малые, старые и новые. Взгляд невольно останавливался на водовозках, ярко окрашенных в разные цвета: красный, зеленый. Такими бочками возили воду в дальние богатые дома, и были они столь же яркими, как и сами эти дома, которые назывались в народе: «дом с зеленой крышей», «красный каменный дом».

Здесь, возле Семипалатинска, вода Иртыша славилась своей чистотой, особенно в такие ясные дни, когда давно не было дождей, несущих с берегов всякую муть. Сейчас солнце стояло высоко, и полноводная река светилась пронзительной голубизной, отражая безоблачное небо, чуть отдавая зеленым вдали, на плесе.

Теперь Абай смотрел на эту чистую воду с ужасом, он думал о той заразе, которую несет людям красавец Иртыш. Трудно было представить, что в таких голубых, золотом играющих на солнце водах, на самом деле растворена невидимая, безмолвная смерть, от которой никуда не деться – ведь у людей в городе нет другой воды! Все жители среднего жатака, головного жатака забирают воду из Иртыша, подвергая себя смертельной опасности заразиться холерой. Но пусть даже скажут: не вода это, а яд – все равно, где взять людям воду, как не в Иртыше? Эта мысль и нагоняла страх, и казалось Абаю, что все его усилия бесполезны, а сам он – беспомощен… Все эти жалкие дома, прилипшие друг к другу мазанки, бедные ветхие дворы за старыми, кривыми заборами, – были равны перед смертью, которую несла эта прекрасная вода!

В середине лета река изрядно мелела, и паромную лодку местами приходилось проводить чуть ли не волоком: паромщик просто-напросто спрыгивал в воду и толкал ее руками. Пяти-

десятилетний Сеил, весь сморщенный, с глубокими складками вокруг глаз, со щеками, изъеденными оспой, не носил на своей работе обуви, готовый в любую минуту спрыгнуть с лодки. На нем были просторные, местами порваные дамбалы[1], когда-то белые, теперь довольно испятнанные. Он то опрокидывался на спину, натягивая аркан, то сгибался, втыкая шест в дно реки, тяжело отталкиваясь.

Подтянув лодку достаточно вверх по течению, двое джигитов подошли к ней, по колено в воде, на ходу сворачивая веревку, влезли на паром и взяли в руки весла. Лодка теперь пошла поперек реки, медленно сносимая течением. Сеил, оказавшийся неожиданно гибким и сильным для своих лет, отталкивался шестом. Будто угадав мысли Абая, он вдруг стал расспрашивать его насчет холеры, но прежде рассказал немного о своих бедах.

Оказывается, недавно у Сеила умерли два маленьких сына, шести и восьми лет, умерли сразу, в один день… Здесь, внизу, где жил Сеил, смертей было не меньше, чем в головном жатаке, о чем говорила Дамежан. Молодой джигит, сидевший на веслах, сказал, что и его невеста умерла на днях. У второго умерла мать, и теперь некому было варить еду и присматривать за его младшими братиками-сиротами.

Тяжело посмотрев на Абая, Сеил спросил:

– Мырза Абай, есть ли какое-то снадобье – спасение от холеры? Неужели она так и будет уносить жизни людей?

Он говорил с надеждой, будто бы ожидая, что Абай наверняка поможет ему. Был у него еще один сын, пятнадцатилетний подросток. Он слег вместе с братьями, но болезнь пока не сумела одержать над ним верх. Совершенно ослабев и до смерти напугав домочадцев, когда все уже решили, что душа его покидает тело, он вроде бы стал понемногу приходить в себя.

Жена Сеила была слабая, хворая, она тяжело переносила любые несчастья. Когда разом слегли трое ее сыновей, она

---

[1] *Дамбалы* – штаны.

потеряла рассудок, никого не узнавала вокруг, не смогла даже ухаживать за ними, готовить еду. Старая мать Сеила, не в силах больше видеть того, что происходит в доме, сама решила умереть, свернувшись калачиком, в глубокой скорби лежала на полу и все не переставала твердить: «Меня, меня возьми! Я жертвую собой ради внуков, забери меня, оставь в живых хотя бы одного». С утра до ночи дом Сеила оглашался горьким плачем, скорбными стенаниями. Рассказав обо всем этом Абаю, Сеил спросил:

– Астапыралла! Если старший сын не выздоровеет, то, пожалуй, моя жена и матушка раньше умрут от горя и печали, нежели от холеры. Абай-ага, раз болезнь начала отступать, то вернется ли она снова?

– Все позади, Сеил! – уверенно ответил Абай. – Твое счастье, что хоть один из троих сыновей остался жив. Считай, что он спасся от заразы, коль преодолел первые дни. Эта болезнь не приходит дважды.

Абай сказал все это не ради утешения, а вполне со знанием дела.

Тем временем лодка, переплыв Большой Иртыш, подошла к зеленому острову с отвесными обрывистыми берегами. Молодые лодочники, сидевшие на веслах, взяв в руки аркан, спрыгнули в воду и снова, ступая по мелководью под самым обрывом, стали тянуть паром мимо лесистого Полковничьего острова, в сторону протоки Карасу, отделявшей остров от Большого Семипалатинска.

В лодке позади Абая сидело человек десять. Чтобы облегчить паром, все принялись перелезать через борт, ступая в неглубокую быструю воду, в том числе и две женщины-татарки в тонких черных чапанах. Двинулся было и Абай, но Сеил махнул ему рукой, сказал с большим почтением:

– А вы оставайтесь, мырза Абай! Ничего не случится, сидите!

Абай резко обернулся, всем своим массивным телом, отчего паромная лодка даже закачалась на волнах. В эту минуту две татарки, придерживая воротники чапанов, накрывавшие их головы, вылезали на берег.

– Негоже мужчине сидеть, когда даже и женщины выходят! Все-таки не старый я, не больной, – сказал Абай, но Сеил в ответ лишь засмеялся, отчего его лицо еще больше сморщилось, а за сухими, треснутыми губами показались желтые сломанные зубы.

– Ничего, Абай-ага! Эти женщины привыкли ходить пешком и даже устают, если случается долго сидеть. Вы не смотрите на них, они просто пошли поразмяться.

Когда они остались вдвоем в лодке, Сеил тихо заговорил о Сармолле, передав Абаю суждения, ходившие среди жителей нижнего жатака. То, что поведал Сеил, раскрывало всю историю с совершенно неожиданной стороны:

– Верно ли все, что мы слышали, мырза Абай? Не оттого ли Сармолла впал в немилость, что решил предостеречь людей от холеры, от заразы? Ведь он посоветовал не собирать гостей на жаназа, не устраивать большой заупокойной трапезы, как в прежние времена. А ведь это значит, что муллы не получат ни гроша подаяний. Все это называют теперь его посланием к простым людям. Конечно же, такое пришлось не по душе имамам обеих мечетей, главной и нашей нижней. Теперь они ненавидят Сармоллу. Поговаривают, что они не успокоятся, пока и вовсе его не сживут со свету. А для этого у них есть верные подручные, с соилами, камчами и кинжалами в руках. Слышали вы что-нибудь об этом, мырза?

Абай похолодел. Ведь неспроста Сеил завел такой разговор...

– К чему ты говоришь об этом, что тебе известно? – ответил он вопросом на вопрос.

– Говорю, потому что знаю некоего торгаша по имени Отарбай, который обычно вместо слов пускает в ход камчу, – сказал

Сеил. – И он не один, есть у него такие же, как он, приспешники, тоже торгаши и тоже любители помахать камчой, Семейкан и Корабай. А водят дружбу они с пьяницами, картежниками, ворами и душегубами, что промышляют на пристани… Таким ничего не стоит зарезать человека, если их попросят.

– Я, конечно, слышал о стычках между муллами, – задумчиво проговорил Абай, – но разве они осмелятся пойти на такое?

– Дом Отарбая стоит неподалеку от моего, тут же, на берегу, – сказа Сеил. – И к нему, и ко мне ездит один и тот же старик-водовоз. Он сам слышал, когда привозил воду, как эти люди, собравшись в доме Отарбая, грозились изничтожить Сармоллу. Сказали, мол, что он насолил всем видным баям города. Что в пору великой беды этот вероотступник желает столкнуть с яра в бездну своих же соплеменников – мусульман. Сбить людей с пути истинного.

– И они говорят такое? – возмутился Абай. – Ведь слова Сармоллы проникнуты только заботой о людях!

– Так поведал старик-водовоз. Они говорят, что Сармолла хочет отбить народ от мечети, имама, хазрета, тайно затаскивает людей под влияние русских. Поэтому он и проклят сразу двумя имамами. И теперь эти люди с камчами считают его за подстрекателя и хотят наказать его по мусульманскому закону, безжалостно истребить изгоя.

– Когда ты слышал об этом?

– Вечером в среду.

Прошло уже три дня… От этой вести Абаю стало не по себе. И без того было тяжело на душе, но теперь и вовсе стало невмоготу. Абай вспомнил, как сам говорил Сармолле, что надо позаботиться о народе, довести до людей дельные советы, наставления… Выходит, Сармолла пошел на самые смелые действия и теперь стал известен в народе как человек, который искренне заботится о простых людях. Сармолла выступил в одиночку, он не боится подставить голову под камчу. Такие, как лодочник Сеил, обитатели бедных домов жатака, живущие в пе-

чали, плаче и стенаниях, восприняли его слова с одобрением, но хазреты, халфе и баи думают по-другому.

Пусть бы хоть половина того, что сказал Сармолла, дошла до людей. Тогда Абай, если это будет ему под силу, непременно должен донести до них другую половину.

Обойдя сверху Полковничий остров, широкая паромная плоскодонка вошла в быстрые воды Карасу. Этот неширокий рукав Иртыша люди порой называют рекой, но Карасу – вовсе не отдельная речка, а один из протоков, огибающий остров. Большой Семипалатинск находится как раз на правом берегу Карасу, скрытый от левобережной слободы Бержак за густым высоким лесом.

Сейчас, когда зеленый остров остался за кормой, на приближающемся правом берегу перед глазами Абая во всей своей широте разворачивался город. Издали отчетливо были видны широкие улицы, спускавшиеся прямо к воде, ряды множества больших и малых домов, тянувшиеся до самой реки. Среди них, возвышаясь точно напротив переправы, была хорошо видна паровая мельница, принадлежащая знаменитому татарскому баю Мусину, – белое многоэтажное здание с трубой из красного жженого кирпича. Сейчас, в безветренную погоду, черный дым из трубы стоял прямым высоким столбом. Казахи эту паровую мельницу с красной трубой называли «красный барабай»[1].

Выше и дальше от чадящего «барабая», на площади, что была заложена на вершине холма, виднелась двухэтажная белокаменная контора окружного суда. Возле нее, чуть ниже по косогору в сторону реки, сверкали купола Плещеевской церкви, под ней – зеленые крыши деревянных двухэтажных домов, выкрашенных в белый цвет.

В отличие от левобережной слободки Бержак, это был почти целиком русский город: здесь шла совсем другая жизнь, движущаяся иной поступью – чего только стоило ее звуковое эхо: зыч-

[1] *Барабай* – (искаж.) паровая.

ный гудок того же «барабая» степной казах принимал за вопль какого-то чудовища, а многозвучный перезвон церковных колоколов также был в диковинку, по сравнению с широкой тишиной степи… Многоэтажные конторы, трубы и корпуса фабрик, золото крестов и куполов – все это было чуждо, непривычно степному человеку, который вступал в этот шумный мир из своего тысячелетнего кочевого обитания.

Любуясь городом, пытаясь его постичь, Абай и не заметил, как лодка, обогнув остров, подошла к его песчаному берегу, где уже стояли и ждали ее люди, что сошли ранее на мелководье и самостоятельно перешли остров на другую сторону. Это были горожане, казахи и татары, стар и млад, все были одеты в разномастные одежды. Здесь же стояли и те две женщины-татарки, они, как всегда, плотно прикрыли лица отворотами черных чапанов, так что глаза только поблескивали в узких щелочках. Увидев лодку, они первыми неспешно пошли к ней, за ними двинулись и все остальные. Оставалось преодолеть последний отрезок переправы – от Полковничьего острова через Карасу и до городского берега...

Когда толпа приблизилась, Сеил прекратил свои речи, лишь напоследок, пригнувшись к Абаю, добавил:

– Я и сам всей душой расположен к Сармолле. Думаю, что и вы тоже. Говорят, в мечети, когда возникла эта перепалка с муллами, Сармолла заявил: «Те же слова скажут вам и другие сведущие люди, особенно такие уважаемые в народе, как Абай». Вот и я теперь говорю эти слова, и вовсе не собираюсь оказывать в холеру свое почтение хазрету или другим ишанам.

Абай подумал, что Сеил настолько доверяет ему, что готов раскрыть даже свои тайные мысли. Однако он был озадачен, услышав подобное откровение из уст простого человека. Он внимательно посмотрел на Сеила своими широко раскрытыми глазами, – и в ответ уловил взгляд острый, полный пытливого ума.

– Почему же он так сказал обо мне? – спросил Абай.

Сеил оттолкнулся шестом, чуть дальше отведя лодку от берега, от людей, которые могли услышать, шагнул по настилу поближе к Абаю и тихо ответил:

– Об этом мне также известно. Все знают, что Сармолла встречался и советовался с вами. Вот почему казахи головного и нижнего жатаков с особым интересом прислушиваются к его словам, говоря, мол, это послание исходит от самого Абая!

Наконец, широкая посудина ткнулась в берег, со скрипом скользнув днищем по мелким камням. Люди принялись залезать в лодку, отчего грузный Абай, сидевший на корме, закачался из стороны в сторону.

Было ясно, что при посторонних Сеил больше не произнесет ни слова, но за то, что он поведал ему, Абай был ему весьма благодарен – за откровение, за доверие… Он сказал лодочнику:

– Рахмет, Сеил! Обо всем этом я и не слышал, не знал. Все, о чем ты говорил, я хорошо запомню.

– И я не забуду ваших слов! – отозвался Сеил, втыкая шест в дно.

Вскоре лодка пересекла протоку Карасу, причалила к городскому берегу, и Сеил, помогая тучному Абаю сойти, заботливо подхватил его под руку и проводил до твердой земли.

3

Абай поискал глазами извозчика, осмотрев простиравшуюся перед ним площадь. Не было ни привычного возницы на легкой коляске, ни ломового на плоской, низкой арбе. Абай пошел пешком к дому, где квартировал Абиш.

Его кебисы сразу забились песком. На улицах Большого Семипалатинска, в отличие от слободки, всегда лежал толстый слой песка и серой пыли. Здесь было тяжело идти пешком, особенно в гору, как шел сейчас Абай. Ему казалось, что он спутанный конь, так и бредет со связанными веревкой ногами.

При каждом шаге он скользил назад, порой хватаясь за доски заборов. Хорошо еще, что ветра не было! Обычно в ветреные дни здесь случались настоящие песчаные бури, уличная пыль столбами ходила между заборов и стен…

Тяжело дыша, весь мокрый от пота, Абай, наконец, вышел на нужную улицу. Здесь стояли хорошие двухэтажные дома, все как на подбор бревенчатые, с высокими воротами, ставни окон крашены в разные цвета. Ворота также были разрисованы красным, голубым, желтым. Все без исключения крыши домов в этой части города также были крашенными.

Улица Мир-Курбан начиналась в центре и тянулась к Татарской слободке. Здесь почему-то было куда меньше песка, нежели на соседних улицах. Небольшой, пригожий домик, снизу из белого кирпича, сверху из новых бревен, который искал Абай, стоял в начале улицы Мир-Курбан, в переулке по левую ее сторону. Абай отворил калитку и вошел во двор, думая, что вот-вот встретит своего Абиша.

Хозяева этого дома были особенными людьми, не похожими на городских торговцев, обычных казахов и татар. Таких людей в Семипалатинске называли *каратаяками*[1] – это было прозвище грамотных казахов. Получив русское образование, они одевались на городской манер, служили в различных конторах и учреждениях: крупные и мелкие толмачи, писари и фельдшеры, а также врачи.

Таковым каратаяком был и Данияр Кондыбаев, хозяин дома, где остановились Абиш и его молодая жена. Он служил толмачом в одном из самых больших и солидных ведомств этого города – Семипалатинском Государственном банке.

Иною, нежели прочие горожанки Семипалатинска, была и жена Данияра, красавица Афтап. Не татарка, не казашка, не русская – она родилась и выросла среди узбеков в городе Маргелане в Туркестанском крае, была дочерью тамошнего мелкого бакалейщика.

---

[1] *Каратаяк* – чернопалочник.

Такие люди, как Данияр, образованные казахи, стали появляться в городе не так давно, и с каждым годом их становилось все больше. Данияр сумел выучиться, зацепиться за должность чиновника хоть и низшего ранга, но с довольно значительным заработком, что позволило ему жить здесь в относительном достатке.

А ведь лет двенадцать-тринадцать назад именно Абай послал его учиться русской грамоте…

Маленький Данияр ревел всю дорогу, будто осиротевший верблюжонок, когда атшабар Жумагул, теряя терпения от этих воплей, вез его на скрипучей арбе в город. Откуда было знать малышу, что нынче он станет таким – успешным чиновником, живущим совсем другой жизнью, чем кочевой люд? Он был одним из беспризорных детей степи, выбран как сирота, за которого не могут постоять его родичи, и послан на учебу, согласно распоряжению уездного чиновника: «С каждой волости отправить в школу троих детей».

Школа, куда отдали мальчишку, называлась Русско-киргизское училище. Его открыли по специальному указу правительства лет сорок назад, с целью обучения казахских детей. Задачей подобных школ была подготовка из местных казахов толмачей и помощников, мелких чиновников, в которых нуждались царские конторы.

Когда Данияр поступил учиться, оказавшись среди таких же, как и он, казахских ребят-сирот, своих ровесников, приехавших из разных мест, на него надели новую, добротную, удобно сшитую одежду, поставили на довольствие, обеспечили постельным бельем. Отныне он должен был жить по-городскому, обучаться грамоте и некоторым наукам, строго соблюдать распорядок общежития. Уже через несколько недель в Русско-киргизском училище Данияра признали как одного из самых дисциплинированных своих учеников.

Он был далеко не единственным каратаяком, которых направил учиться лично Абай. Уже переступили пороги контор

Самалбек, Орманбек, Нурлан, немало степных мальчишек пока еще обучались в Семипалатинске. Абай то направлял, пользуясь своим авторитетом, а то и сам привозил и устраивал в интернат таких беспризорных сирот, как Данияр. Порой подобные действия могли выглядеть даже каким-то принуждением для детей, но Абай был твердо убежден в том, что казахские дети должны учиться русской грамоте, и прилагал к этому значительные усилия.

Иные из этих детей оказались столь же упорными и целеустремленными, как Данияр. Проучившись около шести лет в начальной русской школе, он успешно окончил ее. Неожиданно, никому не говоря ни слова, ни с кем не делясь своими намерениями, он уехал в Ташкент, вместе с одним из своих однокашников, джигитом с Туркестанского края. Два года Данияр служил в Ташкенте, затем – три года в Маргелане. Накопил значительную сумму денег, женился на одной из самых прекрасных девушек Маргелана и привез Афтап в родные края. Вернувшись в Семипалатинск, Данияр устроился на службу в банк, а на средства, накопленные им в Туркестане, приобрел этот дом.

Маленький, с оттопыренными ушами, узким разрезом глаз и широким лбом, он был на голову ниже своей жены. Впрочем, несмотря на свой рост, выглядел он весьма привлекательно: на смуглом лице проступал детский румянец, а задорная внешность, с вздернутым носом, вызывала у собеседника самые доверительные чувства, словно к доброму ребенку. Именно поэтому, как в шутку утверждал сам Данияр, крупная, статная, красивая лицом Афтап и полюбила его. Худощавый, низкорослый Данияр смог привлечь эту чернобровую красавицу своими неудержимо веселыми, смешными проделками, которые не прекращались ни на день. Молодые супруги казались счастливыми. У них детей еще не было, и жили они в свое удовольствие в четырехкомнатном двухэтажном доме. Держали прислугу, по-

жилую женщину по имени Майсара, которая занимала одну из комнат наверху.

Сегодня за утренним чаем Данияр поведал Абишу и забавную тайну своей семьи:

– А я ведь хитростью заманил жену в Семипалатинск из далекого Маргелана!

Это было похоже на одну из его обычных шуток, но ведь действительно – Афтап родилась и выросла в Туркестанском крае и совершенно не имела представления о здешних казахах, русских, о городе, о жизни степи. Вот и получалось, что Данияр привез ее в совсем незнакомые края…

Гости рассмеялись, и ободренный Данияр пошел расписывать дальше; но сначала он принялся за Магыш, пытаясь утвердить схожесть судеб двух столь разных семей:

– Вот, например, Магыш… Не успел джигит на тебе жениться, как тоже увозит в какую-то даль!

Абиш годился Данияру в младшие братья, но превосходил его образованием, к тому же носил звание офицера. Данияр относился к Абишу с особой теплотой и уважением, как и к его отцу. Однако веселый нрав брал свое, и Данияр продолжал свою игривую мысль, весело подмигнув Абишу:

– Вот так мы, каратаяки, и обманываем своих жен, пользуясь их безграничной доверчивостью! Верно, Магыш? Супруг ведь не перестает твердить тебе: «Ах, как прекрасен город Алматы, он совершенно иной, чем этот!» И голос его, я думаю, так приятен при этом, так деликатен…

Абиш не сказал ни слова – лишь тихонько рассмеялся. Украдкой он бросил взгляд на жену, которая смутилась от слов Данияра, словно стыдясь разговора о себе, и ее белые щеки запылали алым маком. Но Абишу было любопытно, как ответит Магыш. Молодая женщина не заставила себя долго ждать: она прекрасно восприняла лукавое острословие этого весельчака и балагура и, переборов смущение, своим прелестным голосом вернула шутку:

– Выходит, Данияр-ага, что вы в свое время точно так же обманули тетушку Афтап! Так ведь? Поведайте же нам об этом ужасном поступке.

Данияр не стал скрывать своего восхищения ответной шуткой Магыш, очевидно, находя в жене своего друга родственную душу.

– Ну слушайте… – начал он. – Сперва, однако, я только замечу, что уже не раз понес наказание от Афтап за это.

Все приготовились слушать, и Данияр, смешно подражая голосам, начал рассказывать об одном прошлом эпизоде своей супружеской жизни.

– Сам Господь послал мне мою ненаглядную Афтап! Поженившись, жили мы с нею в хорошем доме, в городе Маргелане, а вокруг дома был разбит прекрасный сад. О такой жизни можно только мечтать, но я же, грешный, всеми своими мыслями был в родных краях. Даже и заснуть не мог по ночам, все думал: «Когда же увижу милый моему сердцу Семей-город, да и увижу ли?» Жили мы с Афтап душа в душу, во всем она меня понимала, кроме одного… Я ей говорю: «Уедем из Маргелана, будем жить в Семипалатинске», – она и бровью не ведет. Как же! Мать-отец рядышком, в саду зреют ее любимые фрукты, двор полон благоухающих цветов, над головой поют соловьи, а неподалеку – прохладный хаус[1] с изумрудно чистой водой. Не внемлет она моей печали-тоске, говорит: «Зачем мне твоя Сары-Арка!» А сама просто без ума от своего сада, цветов, винограда, яблок, от обилия иных сладких и ароматных фруктов!

– И вот, однажды осенью, когда поспели яблоки, сидим мы вдвоем с Афтап под яблоней во дворе, и я начинаю свой хитрый разговор. Говорю: «О, ненаглядная моя Афтап! Разве здешние яблоки, виноград – настоящие фрукты? Разве можно все это назвать садом? Оу, ширкин[2] Семей! Сейчас яблоки там огромные, словно арбузы, поспели и так горят на солнце, что

---

[1] *Хаус* – водоем.

[2] *Оу, ширкин* – выражение восторга.

багровое марево стоит над садами. Апырай! А какой виноград в Семей-городе – и хусайни, и ширазы, всякие сорта имеются! А какие там груши, персики… А запах у них какой! А вкус – аж во рту тают! Ну просто сущий рай наши сады! В арыках родниковая живительная вода! А какие там соловьи, сладкоголосые птицы… И каких только забавных, самых болтливых на свете попугаев нет в Семипалатинске! Самые удивительные зеленые попугаи Сары-Арки, которые всякий день пересказывают сорок глав «Тотынаме»[1]! И вот, дорогие мои, замечаю я, что, как только сказал о грушах да персиках, то сразу моя Афтап…

Данияр украдкой посмотрел на жену. Афтап давно смеялась от души над дурашливым рассказом мужа. Магыш также не могла сдержать веселья, слушая его подражание разным голосам. Абиш смеялся до слез, вытирая глаза карманным платком, едва сумев вставить.

– Басе! Чудный Семей-город! Где зимой трещат морозы, а летом такие песчаные бури, что караваны сбиваются с пути. Куда ж еще ехать в поисках винограда да сладкопахнущих персиков! Где же, как не в нашем Семее, растут все самые лучшие фрукты земли…

Данияр сидел с простецким лицом и, ничуть не смеясь, продолжал кротким голосом:

– Вот вижу: задумалась моя Афтап… А я все сетую, да и не только вечерами, но и утром, и пополудни. Как сяду под самой хилой, червивой яблоней в нашем саду, как возьму с земли гнилое павшее яблоко, да как покажу его Афтап… Сморщусь весь, словно это самое яблоко, и опять начну причитать по персикам и соловьям Сары-Арки. Вот, в один прекрасный день, моя Афтап не выдерживает и сама вдруг заявляет: «Поехали-ка скорее в твой Семей!»

Этим Данияр и завершил свой рассказ. Афтап не стала ни оспаривать, ни протестовать, тем самым, смиренно признав при гостях, что и вправду позволила себя так просто увлечь об-

---

[1] *«Тотынаме»* – восточная поэма.

маном. Но ничуть не жалеет об этом! Всю жизнь довольна и домом, и городом, и самим Данияром.

Тот же никак не унимался, не хотел переменить тему и обратился теперь к Магыш:

– Скажи, а тебя-то какими словами соблазняет супруг, чтобы увезти отсюда?

– Если нет другого пути, – ответила она, – как тот, что был проложен первым обманщиком, то, пожалуй, услышим когда-нибудь и от Абиша-ага подобный рассказ. Пока же он об этом молчит, знать, держит при себе, чтобы огорошить неожиданно, в один прекрасный день!

Абиш смотрел на свою жену с восхищением, ему нравилось, что она была не какой-нибудь стыдливой и замкнутой скромницей, а наоборот – словоохотливой, находчивой, но, наряду со всем своим остроумием, удивительно деликатной.

Позавтракав вместе со всеми, Данияр ушел в контору. Абиш остался в компании трех женщин – Магыш, Афтап и пожилой прислуги Майсары. Все четверо приступили к одному делу, столь же забавному, сколь и серьезному…

Как заметил Абай, мудрый свекор, Магыш было бы неплохо приодеться по-городскому, заменить на что-нибудь другое свои степные «желеки и кимешеки». Это пожелание отца Абиш рассказал Афтап в самый первый день, как они с женой остановились в этом доме. Теперь, когда выдалась свободная минута, молодые принялись расспрашивать Майсару и Афтап, что же надеть на голову Магыш вместо кимешека? Майсара, которая была старше всех, прожила юные годы в Казани, Уфе, хорошо разбиралась в одежде татар и казахов, дала много, как ей казалось, дельных советов по этому поводу.

По ее мнению, такая молодая дама, как Магыш, должна была непременно носить *калапуш*[1] в сочетании с сетчатой шалью, но Абиш неожиданно заспорил с пожилой горожанкой, настаивая

[1] *Калапуш* – маленькая татарская бархатная шапочка, расшитая жемчужным бисером.

на том, чтобы шаль его супруга надела белую, шелковую, а на голову – *такию*[1] с яркой вышивкой. Тогда Афтап перечислила и другие возможные одежды… В конце концов Майсара увлекла обеих женщин в дальнюю комнату и распахнула большой сундук с нарядами Афтап. Они решили переодеть Магыш, а затем показать ее мужу, который, понятно, остался сидеть в гостиной.

Магыш была изрядно смущена: ее будто бы выставляли на какие-то смотрины… Она стала отнекиваться, всерьез полагая, что с выбором одежды можно и повременить, но теперь уже не на шутку разгорелись любопытством две другие женщины: им очень хотелось нарядить Магыш, словно куколку, посмотреть, что же ей на самом деле к лицу? Не отставал и Абиш, желая увидеть свою жену в таком одеянии, чтобы ее длинные черные косы бросались в глаза и чтобы ее нежные розовые ушки удивительно красивой формы, которые он видел лишь в минуты их уединения, не прятались ни под какие кимешеки-желеки… Да и нежная белая шея, подбородок… Спросить его, так он хотел бы, чтобы эти прелести радовали его всегда, светясь и сияя, словно солнце – днем, полная луна – ночью… Он не уставал любоваться своей молодой женой, счастливый ее близостью, но, как ему тайно предчувствовалось, ему не дано будет сполна нарадоваться ее красотою…

Поглядев на Абиша, увидев его счастливое лицо, полное страстного ожидания, Магыш недолго постояла молча, затем решительно пошла к двери. Гибко двигаясь, мягко ступая по ковровой дорожке, она скрылась в соседней комнате. Абиш остался в волнении: он слышал за дверью шорох ткани и смех женщин, особенно громкий, высокий голос старой Майсары…

И вот, наконец, дверь открылась, и Абиш увидел ее. Юная супруга стояла на пороге комнаты, ступив изящной ножкой на полосатый коврик. Слегка расставив руки, как бы показывая себя, – ну вот, полюбуйтесь! – вытянув свои длинные белые пальчики, она смущенно смотрела на мужа.

---

[1] *Такия* – тюбетейка.

Теперь вместо бешмета на ней был бархатный камзол, со вкусом расшитый серым и розовым позументом по бордовому шелку. Этот сильно приталенный камзол особенно изящно смотрелся поверх длинного платья с множеством складок и оборок, свободно спадающего до самых щиколоток.

В той комнате Магыш примерила множество вещей, в том числе и калапуш, облюбованный для нее Майсарой, однако с досадой отшвырнула его в сторону. Она надела расшитую такию, которую желал на ней видеть Абиш, поверх нее накинула золотистый сетчатый платок. Один его конец, украшенный кистями крупной бахромы, широкой дугой охватывая грудь, поднимаясь, обнимал ее правое плечо. Точно такая же такия была на ней в тот день, когда Абиш впервые увидел девушку в ногайском ауле, и теперь ему показалось, что перед ним стоит та же самая, юная и прелестная, загадочная Магыш…

Подбежав к ней, Абиш повернул ее за плечи, рассматривая то сбоку, то со спины. Ему очень понравилась эта новая одежда, понравилось и то, что жена выбрала ее по своему вкусу, сама. Майсара, чьи советы были отвергнуты, стояла молча, насупившись, зато Афтап ликовала, наперебой с Абишем нахваливая выбор Магыш.

Замечательным было полное отсутствие чисто женской зависти в Афтап: сама редкая красавица, она ничуть не печалилась тем, что юная Магыш, которую она переодела в свои лучшие наряды, теперь затмила ее красотой.

Одежда маргеланки была отлично скроена и сшита, хорошо сидела на ней, подчеркивая ее природную стройность, делая ее привлекательнее многих женщин этого края. Теперь располневшая Афтап уже не могла носить многие из этих нарядов, но она, похоже, даже и не подумала о том, что первой красавицей теперь будет не она, а Магыш. Афтап искренне любовалась хрупкой молодостью Магыш, в которой светилось столько нежности и обаяния. Тут же и выразила свои чувства:

– Уа! Магыш, айналайын, вы прелестны! *Матор*[1]*!* Какая красота!

Абиш был поражен поведением красавицы Афтап и всецело благодарен ей. Он стоял, размышляя о загадочности женской души вообще…

«Надо же! – думал он. – Женщина, оказывается, может без всякой зависти оценить красоту другой женщины. Да, они могут враждовать, не прощать друг другу каких-то поступков, но никогда не станут оспаривать красоту, готовы безоговорочно любоваться друг дружкой. Мужчина – напротив, терпеть не может, если рядом кто-то более красивый, сильный. Не хочет этого даже замечать, не говорит об этом. Вот еще одно свойство мужского характера, которое, по сравнению с женщиной, далеко не красит нас!»

Абиш, Афтап и Майсара взяли Магыш в хороводный круг посередине комнаты, не выпуская, любовались ею, шутили и смеялись, обсуждая ее новое одеяние. Вдруг открылась наружная дверь, и вошел Абай. Он сразу же увидел наряженную невестку. Едва Магыш узнала его, как краска залила все ее лицо, до самых корней волос. Отвернув лицо, она выбежала из комнаты. Афтап и Майсара бросились за нею.

Абай, конечно же, заметил, что Магыш исполнила его недавнее пожелание, однако виду не подал, быстро прошел на тор, на ходу снимая легкий тымак, и сел на подушку.

Абай пришел к сыну за советом. Он рассказал ему обо всем, что видел и слышал в последние дни: начал со своей первой встречи с Сармоллой, затем поведал о том, как муллы-недоучки на той и на этой стороне объединились против смелого наставника. Сегодняшняя же беседа с бедным лодочником навела Абая на мысль, что и его самого могут призвать к ответу вместе с Сармоллой.

– Как же сладить с этим злобным невежеством? – с возмущением вопрошал Абай. – Муллы держат людей в полной слепоте.

---

[1] *Матор* – красивая, красивый (на татарском).

Вместо того, чтобы принять какие-то меры, они сами раздувают эту напасть, потворствуют распространению болезни! Они готовы идти на коварство, на преступления – и все из-за одного только слова Сармоллы: сдержитесь, умерьте ненасытность, жадность, не усиливайте невзгоды людей, не хотите сделать лучше, так хотя бы не делайте хуже! Но они, если хорошенько подумать, не просто невежды и пустомели. Все, что они делают, – осмысленно. Это самые настоящие *фитнаи галам*, сынок, что на арабском означает – презренные мира сего...

Услышав такие горькие слова отца, Абиш смутился и стал в душе корить себя: ведь сам он только что безмерно радовался, глядя на Магыш, беспечно смеялся в ту минуту, когда Абай входил в дом… Он и в самом деле на время забыл о беде, постигшей город, о беспомощном положении его жителей – здесь, в этом доме, который черный мор пока обходил стороной, словно некий островок спокойствия и сладкой неги. Отрешенный взгляд отца, столь чуткого, восприимчивого к чужой боли, теперь отрезвил Абиша, заставил его мигом спуститься с небес на землю.

Он стал с жаром расспрашивать отца, что он сам может сделать, какую оказать помощь? Абай обрадовался, что сын готов пойти на жертвы, но не хотел втягивать его во все эти дела, сказал, что помощи от него пока не требуется. Разве что только одно: может ли Абиш посоветовать, куда пойти Абаю, где выступить перед народом?

– Я должен как-то поддержать Сармоллу, – сказал Абай. – Везде и всем говорить слова в его защиту. Знаешь ли ты, откуда начать, в какой среде выступить, с кем встретиться?

Абиш предложил поговорить с имамами по ту и по эту сторону, начать именно с них. Добавил:

– Ведь они и есть главные враги Сармоллы. Может, образумятся? Особенно, если выступит не кто-то из их собственной среды, а сторонний человек…

Услышав от сына такие слова, Абай вспомнил жену Павлова, Александру Яковлевну. Вот и Абиш думает столь же поверхностно, что и она.

– Имамам нет дела до тех, кто не носит чалму, не перебирает таспих![1] – воскликнул Абай. – Это безжалостные люди, они привыкли жестоко, со всей строгостью своих законов обходиться с невежественными прихожанами, что покорно склоняют головы перед ишанами, хазретом!

Абиш уже понял, что рассуждал неверно, но отец продолжал, развивая свою мысль:

– Они назовут неверным всякого, кто скажет, что человек может быть грешным не только перед Богом, перед Судным днем, но должен ответствовать за свои грехи и перед другими людьми. А это важнее всего понять в дни такого тяжкого народного горя!

Абай замолчал, о чем-то задумавшись. Затем сказал:

– Что, если поговорить с ними не наедине, а в присутствии людей? Ведь, обращаясь только к муллам и их приспешникам, оказавшись в их косной, невежественной среде, можно услышать в ответ одни только упреки и обвинения. Выступив при старом суфи и его не менее пожилыми учениками, я простонапросто окажусь среди стервятников. Они только и знают, что раболепно поддакивают словам своего имама, готовые в любую минуту поступиться своей честью ради собственной корысти.

– А если, – предложил Абиш, – выступить в пятницу, после намаза и хутпы, при большом стечении людей, как это сделал Сармолла?

Абай рассмеялся:

– У Сармоллы была возможность, а у меня таковой нет. Он носит чалму, является одним из мулл, поэтому и имеет право выйти на минбер мечети. А я? Как же я пойду туда вот в этом тобыктинском тымаке, сшитым твоей матерью, или же на старости лет напялю на голову чалму, как дервиш?

---

[1] *Таспих* – четки.

Абиш покачал головой: действительно, мечеть – не место для такого рода выступлений. Воскликнул:

– Базар, отец! И только базар! Вот где вы сможете поговорить с людьми. И еще…

Немного подумав, Абиш предложил еще и паромную переправу, как называют ее казахи – *кайык аузы.* Там всегда толчется множество людей, никого не надо созывать. Именно в местах, где само собой собираются люди, и надо будет выступить Абаю.

И еще одно соображение пришло в голову Абишу, и он немедленно с горячностью заговорил об этом. Пусть отец не только заступится за Сармоллу, но и без утайки, открыто скажет людям о том, что Сармолла лишь передал слова самого Абая.

– Ага, если уж ваши слова, – продолжал он, – доходят до людей через уста Сармоллы, хотя вы сами к не обращались к народу, то пусть теперь все муллы, торговцы, а в особенности, простой казахский люд, о коем вы немало заботитесь, знают, что все это происходит от вас. Думаю, что подобного поступка люди давно ожидают от Абая, и они точно поверят вашему авторитету. На той, на этой стороне – поговорите с людьми, особенно заступитесь за Сармоллу, защитите его. Пусть все знают, что он говорил правильно, искренне. Пусть все знают, что эти слова говорите и вы!

Абай ничего не ответил сыну, вообще он не до конца открылся в том, что задумал. Прежде чем переправляться самому на лодке, он отправил Баймагамбета на повозке, чтобы тот перебрался на эту сторону паромом. Баймагамбет прибыл только сейчас. Едва он вошел в дом, как Абай, тряхнув тымаком, нахлобучил его на голову и принялся поспешно собираться.

Но не тут-то было! Афтап велела Майсаре принести кумыс, та обернулась быстро, держа в руках небольшую фарфоровую чашу, поставила ее перед Абаем и Абишем. В тот же миг в две-

рях послышался всем хорошо знакомый голос: «Ассаламугалайкум!»

Никто не сдержал улыбки – это в комнату вошел, или, точнее, ворвался, весельчак Утегельды. Он уже был давно своим в этом доме, впрочем, как и везде: с самого первого дня, как здесь поселились Абиш с женой, непременным гостем стал и знаменитый балагур. Майсара уже вся расплылась в улыбке, выходя ему навстречу, как старому доброму знакомому…

Однажды Утегельды пробыл здесь весь день. В другой раз, развеселив всех своей игрой на домбре, шутками-прибаутками, невзначай остался на ночь.

Несмотря на то что он был хорошо известен не только как весельчак, но и как опытный охотник, следопыт, никто не мог толком объяснить, понять, почему Утегельды, кому степь и предгорья были родной стихией, – напрочь терялся, когда попадал в город. Это был вроде как даже особенный его дар – он никогда не мог запомнить ни одной улицы, ни одного адреса. Живя в доме у знакомого казаха на самой окраине, он всегда с большим трудом добирался до нужного места. Как-то раз он пожаловался Абишу на эту свою странность:

– Ничего не могу понять! Как приезжаю в город, то сразу чувствую себя хуже верблюда в ауле. Стоит только выйти из дому, так и начинаю блуждать. Может, поручишь кому-нибудь, чтоб приезжали за мной, да отвозили обратно, а то Бог знает, куда еще забреду!

Абиш и вправду уже два раза посылал людей за ним, чтобы привезти его в дом Данияра. И сейчас, когда Утегельды без какого-либо сопровождения появился на пороге, то Абиш и домочадцы были весьма поражены, зная его слабинку. Но все возликовали от души и, как всегда, были рады видеть этого веселого джигита…

Рад был и Абиш, несмотря на досаду от прерванного разговора с отцом. Утегельды сидел на корпе и, плутовато улыбаясь,

бегая глазами, посматривал по сторонам. Абиш спросил его с хитрецой в голосе:

– Ай, Утеш! Как же ты умудрился прийти, если говоришь, что всегда блуждаешь в городе и не можешь найти наш дом?

Афтап также была удивлена, наливая кумыс, замерла в ожидании, что же ответит балагур. Виновато поглядев на Абая, Утегельды стал пояснять с самым невинным видом:

– Всему причиной рыжая шавка, возблагодари ее Всевышний! Я всегда блуждаю, это сущая правда, но сегодня решил положить этому конец. Сел на коня и, став поперек улицы, хорошенько разглядел издали красную трубу барабая, что на самом берегу Иртыша. Так и скакал, все время глядя на барабай, пока не достиг его. Я ведь помню, что в прошлый раз меня везли как раз мимо этого дышащего огнем барабая. И вот, оказавшись рядом с ним, повернул коня хвостом к берегу. Вижу знакомую улицу, опять пустил по ней коня в галоп. Помню, что где-то на этой улице из-под каких-то ворот выскакивала некая безродная рыжая собачонка, и если резко шарахнуться от нее, то прямиком попадешь к вашему дому!

Женщины прыснули со смеху, а Утегельды невозмутимо продолжал, оставаясь серьезным, что, как все знали, было у него одним из многочисленных способов развеселить народ:

– Я и позавчера таким же способом нашел этот самый красивый из всех красивых беленький дом! Скакал себе, скакал, и, как только выскочила эта рыжая собачонка, так сразу и повернул туда, куда надо. А сегодня она уже сама меня ждала, лежала у ворот, полная желания помочь. Она и есть моя путеводная звезда в этом городе…

Тут уж никто не смог сдержаться, особенно смешливая Майсара. От смущения, что она сидела рядом с самим Абаем, и след простыл: закрыв лицо руками, она звонко рассмеялась. Афтап смеялась тихо, вся покраснев, и оттого, что ей долго приходилось сдерживаться, все ее пышное тело мелко вздрагивало, а красивое лицо стало еще краше. Абай не смеялся, однако

напряжение спало с его лица. Он окинул Утегельды самым дружелюбным взглядом:

– Что же ты будешь делать, если не покажется твоя рыжая звезда?

Вопрос, заданный с явным намерением поддеть, ничуть не смутил весельчака, равно как и общий хохот, безусловно направленный в его сторону.

– Я и об этом подумал, Абай-ага! Если не выйдет моя моська, то начну скакать взад-вперед по улице. Неужто вытерпит она такое издевательство?

Тут даже и Абай рассмеялся… Уже собираясь уходить, он сказал, обращаясь ко всем сидящим:

– Вот видите! Зачем нашему следопыту знать улицу, номер дома? У него есть собственная рыжая звезда, какие тут могут быть печали?

Утегельды сделал свое дело: все-таки большое благо нес людям его беззаботный смех – на душе у Абая стало легче, несмотря даже на то, что к его прошлым тревогам прибавились еще более беспокойные думы, порожденные сегодняшним рассказом лодочника.

Радостная встреча с сыном, заботливые ухаживания красавиц женщин за дастарханом, общий разговор – все это не смогло сдвинуть с его души тяжелый камень, лишь ненадолго притупило боль… И только бесшабашное веселье Утегельды отвлекло Абая от мучительных раздумий. В этом, гораздо более бодром, чем с утра, расположении духа, он и направился, взяв с собой Баймагамбета, на Большой базар Семипалатинска.

…Он ходил по базару уже более часа, заглянул в магазины Плещеева, Дерова, Михайлова, Малышева, а также в лавки татарских баев: Хамитова, Нигматуллина, Тухфатуллиных. В этих больших и малых лавках было не так много посетителей, что-либо на самом деле покупавших. В большинстве своем это были люди, приехавшие со степи, не думающие ни о чем, кроме выгодного обмена своего собственного товара. Их

одежды, обувь и шапки говорили о тех волостях или родах, к коим принадлежали хозяева. Изредка что-то покупая, чаще – меняя, эти люди выглядели робкими, отводили в сторону глаза… Иные степные баи недоверчиво, враждебно глядели в упор на каждого незнакомца, словно он собирался выманить у них деньги. Особо недоверчивыми скрягами были пожилые бии, сами ненасытные мздоимцы, да волостные из глухомани, известные своим коварством и вымогательством.

В одном магазине Абай встретил якобы важного бая в керейском тымаке на голове, в чекмене из верблюжьей шерсти. Двое джигитов, сопровождавших его, держали его старый серебряный пояс, камчу. Сам он, распоясав большие кожаные штаны, из глубокого кармана бешмета, заправленного под штанину, вытащил грязный носовой платок. Вынимая завернутые в платок деньги, он все бормотал: «Бисмилла, дай мне Бог успеха!» Согнувшись, он стал вытаскивать деньги, но что-то застряло у него, и он все горбился, тужась, будто прямо тут же намеревался присесть и справить нужду.

Вдруг в магазин вошли еще люди, четверо-пятеро с такими же керейскими тымаками на головах. Это были явно его знакомые, горожане средних лет, узнавшие бая, но тот не ответил на их приветствия – все продолжал гнуться и тужиться, стал отворачиваться, волоча за собой пеструю тесемку от штанов, неприязненно бормоча что-то себе под нос…

Абай наблюдал эту сцену с нарастающим чувством досады. Не считая немногочисленных покупателей из числа горожан: русских, татар, – большинство людей, которых он мог тут встретить, были вот такими мелкими скаредами из глухомани, как этот – всяческие «Биткенбаи» или «Бискенбаи» захудалых байских родов, вечно пребывавшие в страхе за свой отнюдь не толстый кошелек, несуразно ведущие себя в самом обыкновенном деле. В их представлении город – это сборище плутов, проходимцев, здесь полно недобрых людей, не успеешь и

глазом моргнуть, как обворуют, надуют, заберут обманом все деньги... Нет, среди посетителей больших магазинов даже и быть не может такого казаха, который мог выслушать Абая, не говоря уже о том, чтобы мог понять сказанное.

Посмотрев с какой-то презрительной жалостью на нелепого бая и его джигитов, Абай вышел из магазина. Завернув руки за спину, медленно ступая, он обошел с десяток мелких дощатых лавок, маленьких магазинчиков, которых тут были целые ряды, тянувшиеся на сотни саженей. Но и здесь народу было немного. Абай развернулся, отряхнул от пыли свой легкий просторный чапан и залез в повозку, где его ждал Баймагамбет. Сказал ему править прочь от торговых рядов, в сторону базара, где обычно толкалось много всякого народу попроще.

Абай давно не был здесь. Растянувшись по всей широкой площади, еще издали туманясь клубами пыли, толкучка была действительно полна, как всегда, несмотря на распространенное властями оповещение о заразной болезни, эпидемии холеры. Дело было в том, что мелкие торговцы, чье существование только и зависело от незначительной выручки, которой им едва хватало на пропитание, не могли и не хотели бросать свою каждодневную работу.

Остановившись у самого края многолюдной площади, Абай и Баймагамбет довольно долго не сходили с коляски, с почтительного расстояния наблюдая этот разноцветный, бурлящий мир.

Особенный гул, порождаемый подобной площадью, позволяет даже с закрытыми глазами понять, что вы находитесь в пределах толкучки. Шум, гам, гомон множества голосов, обрывки разговоров, отдельные слова, еще какие-то звуки, происхождение которых никогда невозможно определить, – все это сливается в непрерывный, ни на миг не стихающий поток, будто мимо течет некий грохочущий словесный сель. Абай сидел в арбе, улыбаясь, пораженный собственным открытием: здесь тысячи ртов произносят какие-то слова, значимые толь-

ко для их обладателей, будто говоря впустую с глухой, безразличной средой, которая тоже бурчит, выкрикивает и голосит сама по себе. Теперь он заметил еще одно: совершенно не понятно, на каком языке звучали слова этих бесконечно говорящих ртов. Сколько бы он ни вслушивался, так и не смог понять, вычленить какое-то значимое наречие.

Большинство обитателей базара были, конечно, казахами, но здесь хватало и русских, и татар. Среди них были видны дунгане, таранчи, прибывшие с караваном со стороны Туркестана, Китая. Сойдя с арбы, Абай тотчас оказался в густой толпе. Тут же к нему подскочили цыганки – разного возраста женщины с большими, черными, как смоль, глазами, с массивными серьгами в ушах, одетые непременно во все пестрое, в узорчатых шалях, небрежно свисающих с плеч. Раскрыв ладони, они привычно затараторили:

– Эй, господин! Давай, погадаю! Хочешь узнать свое счастье?

Абай отмахнулся и пошел вперед, вдруг увидел диуану-дервиша – грязного, черного и босого, с неприкрытой костлявой грудью. Безбородый, с косыми глазами, он обмотал короткую ветхую чалму поверх каракулевого тымака, а в руке держал тонкий посох, обвешанный погремушками. Диуана проворно прошмыгнул мимо Абая, двигаясь как-то чудно: одной ногой он едва касался песка дороги, поспешно отдергивая ее, словно не песок это был, а раскаленные угли. Подпрыгивая, размахивая гремящим посохом, он пугал окружающих людей, добавляя к тому еще и зычные вопли во всю глотку:

– Аллах ха-а-а-ак!

Слово «хак»[1] он кричал пронзительно, надолго растягивая его. Затем, сморщившись в страшной гримасе и обнажив редкие зубы, с пеной у рта он принялся лопотать скороговоркой, словно безумец:

[1] *Хак* – истинный.

Шайхи-бурхи дивана,
Беду-горе изгоняй!
Приди, счастье, прочь, беда.
Аллай ха-а-ах!

Пропев все это, черный диуана недолго постоял молча, опираясь на свой длинный посох, – вдруг крутнулся на одной ноге и нырнул в толпу, вмиг исчезнув с глаз Абая…

Здесь, на пешем базаре, было особенно много мелких ремесленников, которые торговали с рук всякой всячиной, изготовленной их собственными руками. Многие продавали домотканую одежду: иные шили сами, иные сбывали произведения своих домочадцев.

Из толпы выдвинулся, встав на пути Абая, рыжебородый торговец в тымаке рода Каракесек, с парой черных саптама, свисавших у него с плеча. Эти самые саптама он и предлагал Абаю. Тут же к нему обратился мастер, продающий головные уборы, он, видимо, считал, что Абай достоин носить татарский борик и, со значительным видом, встал перед ним, держа одновременно аж шесть бобровых бориков, сшитых его руками. Таких, татарских и казахских, мастеров здесь был целый ряд, все они держали по два борика в каждой руке, еще по два были напялены у них на головах, один на другой, и все считали Абая достойным покупателем, со значением смотрели ему в глаза.

Были среди них и мастера, предлагавшие такия, кто-то носил камчу и конскую сбрую, плетеную из сыромятных полос, и длинные вожжи, подхвостники-нагрудники, разнообразную упряжь для повозок…

Время от времени путь Абая пересекала одна и та же пожилая казашка, носившая на плече целый обхват ковриков с вышитыми речениями из Корана для отправления намаза. Она, видать, полагала, что этот человек, судя по его возрасту, дородности и манере держаться, уж точно имеет большое пристра-

стие к намазу, и поэтому открыла на него своего рода охоту, постоянно, словно бы невзначай, попадаясь ему на глаза с этими праведными ковриками.

Ходили здесь и ювелиры, искусные мастера, предлагавшие перстни и серьги, казахские кисе[1] ножи и ножны. Женщины-казашки, торгующие модными тымаками, бешметами, сшитыми ими на городской или степной манер, были всех возрастов, как весьма пожилые, так и совсем молоденькие. Были и старьевщики, не шьющие своими руками ни шуб, ни штанов, а лишь покупавшие и перепродававшие по немногим более высокой цене поношенную одежду.

И здесь, как и в больших магазинах, где Биткенбаи и Бискенбаи с опаской доставали деньги из глубины своих штанов, на этой толкучке, вроде бы полной самого разнообразного простого люда, Абай так и не нашел, к кому обратить свои слова. Весь день бродя по базарной площади, всматриваясь в лица, он так и не увидел за ними ни единой души, которая могла бы выслушать и понять... Осознание этой простой истины было ему как нож в открытую рану, которая и так уже давно не могла зарубцеваться.

Абай постарел за этот жаркий, пыльный день. Поперек его высокого лба обозначились тонкие линии морщин, более глубокие и зримые, нежели всегда. Виски и подглазья были словно осыпаны мелким бисером – это выступил и блестел на вечернем солнце липкий пот. Казалось, и седины стало больше в его бороде, – как говорят, инеем припорошило...

К концу дня его задумчивые глаза уже не видели лиц, хотя со стороны и казалось, что он по-прежнему смотрит на базарную толпу. Абай чувствовал себя так, будто нес внутри тяжелый черный камень – такое мучительное раздумье давило его душу! Он шел, рассеянно держа в руке свой легкий тымак из

---

[1] *Кисе* – кожаные пояса, украшенные металлическими бляшками, с подвешенными мешочками, кармашками для огнива, кремня и т.д.

тонкого черного каракуля, от всего отрешенный и одинокий в этой толпе...

А ведь он всегда говорил о себе: живу заботами и чаяниями народа, пишу стихи, чтобы дать назидания простым людям... Сегодня, как это бывало и прежде, поэта одолели сомнения. Сильно волнуясь и мучаясь собственными мыслями, он спрашивал себя: где она, эта душа, что могла бы прислушаться и понять? Где он, тот казах, который воспримет и с пользой истолкует его слова?

Казалось, сегодня он воистину убедился в убийственности своих сомнений. И это в то самое время, когда в городе свирепствует холера! Именно в защиту людей от нее, от этой ужасной болезни, он и нашел самые точные, нужные слова и действия... И что же за издевательство? Именно эти слова и некому выслушать, именно они, те самые люди, в чьи дома, как хозяйка, захаживает смерть, не хотят, не могут выслушать его и действовать по его советам. Какая же зловещая насмешка! Какое жестокое наказание всей его судьбы...

Размышляя так, все больше распаляя в душе печаль и тревогу, Абай вдруг остановился на месте, крепко сжав в руке тымак. В то мгновение он будто посмотрел на себя со стороны, и мрачная усмешка показалась на его губах. Надо перестать накручивать собственную боль, надо собраться с мыслями...

Что же он, собственно, хотел от этой жизни? Теперь, под старость лет, он похож на человека, зачем-то торгующего посреди пустынной степи, в безмолвном безлюдье некими красивыми, яркими тканями... Есть и шелк, хоть красный, хоть зеленый, есть и аршин, и продавец, готовый немедленно отмерить, тотчас отрезать кусок покупателю... Только вот в чем загвоздка – покупателя-то и нет! И сколько ни стой, ни жди здесь, в пустыне, не придет этот покупатель.

– Вот он, – вот кто ты такой есть! – прошептал Абай вслух сам себе, горестно кивнул головой, повернулся и пошел к своей повозке, где ждал его верный Баймагамбет.

Абай покинул толкучку, оставив позади и бурление толпы, и весь ее гул, теперь затихающий за спиной. Повозка тяжело поднялась на пригорок, выехав к конному базару, который располагался на пологом склоне этого песчаного холма. Торговцы и покупатели здесь были в основном верховые, они сидели в седлах, вместе со своими конями образуя небольшую плотную толпу. Вновь прибывающих на продажу лошадей они также смотрели, не спешиваясь.

Впрочем, были здесь и безлошадные казахи, трое из них, узнав Абая, подошли к нему. Один из них, постарше, носил седую бороду, другой – рыжие усы, третий и вовсе был безбородый, безусый, с голыми, как дыни, смуглыми щеками. Все трое обступили повозку. Говорили, конечно, о самом наболевшем – о холере, подробно рассказывая, кто и когда умер в этой части города, близ конного базара. Абай вдруг подумал, что к этим-то людям, да и к другим, что сидели здесь в седлах, он запросто может обратиться со своей выстраданной речью, тем более, что торговцы сами и начали этот разговор.

И Абай заговорил… Пусть здесь, на конном базаре, было и не так много людей, но они оказались именно теми, коих он давно мечтал увидеть своими слушателями, и теперь, приняв за повод слова трех казахов, что подошли к нему первыми, Абай громко, чтобы слышали остальные, высказал все, что наболело у него за эти дни.

Мало-помалу к нему подъехали и подошли, окружили повозку со всех сторон. Три группы казахов, сидевшие в своих арбах поодаль, подъехали теперь поближе, подошли также пешие мужчины и женщины из числа татар: в целом весь конный базар как-то сместился в сторону Абая, внимательно слушая его.

Абай сказал о твердой необходимости беречься от холеры, дал советы, как это делать. Особенно много он говорил о чистоте, о том, что надо постоянно мыть руки горячей водой и не пить воды сырой, из реки. В пору холеры стоит воздержаться от жидкой пищи, не есть дыни-арбузы, до которых весьма охочи го-

родские казахи, особенно дети. Есть надо только очень хорошо сваренную или зажаренную пищу. В довершении своей речи, которая подробно и понятно, слово в слово передавала советы Александры Яковлевны, Абай ободрил собравшихся, сказав о том, что болезнь довольно скоро отступит, в августе, когда вода и воздух станут холоднее.

Говоря обо всем этом, Абай держал себя вовсе не так высокомерно и важно, как муллы, хазрет, ишаны. Он полностью раскрылся перед людьми, как человек, равный среди других, но все же более осведомленный.

Собравшиеся не знали, кто тут сидит в повозке и уже давно заставляет с трепетным вниманием слушать свои речи. Вдруг по толпе пробежал ропот: по цепочке передали, что перед ними именно Абай, и эта весть сразу же воодушевила всех.

Один седобородый торговец на темно-гнедом коне, до сих пор внимательно, молча слушавший, сказал:

– Абай-ага, говорят, мол, жаназа, хатым, всякие садака следует теперь проводить не столь широко, больше не собирая множество людей. Как быть с этим?

Абай не стал ограничиваться тем, что уже сказал Сармолла, – это уже и так было всем известно, когда его слова разнеслись в народе.

– Где это в шариате сказано, – обратился он с вопросом к слушателям, – что жаназа должны отправлять только халфе, кари, мулла, муэдзин? Жаназа может читать любой человек, сведущий в молитвах и намазе!

По толпе пробежал ропот: действительно, многие никогда и не задумывались об этом… Абай меж тем заключил:

– Итак, если в доме умершего есть тот, кто умеет отправлять жаназа, то можно ему самому справляться, читая Коран, и вовсе не надо приглашать мулл, лишний раз беспокоить мечеть.

Тут же из толпы посыпались вопросы о Сармолле. Кто-то сказал:

– Толкуют, что муллы, халфе плохо отзываются о нем, обвиняют его. Верно ли это? Неужто они этим творят добро?

– У имамов и слова, и дела причудливы, – ответил Абай. – Совершенно неуместно раздувать взаимные обиды-обвинения в такие тяжелые для народа дни. Все это полное невежество! Люди, истинно болеющие душой за народ, не могут дойти до такого. Что из того, что сами имамы, ишаны говорят об опасности холеры и тому подобное, если они же при этом обвиняют в вероотступничестве тех, кто по-иному предупреждает людей? Это просто ишачье упрямство! Люди не примут таких служителей ислама. А тот, кто искренне предупреждает людей об опасности, несмотря ни на что, не может желать им вреда!

Этим закончилось первое выступление Абая перед людьми, но за ним последовало и второе, и третье… Следующим утром он приехал на слободской базар и собрал вокруг себя человек двадцать-тридцать, из числа жителей левобережной стороны. Говорил он и на скотном базаре, и снова вокруг его повозки собралось примерно столько же людей.

Абая стали часто останавливать на улице – возле мелких лавок, где с ним заговаривали ювелиры и плотники, швеи и сапожники, бакалейщики, а то и просто пешие прохожие, как пожилые, так и молодые. Выступая перед своими казахами, Абай старался говорить ясно и четко, чтобы его речи, заранее обдуманные, хорошенько запомнились слушателям.

Сегодня Абай чувствовал себя гораздо увереннее, чем вчера. Казалось, в слободке жил совсем другой народ, нежели те, что толклись на пешем базаре по ту сторону: слушателей находилось достаточно, во многих местах. Это были не просто зеваки – ему внимали люди, которые по-настоящему верили Абаю, давно жаждали веских слов, ждали дельных советов, наставлений.

Видя, как люди слушают его, Абай говорил более уверенно, хоть и по-прежнему взволнованно, горячо, ибо сам был полон душевных переживаний, никак не мог иначе…

Выступая по эту сторону, где среди людей уже разошлись советы Сармоллы, он лишь краем коснулся его спора с муллами, заметив, что Сармолла говорил дело, и надо неукоснительно исполнять его наставления. В этом у Абая был и некий тонкий расчет, желание отвести от Сармоллы беду: городские жители уже меньше говорили, мол, это сказал Сармолла, а разносили, словно новую легенду, весть о том, что все эти знаменитые слова исходят из уст Абая.

В последующую неделю он каждый день ездил на городские базары по обеим сторонам Иртыша и, сидя в своей арбе, выступал перед людьми. Он знал наверное, что слухи о его речах распространились среди горожан и приезжих, и теперь вокруг него собиралось не менее сорока-пятидесяти человек.

К началу августа в городской жизни наступили видимые перемены, что ощущалось как по эту, так и по ту сторону реки: люди и вовсе перестали приглашать на жаназа и похоронные трапезы имама мечети и послушников медресе, халфе, кари, муэдзинов. Теперь, чтобы исполнить долг мусульманина, ради духа умершего приглашали кого-то одного из мулл, да так после и хоронили покойного.

Все это чрезвычайно разгневало слепого кари, халфе Шарифжана, муэдзина Самурата: они прекрасно видели, как изменилось настроение людей. В последние дни они все чаще задумывались над тем, чтобы перейти к самым решительным мерам…

Они, конечно, знали, что все это исходит от Абая, но говорили, что он – всего лишь степной казах, да и человек вообще не религиозный. К чему ж бросаться на него с нападками? Кроме того, Абая они все же немного побаивались – его высокого авторитета у людей… В результате – не только не обвиняли его, но и вообще не произносили имени Абая вслух. Зато они как зубами вцепились в другого человека, в Сармоллу, представляя его своим ярым противником, коварным врагом. Вероучители часто теперь собирались втроем-вчетвером, шептались, делясь свои-

ми замыслами с торговцами Отарбаем, Корабаем, и однажды, собравшись в тени главной мечети, они вместе с торговцами остановили старого имама.

– Таксыр[1] хазрет! – хором заговорили Корабай и Отарбай. – Мы пришли к вам с жалобой. Хотим изложить свою мольбу от имени жителей махаллы.

По их общему уговору, теперь получалось, будто это они сами пришли к имаму, чтобы испросить его мнение, а муэдзина Самурата, слепого кари, халфе Шарифжана – всех их просто привели с собой.

Разговор начал Отарбай. Он стоял над низкорослым имамом, согнувшись, приблизив сверху к нему свое лицо, тряся над ним длинной, несуразно торчащей бородой. Проговорил густым басом:

– Уа, хазрет! Люди махаллы послали меня к вам. Вон, глядите, за забором стоят еще человек десять. Как истинные последователи Мухаммеда мы пришли узнать ваше мнение. Будут ли, наконец, сказаны слова спасения, слова заботы о ближнем, слова наставников против этой напасти, свалившейся на голову мусульман, против этой проклятой холеры? Что вы нам скажете, хазрет, какие меры принять людям?

Тотчас подхватил Корабай, продолжил своим глухим голосом:

– Сказано ведь: если корабль попадет в шторм, мореплавателям грозит погибель, то они спасаются не только молитвами, но и жертвоприношениями. Что вам известно об этом?

Опять заговорил Отарбай, потрясая своей черной бородой:

– Ваш покойный дед Акишан был настоящим святым. Как известно, в подобных обстоятельствах он советовал пойти на безжалостное жертвоприношение. Когда на город напали сыпной тиф и оспа, он высказался именно так. Вот, и пришли мы к вам за советом. Святой хазрет, подскажите народу какой-нибудь выход!

---

[1] *Таксыр* – ваше святейшество.

Отарбай и Корабай, оба рослые, крепкие, так нависли над старым имамом с обеих сторон, что он был вынужден отступить к стене. Он не ведал, что они говорили заранее заученные слова, сам впервые слышал о подобных вещах и не решился открыто ответить.

– Баракалле, баракалле! – тем не менее, выкликнул он слова одобрения. – Жертвоприношение при тяжелых обстоятельствах, ради всех мусульман, перед нашим пророком Мухаммедом Мустафой, будет принято Всевышним и возблагодарено. В бедственные времена опустошенные души, бедные чада господни во имя своего спасения могут принять *харакатилдур*[1] Аллах акбар! Да исполнятся ваши благие намерения, правоверные!

Сказав все это, имам воздел руки к небу и провел ладонями по лицу.

Отарбай и Корабай оторопели от туманных слов имама, даже и не сообразив, что сказать в ответ. Хазрет повернулся и пошел, все еще поглаживая лицо, оставив невежественных торговцев стоять у стены мечети, слушать, как он стучит своим длинным посохом и шуршит маленькими кебисами по камешкам, рассыпанным во дворе.

Когда хазрет удалился за ограду, к оставшимся подскочили те самые «человек десять», о которых торговцы говорили имаму. Теперь они всей толпой окружили муэдзина Самурата, слепого кари, халфе Шарибжана и Самата. Один из них нетерпеливым, грубым голосом спросил:

– Ну и что? Какой же совет он дал?

Халфе Самат, высокорослый ишан с длинной черной бородой, не висящей на груди, но торчащей, как палка, далеко вперед от подбородка, немедленно пояснил слова хазрета, четко выговаривая слова, чтобы все его хорошо поняли:

– Слушайте же, да примите с благословением! Вы пришли за советом, вы его получили. У стены сего храма веры вы называ-

---

[1] *Харакатилдур* – принимать меры спасения.

ли имя святого хазрета Акишана, отошедшего на небеса, и получили благословение на все свои деяния, – именем Аллаха, из уст величайшего Садыр-Акзама, от самого уважаемого учителя веры в наше городе. С этого времени ни одна живая душа не посмеет порицать вас за деяния, совершенные по совету вашего наставника, высочайшего хазрета факиха. Что сказал хазрет, то все верно. И кончено! Теперь все в ваших руках.

Остальные служители Аллаха, стоявшие здесь вкруг, лишь молча кивнули головами. Похоже, что двое торговцев, больших любителей вершить суды собственными руками, теперь получили полное одобрение замышленного ими дела. Корабай, известный к тому же своей тупостью, сказал недовольным голосом:

– Говорите открыто. Я что-то не совсем уяснил сказанное!

Муэдзин Самурат, привыкший говорить с торговцами, не понимающими языка мулл, истолковал сказанное хазретом, только теперь уже более просто, терпеливо выговаривая казахские слова:

– Он сказал: чтобы избежать напасти, люди должны пойти на любую жертву. Каким бы драгоценным ни было жертвоприношение, они должны решиться на это. И заслужат за сей поступок только милость Божью. Разве не об этом поведал хазрет? Кари, скажите и вы!

Слепой кари тотчас согласился с муэдзином, заговорив на удивление бойко:

– Хазрет принял решение, благословил. Теперь идите, приступайте к исполнению святого дела!

...В последние дни Сармолла пребывал в самом хорошем, спокойном расположении духа. Подбадривая себя, он порой вслух произносил несколько слов на фарси, от которых у него еще больше поднималось настроение:

– Хоб, хоб аст, бисияр хоб аст![1]

---

[1] *Хоб, хоб аст, бисияр хоб аст!* – Хорошо, хорошо получается. Прекрасно!

Все, что он хотел сказать – сказал, все, что замыслил – сделал. Его отпихнули в сторону, а он навлек на своих обидчиков людскую немилость, пусть и понесут они заслуженное наказание – не только слепой кари, муэдзин Самурат, халфе Шарифжан, но и сам ишан, старый хазрет…

Именно это и грело душу Сармоллы больше всего: даже хазрет в последние недели остается без всякого заработка.

– Так им и надо, – еще раз вслух произнес Сармолла. – Пусть так и будет дальше. Хоб, хоб аст!

Раз вечером, сотворив намаз, он собирался испить чаю в кругу семьи, но прежде хотел совершить одно необходимое дело. Надевая в прихожей легкий, тонкий чапан и натягивая на ноги кебисы, он позвал своих дочерей:

– Эй, доченьки! Бибисара, Асма! Скажите матери, пусть ставит самовар. А я пока схожу к брадобрею.

Две худенькие, высокие девушки, пятнадцатилетняя Асма и семнадцатилетняя Бибисара, отозвались немедленно, бегом кидаясь из дальней комнаты к отцу.

– Самовар сейчас разожжем, только возвращайтесь скорее! – крикнула Асма, а Бибисара с лампой в руках посветила отцу на лестнице, когда он спускался с верхнего этажа. Девушки с почтением проводили его, зная, что он скоро вернется домой…

Они возвратились к матери, поставили самовар. На кухню принесли круглый стол. Однако самовар давно уже закипел, но отец все не шел. Подбрасывая уголь, чтобы вода не остыла, они еще долго ждали отца… Чем дольше ждали, тем больше удивлялись, прислушиваясь к каждому звуку, делились свои догадками:

– Видимо, пошел в мечеть… – говорила Бибисара.

– Или брадобрей оставил на ужин у себя… – предполагала Асма.

– А может статься, кто-то умер, и его позвали на жаназа… – вслух размышляла их мать.

Так, сидя на кухне, они перебрали все возможные причины, обстоятельства, которые могли задержать хозяина в столь поздний час. Кончился керосин в лампе, настала полночь. Пора бы и спать… Но время шло, отец не возвращался, и девушки вдруг начали плакать. Мать сидела с мрачным, серым лицом, ничего не говоря, лишь тихо охая от каких-то своих тревожных дум…

Давно перевалило за полночь. Мать и дочери не спали, они тихо лежали с потухшей лампой, чувствуя большую беду. Под утро они уже знали: с Сармоллой случилось несчастье.

В комнате стало медленно светлеть, где-то вдали послышались первые крики петухов. Не вернулся, не пришел отец! Словно исчез во мраке…

То, что на самом деле произошло с Сармоллой, которого так ждали, держа горячим самовар, две дочери и жена, было настолько страшным, что даже не могло прийти им на ум.

Цирюльня стояла за главной мечетью, в четырех кварталах от дома Сармоллы. Он вышел засветло и спокойно, никого не встретив по дороге, дошел до дома брадобрея. Памятуя о том, что к вечернему чаю уже поставлен самовар, жена и дочери ждут его, Сармолла не стал по обыкновению долго болтать с брадобреем. Тот побрил ему голову, Сармолла попросил еще и бороду подправить, расчесать. Борода его была красивая, ухоженная, он всегда стриг ее на мусульманский манер, как это предписано в священном писании книги «Мухтасар»… Поблагодарив хозяина дома, он вышел на улицу.

Похоже, он все же надолго задержался у брадобрея, поскольку в городе уже стояла непроглядная безлунная тьма. Он шел по неосвещенным улицам, и боковые переулки зияли полной чернотой. Вот и улица, что вела прямо к его дому. Сармолла шел вдоль хорошо знакомого забора мечети, огибая ее с восточной стороны. Стоило миновать лишь один перекресток, и он увидит огни своего домика под серой крышей… Вот и дерево, большое, развесистое, стоящее сразу за перекрестком, под этим деревом он проходил, наверное, тысячи раз…

Внезапно, как раз из густой тени этого дерева, выскочили двое и сразу набросились на него.

– Уай, братья, кто вы? Постойте! – только и успел воскликнуть Сармолла, как град ударов посыпался на него со всех сторон.

Закрывая обеими руками голову, краем глаза он увидел, как с угла ограды мечети к нему бросились еще трое с короткими дубинками в руках. Пятеро взяли его вкруг и били, били, куда попало, выкрикивая арабские слова, будто бы это были какие-то молящиеся суфии:

– Астапыралла!

– Субханалла!

– Ла илаха илля-ллах!

У Сармоллы и попытки не было оказывать сопротивление. Несколько тяжелых ударов сразу свалили его с ног. Тут на голову лежащего человека с силой обрушился шокпар, следом – тяжелая дубинка. Вдруг в темноте он увидел чью-то руку с занесенным кинжалом…

Больше глаза его ничего не видели, лишь услышал он имя Аллаха, которое постоянно выкрикивали нападавшие. Один ударил его кинжалом в грудь, другой полоснул лезвием по горлу. Из-под бороды, только что аккуратно побритой и расчесанной, хлынула кровь…

Страшную весть о смерти Сармоллы принес народу, собравшемуся в мечети на утренний намаз, не кто иной, как Корабай. Объявили же об этом уже после намаза, обратившись с речами с минбера последовательно трое: муэдзин Самурат, слепой кари, халфе Самат. Они будто рассказывали некую легенду, хотя событие произошло всего несколько часов назад.

Суть этой новоявленной легенды трактовалась следующим образом. Сармолла был благородным человеком, почти святым, прекрасным духовным учителем мусульман. Убили же его сами люди, простые горожане, но весьма верные мусульмане. Они поступили так, чтобы избавить народ от страшной напасти,

от холеры, потому что для этого надо было принести в жертву какого-то хорошего человека. По законам шариата, человек, умерший такой смертью, – суть то же самое, что и шахид[1] Убийц не считают виновниками, не называют грешниками – просто одного хорошего человека убили другие хорошие люди.

Ведь есть такой древний обычай. Если корабль попадет в страшный шторм, окажется в море среди огромных волн, над людьми нависнет смертельная опасность, то ради спасения всех они жертвуют одним очень хорошим человеком, выбрасывая его за борт.

Об этом написано в сочинениях мудрецов прошлых времен. Вот и погибель Сармоллы следует принимать именно таким образом, в виде жертвы, пусть все его родные, близкие, друзья, все его ученики воспримут ее так и только так. Иначе нельзя будет похоронить покойника как шахида, отпустить ему все грехи, и он не сможет предстать перед всемогущим Аллахом в облике праведника…

Наряду с этой скороспелой легендой появилась и быстро стала расползаться по махаллам еще одна идея. Раз Сармолла пролил свою кровь ради мусульман, если он признается истинным шахидом, то и хоронить его надо в окровавленной одежде, с немытой раной на теле. Пусть он отправится на суд Божий в том самом виде, в котором и принес свою жертву.

Некоторые слухи исходили от якобы очевидцев страшного происшествия. Убийство свершилось с именем пророка на устах, прямо под стенами главной мечети. Убийцы были с чалмами на головах, с таспихами в руках, с тахлилой[2] на устах. Это не простое преступление, оно имеет под собой глубокие религиозные причины, – совершенно иное, чем обыкновенное душегубство.

Шахидом, по писанию, становится не только тот, кто убьет врага мусульман, но и тот, кто сам будет принесен в жертву. Убей врага, стань шахидом, попади в рай! Пусть тебя обойдут

---

[1] *Шахид* – человек, принявший смерть за веру.

[2] *Тахлила* – молитва.

стороной месть и наказание, проклятие и гнев. На том свете ты обнимешь райскую деву, будешь пить родниковую воду, станешь достойным обитателем всех семи райских кущ… Теперь же шахидом стал и Сармолла, и в этом ему, шокпаром и кинжалом, помогли правоверные мусульмане.

Все эти обстоятельства и пытались растолковать муллы, собравшиеся вокруг дома убиенного. Следствием убийства вполне мог стать некий возмущенный пожар душ – горе сородичей, гнев соседей, мирных жителей махаллы. Эти-то, уже явно вспыхнувшие угли и старались засыпать песком ханжеских слов муллы с четками в руках, пригасить уже горячие огоньки своими благопристойными чалмами. Халфе, кари, другие вероучители с самого утра, уже в который раз разъясняли глубинную суть происшествия жене, дочерям Сармоллы, наивным и кротким женщинам, сходящим с ума от горя.

Они окружили жилище покойного, сидели у ворот двора, у двери маленького домика, заглядывали даже в загон, где стоял худющий сивый конь Сармоллы. Им непременно хотелось заглушить голоса плачущих женщин, и они намеренно громко повторяли:

– Сармолла – настоящий шахид, душа его уже в раю.

– Не плачьте, бедные создания! Подобная смерть требует особой сдержанности в плачах, спокойствия. Не противьтесь воле Аллаха…

– Только любимый Аллахом раб удостаивается такой чести…

– Нет более почетной смерти, чем эта…

– А вот если будете плакать, стенать и печалиться, то наш герой примет в загробном мире самые страшные мучения…

Порой муллы замолкали ненадолго, но стоило плачущей жене Сармоллы или его дочерям, Бибисаре, Асме, выйти за чем-то из дома, как они поднимались на ноги и то по-книжному, то по-казахски продолжали талдычить свои речи. Прибыл сюда, с самыми благими намерениями, и старый хазрет. Он прошел,

стуча своим посохом, в дом и высказал домочадцам свои утешения, не забыв и о некоторых наставлениях.

Так, жаназа надо провести как можно скорее, покойного не нужно обмывать, не следует даже менять его одежду, да и саван, к счастью, не потребуется…

Муллы стремились как можно скорее проводить покойного, для чего не жалели сил, были готовы по-всякому угодить и пособить предстоящим похоронам.

Веская причина столь скорых похорон нашлась в самих законах ислама. Слепой кари первым провозгласил эту истину:

– Сегодня пятница. Покойника следует предать земле именно в пятничный день.

Эти слова подхватили и остальные служители мечети, повторяя их и в доме, и во дворе, и на улице, не переставая твердить:

– По законам ислама надо похоронить быстро.

Меж тем разговоры мулл продолжались, уже чаще с поправкой на особенный день смерти Сармоллы:

– Смерть посетила его в ночь с четверга на пятницу, что есть доказательство праведности этого шахида…

– Умереть так и в такое время пожелал бы любой правоверный…

– Наш благочестивый дамулла предстанет перед судом Аллаха безгрешным праведником, как сказано в «Лаухаль-Махфуз»…

– Молитесь, мусульмане, о том, чтобы на всех нас пала милость нашего уважаемого Сармоллы, погибшего как шахид…

– О смерти в пятницу мечтает каждый истинный мусульманин…

Муллы собрались у дома Сармоллы, словно грифы-падальщики, слетевшиеся на мертвечину, они и похожи были на этих белоголовых грифов – в своих белых чалмах.

У такой спешки были, конечно, свои причины…

Первыми о смерти Сармоллы узнали его ученики, придя к нему в дом на ежедневные занятия. Это были дети и подростки не старше пятнадцати лет, в основном из самых простых семей, дети таких бедняков, как лодочник Есбай, рыбак Ермек, ремесленник Токбай. Двое младших сыновей Дамежан также учились у Сармоллы нынешней зимой, а теперь на их месте сидели дети ее соседей. Они-то и принесли домой весть о смерти учителя, рассказали родителям, не прекращая плакать.

– Убили сегодня Сармоллу, перерезали горло.

Весть разнеслась по всем окрестным домам на берегу реки, где жили главным образом лодочники-перевозчики, работающие и на отдыхе, уже весьма пожилые. Все сразу вспомнили слова, сказанными покойным на недавней хутпе…

Произнеся проповедь один раз, Сармолла больше не выступал ни с какими речами, да и вообще не показывался на людях, никуда не ходил – лишь занимался с учениками у себя дома. Все, однако, хорошо понимали, что его поступок многого стоит: он будто бы раскрыл глаза на колдовские чары вероучителей, на глубокие тайны всех их древних книг, написанных на чужом языке. Его речь была словно молния, обрушенная с небес на мулл, будто в наказание за все их мелкие грешки.

И Сармолла победил! Городской люд поверил ему, тотчас отвернувшись от имама, мулл, перестав приглашать их на жаназа и хатым. Сейчас, после гибели Сармоллы, обо всем этом говорили не какие-то отдельные люди, семьи, но и жители целых улиц, в конечном итоге – вся махалла. Простой народ ни на йоту не сомневался в истинных причинах убийства…

Будучи невольными свидетелями разговора взрослых, ученики Сармоллы ходили по слободке все вместе, оглашая улицы плачем по убиенному учителю. На перекрестке им встретились пожилые лодочники Сеил и Есбай, идущие с реки. Один нес на плече багор, другой – лопату.

– Бросьте этот пустой плач! – сказал Сеил, обернувшись на ходу. – В таких делах есть только одно средство. Найдите Метрея и Симона. Идите прямиком к ним и скажите: убили человека, нашего муллу, помогите найти убийц.

Метрей и Симон, о которых говорил Сеил, были глазами и ушами пристава, «охотниками», как их величали казахи, попросту говоря – полицейскими городского округа по эту сторону реки. С длинными желтыми саблями, висевшими на заплечных ремнях, молчаливые, с угрюмыми лицами, они изо дня в день обходили улицы головного жатака, и найти их было никак не трудно.

Так, вняв совету Сеила, пробежав несколько кварталов, ученики Сармоллы и наткнулись на них в одном переулке, обступили «охотников» и наперебой рассказали о том жутком событии, что произошло ночью с их учителем.

Услышав эту весть, полицейские пришли в дом Сармоллы, внимательно осмотрели труп, затем доложили о происшествии в конторе пристава.

Пристав Смирнов, «забедейши», служивший в чине подполковника, был человеком среднего роста, худощавым, носил остроконечную бородку и большие усы. На своем месте он прослыл деловым, расторопным служакой. Разумеется, он не мог оставить без последствий убийство и немедленно доложил начальству о том, что в слободке сегодня пролилась кровь… Это было редкое, особо тяжкое преступление для здешних мест. За семь лет службы на своем участке ему еще ни разу не приходилось заниматься убийством, а уж тем более о насильственной смерти магометанского священника он и вообще никогда не слыхивал.

Подполковник не очень-то разбирался в религиозной иерархии мусульман, понимая лишь то, что убитый мулла был служителем мечети. Считая по-православному, служителем может быть и дьякон, и поп, и протопоп. Убийство людей такого сана представлялось ему деянием, совершенно немыслимым. Бы-

стро вызвав следователя и врача, он тотчас послал их в дом Сармоллы.

В этом-то и были истинные причины спешки, с которой вероучители намеревались похоронить Сармоллу. Вся их беготня и суета, этот гам, издали сливавшийся в сплошное воронье карканье, начались именно после того, как в доме появились полицейские, затем – следователь и врач.

Они попросили всех выйти из комнаты и тщательно осмотрели тело. Составив акт, снова натянули на труп одежды в пятнах засохшей крови.

Едва увидев служителей порядка, Шарифжан и Самат кинулись в мечеть и, поторопив хазрета, спешно возвели Сармоллу в шахиды. Слепой кари, присутствовавший при обряде, тут же вернулся в дом Сармоллы и возвестил о явлении нового мученика, а также о том, что его следует похоронить немедленно, в пятницу. Хоронить в пятницу – это требование религии. По решению мусульманского общества, нет наказания убийцам. Это была воля народа, его отдали в жертву за всех людей, поэтому никто не имеет права участвовать в обряде похорон, кроме мусульман, близких покойному шахиду.

На жаназа пригласили влиятельных баев, известных торговцев головной махаллы, таких как войлочник Сейсеке, мясник Касен, лавочники Жакып, Отарбай. Был приглашен также и Оразбай. Во имя шариата, вся эта толпа быстро снесла Сармоллу на мусульманское кладбище…

Вскоре начались события, которых никто не мог ожидать. Какие-то люди подстерегли халфе Шарифжана, когда он вечером возвращался с намаза ястау. В сумерках с его головы сбили чалму, сломали два зуба, в кровь разбили лицо… Вскоре кто-то бросил несколько камней в окна халфе Самата, насмерть перепугав его домочадцев. На следующую ночь над махаллой поднялся к небу столб огня: это горела крыша дома муэдзина Самурата, та самая, что он построил недавно – и краска не успела

засохнуть. Все знали, на какие деньги справлена эта зеленая крыша.

Тем временем «охотники» Метрей и Симон, по приказу пристава, принялись с утра до вечера допрашивать халфе Шарифжана, слепого кари, муэдзина Самурата, вновь и вновь брали дознания с торговцев Отарбая, Корабая.

Вести о том, что в контору пристава таскают служителей религии и городских баев, быстро разлетелись не только по эту сторону, но и дошли до Большого Семипалатинска, Затона, Жоламана, Ожерке, вышли и за пределы города, достигли степи, ближайших аулов…

По вызову пристава, как сторонние свидетели, в конторе слободки побывали самые простые горожане, такие, как Сеил, Ербол. Множество и других жителей города самого разного состояния также перебывали в эти дни у чиновника, заведующего управлением слободки.

Вдруг случилось неслыханное: служителя мечети, вероучителя, к тому же недавнего погорельца, муэдзина Самурата – посадили в каталажку. Прослышав о том, перепуганный слепой кари в тот же вечер оседлал коня, помчался к хазрету, халфе и поднял их с постели, также смертельно напугав.

Договорились о том, что ради ислама, ради истины они все вместе должны как-то противостоять приставу, властям. Сообщили об этом и крупнейшим баям города, заставив всю ночь скакать по темным улицам халфе Шарифжана и Самата.

Прошло несколько дней. От имамов всех семи мечетей Семипалатинска, именитых баев в различные конторы пришли приговоры. Бумаги были составлены точно, грамотно, поскольку к этому делу привлекли своих, давно купленных, самых расторопных адвокатов и толмачей.

Целую неделю после смерти Сармоллы в городе стояла суматоха, на улицах не смолкали разговоры, из дома в дом ходили самые невообразимые сплетни… В конечном итоге, зло, совершенное один раз, злом и закончилось.

Неожиданно в контору к «забедейши» приехали главный полицмейстер и городской голова. Люди слышали, что во время их недолгого визита в здании управы стоял громкий грозный крик. В тот же день пристав закрыл начатое дело и отпустил муэдзина Самурата. Имам, халфе и городские торговцы также обрели душевный покой…

Кто знает, сколько аккуйрыка[1] вручили чиновникам, от полицмейстера до пристава Смирнова, следователя Зенкова? Сколько его получили имамы с той стороны, посодействовавшие своими приговорами?

Пристав и следователь не сомневались в том, кто совершил это убийство и почему, но, тем не менее, убийц отпустили с миром. Было произнесено множество оправдательных аргументов.

Коль уж магометанская вера не запрещена, а такое деяние разрешено их шариатом, то и запретить его никак нельзя… Сие есть деяние простого люда, совершенное им в столь опасное для него время, ради спасения от эпидемии холеры… Глупое деяние невежественного люда, во имя избавления от напасти… В российских законах не предусмотрено наказание за подобное деяние… Это даже и не преступление вовсе, а постулат исламской религии…

– А потому, нет и виновных! – вынесли свое решение власть предержащие.

Так и осталась смерть Сармоллы безо всяких последствий, протесты его защитников постепенно затихли, да и само преступление забылось и кануло в небытие.

Утихомирились и таинственные мстители, методично и молча наказывающие мулл за Сармоллу, будто обрушивая на них невидимую десницу народного гнева. От последней их дерзкой выходки пострадал слепой кари.

Как-то раз, вернувшись с той стороны в дом Кумаша, Абай услышал от его домочадцев такую новость. После ночного намаза, именно в тот час ночи, когда убили Сармоллу, слепой

---

[1] *Аккуйрык* – сотенная купюра того времени, как ее называли казахи.

кари возвращался домой. Возле его собственных ворот на него напали какие-то молчаливые люди. Дав ему несколько пинков и зуботычин, бросили его в арбу и принялись возить по спящим улицам, время от времени без единого слова избивая кулаками и пиная ногами.

Похоже, эти люди понимали, что уши слепого более чутки к человеческому голосу, чем у зрячего, потому и мучили его молча, пинали и били до полусмерти. Наконец, привезли в чью-то конюшню, связали ему руки его же чалмой, на голову напялили феску, что носил он под чалмой, и бросили кари лицом в кучу навоза. Дверь подперли снаружи поленом и удалились, столь же молча и бесшумно, как терзали и мучили.

Поняв, что его, наконец, оставили в покое, слепой кари, шаря вокруг себя, не переставая охать и стонать, попытался встать и найти выход, но на этом приключения его не закончились. В довершение всего лошадь, стоявшая в конюшне, так лягнула его копытом прямо в лоб, что он надолго потерял сознание…

Лето близилось к концу, шла последняя неделя августа. Ночи стали прохладными, днем дул нескончаемый ветер, часто лил дождь… Все вокруг говорило о близкой осени – и пасмурное небо, и внезапные заморозки, пронизывающие до костей, и переливы золотого и красного в листве густого леса Полковничьего острова.

Изменилась и жизнь городских базаров: по эту сторону пригнали со степи на продажу лошадей, коров, верблюдов, овец, большой семипалатинский базар был завален горами арбузов и дынь. Их везли на многочисленных подводах и арбах с бахчей Белагаша, что стоял на опушке соснового бора, из станиц Актас, Глухов, Степной, располагавшихся ниже по Иртышу, а также с верхних поселений – Ожерке, Секленке. Крестьянские обозы как с пшеницей, так и уже смолотой мукой заполонили городские базары по обоим берегам реки.

Воды Иртыша помутнели от обложных дождей, что несли со степи длинные кочевья черных туч. Если дождь на время

уходил куда-то в пойменные дали, то на город нападал густой туман, а затем его разгоняла еще более злая напасть – неистовый ветер, который хозяйничал на улицах, а пыльные улицы Семипалатинска после дождей превратились в медленные грязевые потоки… Мало кто теперь ходил по городу без особой нужды – по этой болотистой грязи, под этим серым небом, порой два-три дня державшим свой ровный свинцовый цвет.

И отступила, наконец, холера… Явное ослабление эпидемии было замечено спустя две недели после смерти Сармоллы, когда и разговоры вокруг убийства почти прекратились. Однако муллы сами подняли эту тему вновь. Абай понимал отступление болезни как вполне естественное явление, но слухи, исходящие от мулл, были совершенно иными. В медресе, мечетях, при больших скоплениях народа, говорилось примерно следующее…

«Мы не ошиблись: Сармолла был самым благочестивым, праведным человеком в нашем городе… Принеся в жертву именно его, люди поступили, как этого требует шариат… Пожертвовав одним достойным человеком, они спасли от верной смерти матерей-отцов, детей, всех жителей города… Кровью Сармоллы преодолена страшная напасть, обрушившаяся на голову людей… И народ поступил правильно… Великая благодарность нашим имамам…»

Удивительно, что и в конторе пристава на последних страницах дела по дознанию по поводу убийства Сармоллы были приведены подобные слова как показания последних из допрошенных мулл: «Приверженцы магометанской веры принесли в жертву Сармоллу. Теперь все видят, что это оказалось верным средством против холеры».

Мало того, кроме показаний служителей мечети, в протоколе были записаны явные слова представителей закона: «В течение двух недель прекратилась эпидемия холеры в районах Семипалатинска по обеим сторонам реки. Жертвенная смерть Сармоллы оказалась благотворной не только для магометан,

но и для русского населения, также и для чиновников, сидящих в присутственных местах администрации города…»

Думая о смерти Сармоллы, слыша от людей все эти вести, Абай чуть ли не задыхался от гнева и возмущения. Как-то он увидел группу вероучителей, стоящих возле мечети – хазрета и мулл, которые считались духовными наставниками мусульман. Ему показалось, что перед ним куча слепых белых червей, они копошились в темноте и вони, в дерьме – гнилостные души, враги всего живого, рабы желудка, собственной алчной глотки.

Увидев их вблизи, теперь зная их черное нутро, Абай брезгливо отпрянул, отвернулся и пошел по улице прочь. Сам себе он казался беспомощным, жизнь представлялась безысходной. Пусть в степи творятся всякие зверства, они по-своему жестоки, но здесь, в городе, темнота и невежество, чудовищное насилие приобретали уже совсем немыслимые, самые изощренные формы…

Абаю казалось, что он стоит перед глухой каменной стеной, в этой стене двери чугунные, черные, наглухо закрытые, а сам он настолько обессилен и изможден, что не может сдвинуть с места засовы.

Горестные размышления обо всем этом не могли пройти бесследно: как-то вечером, испросив у Кумаша лампу, Абай уединился за круглым столом в одной из нижних просторных комнат и взялся за перо.

Он работал несколько ночей подряд, а днями ходил в глубоких размышлениях. Тяжелые думы плыли сквозь его омраченную душу, как серые облака осени. Словно обложной дождь, пролились они на бумагу, превратились в столь же невеселые стихи:

Мулла, – хоть сам две трети не поймет, –
Коран толкует сутки напролет.

Пускай копною у него чалма,
Он, как стервятник, только падаль жрет[1]

Так он говорил с имамами, халфе, хазретами, их же беспощадным языком, нещадно их изобличал… Когда еще несколько других строк излилось на бумагу, Абай приободрился, даже успокоился…

Муэдзины, ишаны, хазреты, муллы
повести за собою хотят – но куда?
Вся их мудрость – чалма на пустой голове,
вся их сила – четки в руках.
Ничего, кроме этой святой пустоты
или святости ложной, пустой…
Только хищников грубый, жестокий оскал.
Только сытые лица глупцов[2].

Подошли к концу дни оразы[3], когда все взрослые мусульмане постились. У городских ребятишек об эту пору была одна веселая забота. Как только наступали вечерние сумерки, у многих домов можно было видеть детей, поющих под окнами *жарапазан* – песню, которую принято распевать во время такого поста. Такое теперь происходило по всему городу, чуть ли не под каждым окном, до самого отхода жителей ко сну…

Раз под окном за спиной Абая, сидевшего в одиночестве над своими бумагами, послышался частый топот ног. Вслед за тем зазвучал жарапазан, мелодично исполняемый в три детских голоса. Первые же слова песни, никогда ранее не слыханные в городе, заставили Абая встрепенуться. Он с немым удивлением оборотился к окну, замер, слушая жарапазан, что пели дети…

---

[1] Перевод Я. Смелякова.
[2] Перевод А. Кима.
[3] *Ораза* – мусульманский пост воздержания.

Мы споем о Сармолле,
О злосчастнейшем мулле,
Завтра день курбан-байрама,
Лучший праздник на земле,
Бриться начал Сармолла,
Вот так славные дела –
Бритва вместе с волосами
Голову с него сняла.

В таком духе дети продолжали пение еще довольно долго и, прежде чем умолкнуть, громко оповестили Абая, уже подошедшего к отворенному окну:

– Вот и весь наш сказ, агатай!

Абай выгреб из кармана мелочь и через подоконник ссыпал в протянутую маленькую раскрытую ладонь. Он молча проводил детишек задумчивым взглядом и долго сидел у окна, размышляя над этими несуразными стихами, искренне исполненными этими чистыми детьми… Жарапазан оказался не чем иным, как плачем по Сармолле. Было совершенно ясно, что его сочинили юные ученики покойного.

Выходит, теперь убиенный Сармолла стал легендой городских улиц, народным героем махаллы. У Абая досадливый ком стоял в горле, когда он думал об этом. Что за сила взяла верх над ним? Она родилась не сегодня, не вчера, она существует не только в слободке, в городе, но и всюду, во все времена, на всем белом свете. И берет она свое начало с незапамятных времен… Неведомо, неизвестно, каким образом сила зла может потерпеть поражение, уступить дорогу добру. Непобедимая, гнусная, глухая сила.

В дни холеры Абай познал всепоглощающую власть мечети над людьми, проследил ее глубинные корни – живучие, проникшие в самую душу народа. Темная мощь этих благочестивых вероучителей оборачивалась тяжелой, неотступной бедой обыкновенных, ни в чем не повинных людей. Прежде Абай ду-

мал, что простые казахи держат себя подальше от этой напасти – оказалось, что это не так. Прежде он считал город очагом учености и культуры, тешил себя надеждой, что степные казахи, становясь горожанами, смогут повести за собой степь, стать опорой народа.

Люди, коих он знал и любил, с горьким плачем покидали этот мир – великое множество людей! Эпидемия будто покрыла улицы города убийственным мраком. Сколько отцов-матерей умерло, сколько юных жизней оборвалось! Они ушли, как со своими неосуществленными мечтами, так и невысказанными печалями.

И есть одна печаль – самая горькая, тяжелая, ядовитая... Некая темная напасть, заразнее холеры самой, посильнее любой болезни! Это – невежество, глухая, беспросветная тьма души и сознания...

И ничто не может помочь. Даже когда Абай совладал с собственным смятением, стал хозяином своих мыслей, вышел на простор, раскрыл людям глаза – разве хоть чуть поубавилось в мире зла! Ничто не встрепенулось. Та же беда, то же черное, свирепое зло. И внутри – та же душевная рана...

Как-то раз, погруженный в подобные мучительные думы, вспоминая угасших людей, сидел Абай за столом и, тяжело вздыхая, просматривал свои бумаги, стихами исписанные листы... Вдруг где-то вдали послышался топот копыт, он приближался, – казалось, что всадники нацелены на дом Кумаша.

Абай подошел к окну. Четверо верховых настегивали лошадей, мчась во весь опор вдоль улицы. Было видно, что они сильно спешат.

Абай понял, что приехали со степи, и приехали именно к нему. Екнуло сердце: как бы не привезли какую-нибудь недобрую весть! Стоя посреди комнаты, Абай ждал, когда они войдут в дом. Дверь распахнулась, и на пороге появился Дармен. Абай вовсе не ожидал увидеть своего молодого друга, любимого им акына. Радость захлестнула его прежде, чем он увидел,

как бледен и мрачен Дармен. Громко поприветствовав Абая, он даже не улыбнулся.

– Апырай, что с тобой? С чем, по каким делам ты здесь? – Абай торопливо расспрашивал, даже не дав Дармену присесть.

Снял очки, положил их на стол, свернул свои бумаги… Нет, не с доброй вестью столь спешно приехал Дармен!

Джигит все же присел на корпе, но как-то неспокойно: оперся на камчу, не снял с головы тымак, опустился на одно колено. Его красивые глаза сейчас были красными, так и горели на светлом лице, веки припухли.

– Я приехал – и тут же уеду! – воскликнул Дармен. – Позади – враги, впереди – огонь.

– О чем ты говоришь?!

Дармен заговорил торопливо, сбивчиво:

– Никогда не думал навредить вам хоть чем-нибудь, Абай-ага! Все время, будучи рядом, никогда ничем не желал обременить вас. Но… Ничего сам не могу решить, пламя окружило меня! Воля ваша, решайте сами, как скажете, так и будет, я подчинюсь… Ехал сюда, выбиваясь из сил. Однако доехал, и теперь я перед вами, судите меня!

Тут только Абай понял, о чем говорит Дармен. На днях Абиш намекнул отцу на одно неожиданное, из ряда вон выходящее обстоятельство, связанное с его молодым другом. Теперь ясно: Дармен приехал к Абаю именно с этим…

НАД БЕЗДНОЙ

1

Ночь накрыла безлунной мглой серый невзрачный дом и глухой двор вокруг него. Непроницаемая чернота, словно гнездовьями ночи, громоздилась вдоль длинного лабаза с открытыми навесами. Беззвездное небо тяжко навалилось на уснувшую слободу. И в этой кромешной тьме о жизни людской напоминал лишь многоголосый лай встревоженных чем-то дворовых собак. Иных признаков человеческого мира во дворе дома Кумаша не ощущалось.

Сойдя с высокого крыльца, – после короткой встречи с Абаем в доме, – смутно видимый во тьме Дармен остановился и тяжело вздохнул. Затаившиеся в нишах лабаза спутники его выступили навстречу. Их было пять человек – четверо мужчин и одна женщина. Лошади были привязаны в глубине двора за лабазом. Первым подал голос Какитай:

– Что он сказал? Не ругал тебя?

– Нет, не ругал, – был тихий ответ. – Но я заметил, что Абай-ага и без меня был чем-то сильно огорчен… Не ругал, но и лишнего ничего не сказал. Только посоветовал: надо остановиться в надежном доме. И еще: чтобы от имени самой Макен было подано заявление городскому начальнику, да как можно быстрей. Бумагу будет писать Абиш. Нам же лучше укрыться на той стороне реки, в Большом Семее.

Негромко все это выговорив, Дармен подошел к девушке, взял ее за руку и повел к коновязи. Остальные бесшумно последовали за ними. Стройная, высокая девушка Макен была

невестой Дармена, с которой он бежал от погони. Их сопровождали в побеге верные друзья Дармена – жатак Абди, акыны Какитай, Мука́, маленький Алмагамбет.

Вскоре небольшая ватага всадников торопливо проскакала дорожной рысью в сторону Иртыша по безлюдным улочкам слободки. Беглецам – юному джигиту Дармену и девушке Макен, до сих пор ни разу не покидавшей материнского очага, предстояло найти приют и укрытие на другом берегу, в большом городе.

Они преодолели просторы степи, теперь была перед ними преграда – воды ночного Иртыша, через который надо переправиться на лодочном пароме. Лодочники из городского жатака, занимавшиеся перевозом людей и гужевого скота, шабашили с закатом солнца, и всякая связь между двумя берегами прерывалась до утра. Беглецы упустили время для переправы, но Абай направил Дармена к паромщику Сеилу, своему давнему доброму знакомцу, с тем, чтобы тот помог бегущим от погони путникам. И Сеил, живший в одиноком, на отшибе, домике без крыши, на высоком обрывистом берегу Иртыша, вышел на стук в ворота, поговорил с Дарменом и вскоре уже шагал впереди всадников по дороге, направляясь к месту переправы, где стоял его небольшой паром. По пути он зашел в два дома и позвал с собой своих помощников с веслами. Все это Сеил безоговорочно делал, повинуясь лишь имени и просьбе Абая-ага.

У парома стало ясно, что всем на нем не переправиться, вместительная посудина мала для стольких лошадей, и пришлось в нее сесть только Дармену, Какитаю, Абди и Макен – с единственной ее лошадью, гнедым иноходцем. Двое джигитов, Алмагамбет и Мука́, повели остальных лошадей в поводу к знакомому дому в слободе, где раньше не раз уже останавливались.

Но по слободе об эту пору беспокойно рыскали еще с десяток других конников, – явно в метаниях нетерпеливого поиска. Взмыленные лошади грохотом своих копыт нарушали тишину

сонных улочек и, наконец, пресеклись, сгрудившись перед воротами дома Кумаша, где остановился Абай. Это были степняки из Тобыктинского края, они гнались за беглецами. Возглавлял их Даир, могучий джигит с огромным носом и ощеренными зубами, жаждавший расправы над преследуемыми, которые могли найти прибежище у Абая.

Но врываться с шумом и со скандалом в дом, не имея точных сведений, Даир не решился, и он для начала стал обходить двор, заглядывать в лабаз, осмотрел конюшню. Тут он встретил бредущего через двор мелкого, оборванного человечка, это оказался сторож на подворье, простоватый и недалекий, но весьма словоохотливый. Такой именно и нужен был Даиру, – не понимающий подоплеки всего происходящего, сторож с готовностью отвечал на все вопросы и рассказал, что здесь происходило поздно вечером, совсем недавно. Шесть человек, мол, заехали во двор, спешились, один заходил в дом, вышел через короткое время, затем все сели на своих коней и уехали. Должно быть, хотели заночевать, но их не пустили, – предполагал сторож. Ускакали вниз по улице, к реке

Получив эти сведения, Даир поспешно выскочил со двора, запрыгнул на взмыленного бело-серого скакуна и молча пустился с места галопом вниз по улице. Остальные дружно последовали за ним.

У многоопытного Даира, хорошо разбиравшегося в степных делах и в городских, сразу возникла догадка, что беглецы не станут останавливаться на ночь в слободе, где могут их настигнуть преследователи. Поэтому они постараются перебраться на другой берег, в Большой Семипалатинск, где окажется гораздо безопасней для них.

Отъехав немного от дома Кумаша, Даир остановил отряд и распорядился, чтобы трое поехали к дому войлочника Сейсеке, у которого обычно останавливался Оразбай, и обо всем случившемся доложили ему.

Даир был родственником Оразбая, к тому же близким ему человеком и товарищем. Преследуемая им девушка Макен была жесир, невеста-вдова его умершего младшего брата, который погиб, упав с лошади. И теперь Даир, будучи ее аменгером, мог жениться на ней. Впрочем, такая возможность существовала и для Оразбая – по родственным связям. Но ее умыкнули, и отнял у них невесту-вдову, выходит, не столько бездомный Дармен, как его покровитель, защитник и учитель Абай, их ярый враг. Даир просил передать Оразбаю через своих гонцов: пусть поможет отомстить за нанесенный им позор. Сам же Даир не успокоится, не остановится, пока не накажет врагов или не падет от их рук.

Трое гонцов все передали Оразбаю и высказали предположение Даира, что беглецы переправились через реку в Большой Семей. Но кто помог им переправиться ночью, какой лодочник взялся этому способствовать? Все можно было теперь выяснить, набравшись терпения и подкараулив паром при возвращении на слободской берег. С такой целью Даир и затаился в засаде со своими джигитами, возле пристани на Иртыше. А через своих посланцев попросил Оразбая связаться с городским баем Сейсеке, который имел влияние на всех паромщиков города.

Услышав весть от Даира, старый Оразбай вскочил с места, безумно вращая единственным глазом, как шаман-бахсы, одержимый бесами. Страшные проклятья и черные поношения посыпались из его уст на голову Абая. Все это происходило в дальней комнате дома Сейсеке, куда крадучись, словно кот, вошел гонец Даира – чернобородый, рябой джигит по имени Жемтик. Оразбай и Сейсеке сидели там за круглым столом, рядом с толстым рыжеволосым аткаминером Есентаем. Войдя в комнату и сразу же опустившись на пол у двери, Жемтик оробело смотрел на баев.

Есентай был огромен, толст, с отвислыми щеками и узкими, заплывшими жиром глазами. От своей уродливой тучности он

казался человеком мрачным и нелюдимым. Ему даже трудно было разговаривать. Он был сверстником Оразбая, происходил из большого рода Сармырза, аткаминером которого являлся на сей день. Самый близкий друг Оразбая, Есентай всегда оказывался рядом во время скандальных свар или запутанных тяжб своего одноглазого друга. Ходили слухи, что в молодости они промышляли вместе, разбойно угоняя чужой скот. Два этих человека хорошо дополняли друг друга, хотя были совершенно разными по характеру и свойствам натуры. Оразбай был скор на гнев, крик, не сдержан на язык, мог выматерить любого и на любом собрании способен взорвать его благопристойный ход, вызвать самую свирепую свару и скандал, внезапно нападая на кого-нибудь с самыми несуразными обвинениями. Есентай же, обычно молчавший, спокойно выжидал, когда выговорится его друг Оразбай, и любил выступить с заключительным словом, когда уже все, считай, передерутся и накричатся до хрипоты. И своим выступлением он всегда только усугублял раздор, по новой сталкивал лбами спорящих и натравливал друг на друга, – любил он поиздеваться над людьми вздорными, глуповатыми, желчными и самолюбивыми. Но когда собрание завершалось спокойным образом, споры разрешались полюбовно, гороподобный, рыхлый Есентай терял всякий интерес к общему разговору и ленился даже рот раскрыть.

Тогда каменною казалась его громадная голова идола, и не понять было, может ли на этом каменном лице выразиться обычное человеческое чувство, хотя бы и чувство гнева. Но зато имело это лицо еще одно, почти чудесное, колдовское свойство – оно вызывало у окружающих чувство великого доверия к этому человеку. Казалось, он просто не может, не способен обманывать людей. Ему все верили, даже тогда, когда он явно издевался над кем-нибудь и выставлял его на посмешище. (Был у него ученик и горячий поклонник его особенной школы скрытого злословия – это Азимбай, сын Такежана.)

Сейчас Есентай сидел в доме Сейсеке и хладнокровно наблюдал за неистовыми метаниями и прыжками Оразбая и вращением единственного глаза своего наперсного друга, с явным удовольствием выслушивая его хулы на головы врагов. Оразбай клялся, что велит «изловить обоих беглецов, притащить их, набросив им арканы на шеи, поставить на колени, заставить каяться, а потом пустить лошадей по степи, – убить нечестивцев! А Ибраю пресловутому я вцеплюсь в ворот вот этими руками и немедленно призову его к ответу! Брошу его также на колени, затем втопчу в землю! Е-ей, кто считает себя моим сторонником, пусть не посрамит себя и достойно последует за мной!»

Впавший в неистовство Оразбай решил тотчас отправить Есентая и Сейсеке к Абаю в дом Курмаша, не глядя на ночное время.

Когда два бая уселись в тарантас, Есентай нагнулся к Сейсеке и тихо, чтобы не услышал кучер, сказал:

– Е! Ты, уважаемый бай, не охоч до степных драчек и раздоров, я это знаю. Поэтому, когда придем к Абаю, ты там и рта не раскрывай, сиди молча рядом. Говорить буду я, а ты только головой кивай. С тебя достаточно и этого! Ты понял?

И в дополнение к своим словам, для вящей убедительности, Есентай чувствительно ущипнул за ляжку бородатого, громадного бая Сейсеке.

Итак, к Абаю без всякого уведомления и предварительного согласования поздно вечером вошли два пожилых почтенных человека.

Абай отложил книгу, снял очки и подал знак Баймагамбету, чтобы из комнаты вышли все лишние, оставив его наедине с посетителями. Баймагамбет молча и деловито выполнил его повеление и прикрыл плотнее дверь, а сам опустился на корточки рядом с Абаем.

Есентай не стал тянуть время и заговорил первым. Сказал о беглецах, о том, что об этом стало известно, и что Оразбай

в негодовании. Затем, повернувшись своим малоподвижным огромным лицом к Абаю, уставившись на него узенькими глазками, молвил:

– Уа, что скажешь, Ибрай? – и застыл, как истукан, в ожидании ответа.

Есентай был моложе Абая, но считал возможным обращаться с ним на ты. И он заимел привычку называть его «Ибрай», а по его примеру все окружение Оразбая также стало называть Абая – Ибраем. Ибраем Кунанбаевым.

Абай хорошо знал, что разговоры, начатые Есентаем, всегда имеют целью что-нибудь недоброе для других, поэтому довольно долго выжидающе смотрел в упор на Есентая. Затем решил исподволь разговорить его, заставить раскрыться. Умный взгляд Абая проникал в самую душу коварного бая, и тот невольно совсем закрыл свои узенькие глаза-щелочки. Абай, наконец, проговорил:

– Пожалуй, первое слово тебе, почтенный бай. Выскажи, с чем пришел, завершай начатый разговор.

Тут Есентай чуть приоткрыл жирные глазки, скосил их на Абая и промолвил:

– Нечего мне говорить лишнее, кроме того, что желательно узнать твое мнение насчет поступка этих молодых нечестивцев. Вот ты и скажи, Ибрай, что мне передать Оразбаю?

Абай ни на мгновенье не замешкался, словно он ждал такого вопроса и уже давно имел на него ответ:

– Если я скажу, что молодые поступили неблаговидно, то это – мое искреннее мнение. Я не собираюсь на черное говорить – белое. Они виноваты перед вами за содеянное.

При этих словах хитроумные баи слегка растерялись, переглянулись меж собой. Они не предполагали, что Абай проявит такое смирение и сразу согласится с ними. Однако хитрец Есентай не поверил Абаю, а стал усматривать в его признании коварную уловку. Опять прикрыл глазки и сказал про себя: «Ну,

Ибрай! Хочешь меня вокруг пальца обвести? Но посмотрим, кто кого…»

– Виноваты, не виноваты, – об этом уже нет речи! Ты выскажи о том, какое наказание положено им?

– А что ты скажешь об этом? – ровным голосом спросил Абай. – Какое наказание определяете вы?

И тут Есентай озвучил кровожадное, зверское намерение Оразбая.

– Наказание последует вот какое… Оразбай передает: «Если Ибрай тоже осуждает этих нечестивцев, пусть отдаст их в мои руки. Велю накинуть им на шеи арканы и удушить их, волоча за конями».

– И что, Оразбай будет стоять на этом? По-другому не договоримся?

– Велел передать, что не отступится ни за что.

– Ну тогда вот что послушай. Прошли те времена, когда могли спокойно творить такие зверства. Ты, посланник Оразбаев, соображаешь, что городишь, бай? В какое время ты живешь? К кому пришел, где находишься, говоря свои дикие слова?..

Есентай не стал дослушивать Абая. Злобно уставился он своими темными щелками на акына и злобно раскричался, вмиг потеряв всю свою наигранную степенность:

– Ей! Ей! Ибрай, я пришел сюда не в краснобайстве состязаться! Если ты так заговорил, то слушай меня дальше! Оразбай говорит открыто: «Обвиняю в этом преступлении самого Ибрая, и не успокоюсь, пока не брошу его себе под ноги. Если он найдет для своей защиты какого-нибудь одного джигита с могучими руками, то я найду против него с десяток головорезов, которые заставят Ибрая умыться кровью! Он не рожден небом, он самый обыкновенный человек. Пусть не забывает об этом!»

Потеряв степенность, сорвавшись на крик, эта гора мяса и жира с красным от ярости лицом, – Есентай готов был, казалось, кинуться с кулаками на Абая.

Абаю же давно не приходилось слышать столь дерзких, наглых оскорблений, брошенных ему в самое лицо. Абай не заме-

тил, как он потерял самообладание, – и яростный рык, гневный возглас, вырвался из его груди:

– Прочь отсюда! Ты не с миром сюда пришел, не для переговоров, а с враждой и злом за пазухой! Убирайся вон! Оразбаю передай: пусть поостережется творить свои мерзости. Найдутся силы, которые способны и его забить в землю. Вот дверь, уходи, не задерживайся!

Есентай с трудом поднялся на ноги, постоял, тяжело раскачиваясь на месте, словно оживший степной истукан, потом молча направился к двери. Следом за ним, испуганно сгорбившись, последовал Сейсеке.

Когда они вернулись к себе, во дворе байского дома стояла невообразимая суматоха. Всадники куда-то вылетали за ворота, другие галопом влетали во двор и круто осаживали коней. Эта кутерьма была связана все с тем же, – не зная сна и покоя, преследователи искали потерянный след беглецов.

Даир в темном гневе метался по всей слободке, словно собака, взявшая след дичи. Он не давал минуты покоя своим джигитам, гоняя их в разные концы слободы городских жатаков. Он звал на помощь всех, кого только мог. Созывал к месту на берегу Иртыша, где, затаившись в ночи, ожидала засада возвращения парома, на котором переправились беглецы.

Со своей стороны, Оразбай и Сейсеке сзывали на помощь своих друзей, городских баев. Пришел купец Корабай, который был «острой саблей» и «верной пулей» Оразбая в городе, – привел с собою двух здоровенных малаев. Узнав, какое предстоит дело, Корабай со слугами сел в таратайку и отправился на берег Иртыша – искать Даира, чтобы укрепить его силы и вместе с ним ждать возвращения парома. И ждать долго не пришлось, – вскоре раздался в темноте всплеск больших весел по воде. Насторожившись, джигиты замерли в ожидании лодочников.

Большая лодка вскоре обозначилась на смутной, серой воде. Корабай подал знак, и вся ватага сгрудилась на берегу, куда пристал паром. С лодки на песок сошел Сеил, неся на пле-

че длинное весло. Корабай встал на пути лодочника, тот остановился. Сеил обернулся и крикнул двум своим помощникам, чтобы они вытаскивали на берег лодку.

– Стой, не спеши, – придержал его Корабай. – Ты перевези и нас, коли на то пошло, через реку.

Сеил по-прежнему молчал, смотрел на то, как его помощники, не задерживаясь, ловко попрыгали с большой лодки.

– Ведь ты перевез каких-то людей под покровом ночи, – продолжал между тем Корабай. – Что это были за люди? С какими черными мыслями они ночью переправлялись через реку? Говори!

Суховатый, рослый, широкоплечий, лодочник Сеил по-прежнему ничего не ответил Корабаю, отвернулся от него и направился к двум своим парням-помощникам, – стал помогать им, вытаскивать с ними лодку на отлогий песчаный берег.

Джигиты Даира подступили к лодочникам.

– Е! Ты, давай, перевези нас!

– Мы тебе заплатим!

Торговец Корабай разбушевался:

– Да ты что, брезгуешь моими деньгами? Не меньше заплатим, чем те, которых ты перевез! Чего ты ко мне спиной поворачиваешься? Нам нужно позарез, у нас неотложное дело, вот мы и обращаемся к тебе. Давай, вези!

Лодочник Сеил, молчаливый, уверенный в себе человек, ответил спокойно:

– Е, и без того возвращаюсь поздно. Устал руками махать, сил уже нет. Приходите завтра с утра. Я же не дурной, чтобы ночью в темноте снова гонять лодку через реку, туда и назад.

Положив на широкое свое плечо багор с железным крюком, Сеил подозвал своих парней-помощников: «По домам, джигиты!» – и зашагал прочь от берега.

Поняв, что привычной настырностью здесь не взять, Даир вмиг переменил угрозу на льстивый манер и, забегая сбоку, заговорил вкрадчиво:

– Тогда скажи, кого ты перевозил в ночную пору? Городских наших жителей или каких-нибудь людей издалека? Знакомые были твои или незнакомые?

– Джигит, мои знакомые – это деньги за перевоз! – отвечал паромщик. – Сеилу приходится тысячи людей перевозить, некогда в лица заглядывать! Мне все равно, кто в сумерках садится в лодку: русский ли, казах городской или степной человек. – С тем и удалился лодочник в сторону своего дома.

Даир и Корабай отстали от него, и теперь приступили с расспросами к другому лодочнику, гребцу Тусипу. Они остановили его на дороге и долго толковали с ним, то угрожая, то упрашивая по-хорошему, и в конце концов добились своего. Тусип, джигит тихий и немногословный, рассказал людям, желающим знать обычное дело: переехали на пароме три джигита и женщина. Взяли они с собой гнедую лошадь под женским седлом. По виду и по говору это были степные люди. Тусип услышал от них, что они будут добираться до приречной слободы Затон.

Теперь для Даира все стало ясно, все подтвердилось. Преследуя беглецов по караванной дороге от самого Чингиза, он все выспрашивал у встречных, какой масти были лошади у беглецов, в особенности интересовался, на каком коне ехала единственная в группе женщина. Лодочник Тусип сообщил к тому же, что, подъехав к Иртышу, два джигита с пятью лошадьми остались на слободском берегу, переправу совершили трое и женщина, гнедой скакун с женским седлом был взят в лодку.

Вся картина ясна, теперь нужно быстро действовать, не дожидаясь утра. «Лодка! Нужна лодка!» – с этими словами Даир с Корабаем поскакали от Иртыша к слободе.

Пока Дармен и его спутники, сойдя на берег в середине городской черты, возле паровой мельницы, потом добирались до Затона, времени прошло немало. Нижняя по течению Иртыша часть города была длинной, пришлось брести по немощеным улицам, утопая ногами в песке, среди деревянных домиков так называемой «казахско-русской стороны». Особенно длинная

улица вывела путников почти до окраины города, на безлюдную маленькую площадь. Отсюда улочки шли по горкам и оврагам, петляя из стороны в сторону, иногда проходя через густые тугаи. Местами попадались скопления длинных строений нежилого вида, это были кожевенные или пимокатные заводики, а также складские помещения. Эти промышленные заведения и домики работных людей вокруг и составляли окраинный район Семипалатинска, называемый Затоном.

Большой Иртыш огибал дугой ту часть Затона, которая расположилась на речном мысе. Именно здесь находились склады и пристани речного порта, стояли баржи и пароходы в затоне, – что и дало название всей нижней окраине Большого Семипалатинска. И здесь, в маленьких, невзрачных домишках, проживал рабочий люд, портовые крючники, мелкие служащие многочисленных контор. Особую многочисленную и крепкую рабочую касту составляли грузчики портов и переносчики товара, работавшие на длинных путях, от пароходов и до купеческих складов. Некогда прибыв в город, гонимые голодом и неурядицами в степи, казахи-крючники нашли применение своей незаурядной силе и выносливости в портовой работе, смогли не только выжить, но и стать прочно на ноги и обеспечить небогатой, но вполне сносной жизнью себя и свои многочисленные семьи – жен, детей, стариков.

Крючники Затона по виду отличались от прочих жителей городского жатака. И вели они себя по-иному. Среди многочисленного казахского населения Семипалатинска в повседневной круговерти будней затонские крючники не были на виду. Однако на больших праздниках, в дни курбан-айта или рамадана, имена многих из них не сходили с уст народных. В дни праздников на больших базарных площадях Семипалатинска устраивались веселые народные игрища и, главное, – молодецкая борьба палванов-богатырей. Состязания длились по два-три дня. И когда на круг выходили и раздевались до пояса крючники Затона, готовясь к борьбе, – человека по три, по пять, а то и по

десять разом, – все прославленные городские борцы и приезжие батыры из степи начинали терять уверенность. Ибо дюжие крючники хватали за пояс и бросали через спину противника с той же ловкостью и сноровкой, с какой они справлялись с тяжеленными тюками в порту. Самые громадные, устрашающего вида палваны не могли выстоять перед грузчиками и летели вверх тормашками в воздух, затем тяжко грохались оземь на лопатки. Этот борцовский прием крючников назывался в народе «затонским броском». Обожаемые детьми и взрослыми, батыры-грузчики становилась героями слагаемых простым народом легенд.

Когда Дармен и Абди обдумывали побег из степи в город, они надеялись не только на Абая, который в это время был в Семипалатинске, но и ждали получить помощь от рабочих-жатаков Затона, многих из которых Дармен знал, сам будучи выходцем из жатаков. Он не раз приезжал в Затон и пел для своих друзей, и они за это его очень любили и ценили.

Сейчас беглецы решили укрыться в доме Абена, самого надежного друга Дармена, который жил в маленьком домике из двух комнат. Когда путники подошли к нему, семья уже спала, пришлось стучаться, будить хозяев. Ворота открыла высокая, сухощавая женщина по имени Айша.

Оставив спутников посреди двора, Дармен зашел в дом вместе с Айшой. Через некоторое время в окнах домика загорелся мерцающий свет, и в дверях показался хозяин дома, белолицый, черноусый джигит.

Гостей провели в дальнюю комнату. В передней Айша принялась хлопотать у самовара и казана. В присутствии Макен молодые джигиты не стали особо распространяться перед хозяином о сути дела, только дали понять хозяину, что в виду опасности, вызванной рискованными действиями Дармена, ему и девушке нужно скрыться на несколько дней.

Какитай тотчас собрался уехать, не дожидаясь чая. Он должен был этой же ночью поехать к Абишу. Как можно скорее

должно было быть написано заявление от Макен на имя начальника уезда, о чем недавно говорил сам Абай.

Перед уходом Какитая Дармен передал ему запечатанный конверт.

– Это письмо Абишу от Абая-ага. Наверное, какие-то важные советы. Написал ага при мне и велел передать Абишу.

Какитай молча кивнул головой и спрятал конверт за пазуху. Тут хозяин и Дармен стали договариваться, как должно вести себя гостям, дабы сохранить тайну своего пребывания. Абди сказал, что связь с домом должна происходить только ночью, когда любопытствующие соседи будут спать. Абен, хозяин, одобрил это и добавил от себя, – даже ночью посетители не должны входить через ворота. Есть с дальней стороны двора выход, через который можно попасть на широкий пустырь, а там и выход прямо в степь. Какитая Абен вывел именно по этому пути. Гнедой иноходец, на котором приехала Макен, был бы очень заметен в этом дворе, где обычно лошади не стояли, поэтому решено было, что коня Какитай уведет с собой. Усадив его на лошадь, Абен взял ее под уздцы и с версту вел по темной дороге, известной только ему. Через некоторое время он вернулся домой один.

Ночь была на исходе, когда Какитай, в поисках Абиша, подъехал к дому Данияра. Но там почему-то еще не спали, в окнах горел свет. Какитай вошел и, стоя у двери, не сняв даже чапана, сразу же передал Абишу письмо Абая. Затем, волнуясь, то присаживаясь, то беспокойно вскакивая, долго рассказывал о произошедших невероятных, опасных и замечательных событиях, связанных с Дарменом. Слушая Какитая, Абиш пробегал глазами письмо отца. Какитай говорил, что надо ожидать немало враждебных выходок от тех сильных степных аулов, мимо которых беглецам удалось благополучно проскользнуть к городу. Теперь эти аулы могут послать своих обозленных многочисленных преследователей, поднять в Семипалатинске изрядную бучу. А двинет степняков на город не кто иной, как один из са-

мых богатых и опасных хищников, владетель несметных стад Оразбай. Какитай слышал, что он как раз находится теперь в Семипалатинске. Учитывая это, всем, кто решил помогать беглецам, надо действовать быстро, решительно, с умным подходом к делу.

Когда Какитай закончил свой взволнованный рассказ, Абиш, успевший уже несколько раз прочитать письмо отца, протянул Какитаю листок, исписанный крупным, ясным почерком Абая.

«Не буду говорить, что значит лично для меня Дармен. Но и в роду он набирает все большее уважение. Я видел, что ты тоже выделяешь его среди остальных и видишь в нем друга, и я одобряю это. Дружба – высокое понятие. Нет на свете никого дороже верного друга, и в жизни истинный друг всегда с тобой. Неверный же друг – это как тень, которая рядом, пока светит тебе солнце удачи, и куда-то исчезает при плохой погоде. Сын мой, я старался держать тебя подальше от всяких наших степных распрей, споров-раздоров. Но вот настал час, когда надо защитить беззащитного, отвести вину от невинного, заступиться за чистого, кроткого человека, истинного сына своего доброго народа. Теперь пришло время и тебе действовать. Они ушли в город, и поступили верно. Их единственно может защитить русский закон, нежели шариат или древний степной закон. Надо защищать их в среде городских сановников, которая тебе хорошо известна. Здесь я полагаюсь на тебя. Наверное, предстоят немалые усилия, большие хлопоты. Будь готов ко всему, держи во внимании все дело, не отвлекайся, не упускай из виду ничего – следи за всем днем и ночью!»

Таково было письмо Абая сыну.

Абиш распорядился заложить пролетку, стал собираться. Чтобы остаться незаметным, поверх офицерского мундира надел широкий чапан, на голову водрузил татарскую шапку. Пока Данияр и Какитай запрягали лошадь в возок, Абиш написал два заявления. Одно было на имя уездного начальника, другое – в Семипалатинский окружной суд. Обе бумаги были подписаны

именем девицы Макен Азимовой, прибывшей из Чингизского уезда.

Когда, свернув бумаги и одевшись на выход, Абиш собрался выйти из дома, то неожиданно решительно выступила вперед Магрипа, его молодая жена. Она заявила, что поедет с ним. И Какитай, и Данияр, и сам Абдрахман считали нежелательной ее поездку глухой ночью, не совсем безопасную, к тому же. Однако Магыш сумела всех их убедить, высказав следующее:

– Макен моя близкая подруга, она как родная сестра. Мы расстались, не каждый день можем увидеться. А теперь, когда ей грозит опасность, как я могу остаться в стороне, находясь совсем близко от нее? Не судите меня, мой супруг, возьмите с собой.

Высказано было столь убедительно, непреклонно, что у Абиша не нашлось слов возражения. Лишь взглянул он в огромные темные глаза Магыш, с любовью и доверием смотревшие на него, да ласково обнял ее за плечи и коротко сказал: «Поедем!»

В двухместной коляске Какитаю пришлось сесть на место возницы. Резво тронув с места вороного иноходца, он направил его в открытые ворота.

В Затоне, в доме Абена, все уже спали. Лишь сильно встревоженный Дармен, не раздевшись, лежал возле крепко уснувшей Макен. Он и выбежал из дома, когда подъехала коляска и остановилась у ворот.

Абиш не стал даже въезжать во двор, очень спешил. Дел на день грядущий предстояло сделать немало. Собравшись во дворе, друзья переговорили обо всем.

Тем временем в доме, встревоженная уходом Дармена, проснувшаяся Макен вдруг увидела стремительно входившую в комнату Магрипу. Молча метнувшись к ней, обняла ее, прильнула лицом к ее лицу. Целовали друг дружку в заплаканные глаза, в мокрые щеки. Снова и снова размыкались и вновь смыкались их объятия. Жгучая тревога за подругу, горечь разлуки, радость

неожиданного свидания – все это было причиной их бурных слез, и слезы подруг были воистину горькими и солеными.

Абиш попросил Макен подписать заявления, предварительно объяснив, для чего они составлены и к кому обращены. Чернильным карандашом девушка крупными буквами написала внизу листочков: «Макен Азимкызы».

– Вас подстерегают опасности, но мы с вами, поэтому ничего не бойтесь. Сидите спокойно, не тревожьтесь ни о чем. Вы сделали все хорошо. Что свершилось, то и свершилось, иншалла! – теперь нам надо постараться, чтобы у вас и дальше все было благополучно! Но враг наш не сидит без дела, враг силен и жесток – не дай Бог, чтобы он настиг вас! Мы будем защищать вас, я и Какитай, а также два самых надежных наших джигита – Абди и Абен. Они сильные и могучие не только духом, но и телом! Вы сделали хорошо, и ни о чем не сожалейте! Мне думается, что и ты, Магыш, айналайын, присоединяешься к нам!

Завершив речь на ласковом, шутливом слове, Абдрахман сияющими глазами посмотрел на заплаканных, встревоженных подруг.

Никто после Абиша не счел нужным сказать что-нибудь еще. Макен, протянув к нему руку, дрожащим от слез голосом сказала: «Теперь я ничего не боюсь… О, Абиш, теперь я все выдержу, что бы мне ни выпало!»

Магрипа, слышавшая слова подруги, снова обняла ее, поцеловала в глаза и сказала с нежным и страстным воодушевлением: «Ты выдержишь! Знаю, ты все выдержишь, душа моя!» Сказано это было тихим голосом, но все услышали.

Между тем джигиты подробно обсудили свои будущие действия. Одного из коней, которых Мукá и Алмагамбет должны были переправить на этот берег, решено было держать стреноженным за двором, в зарослях затонского тугая, – чтобы любая важная весть могла быть вовремя доставлена отсюда в дом Данияра, для Абиша и Какитая. Мукá же и Алмагамбет, с утра

переправившись через Иртыш, должны быть здесь, в Затоне, чтобы день и ночь быть рядом с Дарменом и Макен.

Легкая коляска, прикатившая полчаса назад, отправилась назад по той же объездной дороге, по которой прибыла, не потревожив сон затонских обывателей. И в то самое время, когда коляска проезжала по центру Большого Семея, у белой паровой мельницы, мимо паромной пристани, туда причаливали три большие лодки, полные людей и лошадей. На одной лодке виднелся возок. Это были Даир со своими десятью джигитами и торговец Корабай с двумя здоровенными малаями.

После отказа Сеила перевозить их, Даир и Корабай все-таки нашли других лодочников, подняли их и уговорили перевезти отряд преследователей на другой берег.

А в Затоне, в доме Абена, в задней комнате, ворочалась в постели Макен, которой никак не спалось. Рядом находился Дармен, тоже не спавший. Оба не заговаривали друг с другом, старались взаимно сберечь покой, и были охвачены одной и той же тревогой. В памяти Дармена, поминутно окатывая его сердце горячей волной счастья, наплывали пережитые мгновения его любви… И пусть она была еще совсем недолгой, – но воспоминания о ней будут для него неизбывны до конца жизни.

Он встретил Макен, когда ему исполнилось уже двадцать пять лет. Никогда раньше сирота Дармен не грелся в лучах любви, не горел в огне страсти. Он был не раз искренним доброжелателем, наперсником любви и дружбы друзей и товарищей своих, надежным посредником и хранителем нежных тайн девушек и молодых женщин, к которым относился истинно по-братски. Оказавшись доверенным и свидетелем печальной, прекрасной любви Абиша и Магрипы, что вспыхнула на его глазах, Дармен вскоре почувствовал такой же огонь и в своем сердце. Словно слилась любовь друга и его собственная, – Дармен полюбил Макен, задушевную подругу Магрипы.

В середине прошедшего лета, когда Абиш, как жених, последний раз перед свадьбой посетил ногайский аул, расположенный

в красивейшем урочище Керегетас, – друзья Абиша вместе с ним пробыли там дней двадцать в беспрерывных играх и веселье. Прибывший как дружка жениха, Дармен в те дни и ночи, гуляя и пируя, проводя бесподобные вечера в джайлау на игрищах, распевая песни и раскачивая девушек на качелях-алтыбакан, узнал, наконец, волшебство и своей собственной любви. Стройная, нежная Макен, все это время ежедневно встречавшаяся с ним во время общих гуляний, стала для него воплощением его самой заветной, чистой мечты.

Абиш и Магрипа не приложили особых стараний к тому, чтобы эти два сердца открылись друг другу, – любовь Дармена и Макен занялась от огня чувств их друзей. Но если бы спросить у обоих, в какой из дней зародилась она, они бы не смогли ответить. Возможно, частые просьбы спеть вместе, с которыми обращались друзья к этой незаурядно талантливой паре, способствовали их первоначальному сближению. И когда в ясные вечера, выходя за аул большой веселой компанией, молодежь разбредалась под лунным сиянием небольшими группками, чтобы надолго затеряться в степи уже отдельными парочками, Макен и Дармен, ходившие рядом с Магыш и Абишем, вдруг ненароком оказывались наедине вдвоем. А когда такое происходит с джигитом и девушкой, можно быть уверенным, что все у них будет как надо.

В те дни к Дармену песенные волны прилетали легко, сами собою: когда он стоял в кругу друзей и запевал новую, на их глазах рождающуюся песню, все они замолкали и слушали его, словно завороженные. И каким же чудным был его вдохновенный облик, сколь одухотворено его смуглое, красивое молодое лицо, с черными изящными усами, с ясными, излучающими свет глазами. Именно в те дни душа поэта распустилась вся, как впервые распускается в саду юное деревце, выросшее из упавшего когда-то с неба таинственного семени.

В родном ауле Макен в маленькой серой юрте жила ее одинокая мать. У бедного вдовьего очага и выросла, стала видной

красавицей Макен. Когда в одной из первых поездок, навещая ее, Магрипа с Абишем завезли в ее аул Дармена, то степенная, благовоспитанная мать девушки, овдовевшая уже давно и оставшаяся одна, была очарована благовидной внешностью, искусной речью и приятными манерами джигита. С того вечера как жених Магыш с дружкой гостили у матери Макен, и сама вдова, и все соседи, видевшие и слышавшие песни молодого акына, не могли забыть Дармена и поминали его самым добрым словом. Бедному аулу уж очень приглянулся этот молодой, скромный, незаурядный джигит.

Словом, неизвестно, в какой из тех двадцати дней зародилось их взаимное чувство, – но и днем, и ночью, и в шумном кругу веселья, и в уединении вдвоем – вилась та волшебная шелковая нить любви, что свела в одном потаенном коконе нежности их сердца.

Молодой акын много пел из сочинений Абая, а девушки, Макен и Магыш, старательно их заучивали. Когда Дармен запевал «Ты – зрачок глаз моих», изливал горестные чувства в песне «Душа моя угнетена», посылал радостный зов к возлюбленной в «Привет тебе, Каламкас!» – сердце Макен замирало в сладком восторге. Из уст Дармена девушка бесконечно готова была слушать «Не просветлеет в разбитом сердце моем», – когда он пел, не отрывая своих нежных, умных, любящих глаз от нее.

Несомненно, и песни Абая окрыляли их любовь!

Но приближалось время расставания молодых влюбленных. Скоро будут проводы невесты, ее увезут к жениху, а Макен останется в ногайском ауле. Думая только об этом, Дармен не находил себе места. Уже не скрываясь ни от кого, он брал в руки домбру, садился против нее и начинал петь… И на удлиненном, тонком лице Макен вспыхивал румянец, словно отсвет алой утренней зари.

У юных и чистых, в сердцах которых впервые зарождается большое чувство, бывает пора, когда они и сами не понимают до конца, что с ними происходит. Им кажется, что возникающие

между ними чувства никому не ведомы, кроме них самих, в то время как все друзья уже давно сочувственно посматривают в их сторону и понимающе переглядываются между собою. Стараясь содействовать их сближению, друзья усердно упрашивали Дармена спеть еще и еще, когда на вечеринке присутствовала Макен. Но при этом осторожно присматривались к тем, кто находился рядом: к младшим братьям, к ровесникам и ровесницам, опасаясь, что желания влюбленных вдруг могут вырваться слишком открыто.

Абиш видел, что эта девушка, хоть и охвачена сильным чувством, вполне способна держать его при себе, не раскроется никому. И вся Макен – тоненькое, сильное, гибкое ее тело, длинные красивые глаза с густыми ресницами, затаенная страстность, скрытый ум, – она смотрелась особинкою в среде пышных, цветущих волооких ногайских девушек. Абишу вспомнилось, что в одном из читанных им романов автор рассуждал, что женщины высокие, худощавые и стройные способны на великую верность в любви. И, наоборот, – у дородных, обильных телом женщин редко проявляется постоянство чувств. Абиш не пытался применить эти знания при оценке и определении женщин степи, но в отношении Макен – с удовольствием характеризовал ее для себя по определению автора того романа. И он радовался за Дармена, которого любил такой пламенной братской любовью, что порой даже спрашивал себя: «Е, не любишь ли ты названого брата Дармена больше, чем обожаемого родного брата Магаша?» А любил он беспредельно Дармена не только за его талант, за благородство подлинного джигита, но и за необыкновенную беспорочную, незапятнанную чистоту его молодости. Пожалуй, после отца Дармен был для Абдрахмана духовно самым близким человеком.

Наблюдая за тем, как развиваются чувства друзей, Абиш испытывал радостное волнение за двух своих очень любимых людей, и от всей души уповал на их будущее счастье. И в то же время ясно понимал, какие тяжелые преграды их ожидают. Но

все равно, если бы они пришли вдвоем к нему за советом, что им делать, он без всяких колебаний искренне пожелал бы им всегда оставаться вместе и ни за что не отступать, если даже на пути у них встанет грозная стена огня. Абиш останется самым верным пособником их любви и добрым спутником на жизненном пути Дармена и Макен. Однако при всей ясности своего отношения к ним, Абиш не представлял, каковы подлинные сложившиеся отношения между ними, к чему они пришли, на что надеялись, – все это оставалось неясным, невысказанным, невидимым, как подернутые пеплом горящие угли в костре.

Но вот однажды этот скрытый огонь вырвался все-таки наружу.

За три дня до отъезда Магрипы из родного аула произошло следующее. Как обычно, молодежь под вечер отправилась гулять в степь, все вместе – и небольшими разрозненными кучками. Магрипа шла вместе с тоненькой, гибкой Макен, обнявшись, взяв подругу под свой шелковый чапан. Джигиты шагали рядом. Чуть позже, когда взошла круглая луна, Абиш забрал от Макен свою Магыш и увел в сторону. Оставшиеся – Дармен, Алмагамбет и две девушки пошли дальше. Дармен развлекал их какими-то веселыми байками, девушки звонко хохотали. И вдруг на них налетел, словно выскочив из-под земли, некий темный громадный всадник, круто окоротил перед ними своего коня. Это был рослый, дородный карасакал, человек уже в возрасте.

– Есть ли среди вас Макен? – раздался его грубый низкий голос. – Вот, вижу теперь, это ты стоишь, Макен! Не отворачивайся, поверни голову ко мне! Подойди сюда!

Молодые люди были озадачены, увидев этого человека и услышав его слова, произнесенные весьма устрашающим голосом. Они не знали, что и подумать. Решили пока молча выжидать.

Но Макен узнала этого человека. Неторопливо, ступая с достоинством, она направилась в его сторону. Остановилась перед его конем.

– Ступай отсюда! Иди за мной! – приказал карасакал и махнул камчой перед собою.

Как оказалось, это был аменгер для Макен, старший брат ее умершего жениха Даир. Близкий родственник Оразбая. Пять лет тому назад у Азима, отца Макен, Даир высватал его дочь для своего младшего брата, Каира. Вдруг умирает Азим, глава аула, и его очаг, содержимый теперь одной вдовою, впал в бедность. Обнищавший аул вынужден был брать скот на зимний согым у богатых сватов, а также и дойный скот на летние месяцы.

Макен никогда не видела Каира, своего умершего жениха, но его старшего брата Даира видела на сватовстве. И вот в прошлом году, когда Каир упал с лошади и разбился насмерть, этот сорокалетний Даир, имевший здоровенную, как медведица, супругу и больших детей, объявил себя женихом вдовы-невесты своего младшего брата. И не прошло еще и года после его гибели, как Даир стал засылать своих посланцев в аул Азима, требуя скорейшей отправки вдовы к себе. «Младший брат умер, но жива его невеста, жив и я, ее аменгер. На Макен женюсь сам. Пусть готовятся к ее проводам этим летом, под осень».

Но с тех пор, как в ногайский аул приехал Абиш в качестве зятя, Даиру не стало покоя. До этого Даир, отправившись на Кояндинскую ярмарку, был в неведении о появившейся в ногаях иргизбаевской молодежи. Вернувшись с ярмарки, был ошарашен новостью: «Макен уже значительное время проводит в гуляньях с молодежью из аула Абая». Еще до его возвращения с ярмарки две усердные женге из его аула наслали соглядатаев в ногайский аул, чтобы те проследили за поведением Макен. Посмотрев, понюхав, соглядатаи вернулись и доложили, что смело можно предположить о преступной связи Дармена и Макен. Тогда Даир, предварительно переговорив с Оразбаем, немедленно сел на коня. Примчался в ногайский аул, полный яростного желания уличить, обличить, наказать.

И теперь, не желая услышать от Макен ни слова, Даир начал грозно, яростно честить ее:

– Немедленно покинь эту грязную толпу и возвращайся домой, бесстыдная! Иди к материнскому очагу! Я скоро приеду и заберу тебя!

Макен отвратительно было даже слышать об этом, противна была даже сама мысль выйти за Даира. Уже давно она решила, что этого не будет. Услышав же от него тошные для себя слова, прямая и открытая Макен не могла сдержать себя и высказалась дрогнувшим от возмущения голосом:

– Вы почему так кричите? С чего это разошлись, ага?

Даир чуть не задохнулся от злости, скрипнул зубами и взревел, словно раненый зверь:

– Не смей перечить! Сейчас же ступай домой!

– Не вам кричать на меня! Я еще не ваша жена! И не собираюсь ею быть!

– Ах ты срамница! – выругался Даир и два раза стегнул девушку по спине камчой.

– Пень иссохший! Подлый оборотень! – крикнула она и оглянулась в сторону друзей. И крик ее на ненавистного человека прозвучал как мольба о помощи.

Первым бросился вперед Дармен. Встал между девушкой и Даиром. Перехватил увесистую плеть и вырвал камчу из его рук.

– Не сметь! Скотина, бесчестная тварь! – крикнул Дармен и яростно замахнулся на самого Даира его же камчой.

Грязно выматерив юношу, Даир, совершенно потерявший самообладание, рявкнул нечеловеческим голосом:

– Прочь с дороги! Защитник нашелся, мать твою… отца твоего! Всех в землю вгоню!

Увидев издали Абиша, подбегавшего с криком: «Что случилось? Кто это?» – Даир прокричал:

– На Абая надеетесь? Думаете, он защитит? Да вам сам Кудай не поможет! Всех достану, в землю вгоню! – и, повернув коня, поскакал прочь.

В тот вечер молодежь допоздна гуляла по лунной степи. Магрипа, Абиш и Алмагамбет ходили вместе, оставив наедине Дармена и Макен. Друзья понимали, насколько любящим важно побыть вместе этот последний вечер. Абиш убедился тогда, что они готовы до конца защищать свою любовь…

В тот вечер для обоих стало ясно, что судьба соединила их вместе и навсегда. Их сокровенная, тайная, бережно хранимая ясной луной радость первых объятий и поцелуев была орошена слезами чистой юности. Их горячие губы, не знавшие раньше прикосновения страсти, сливались и пылали в огне общего чудесного неистовства. Да, этот вечер был началом их совместной судьбы, – над которою уже нависли черные тучи недобрых угроз…

В глазах Дармена, лежавшего без сна в дальней комнате домика Абена, мелькали картины недавнего прошлого. Все так дивно начиналось, сколько родилось новых надежд, ожиданий счастья там, на Керегетасе, – и все теперь сменилось тревогами неясного будущего. Немало беспокойства принесла их любовь его верным друзьям из круга Абая. А для самого Абая – каким страданием обернется учителю поступок его ученика? А ведь Дармен когда-то поклялся себе, что никогда не навлечет беды на голову Абая-ага! Уходя в бега, стремясь в город, он полагал, что избавит Абая от неприятных и опасных столкновений в степи, с его недоброжелателями и клеветниками. Степь могла взорваться множеством мелких войн между родами, распрями аулов, взаимной барымтой – угонами скота из-за мести.

Но что им оставалось делать, как не бежать в город? В степи ему грозил беспощадный суд по шариату, ей же – аменгерское насилие, произвол, а то и ожидала жестокая смерть. Дармена, наложив на него немыслимый штраф, могли лишить всего имущества, затем изгнать из родных мест. А то и его ожидала мучительная казнь: ослепление, бичевание до смерти. Но и в городе, оказалось, опасность погибели далеко не миновала, она гналась за ним по пятам. И если бы не помощь верных друзей,

в пору было впасть в отчаяние. Дармен с горячей благодарностью вспоминал недавний ночной приезд Абиша, его деловитые, обнадеживающие слова. Они придали Дармену сил и уверенности.

– Дармен, ничего не бойся, особенно не тревожься. Знаю, ты мучаешься из-за Абая, переживаешь, что приходится беспокоить его и друзей. Но ты, родной, первым делом избавься от этих тревог! Они ни к чему. Как бы нам всем ни было трудно, но ты же для нас – наш Дармен! Айналайын, мы все, и наш Абай-ага, и я – без всяких колебаний и раздумий готовы разделить с тобою все, что тебе выпадет. Мои слова поддержат, я уверен, и Магаш, и Какитай – не так ли? Запомните, что я сказал, – ты, Дармен, и ты, Макен!

Перед отъездом с джайлау Абиш обещал Дармену, что сообщит отцу о намерении друга бежать из родных мест вместе с Макен. Вспомнив вчерашнюю короткую встречу с Абаем и его совет, как переправиться через реку на лодке Сеила и где найти убежище, Дармен убедился, что Абай все знает, и принял решение не оставаться в стороне и помогать им. И сын его, Абиш, принявший самое горячее участие в их делах, тем самым и доказывал, что Абай все знает и внимательно направляет все их действия.

2

На другой день в полдень к дому Абена подкралась великая опасность. Корабай и Даир со своими подручными, без устали рыскавшие по всему Большому Семею, добрались и до Затона. И тут они набрели на одну старуху, ближайшую соседку Абена, которая выдала им, где прячутся беглецы… Жила эта старуха в крохотном глинобитном домике с плоской крышей, по ночам ей не спалось, и она сквозь щель в заборе увидела во дворе у соседей скопление людей и лошадей, что было необычно и подозрительно. Корабаю и Даиру ничего не стоило выведать все,

что старуха знала, и к полудню, собрав всех своих людей, они подкрались и окружили дом Абена, стали следить за ним. Вскоре прибыли Мука́ и Алмагамбет, переправившись через Иртыш с другого берега. Привязав коней во дворе, вошли в дом, встреченные в дверях Айшой, женой хозяина.

Как только гости сели за чай, в маленький дворик ворвались преследователи. Едва успела Айша, заметив недобрых людей, накинуть крючок на входную дверь и задвинуть засов.

– Ну, родненькие, вот и дождались! – воскликнула она. – Пришла беда!

А дверь уже сотрясалась от страшных ударов снаружи. Били чем-то тяжелым, высаживали дверь ногами. Судя по беспощадности этих ударов, грубым выкрикам и разбойным повадкам нападающих, их намерения были самыми свирепыми. Пришли враги. Айша, поспешно залив самовар, спрятала его подальше на печку. Джигиты быстро вооружились чем могли, и приготовились к схватке. Абди, Мука́, Дармен и хозяин дома Абен встали, выстроившись напротив двери. Айша увела в заднюю комнату Макен и, спрятав ее в углу, заслонила собою.

Снаружи загремели грозные голоса:

– Отворяй!

– Выходи, пока живы!

– Никому не уйти! Всех перебьем!

На старенькую хлипкую дверь обрушились такие тяжкие удары, что она готова была вот-вот слететь с петель.

Могучий Абди сжимал в руке древнее оружие степи, черный шокпар, лучше которого ничего нет в пешем бою. Абен на досуге резал и крошил табак, и теперь в его руке была увесистая колотушка из березовой капы. В другой руке он держал крючковатый железный шкворень. У Дармена на вооружении оказался тяжелый пестик от большой ступки. Держа старый топор, обухом вперед, приготовился к бою Мука́. Лишь маленький, слабосильный Алмагамбет не был вооружен, маячил между мужчинами и двумя женщинами, испуганно бормоча под нос: «Алла… Таубе… Всевышний, помоги!»

Нападавшие сшибли дверь с петли, она косо повисла, и, видя, что дверь больше не защищает, а только мешает, Абен резким движением вытащил задвижку, и маленькая дверца с грохотом полетела на пол. В тот же миг на хозяина дома посыпались удары плетьми, – ворвались в комнату Корабай и Даир. Крепкие, рослые Абен и Абди стояли по обе стороны двери – и достойно встретили врагов, действуя тем оружием, что было в их руках. От удара шокпаром по плечу, нанесенного Абди, у дюжего Корабая с треском переломилась кость, и Корабай, скривившись на бок, зашатался и отступил за дверь. Повреждена была кованым шкворнем правая рука и у огромного, свирепого Даира, – придерживая ее, залитую кровью, он тоже попятился на улицу, не переставая, однако, изрыгать отборную ругань и выкрикивая привычные угрозы: «Истреблю! Уничтожу! В землю вгоню!»

Пятеро оставшихся без главарей джигитов, вооруженных только плетками, растерялись, увидев в руках у противника топор, железный крюк, шокпар. И, ободренные первой победой, защитники дома дружным натиском вытолкнули врага за дверь, затем погнали по двору к воротам. Те кинулись бежать по улице, спеша к своим оставленным недалеко лошадям. У самых ворот Абди настиг удирающего Даира и здоровенным пинком в зад послал его на землю, носом в пыль.

Дармен притащил за руку дрожавшего от страха Алмагамбета к коновязи, подсадил на гнедого иноходца.

– От тебя здесь помощи не требуется, братец. Скачи как можно быстрее к Абишу и Какитаю! Они должны быть в доме Данияра, расскажи им все. Нас здесь в покое не оставят!

Приоткрыв ворота, он выпустил Алмагамбета, который резво поскакал с места в карьер, в обратную сторону от сбежавших врагов.

Джигиты, отбив первое нападение, готовились к следующему бою. Они хорошо понимали, что враг не успокоится на этом. Мощный, сложенный как борец-палван, Мука́ оказался достой-

ным соратником Абди и Абену. Считай, только втроем они смогли прогнать десять человек дружины Даира. Теперь им казалось, что никакой противник не страшен.

На всякий случай закрыли наглухо все наружние ставни в доме, заложили их изнутри запорами. Ранее они как-то не подумали про окна, да и враги не воспользовались этим. Теперь ворота закрыли наглухо, дверь в дом снова укрепили. Абен велел Дармену: «Защищай женщин, будь с ними!» – и отправил джигита в комнаты. «В случае чего, до конца бейся с топором в руке!»

А тем временем Абиш и Какитай успели побывать с заявлением, подписанным Макен, в канцелярии уездного начальника. Потом отнесли вторую бумагу в окружной суд. Туда заходил один Абиш, Какитай оставался на улице. Скакавший во весь дух по улице на гнедом иноходце Алмагамбет увидел его, стоящего на крыльце здания суда, и подлетел к нему.

– Ойбай, родненький, ты чего тут прохлаждаешься? Наших там, в Затоне, бьют смертным боем! Скорее надо спасать их! – Алмагамбет говорил, еле переводя дух от волнения.

Какитаю не понадобилось и секунды, чтобы все понять.

– Стой здесь на месте, никуда не уходи! А я сейчас... – сказав, Какитай побежал.

Он ворвался в здание суда, пронесся по длинному коридору, взбежал на второй этаж.

А в это время Алмагамбет, проводив Какитая взглядом, обернулся лицом к улице и вдруг, почти рядом, увидел подходившего к нему Баймагамбета. Яркие, синие глаза рыжебородого помощника Абая, обычно веселые и чуть лукавые, сейчас были необычно сумрачны.

– Неважные новости, – пробормотал Баймагамбет, – очень даже неважные. – И больше ничего не сказал.

Его называли «сундуком тайн Абая». Придумала это прозвище Айгерим – за то, что из этого «сундука» никогда ничего не

пропадало, и он даже ей не раскрывал секретов своего Абая-ага.

Через минуту на крыльце окружного суда появились озабоченные Абиш и Какитай, торопливо подошли к Баймагамбету.

– Оу, Баке! Что случилось?

– Какие вести от отца?

Вместо ответа хмурый Баймагамбет молча протянул Абишу вдвое сложенную бумагу, вытащив ее из-за пазухи.

Стоя возле Абиша, Какитай из-за его плеча стал читать короткое послание Абая: «Надежно ли укрылись Дармен и Макен? Желательно, чтобы не у казахов. Лучше отвести к русским друзьям. Иначе их быстро обнаружат. Вчера я говорил тебе, что надо оказать им дружескую помощь. Сегодня говорю: враг готов пойти на крайнюю жестокость, и ничего больше нам не остается, как спасать друзей. Придется вступить в смертельную схватку, если понадобится, то и крови своей не пожалеть. Сейчас я готов пойти на это!»

Что привело Абая к такому состоянию, Абиш узнал из скупого рассказа Баймагамбета о ночном посещении посланцев Оразбая – Есентая и Сейсеке, об объявленной через них открытой войне Абаю.

Абишу стало больно за отца. Сын испытал горечь обиды за оскорбленного Абая, постиг испепеляющий его душу гнев. Немногословно поручил Баймагамбету:

– Передай отцу, что я тоже ничего не пожалею и не остановлюсь ни перед чем! Все исполню, – пусть быстрее присылает нам свои поручения и советы.

Баймагамбет отправился в сторону паровой мельницы, где собирался сесть на паром. Абиш же в полной офицерской форме, при шпаге с темляком, вскочил в коляску. Какитай взялся за вожжи и хлестнул кнутом вороного иноходца Данияра. Коляска резво полетела в сторону Затона. За нею поскакал Алмагамбет на гнедом. Абиш решил выполнить совет отца и поскорее увезти оттуда беглецов.

Быстро прибыв в Затон, они застали в доме Абена ужасающую картину. Там лежали на полу истекающие кровью Айша, Мука́ и Абен. От порога и до тора валялись разбросанные вещи, разбитая посуда, всюду были следы запекшейся крови. Также и во дворе – признаки отчаянной схватки, погром, кровь. Мужчины были без сознания, и лишь Айша, не в силах даже приподняться с полу, открыла глаза и едва слышно, с трудом произнесла:

– Скорее… Скачите следом… Догоните… Они ушли недалеко. До парома… скорее… Напали сорок… пятьдесят человек… Всех побили, дом разгромили… Абди, с кинжалом в руке, сам сел в телегу… вместе с Макен и Дарменом… Их связали, увезли… – сказав это, Айша закрыла глаза и потеряла сознание.

Абиш сразу понял, кто это – «они». Он приказал Алмагамбету:

– Останься здесь. Окажи им помощь. Позови соседей.

Он с Какитаем, оба по очереди нахлестывая кнутом вороного иноходца, помчались в сторону паромной переправы. Стремительно, словно по воздуху, пронеслась коляска вниз по крутому спуску, и повозка еще не остановилась, как с нее спрыгнул, на полном ходу, стройный офицер в белом мундире и бегом устремился к отходившему от пристани парому.

– Стой! Поворачивай обратно! – высоким голосом, по-русски крикнул Абиш.

Не приостановившись, со стремительного разбега, он прыгнул с пристани на лодку, отошедшую уже на сажень от берега. Все замерли, ожидая падения офицера в воду. Но смельчак смог попасть ногами на край лодки, тонкими пальцами сильных рук вцепиться в поручни ограждения парома. Одним движением он переметнулся через ограду и оказался на судне. И тотчас же властным голосом повторил свою команду татарину-паромщику:

– Назад! Поворачивай обратно!

Паромщик, видя перед собой несомненную власть в лице офицера, стал разворачивать громоздкую паромную посудину.

Нашлись недовольные его действиями, поднялся ропот в толпе пассажиров.

Но голоса их не были приняты во внимание. Большой, тяжелый паром, нагруженный людьми, лошадьми, забитый телегами, послушно подчинившись приказу царского офицера, пристал назад к берегу. Далее Абиш действовал быстро и решительно. Оглядев толпу паромных пассажиров, он увидел Даира и его людей. Как только неуклюжая посудина приткнулась обратно к пристани и была притянута к ней чалками, Абиш сбежал на берег и подозвал маячившего на пристани толстого, с рыжими усами, с красным загривком городового, носившего у местного населения прозвище Семиз-Сары – Рыжий-толстый.

Полицейский, при исполнении, с саблей на боку, подбежал и вытянулся во фрунт перед офицером. Тот коротко, решительным тоном разъяснил ему обстановку и поставил задачу:

– На этом пароме находятся виновники разбойного нападения, они совершили кровопролитие. Захватили пленных, хотят увезти с собой. Жертвы находятся здесь. Приказываю – пока я съезжу за начальством, никого с парома не выпускать, никому не позволять садиться на паром. Сразу пришлю тебе в помощь нескольких полицейских. Лодку держать, пока я не вернусь с начальством. Приказ отдает поручик военно-полевой артиллерии Оскенбаев. Все ясно?

– Так точно, ваше благородие господин поручик! – пристав щелкнул каблуками и взял стойку смирно. Затем, пропустив офицера, пошел по мосткам на паром, придерживая длинную саблю.

Абиш поехал, бешено погоняя черного иноходца, вдоль Иртыша, выбирая ровные прямые улицы. Вскоре был в уездной управе, уверенно зашел в приемную начальника Маковецкого, у которого уже побывал утром с прошением Макен. Новый начальник Семипалатинского уезда, человек образованный, благовоспитанный и доброжелательный, был намного приятнее бывшего начальника Казанцева. В делах Маковецкий показал

себя опытным чиновником. Высокий ростом, приятной наружности, он в свои тридцать с небольшим лет делал неплохую карьеру, и среди местного населения пользовался уважением.

Молодой блестящий поручик Оскенбаев, получивший русское воспитание и образование в Петербурге, весьма понравился Маковецкому, и он с благосклонным вниманием отнесся к заявлениям, которые принес этот явно положительный, умный офицер-казах. К тому же Маковецкий сам считал, что все раздоры и распри в степи, могущие привести к нежелательной смуте, должны разбираться не по средневековым законам дикой степи, а по образцовым законам империи. И в этой связи Маковецкий смотрел на поручика Оскенбаева как на человека, действующего не ради личных корыстных целей, а желающего уберечь беззащитную казахскую молодежь от дикости, косности и жестокости старых законов степи. И причем, подавая прошения от имени не знающих русский язык степняков и прибегая к рассмотрению их дела в окружном суде, Оскенбаев действует строго в рамках существующего имперского права.

Таковы были представления Маковецкого после утреннего визита поручика Оскенбаева. И вдруг, всего через несколько часов, начальник увидел перед собой словно бы другого человека. Уже ничего не было от утреннего вежливого спокойствия в обращении, сдержанной учтивости манер, – когда Абиш быстро, решительными шагами вошел в кабинет, Маковецкий удивленно посмотрел на него и даже привстал навстречу.

Не присаживаясь, стоя перед начальником уезда, Абиш быстро рассказал о случившемся. Признался и в допущенном им превышении власти, на что он вынужден был пойти в целях немедленной защиты девушки, чье прошение подавал утром. Учтиво попросил извинить его за то, что он, не имея на то полномочий, в приказном тоне давал распоряжения городовому.

Быстро оценив обстановку, Маковецкий вызвал пристава третьего участка Старчака и в сопровождении пяти конных горо-

довых отправил его к паромной переправе. Им было приказано задержать и доставить оттуда в уездное управление виновников кровавого дела, а также и привести пострадавших, Макен и Дармена.

А там за это время произошли значительные события. После того как Абиш уехал, на пароме Корабай и несколько его торговцев-друзей подняли настоящий бунт. Они требовали от паромщика-татарина, чтобы он немедленно отплывал на левый берег.

– Я тебе отплыву! – пригрозил Семиз-Сары и положил руку на эфес сабли. – Всем стоять на месте!

Тогда Даир, подойдя, нераненой рукою полез за пазуху и достал несколько «красненьких». В другое время Семиз-Сары от денег не отказался бы, но сейчас, поставленный офицером на караул, он не решился. Вспомнил отчаянного, дерзкого и властного поручика – и не решился нарушить его приказ. С таким лучше не шутить. И расстроенный городовой закричал с излишней свирепостью в голосе:

– Молчать! Отойти всем назад!

Разозленный Даир, спрятав назад деньги, направился к возку, на котором лежали связанные Макен и Дармен. Возле них сидел страшно избитый, с окровавленным лицом, с разбитым затылком, полуживой жатак Абди, решивший сопровождать плененного друга, Дармена. Он пошел вместе с ним в плен, но сам не сдался, – сидел рядом с другом, сжимая в руке обнаженный кинжал. И когда разъяренный Даир подобрался к телеге и, замахнувшись здоровой рукой, стал стегать камчой связанных пленников, стараясь попасть по голове Дармена, Абди тяжело переместился в возке и, выставив кинжал, острием в грудь Даира, пригрозил – клокочущим от крови голосом:

– Попробуй тронь еще… Зарежу… Не дам их бить. Пусть я умру, но клянусь, вы не будете мучить этих детей, пока я живой… А твою поганую кровь пущу, сволочь, не задумаюсь, подойди только!

Даир плюнул и отошел назад, к ватаге торговцев во главе с Корабаем – и присоединился к нему, стремившемуся возбудить шум и ропот в толпе пассажиров парома. Подступая к Рыжему-толстому, Корабай крикнул:

– Отпускай паром! Е, нам плыть надо!

– Не держи стольких людей! У всех дела!

– Жаловаться будем начандыку вашему!

Кричавшие стали окружать городового и стоявшего рядом с ним паромщика. Семиз-Сары снова положил руку на саблю.

Тут произошло нечто неожиданное: на паром прорвались, громко топая ногами по сходням, человек десять здоровенных казахов. Одеты они были по-городскому, но бедновато, как простолюдины. С ходу, выстраиваясь в ряд, они оттеснили назад подступившую к паромщику дружину Даира и Корабая. Городовой с растерянным видом застыл за их спинами. Со стороны пришедших раздался грозный крик:

– Где Корабай?

– Кровопийца Корабай!

Услышав их голоса, Дармен обрадовался и воскликнул, обращаясь к Макен и Абди:

– Нам повезло! Это же джигиты из Затона! Грузчики, друзья Абена! Наверное, он их послал!

Пленники не знали, что недавно Алмагамбет, посланный Айшой, нашел затонского крючника и борца Сеита, которому и рассказал о кровавом избиении и разгроме очага Абена. Быстро собрав с десяток других силачей-крючников, Сеит прибежал к дому Абена и воочию увидел, какое злодейство было учинено над очагом его друга. Разгневанные, грузчики кинулись в сторону паромной переправы.

Когда Сеит узнал, что все участники погрома находятся в паромной лодке, он взревел от яростного нетерпения:

– Корабай! Где кровопийца Корабай?

Никогда не отступавший в драках, Корабай, массивный, с огромной головою человек, известный торговец в городе, раздвинул толпу, выступил вперед и встал перед Сеитом.

– Я что, отца твоего убил? А ты пришел требовать кун за него? Ну вот я, Корабай! Чего дальше? – рявкнул здоровенный торговец.

Тут Сеит изловчился – и мгновенно схватил за густую черную бороду Корабая, дернул из стороны в сторону и торжествующе воскликнул:

– Получай, если ты Корабай! – и огромным кулаком, словно молотом, начал крушить его по голове. Напрасно тот пытался вырвать свою бороду из рук дюжего крючника. Мигом широкое лицо торговца превратилось в кровавую кашу, на этом же месте торговец лишился передних зубов, которые с шумом выплюнул изо рта.

На пароме началась большая, шумная драка. На стороне врагов выступил знаменитый забияка и драчун Дондагул, про него ходила слава, что он и вор отменный, и ходит в разбой. Это про него говорили обыватели: «Вор столь силен, что перебросил большой тюк чая через забор товарного склада», «Разбойник матерый – таскает только по-крупному». Но также был Дондагул известным городским борцом-палваном. Корабай силен и опасен прежде всего тем, что собирает вокруг себя подобное отребье, как этот Дондагул, кормит их и поит.

После первого неудачного нападения Корабая и Даира на дом Абена, нашли и добавили к ватаге преследователей силача Дондагула. Он и возглавлял тех, что смяли сопротивление беглецов и их друзей. Мощными ударами быстро свалил тогда Абена, затем Абди. Но успел получить от Абена ощутимый удар по голове железным шкворнем. Теперь на пароме этот Дондагул полеживал на желтой арбе, приходя в себя после того удара. Когда началась большая драка на пароме, ему не терпелось вмешаться, но сильно болела и кружилась голова от сотрясения, не ворочалась распухшая шея, и Дондагул сидел на арбе и молча страдал, глядя, как дерутся другие. Однако увидев, как обошлись с Корабаем, Дондагул не выдержал и, схватив свою верную дубину, сполз с арбы и, перебравшись еще через одну

повозку, хотел броситься в схватку. Однако сил своих не рассчитал, сотрясение в голове сказалось, и Дондагул сверзился на четвереньки.

Но в следующее мгновенье он со страшным ревом стал медленно подниматься на ноги. И понимая, что от этого быка Дондагула можно дождаться немало беды, два опытных бойца, Сеит и мускулистый Жайнак, одновременно подскочили к нему с двух сторон и замахнулись каждый своим оружием. У Сеита в руке был черный шокпар, прихваченный им в доме Абена, у Жайнака – березовый соил. Почти единым ударом прозвучали их боевые инструменты, опустившись на затылок и на предплечье Дондагула. Тот снова шмякнулся лицом в доски, вяло пополз вперед и успокоился, засунув голову под телегу меж колесами.

Когда к парому прибыла команда пристава Старчака, с конными городовыми, а с ними Абиш и Какитай, то уже почти все было кончено, и грузчики катали ногами по доскам настила Даира. По указанию Абиша полицейские развязали, освободили и увели на берег Макен и Дармена. Затем вытащили из толпы Корабая и Даира, главарей и зачинщиков кровавого нападения, и под конвоем двух городовых отправили в уездную управу, к начальнику Маковецкому. Грузчики, успокоившись, как ни в чем не бывало, степенно и молчаливо отправились по домам. Паром, наконец, отчалил, увозя с собой на слободской берег ошеломленных, притихших и напуганных обывателей.

Когда паром пристал на другом берегу Иртыша, там его давно уже ждали, теряя терпение, Оразбай и большая группа его людей, жаждавшая расправы над нечестивой невестой-вдовой. Тут был одноглазый седобородый Оразбай, рядом были его сват, бай Сейсеке, и халфе Шарифжан с чалмой на голове. Кроме них, присутствовали еще около двадцати городских баев и богатых владетелей из степи, сидевших на конях или восседавших в будничных телегах. Они окружили толпой Дондагула и

нескольких мелких торговцев, которые подробно рассказывали о случившихся на другом берегу событиях.

Узнав о том, что Даира и Корабая увел пристав, что пойманных ими беглецов освободил Абиш, Оразбай чуть не разлетелся на куски от злости, стал бегать по паромному настилу, припрыгивая и подседая, словно шаман-бахсы. Такова у него была привычка – выражать свой неуемный гнев в бегании по кругу. Страшная ругань изверглась из его уст, он стонал от злобы, говоря:

– Я думал, что у меня один страшный враг, Абай, – но подрос, оказывается, его волчонок! Пробился к власть имущим, силу свою почувствовал!

Бегая, припрыгивая по кругу, словно бесноватый, он в неуемной злобе до крови искусал свою руку. Вспомнил, в неистовстве позднего сожаления, как не придал должного значения предостережениям умных людей: «Смотри, Абай обучает сыновей русской грамоте. Хочет, чтобы они стали со временем торе! Обучил бы ты хоть одного из своих сыновей по-русски! Глядишь, может быть, и пригодится собственный торе…»

За такие советы, бывало, Оразбай уверенной рукой бил по зубам советчиков. А теперь он кусал эти руки… Хотя был далек от раскаяния – одно лишь бешеное озлобление, что его обошли.

Теперь Оразбай не знал, где искать беглецов, но, выискивая себе сподвижника, нацеливал свой единственный глаз на некоего городского человека. Это был толмач канцелярии Маковецкого – Самалбек Доспанов. Родом из киргизов, прижившихся среди тобыктинцев, этот образованный джигит был нужным человеком для Оразбая, в прошлом не раз посредничал в его делах, давал полезные советы, за что и получал от мырзы мясо на зимний согым и добрую сабу кумыса. Переправившись со всей оравой своих приверженцев на городской берег, Оразбай направился прямиком к Самалбеку. А в это время в канцелярии уездного начальника ожидали приема Абиш, Дармен, Макен и

пристав Старчак. Маковецкий, занятый с чиновниками города, освободился через час. Первым делом он вызвал в кабинет пристава Старчака и выслушал его доклад. Пристав возложил всю вину за кровавые действия на торговца Корабая и степного бая Даира, которые, к тому же, нанесли словесное оскорбление служебному лицу при исполнении, обозвав его «шкурой», взяточником. На основании этого начальник уезда принял решение засадить на месяц в каталажку Даира и Корабая, а дело их передать на рассмотрение мирового судьи.

Отпустив Старчака, Маковецкий принял Абиша вместе с Дарменом и Макен. С большим вниманием и доброжелательно начальник уезда посмотрел на красивую ногайскую девушку и ее возлюбленного. Он спросил у Абиша, обращаясь к нему по-русски:

– Спросите, господин поручик, у Азимовой, не передумала ли она после всего, что увидела и перенесла? Не захочет ли забрать назад свое заявление?

Абиш в точности перевел вопросы начальника. И тут в кабинет вошел толмач Самалбек. Он только что заявился в управу с Оразбаем и целой толпой его приспешников. Оставив их всех в приемной, толмач вошел к Маковецкому в кабинет один. При его появлении Абиш, вежливо кивнув ему, сказал начальнику:

– Считаю, что теперь мне надо уступить место переводчика господину Доспанову. Пусть ответ девушки переводит он сам, это его служебная обязанность.

Маковецкий отметил про себя корректность молодого офицера, молча кивнул и перевел взгляд на Самалбека.

Тихим голосом, но спокойно и уверенно Макен ответила на вопросы сановника, доведенные ей толмачом:

– Таксыр, я давно нахожусь в печали, пролила немало слез. Услышала, что в городе есть справедливые начальники, которым могу рассказать про свое дело. Но если я за тем и приехала, то зачем мне сегодня забирать назад свое заявление, которое подала только вчера? Ничего добавить к тому, что в

моем прошении, я не могу. Я по собственной воле хочу выйти замуж за этого джигита, его зовут Дармен. Теперь он мой жених. Прошу таксыра быть нашим защитником. Мы теперь хотим жить свободно, под русскими законами. Ищу справедливости от белого царя!

Так говорила Макен, с достоинством, сдерживая себя, и лишь иногда смолкала, справляясь с волнением, утирая слезы платочком. Абиш и Дармен с удивлением и восхищением смотрели на нее, молча переглядывались между собой.

Самалбек, свободно владевший русским языком, довольно точно перевел речь Макен. Когда он закончил переводить, Маковецкий вопросительно посмотрел на Абиша, как бы спрашивая его оценку. И Абиш одобрительно кивнул головой.

Маковецкий обратился к Абишу:

– Господин Оскенбаев, я хотел бы вам высказать следующее. Разумеется, заявление Азимовой не останется без внимания и разбора. Но до сих пор все подобные дела рассматривались по шариату, степными судами биев. Никогда такие дела не проходили по гражданским ведомствам. Я даже думаю, что Азимова – это первая казахская женщина, которая хочет обрести личную свободу на основании законов Российской империи и выйти за пределы законов степи. И может быть – это вообще первая женщина, которая борется за эмансипацию женщин Востока! А наше с вами участие в этом деле, господин поручик, я рассматриваю как естественное право благородных людей поддержать гуманность и справедливость! Но все же передайте друзьям, что моя администрация не вправе давать окончательное решение этому делу. Оно подведомственно судебным инстанциям. Только суд может произвести полное дознание и вынести окончательное решение.

Абиш просил – и Маковецкий обещал: немедленно, лично оповестить председателя окружного суда о возникшем исключительном деле. После этого разговора Абиш с Дарменом и Макен покинули кабинет начальника уезда. После них, представ-

ленные начальнику толмачом Самалбеком, туда должны были войти Оразбай, халфе Шарифжан и бай Сейсеке.

Увидев проходившего Абдрахмана, в офицерском мундире, седобородый Оразбай так и впился в него ненавидящим оком, побледнел от злобы. Пропустив вперед Сейсеке и халфе Шарифжана, Оразбай приостановился и вызывающе уставился на офицера. Абиш хотел пройти мимо, не обращая на него внимания, но взбешенный Оразбай преградил ему путь и, одноглазо прожигая его взглядом, словно стрелой, прошипел:

– Не успел сын выбиться в люди, как отец запихивает его в свои грязные делишки! Ну ладно, посмотрим! Не спешите только радоваться! Еще как взвоете потом, когда сойдемся не на жизнь, а на смерть!

Тут Абиш вспомнил, сколько предательских ударов нанес этот злой хищник Абаю, сколько пакостей ему натворил, не считаясь с совестью и честью, – сегодняшнее кровавое избиение друзей отца было тому подтверждением. Неудержимый гнев вспыхнул в молодом сердце. Резко, с едкой насмешкой бросил в лицо Оразбаю, полуобернувшись к нему:

– Не я замутил сегодняшние ваши злые дела. Однако я пошел против них и буду биться до конца. Если где увижу волка, готового к прыжку, то пойду на него, не спрашивая отца. Стану бить хищника без всякой пощады, учтите это, аксакал! – сказав это, Абиш резко повернулся и зашагал дальше.

Оразбай остался стоять на месте, исподлобья глядя ему в спину.

Макен, Дармен и Абиш с друзьями остались в приемной, заняв ряд стульев вдоль стены. По другую сторону, напротив, расселись сообщники Оразбая и он сам. Обе стороны хранили гробовое молчание, нарушить которое было бы для обеих сторон опасно. Любое прозвучавшее неосторожное слово могло всколыхнуть злобу, бешеную ненависть – и вновь могла пролиться кровь.

Разговор же ояза Маковецкого с Оразбаем был совсем недолгим. Уездный голова начал со следующего:

– Это дело разберет суд, не я, – уклончиво молвил ояз. – Мне пришлось вмешаться, потому что в городе, которым правлю я, были допущены насилие и беспорядки. Я направляю к судье всех: и девушку, и тех, кто преследует ее. Там на суде все и разберется.

Встречавшийся с Маковецким за одним дастарханом в прошлом, на выборах последнего волостного в Тобыкты, старый Оразбай с вкрадчивым и доверительным видом просил передать начальнику:

– Слова благородного ояза разумны и убедительны – от первого и до последнего. Пусть дело передают в суд и решают законным образом. Во всем согласны с оязом. Но будет к нему одна просьба, на которую он должен откликнуться, никак не посчитав ее несправедливой, – сказав это, Оразбай страшно напрягся, лицо его стало серым, бледным. – Мы просим, чтобы на время судебного разбора наша жесир не оставалась вместе с дерзким джигитом, словно его жена. Коли так оно все и останется, – зачем тогда суд, ояз? Суду нечего будет присуждать. Разве весь этот шум-гам разгорелся не из-за того, что они незаконно, по-воровски стали жить, как муж и жена? Поэтому, ояз, ты должен приказать, что, как только они выйдут за порог твоей конторы, их разведут в разные стороны, и они больше не будут вместе – до самого суда. Держите их в тюрьме, в разных камерах.

Рассуждение Оразбая в первой его части показалось Маковецкому вполне справедливым. Вторая часть, насчет тюремных камер, была отвергнута оязом.

Оразбай буравил его своим единственным глазом.

– Е, ояз! Ведь ты посадил двух наших людей в каталажку. Если хочешь быть совсем справедливым, разъедини джигита и девушку! И пусть они тоже посидят в тюрьме, пока будет идти дознание! – настаивал бай.

Итак, Маковецкий принял во внимание требование степного законника о недопущении совместного проживания девицы с джигитом, не женатым на ней. А для заключения их в тюрьму – не было никакого законного основания. Такая мера была бы негуманной и больше соответствовала бы косной степной жестокости. Пообещав дело передать в окружной суд, ояз распрощался с Оразбаем и его приверженцами.

Через час-другой весь двор перед зданием окружного суда и прилегающая улица были забиты городскими казахами и верховыми из степи. Подошло время окончания работ в конторах городских ведомств, но у здания суда было настоящее столпотворение... Заранее приехали сюда Абай с верным Баймагамбетом. Вместе с ними пришел и лодочник Сеил: «Посмотреть, что теперь будет». Он переправил Абая с жатакского берега в Большой город.

Увидев Абая среди собравшихся, кривой Оразбай не осмелился сразу же наброситься на него с руганью, решил сдержаться на людях, однако, оказавшись вскоре притиснутым совсем близко, не выдержал и в сердцах бросил ядовито:

– Что, Абай? Удалось запалить новый пожар? Омай, как же тебе это по душе! Ладно, жги теперь меня, сколько угодно, а там увидим!

Быстрый на острое слово Абай не задержался с ответом. Повысив голос настолько, чтобы его слова прозвучали громче, нежели ехидное шипение Оразбая, акын сказал:

– Пожар, говоришь? Смотря какой – не все пожары бывают на беду, есть пожары очень даже полезные. Ведь надо сжигать сгнивший чингил, сухие пеньки да прошлогодние мертвые камыши. Пусть сгорит все изжившее себя, чтобы выросла, как это говорят, «свежая новь». Или ты что, дожив до седых волос, не знаешь про такие пожары? Про какие только пакости не ведаешь, а о таких полезных вещах – нет. Жалко мне тебя, – что с твоим умом случилось?

Раздался хохот множества людей, окружавших Абая. Это были небогато одетые городские жатаки, люди с Затона, крюч-

ники во главе с Сеилом. Были и мелкие торговцы с базаров, ремесленники и обыватели, решившие поглазеть на небывалое дело.

Пожар-то как раз затевал разжечь степной бай и владетель несметных табунов Оразбай. Этим пожаром был спор степных богачей, совместно с городскими толстосумами, такими, как бай Сейсеке, бай Касен, Жакып, которые собрались выступить вместе против решения русских властей отослать в царский суд дело с передачей жесир Макен ее аменгеру Даиру. И протест этот пришло выразить множество семипалатинских торговцев, одетых в татарские одежды, подстриженных и припомаженных. Вместе с ними на разномастных пролетках приехали халфе, муллы, кари и перезрелые ученики медресе в вылинявших чалмах – уже немолодые шакирды. Вероучители и их свита пока еще не высовывались вперед, держались в тени, но в скором времени от них можно было ожидать каких-то фанатических действий. Ибо решение передать в русский суд женщину, нарушившую право аменгерства, явилось нарушением священного права шариата. Муллы и халфе готовились предать проклятию эту нечестивую жесир и призвать народ учинить над нею свой праведный суд согласно мусульманским законам…

Дело заинтересовало и образованных городских казахов, занимавших низшие уровни в коридорах власти. Мелкие чиновники, толмачи, конторские работники – все они собрались на верхнем этаже здания окружного суда, где были залы заседаний и разные канцелярии. Из раскрытых окон они наблюдали за толпами казахов-горожан и за верховыми степняками, сидевшими на своих конях.

Абай находился на втором этаже, в просторном зале заседаний. Вместе с ним были Какитай, Дармен и Данияр. Макен среди них не было. Идя навстречу просьбе Оразбая, уездный голова дал распоряжение отправить девушку в суд отдельно от ее спутников, сопровождаемую лишь толмачом Самалбеком. Пока

председатель суда совещался с Маковецким, Макен держали в караульной комнате, где обычно находились подсудимые перед вызовом в зал заседаний.

Возьмет ли окружной суд на свое рассмотрение дело по заявлению девицы Азимовой? Или передаст его суду биев, как совершалось это до сих пор? Возьмет ли русский суд во внимание ходатайство посторонних заявителей, таких как Абай и Абиш? Или откажет им, не желая вмешиваться в дела кочевников, производящих суд по шариату? Вот что должно было решиться на переговорах между председателем суда и Маковецким. Эти переговоры и потом особое заседание суда затянулись до самого вечера. И уже довольно поздно, когда возбужденный шум толпы на улице заметно поутих, в зале заседаний в присутствии небольшого числа слушателей и самой девицы Азимовой было изложено решение суда, обозначенное как «предварительное». Зачитал его сам председатель окружного суда, пожилой, опрятный, лысоватый человек, с седыми висками, с подстриженной седой бородкой. Чтение было недолгим.

В качестве исключительной меры окружной суд решил принять на свое рассмотрение дело заявительницы Азимкызы Макен, ушедшей из своего рода, скрывшейся в городе и обратившейся с заявлением в суд Его Императорского Величества. Будет проведено надлежащее следствие, в продолжение которого девица Азимова Макен должна находиться в городе Семипалатинске. Она не будет передана ее преследователям, равно как и тем, кто ее выкрал. В интересах следствия и ради пресечения попыток повлиять на нее с обеих сторон, девица Азимова будет находиться под надзором полиции. В соответствии с этими особыми мерами, она будет проживать в доме толмача окружного суда, титулярного советника Алимбека Сарманова.

Макен увели из зала заседаний, надолго разлучив ее с Дарменом и всеми ее друзьями. Так закончился тяжелый для многих, необычный день. Он начался с кровопролития в доме груз-

чика Абена. Несчастная девушка, ставшая невольной причиной этих событий, была отделена от всех и осталась наедине со своими переживаниями.

В практике Семипалатинского окружного суда таких дел еще не рассматривалось, и никто не знал, чем оно может завершиться.

На другое утро по наущению Оразбая и Сейсеке муллы пришли в окружной суд с заявлением от семипалатинского мусульманского духовенства. «Спорные дела по поводу браков и разводов мусульманских женщин находятся в пределах законов шариата. Подобные дела должны решаться волей имамов мечети и других мусульманских руководителей!»

Муллы привели с собой целую толпу каких-то полуграмотных казахов, выдающих себя за толмачей, которые за пятерку или десятку готовы были хоть душу продать и наговорить, что угодно по указке плательщиков. Вот и звучало из их продажных уст: «Русский суд и глава уезда не должны вмешиваться в это дело», «Все должно решиться по законам предков», «До сих пор царский суд не вмешивался в дела о калыме, в свадебные обычаи».

Особенно усердствовали, представляя себя ярыми ревнителями религии и закона предков, богатеи города, такие казахи, как Сейсеке и Хасен. Они требовали суда шариата.

Сторонники же Абая просили, чтобы непременно был русский суд. Поручик Оскенбаев представил дополнительное заявление, в котором приводил те доводы за суд российский, какие высказал Маковецкому при устном изложении.

«Уходя от рабского подчинения средневековым законам дикой степи, время требует справедливости, обращая надежды степняков на законы Российской империи, учитывающие свободу отдельной личности и ее права. И отказ от возможности защитить казахскую женщину от векового произвола, когда она с надеждой обращается за этой помощью, может стать большой ошибкой административных органов Семипалатинска и его

судебных инстанций», – так писал Абиш в своем втором, дополнительном, заявлении.

«Дело Азимовой не успело еще получить огласки и освещения в русских газетах, в частности, столичных. Ничего не знают о нем и в Министерстве юстиции, и в Министерстве внутренних дел, а также в правительственном Сенате. Было бы очень нежелательно для нашей администрации, если обнаружится, что она не поддержала вовремя первую казахскую женщину, которая решилась прибегнуть за помощью и спасением к законам Российской империи…» – так он завершил это заявление.

В этом заявлении недвусмысленно прозвучало предупреждение молодого поручика, что он может предать огласке в России нерешительные действия, а то и прямую трусость перед средневековыми косными законами степи представителей российской имперской власти. И это заявление больше всего подействовало на малодушных чиновников Семипалатинска.

К составлению этого документа, написанного рукою Абиша, был привлечен Федор Иванович Павлов. Так посоветовал Абай. Он сам поехал к своим русским друзьям, которые обосновались в слободе жатаков, и рассказал, как кроваво и жестоко действует степь, проживающая сегодняшнюю действительность по законам средневековья. Выслушав поэта, Федор Иванович решил лично принять участие в этом непростом деле – участие и советами, и живой помощью. Он попросил жену, Александру Яковлевну, оправиться вместе с ним в Затон, чтобы оказать медицинскую помощь семье носильщика грузов Абена, подвергшейся разбойному нападению. Александра Яковлевна без лишних вопросов собрала санитарную сумку и готова была отправиться вместе с мужем.

Через некоторое время четверо вышли из дома, Абай с Баймагамбетом поехали в верхний жатак, чтобы с лошадьми переплыть Иртыш на пароме Сеила, а Павловы спустились вниз, к излучине, и там кратчайшим путем, на малой местной переправе, поплыли к Затону.

В доме Абена они увидели следы вчерашнего побоища, нашли раненых людей. Павлов оставил с ними Александру Яковлевну, а сам быстрее отправился пешком к центру города, чтобы по просьбе Абая найти Абиша.

В Затоне у Александры Яковлевны был хороший знакомый, фельдшер Дмитрий Артемович Девяткин, с которым она еще до эпидемии холеры работала вместе в семипалатинской городской больнице. Родившийся и выросший в Семипалатинске, среди казахов, он был их всеобщим любимцем за свой ровный, добродушный характер, к тому же готовность всегда помочь и, в особенности, свободная казахская речь располагали к нему местное население.

Приступив к перевязке раненых, Александра Яковлевна отправила соседку Абена, Марфу, за фельдшером Девяткиным. Марфа была женою слесаря Захара Ивановича, друга Павлова. Марфа поздно узнала о беде, случившейся в доме Айши, с которою издавна дружила, и теперь, отправленная за фельдшером, – несмотря на свой почтенный возраст, подобрала юбки и понеслась, как юная девочка.

Александра Яковлевна с помощью Девяткина обработала раны и перевязала всех раненых, привела в чувство самого Абена, у которого разбита была голова. Затем Девяткин, как местный фельдшер, составил общий акт об избиении налетчиками семьи Абена, чтобы приобщить этот документ к судебному разбирательству над арестованными уже Даиром и Корабаем.

Пока жена помогала раненым, Федор Иванович, находясь в доме Данияра, в присутствии Магрипы и Афтап правил прошение от имени Макен, написанное Абишем. Впоследствии это прошение, набело переписанное рукою Абиша, было передано председателю окружного суда через Маковецкого.

По совету Абая, в дополнение к заявлениям Абиша написали свои заявления в окружной суд лодочники-паромщики во главе с Сеилом, а также и большая группа затонских грузчиков, руководимая Сеитом и Абеном. Последним помог написать документ

затонский житель Марков, ссыльный студент. С его помощью удалось привести в документе убедительные доказательства того, что некий бай из степи, Даир, а также его городские сообщники Корабай и Дондагул не только совершили среди бела дня вооруженное нападение, стоившее крови многих невинных жертв, – но имели намерение совершить самосуд и казнить беглецов. Заявление подписали грузчики из Затона и другие его жители, видевшие разбойный налет: рабочие кожевенного завода, пимокаты из шерстобитки. И документ вовремя поступил к закрытому заседанию суда.

Теперь исковых заявлений и разных свидетельств, поданных за Макен, собралось в канцелярии несравнимо больше, чем бумаг от Оразбая и мусульманского духовенства. К тому же свидетельства от заявительницы были для суда более убедительными, ибо содержали подлинные факты и медицинские документы о совершенном насилии. Заявления же имамов городских мечетей и городских богачей, ревнителей шариата и законов адата, юридической силы не имели.

Несмотря на это, вынесенное судом «предварительное решение» не намного улучшило положение молодых беглецов. Помещенная в дом толмача Алимбека Сарманова, степная беглянка оказалась, в сущности, под очень строгим домашним арестом. Титулярный советник Сарманов был на хорошем счету у начальства, пользовался доверием, которое изо всех сил желал оправдать. К тому же он, родом из Каркаралинского уезда, не имел никаких родственных отношений с тобыктинцами, что давало начальству повод для полного доверия ему. Сарманову было приказано строго следить за тем, чтобы девушка не имела ни малейшей связи и отношений с лицами, похитившими ее, а также была бы в безопасности от поползновений преследователей. И Алимбек Сарманов принялся ревностно выполнять приказ. Это был узкоглазый, круглолицый джигит маленького роста, на брюшке которого завязался вполне солидный жирок. Ходил он вприпрыжку, бойко встряхивая на ходу головой, на макушке

которой торчали стриженые ежиком волосы. Городской управой назначено было выплачивать ему содержание истицы в сумме 15 рублей в месяц. Дом этого чиновника-казаха, двухэтажный, снизу каменный, сверху деревянный, огражденный крепким забором, был поставлен под надзор двух городовых.

Супруга Сарманова не казашка, а татарка, что должно усилить необходимую отчужденность между надзирательницей и ее подопечной. Сама по себе эта женщина была нелюдимой, угрюмого характера, и она терпеть не могла степную родню мужа, – впрочем, как и сам Алимбек Сарманов. Он в городе, живя среди русских, сделал неплохую карьеру и от этого стал о себе весьма высокого мнения. И назначая его надзирателем над Макен, судьи не ошиблись.

Он не допустил в дом, к Макен, не только Абиша, который попытался с нею увидеться, но и самого Абая. А когда сделали попытку связаться с девушкой через Данияра, сослуживца Алимбека, тот не пустил коллегу дальше своих ворот. Позже Данияр подсылал в этот дом свою жену Афтап, которую супруга хозяина вынуждена была встретить и принять. Но и тут толку вышло мало, ибо угрюмая татарка говорила только на своем языке, не понимала по-узбекски, не знала толком и казахский, а пышная, улыбчивая красавица Афтап не изъяснялась по-татарски. Так и просидели друг против дружки, не сумев толком поговорить, полопотали немного, сами толком не понимая, о чем, потом Афтап поднялась и ушла. Увидеть Макен ей так и не удалось.

День отъезда Абдрахмана из Семипалатинска в Алматы, к месту службы, приближался. Предполагая, что ему не удастся присутствовать на судебном заседании по делу Макен, он отправился к чиновнику «по особым поручениям» Злобину, в ведение которого к этому времени было передано дело. Абиш имел с ним долгую беседу и оставил ему в письменном виде дополнительные показания.

3

Из Туркестанского военного округа поступило предписание поручику Оскенбаеву Абдрахману отправиться на место службы в крепость Верный. По окончании Михайловского артиллерийского училища Абиш отправился из Петербурга в родные края, ждать назначения по службе, и вот оно пришло в Семипалатинск. Уже давно ожидая вместе с женой приказа и предполагая, что назначение последует в Верный, Абиш исподволь готовился к дальней поездке, приобрел надежный экипаж, подобрал добрых лошадей.

Абай, приехавший проводить молодых, в эти дни перебрался из слободы на берег Большого Семипалатинска и вместе с Баймагамбетом поселился в доме татарина Карима, у которого останавливался и раньше.

Дело Макен и Дармена серьезно занимало Абая, невольно ввергая его в круг самых тягостных размышлений и горестных переживаний. И в эти лето и осень, находясь в городе, Абай много работал, ежедневно сидел с карандашом в руке над бумагой, доверяя ей свои самые затаенные мысли и чувства. Он сочинял стихи и писал прозу, продолжая начатые ранее «Кара-соз» – «Слова назидания». В них отражались философские, глубокие, искренние, печальные, нелицеприятные, порой беспощадные размышления поэта о трагичности жизни, о своем народе, о его достоинствах и пороках... Вынужденный много времени и сил отдавать нелегкой, напряженной борьбе за дело Дармена и Макен, Абай не показывал, тем не менее, чего это стоит ему. Последнее время внешне он выглядел все таким же спокойным, как раньше, лишь разговаривал с людьми более сдержанно, лаконично, при этом хранил на лице некую замкнутость.

Набравшись немалого опыта, Абай теперь, несмотря на некоторую утомленность от дел, далеких творчеству, довольно быстро разбирался в новых обстоятельствах и тотчас принимал решение. И эти решения его отнюдь не выглядели поспешными.

Сидя дома, Абай получал сведения обо всех противодействиях со стороны мулл, городских толстосумов, толмачей, желавших сурово осудить Макен и Дармена, и тотчас оповещал своих, поручал им собирать как можно больше дополнительных свидетельств в пользу их дела. И постепенно в «Деле девицы Азимовой» с его стороны было представлено значительно больше убедительных документов, чем у противной стороны.

Когда пришло предписание Абишу отправиться на службу в Верный, опечаленный предстоящей разлукой отец хотел как можно больше бывать с сыном, ежедневно вызывал Абиша к себе. Они уединялись и подолгу беседовали вдвоем. Чаще всего это происходило по вечерам. Вот и сегодня – пополудни он сразу же отправил Баймагамбета за Абишем.

К его приходу у Абая оказались непрошеные гости.

Сторона Оразбая – Сейсеке не чуралась действовать и по канцеляриям чиновников городской управы, подавая туда приговоры от имени мусульманских общин города, в которых заявляли: «Его Величество, царь России с уважением и сочувствием относится ко всему магометанскому обществу в своем государстве. Пусть не совершаются деяния, попирающие религиозные чувства его подданных-мусульман!» – С этими бумагами ходили по канцеляриям двое ретивых халфе, однако чиновники, в общем-то доброжелательно их принимавшие, показали им представленные Абаем заявления и свидетельства, которые стояли каменной стеной против обвинений мулл. Поэтому эти халфе, не получив от чиновников поддержки, заявились прямо на дом к Абаю, желая как-нибудь воздействовать на него. Абай никак не ожидал увидеть их у себя.

Их было двое, одним из них оказался халфе Шарифжан, второй – халфе Юнусбек из рода Найман. Именно его и отправил своим посланником главный имам Казахской мечети Семипалатинска хазрет Камали, татарин, известный в казахской среде своим приятием всего казахского – в культуре, обычаях, традициях. Халфе же Шарифжан сопровождал Юнусбека. Увидев Шариф-

жана перед собой, Абай был возмущен до глубины души. Узнав о неприглядном поведении алчного халфе во время недавней холеры и его тайной причастности к погибели Сармоллы, Абай испытывал к нему гнев и отвращение. И он вдруг заявляется на пороге его дома, протягивая обе руки для приветствия, называет свое имя! Возмущению Абая не было предела.

– Е, да ведь ты тот самый зловредный, коварный халфе из главной мечети? – с открытой неприязнью, брезгливо проговорил Абай.

От такого прямого, жесткого нападения, от неприятных слов, высказанных прямо в глаза, халфе Шарифжан пришел в замешательство. Чтобы сохранить лицо, он принял смиренный вид, ничем не ответил на обидные слова Абая и повел себя так, словно полностью вынужден был подчиниться воле старшего по возрасту.

– Пай-пай, мырза, в чем же вы меня обвиняете? Как несправедливо строги вы ко мне, мырза Абай! – заюлил халфе Шарифжан, отирая бороду руками и закрывая глаза.

В разговор вступил халфе Юнусбек, с подчеркнутой важностью начал излагать дело, с которым направил его к Абаю главенствующий в городе хазрет Камали.

– Мырза, везде и во всякие времена свой символ веры народ отождествлял с именами главенствующих лиц мусульманской общины, следовал их примеру и слушал их наставления. Сейчас пошли такие времена, когда вера слабеет, правоверного рвения не наблюдается. И если такие известные люди, как вы, почитаемые как истинные наставники правоверных, будут поддерживать мирские законы русских, а священные устои ислама принижать перед ними, то какие же духовные клады мы оставим для тех, что идут вслед за нами? На каких весах истины и справедливости смогут они взвешивать деяния своей души и разума? И сейчас все правоверные мусульмане ожидают от вас, что вы, как их наставник-эфенди, откажетесь защищать не-

достойных осквернителей нашей веры и законов предков. Вот об этом просил передать вам хазрет Камали.

Абай с великим любопытством всматривался в тщедушного, с вертлявым телом, тщательно подстриженного, с рыжеватыми усиками и остроконечной бородкой велеречивого халфе Юнусбека из Найманов. Он был известен как великий краснобай на разного рода казахских сборищах и большой начетчик, набивший руку в религиозных диспутах. Называя акына «известным эфенди», наставником общества, халфе Юнусбек хотел поймать на обычный аркан человеческого тщеславия Абая, главное лицо в деле Макен и Дармена. Усмехнувшись, Абай продолжал смотреть на тщедушного халфе тяжелым, холодным взглядом, под которым тот невольно съежился и заерзал на месте.

В это время и вошел в комнату Абиш, приехавший по вызову отца. Абай кивком головы молча принял приветствие сына, показал ему на место рядом с собой, приглашая сесть. Не отрывая своего тяжелого взгляда от халфе, продолжил с ним разговор:

– Вы, досточтимые учителя веры, хазреты, имамы, ишаны и все боголюбивые муллы разных общин, – вы находите вполне допустимым вмешиваться в светское дело жесир Макен Азимкызы. Вы находите здесь нарушение устоев ислама, но при чем тут ваши речи о совести, о чести? Вы же сами – первые лицемеры, бессовестно лжете, изворачиваетесь перед людьми, да и перед самими собою не меньше!

– Астапыралла! Что он говорит! Это мы лицемеры? – широко раскрыл глаза на Абая тощенький, прилизанный халфе.

Абай, подняв правую руку, сделал предостерегающий жест:

– Успокойтесь! Не надо терять достоинства, не надо зря кричать, – лучше послушайте, что я скажу. Вот вы вчера бегали, кланяясь, согнув спины, перед русским начальством, людьми совсем иной веры. Вы в первую очередь постарались, прибегая к разным уловкам и хитростям, убедить сановников в том, что

вы печетесь о чистоте веры и противитесь нарушению мусульманских законов. Шлепая печати на разных прошениях и приговорах, просили русское начальство защитить твердыни мусульманской веры! А сами, выйдя за порог конторы, тут же начинали поносить их самыми последними словами. А теперь пришли ко мне и хотите, чтобы я встал на вашу сторону и вместе с вами участвовал в этом гнусном обмане! Разве это не лицемерие, не ложь? А ведь вы, наставники мечетей, хазреты, имамы, ишаны, муллы, муэдзины, шакирды, – являете наше лицо перед русской властью, представляете наш народ – и казахов, и татар. Вы, стоя перед начальством, с вашим двуличием и лицемерием, а за их спиною ругая русских сановников, – даже не стыдитесь своих прихожан, которые слышат вас и которым известны все ваши дела и помыслы!

Неожиданно даже для себя вдруг выступивший обличителем духовенства, Абай не мог без презрения смотреть на этих двух служителей веры – с ханжеским смирением незаслуженно обиженных, чуть ли не с мученическим видом, – сидевших перед ним.

Абиш, молча, потупившись, внимательно слушавший отца и краем глаза следивший за выражением его лица, заметил, что, несмотря на самые гневные и грозные перекаты его голоса, у отца в прояснившихся ярких, черных глазах скачут искорки холодного, язвительного смеха.

Желая увернуться от Абая, уйдя в мудреную книжность, – и там заставить его запутаться, халфе Юнусбек стал приводить что-то из «Шарх-Габдуллы». Абай же, сам часто сражавшийся в схоластических спорах изречениями из той же книги, и теперь сослался на известную сентенцию.

– Есть два символа веры, один обозначен как «якини» – истинная вера, другой – «таклиди» – подражательная, заученная. Как мне назвать вас, сидящих передо мной? Что вы представляете, когда поучаете других? Назвать вас якини я не могу, вы недостаточно осведомлены в духовных знаниях и таинствах

веры. Вы и не таклиди, потому что в вас нет той бесхитростной веры, с которой простые люди заучивают символы веры. А ваш доподлинный символ – это обман и корысть. Вы готовы черное признать белым, а белое – черным, в зависимости от того, что выгодно вам сейчас. В любое время вы готовы дать ложную клятву. Вы пришли ко мне, размахивая, словно вынутой из ножен саблей, символом мусульманской веры. И это – чтобы моими руками отправить на смерть, пролить кровь бедной нашей казахской девушки, которая и без того плачет кровавыми слезами, перенеся столько страхов и унижений. Разве не так, досточтимые халфе? А теперь уходите, вернитесь к хазрету, который прислал вас, ко всем имамам, ишанам, торгующим своей совестью и верой! Кроме проклятий подлинным вероотступникам, мне нечего вам сказать в ответ. Идите, – других почестей вам от меня не будет! – завершил он жестким тоном, давая знать о конце разговора, вместе с этим и выпроваживая халфе.

Баймагамбет, сидевший у самого входа и оттуда увидевший, как нарастает гнев Абая-ага, быстро вскочил на ноги и, широко распахнув двустворчатую дверь, выразительным жестом рук показал на нее растерянным халфе, как бы добавляя от себя: «Уходите по добру! Достаточно чести было вам оказано».

Шарифжан и Юнусбек, бормоча под нос молитвы, немедленно удалились.

В тишине прошла долгая минута. Наконец Абай, несколько успокоившись, взялся за карандаш, положил перед собой бумагу и сказал сыну:

– Надо бы записать некоторые мысли, которые я высказал этим двум пройдохам-халфе. – Этим Абай напомнил Абишу о той особенной работе, которою был занят всю эту осень.

Сын читал записи «Слов назидания» в заветной толстой тетради отца, и у него родилось желание поговорить с ним, – перед тем, как расстаться, – о многом, что почерпнул он из этой тетради, и о том, что вызывало у него некоторые сомнения.

– Отец, я хочу поговорить о непонятных для меня местах в ваших записях, – доверительно, с серьезным видом молвил Абиш.

Абай молча смотрел на сына вопрошающим, ласковым взглядом. Давно установилась между ними глубокая духовная связь, и она только окрепла со временем. Великая это была радость для отца, надежная опора для поэта. Абиш часто приводил его в восхищение, высказывая самые неожиданные, необычные, умные и зрелые мысли. Родительская гордость переполняла сердце Абая.

– В некоторых частях ваших «Слов назидания» и в поэтических наставлениях вы порой словно стараетесь подстроиться под муллу, читающего проповедь перед прихожанами. Займет ли подобный стиль высокое место в вашем необычном творчестве, хорошо ли воспримут его люди? Следя за вашей словесной схваткой с ревностными муллами, я понял, что все же в данном случае и «якини», и «таклиди» были просто необходимы, чтобы свалить халфе, нанеся ему удар его же собственным оружием. Однако в вашем творчестве, когда вы разговариваете не с какими-то тертыми спорщиками-муллами, а с огромным числом простых людей, – уместно ли употребление таких «ученых» слов? Не засоряет ли это ваш поэтический язык, который давно знают и любят в народе? – Так говорил Абиш, не устояв перед тем, чтобы искренне высказать свои сомнения перед уважаемым, любимым отцом-акыном.

Абай ответил, все так же ласково, светло глядя на сына:

– Ты же сам сказал, что такой язык необходим в споре с муллами и халфе.

– Но в ваших-то произведениях, – зачем он? Всякие эти «якини», «таклиди» – язык сломают казахские дети, произнося их.

– Подобные слова должны входить в некоторые мои произведения. Это даже необходимо.

– Почему?

– Те, с кем я враждую, обращаются к людям именно на таком языке. Люди давно привыкли к нему и понимают его. Я должен хорошо знать и такой язык, уметь пользоваться им.

– Но тех, кто понимает, так мало! И они не имеют столь большого влияния на жизнь казахов, какое имеете вы.

– Здесь ты говоришь необдуманно, Абиш, – возразил Абай. – Их не много, но они как раз имеют большое влияние на народ. Как, например, во время двух последних событий, что наблюдали мы. Они не прекращали своих злостных деяний, наоборот, старались еще больше отравить городских людей ядом фанатизма, обрекая их на разные несчастья.

– Но разве их беды – не от собственного невежества? А в степи, отец, в еще более невежественной среде – опасности такого отравления должно быть гораздо больше!

– Не совсем так. Конечно, город – очаг искусства, место, где для многих людей открывается светоч знания. Но мы не должны забывать и о том, что в городе находятся все мечети, медресе и огромное число наставников – хазретов, имамов, ишанов. И вот перед ними городской житель, особенно неграмотный казах, – совершенно беспомощный человек и несчастная жертва.

И далее Абай подробно разъяснил, почему горожане страдают от невежества мулл сильнее, чем степняки: от вероучителей из мечети исходит немыслимое количество самых косных, темных по смыслу, порою весьма зловредных наставлений, проповедей, связывающих людей предписаний – и все это в первую очередь обрушивается на горожан.

И тут Абай поведал сыну о том, что давно вызывало у него великую озабоченность.

– Все делается под видом духовной помощи мусульманам, но на самом деле – с целью поработить сознание верующих, согнуть их в бараний рог. Эти деяния распространяются, охватывая самые дальние пределы страны. Живя в Российском государстве, они стремятся воспитать наш народ врагом этого же государства. Из уст недавних двоих посетителей несло

подобным запашком. Их проповедь – «наша религия добра к единоверцу, враждебна к иноверцу» – это проповедь вражды и ненависти. Повсюду в России – в Казани, Крыму, в священной Бухаре, Самарканде, а еще дальше – на родине Халифа в Египте, и в самой Мекке, Медине – наставники ислама проповедуют ненависть к иноверцам. В султанской Турции, в Стамбуле, еще царит изуверство времен «Тысячи и одной ночи». Ко мне иногда присылают оттуда газеты, шлют письма, проповеди имамов. Они проникнуты одной лишь целью: заставить людей исповедовать пять заповедей ислама и поклоняться не столько Аллаху, сколько человеку в чалме – праведному мулле. Они хотят только одного – держать наше поколение и всех наших потомков в темноте и невежестве. Каким только чудовищем ни представляют они русский народ, вместе с которым мы живем! От них только и можно услышать. «Их вера враждебна нам. Держись от нее подальше. Встречай ее с ненавистью!»

Абиш с изумлением взирал на отца: сын впервые видел его высказывающим столь откровенные, непреклонные мысли. Абай же, перед тяжким для него расставанием с сыном, не утаил перед ним и другую свою душевную боль:

– Ты думаешь, айналайын, чего они хотят от меня? Чего добиваются? Они хотят, чтобы я забыл, как стал просвещенным человеком, выйдя из невежественной степи. Они полагают, наверное, что я должен предать проклятию тот свет знания, до которого я дотянулся благодаря русским книгам. Что я должен забыть тот огромный, тяжкий труд, через который прошел, чтобы научиться их понимать. Послушать их – то я обязан стать новым дервишем, суфием Аллаяром наших времен. И ко всему этому – я должен буду уничтожить, сжечь все, что написал. Но и этого мало – следуя «Призывам исламского совета», я должен, прокричав проклятье – «баддуга», изгнать тебя из своего рода, как человека, воспитанного неверными. Как видишь, сын мой, они многого хотят, – ход истории желают повернуть по-своему, направить потомков в беспросветный мрак. Говоришь, их не так

уж много среди казахов? Нет, дорогой, – их не так уж и мало, и к тому же они обладают большой силой и влиянием в обществе.

Абиш понимал, что сегодняшние значительные, суровые слова отца – это плод многолетних размышлений, и высказал он их отнюдь не в досаде, после встречи с двумя лицемерными халфе. Снова сердце Абиша сжалось в предчувствии скорой, долгой разлуки с постаревшим отцом...

Два года назад, во время учебы в артиллерийском училище, когда врачи обнаружили у него туберкулез, его отправили лечиться на юг, сначала в Крым, в Феодосию, затем на Кавказ, где несколько месяцев пришлось пролежать в Абастумане, возле Кутаиса. А прошлой осенью, получив назначение в Туркестанский военный округ, Абдрахман совершил продолжительную поездку в Ташкент. Эти поездки не прошли даром для молодого пытливого ума, Абиш увидел много нового для себя. Он увлеченно рассказывал отцу о жизни крымских татар, кавказских горцев и узбеков.

И сейчас, когда Абай коснулся в разговоре темной изнанки исламской политики, идущей из тех краев, где он побывал, Абиш невольно вернулся к воспоминаниям о былых путешествиях и встречах с разными людьми… В военном училище Абдрахман подружился с юнкером, живым, общительным казанским татарином Гизаттулой, который много рассказывал ему о своей родине. И тот, кстати, тоже говорил об имамах и хазретах, упорно разжигающих вражду между русскими и татарами. Хотя их воссоединение произошло уже очень давно, глухая стена между ними сохраняется благодаря неуклонным стараниям религиозных деятелей, – рассказывал, сильно сокрушаясь при этом, юнкер Гизаттула. Рассадниками этой фанатической заразы межрелигиозной вражды являются мечети и медресе. Имамы и хазреты, муллы и ишаны преграждают молодежи дорогу к русской культуре, запрещают учиться в русских школах.

В конце этого разговора, что продлился до полуночи, Абиш высказал следующее, прежде чем распрощаться:

– Отец, сегодня мне открылся весь смысл того, для чего вы трудитесь и за что боретесь. Все эти муллы, имамы, ишаны своими назиданиями, на самом-то деле, приносят не пользу народу, а вред… Вы же, ага, срываете с них фальшивую личину и прочь отбрасываете в сторону. То, что вы делаете, – очень нужное дело. И как было важно для меня понять это теперь! – признался Абиш.

Абиш замолчал, склонив голову, в знак своей сыновней благодарности...

Он читал рукописи переводов стихотворений Лермонтова, что сделал Абай за прошлый год и нынешний, работал с огромной увлеченностью, – и это не было случайной забавой. Это было все той же борьбой Абая – против всех этих халфе в чалмах, борьбой за свет против тьмы душевной.

Абай тоже долго не произносил ни слова. Оба сидели, захваченные огромной печалью. Предстояли расставание, дальняя дорога. Неизвестно, как долго продлится разлука…Скоро ли смогут они увидеться… Оттого и все последние дни Абай старался держать сына возле себя.

В эту осень, став плечом к плечу, отец с сыном провели в Семипалатинске успешную борьбу, спасая жизни своих молодых друзей. Завершая сегодняшнюю встречу, Абай напомнил и об этом:

– Айналайын, Абиш, а мы ведь успели здесь не только вместе помечтать, поговорить обо всем самом хорошем. Нам пришлось, сынок, сражаться рядом, на общем поле битвы! И для меня большая радость, джигит, что пришлось увидеть тебя в схватке!

Абиш догадывался, что отец доволен им за его решительные действия в деле Макен Азимкызы. Но впервые высказанная прямая похвала Абая сильно порадовала молодого поручика. Он весь просиял, словно ребенок.

– Вы хотите сказать, ага, что я успешно провел первую битву и выиграл. Но лично моих заслуг здесь немного, верх взяли рус-

ские законы, которые оказались для Макен гораздо милосерднее, чем шариат и законы степи. В деле Макен победило не мое искусство ходатая, а сам ход дела в суде. Русские законы не могли с позором отступить перед аменгерским правом. А самая большая победа, отец, – это дерзкий поступок, на который решились Дармен и Макен!

Абай не хотел бы ни на час отпускать сына от себя, но в городе собрались многочисленные друзья Абиша: Какитай, Дармен, Мука́, веселый Утегельды, певец-сере Алмагамбет и любимый с детства Абиша рассказчик «романов» Баймагамбет-ага.

С ними Абиш должен был провести пару прощальных вечеров, что проходили на квартире Какитая и в Затоне у Дармена, в доме Абена.

Грузчик Абен и его жена Айша не изменили своего отношения к гостям, хотя сильно пострадали из-за них, и в доме у них все было перевернуто вверх дном, разгромлено и порушено. Дармен так и остался у них жить, вместе с ним нашли приют у гостеприимного очага и Мука́ с Алмагамбетом. Хозяева этого очага радушно встречали молодых гостей.

Когда друзья в ожидании мяса сели пить чай за круглый стол, в дом неожиданно заглянул Павлов. Все молодые степняки, хорошо знавшие его, встретили гостя с шумной радостью. Абиш, с приветливой улыбкой, воскликнул по-русски:

– О, как хорошо, что пришли! Какой приятный сюрприз!

Встретив нового гостя у двери, он провел его к своему месту и усадил между собою и хозяином дома, Абеном. К нему-то как раз у Павлова было какое-то дело.

Прихлебывая чай, Павлов заговорил с Абишем. Речь пошла о деле Макен.

– Мы с моим другом, студентом-юристом Марковым, добавляем к делу свидетельства причастных к нему рабочих и пострадавших людей из Затона. Для Маркова – это первое дело в качестве стряпчего, ну а ваш покорный слуга, признаться, не столь уж поднаторел в адвокатуре, поэтому я смогу лишь да-

вать кое-какие советы. К тому же, как вы понимаете, мне предпочтительнее действовать не в открытую.

– Значит, Федор Иванович, дело Макен Азимовой, сбежавшей из степи в город, тоже входит в вашу революционную программу? – шутливо спросил Абиш.

Павлов ответил ему в тон, усмехаясь в бороду:

– Безусловно! Иначе почему бы рабочие Затона подставляли свои головы под шокпары богатеев города и степи?

– Стало быть, грузчики Затона внесли, силой мускулистых рук, что-то новое в свою борьбу?

– Совершенно верно. Но что еще важнее – рабочие непосредственно столкнулись со своими истинными врагами. Это была хорошая школа, вот наши Абен и Сеит теперь хорошо понимают, кто их враг. А молодой Марков даже написал друзьям в Россию, что средневековый обычай «умыкания девушки» способствовал распознанию казахскими рабочими их подлинного врага. – Такой шуткою Павлов закончил свой разговор и, допив чай, засобирался уходить, у него были спешные дела в городе.

И тут Абен, примерно поняв, о чем шла речь, высказал свое:

– Стоит Маркову и Павлову начать разговор о том, что нашими врагами являются баи, торговцы, волостные да чиновники, как рабочие Затона тут же начинают им рассказывать, сколько им пришлось перестрадать от этих богатеев. Вообще-то людям, знающим своего врага, не приходится ошибаться, когда надо замахнуться дубиной!

После ухода Павлова, на весь вечер, – пока варилось мясо, а затем после ужина и позднего чая, – молодежь отдалась стихам, пению, игре на домбре. Присутствующие на прощальном вечере пожелали прослушать новые стихи и песни Дармена.

Проиграв вступление на гудящем низком звуке, музыкант сделал паузу, поднял глаза и, окинув молодыми, добрыми глазами лица друзей, сказал:

– Вы просите исполнить что-нибудь из нового. Но вы же понимаете, друзья мои, о чем только я могу думать и что переживать в эти дни. У меня есть песни, которые еще никому не пел, и даже сам для себя не пел – они вот здесь у меня, в груди. Я думал, что, когда увижу, наконец, свободную и счастливую Макен, ей первой и спою эти песни… Но ты, Абиш, собираешься в дорогу, Бог весть, когда еще увидимся, – и я хочу, чтобы перед отъездом ты услышал эти песни и увез их с собой в дальний край.

Вы все помните, конечно, сказку «Шаркен», которую рассказывал нам Баймагамбет-ага. Раненный стрелами юноша Зукуль-Макан говорит своему мудрому другу Дандану: «Погиб в бою мой старший брат, батыр Шаркен. Я сам ранен – вот мои раны на теле, и ты видишь мои раны сердца. Сделай что-нибудь такое, Дандан, чтобы я забылся и не мучился от своих ран!»

В голосе Дармена, обычно веселом и радостном в кругу друзей, сейчас прозвучала такая нестерпимая боль, что все друзья смолкли, замерли, с безмолвным сочувствием глядя на него.

– Я тоже хочу забыться – своими песнями…

Черные глаза Дармена и его темные брови, отливающие блеском бобрового меха, тонко подстриженные усы – молодое, нежное и мужественное лицо джигита притягивало к себе взоры его друзей. Он вновь заиграл на домбре, а потом запел, – являя искусство чистейшей импровизации. Мелодия жила, казалось, сама по себе, свободно летала, неся на себе строй слаженных слов. Дармен пел о клятве двух влюбленных, готовых погибнуть, но бороться за свое счастье до конца. Пел о верной дружбе, о тех друзьях, что сидели сейчас перед ним. О Магыш и Абише, которые примером своей любви помогли им, горемычным беглецам, и беззаветно встали на их защиту. Об отважном Мука́, который был повержен ударом шокпара, упал на землю с окровавленной головой. Не забыл импровизатор упомянуть и о робком Алмагамбете, который не участвовал в потасовке, но и не сбежал с поля боя. Песня была исполнена дружеской шутки, незлобивого юмора.

Айша и Абен, простодушные хозяева очага, такого еще не видели и не слышали в своем доме, и смеялись до слез. Но при этом с участием, жалостливо смотрели на коротышку джигита.

Тот принялся оправдываться:

– Е! Вы бы только посмотрели, какие кулачища у этого Корабая! Как чугунные колотушки! А если бы он ими разочек приложился ко мне? Что осталось бы от вашего маленького Алмагамбета?

Дальше певец вновь импровизировал, в ритме терме, о своей невыносимой тревоге за судьбу Макен. Под удары глухо звучащих струн рассказал про сон, что видел он недавно. Макен была брошена в глубокий зиндан. Наклонившись над ямой, он слышал ее жалобные стоны. Захотел ей крикнуть: «Не бойся! Я здесь, рядом!» – но вдруг почувствовал, что лишился дыхания и голоса. Захотел прыгнуть в яму, к ней, но не мог двинуть ни рукой, ни ногой…

Джигит пел, закрыв глаза, а из глаз женге Айши, еще совсем недавно заливавшейся смехом, глядя на коротышку Алмагамбета, теперь ручьем бежали слезы.

В последней части терме, где певец рассказывал о заточении Макен в доме толмача Алимбека, вдруг прозвучали необычайно скорбные ноты. Жестокий тюремщик стоял перед ним неодолимой преградой, и певец назвал его дом узилищем, более страшным для Макен, чем глубокий зиндан. До заточенной в нем девушки не доходили ни единая весточка из живого мира, ни письма от возлюбленного, ни звуки его голоса… Подробно рассказывал акын, в речитативе терме, как они с Какитаем передали ей платье, камзол и бешмет, с нашитыми на отвороты амулетами, – сможет ли она догадаться, что в одном из амулетов зашито письмо, написанное мельчайшими буквами рукой Дармена?

Долго, самозабвенно пел акын о своей нелегкой любви, и слушатели ощущали на себе обжигающее пламя его сердца. Когда завершилась последняя песня, друзья стали живо обсуж-

дать, – догадалась ли Макен прощупать пришитые амулеты? Нашла ли письмо Дармена? И стали с чувством высказывать ему свои пожелания: «Пусть сбудется все так, как ты задумал, Даке!»

Прощаясь с ним, Абиш пожелал своему младшему другу, которого любил, как брата: «Да разрушатся все преграды между вами! Пусть скорее соединятся ваши сердца! И в нашу следующую встречу хочу увидеть вас вместе, счастливых и радостных!» Они распрощались, крепко расцеловавшись, не удерживая слез.

Пришла в Семипалатинск депеша из Ташкента, – приказ командования Туркестанского военного округа. Поручику Оскенбаеву предписывалось сократить срок отпуска и немедленно прибыть к назначенному месту службы. В конце сентября Абиш выехал в Алматы.

С тех пор минули месяцы, уже настал январь. И все это время, начиная со дня заточения в сентябре, Макен была разлучена со всеми, кто был ей близок и дорог. Содержание девушки в доме толмача Алимбека оказалось самым настоящим заточением, а его жена, татарка Салима, была сущей надзирательницей тюрьмы. Ни единой весточки с воли не допустила она до Макен, и от нее ничего никому не передавала. Лишь однажды, через четыре месяца, Салима посадила ее в крытые сани, набросив ей на голову черный чапан и себя накрыв таким же образом, свозила на допрос к следователю окружного суда Злобину.

На допросе переводил Алимбек, и он держался крайне отчужденно, не пытаясь хоть чем-нибудь помочь, поддержать Макен. У нее сразу родилось подозрение, что он доводит до чиновника не все ее слова. Косясь на него, она строго, слово в слово, повторила все то же самое, что произнесла на первом допросе, в присутствии Абиша.

Со дня и этого допроса прошел еще один месяц.

И вот, наконец, Салима, накрыв и себя, и Макен черными чапанами, снова привезла ее в канцелярию окружного суда и завела на верхний этаж, в знакомую большую комнату.

Макен чувствовала себя как среди глухонемых. В конторе никто к ней не обратился, не взглянул даже на нее, и друг к другу эти мрачные служилые люди не обращались. Казалось, она никому здесь не нужна, о ней просто забыли.

Но на улице, когда ее провезли по городу и сани стали заворачивать во двор суда, Макен заметила, выглядывая из-под чапана, что на прилегающих проулках и в самом дворе полно народу, и многие – верхом на конях, в тобыктинских шапках. Наряду с ними она увидела множество городских баев в расшитых узорами крытых шубах, с широкими, на ногайский манер, лисьими воротниками, в ногайских же круглых шапках-бориках. Кое-где виднелись белые и зеленые чалмы мулл. И по всему этому Макен поняла, что настал решающий день в ее судьбе.

В этой толпе ей не удалось увидеть дорогого, надежного для нее человека – Абая-ага. Она с детства, почитая его как великого акына, считала его недостижимым, словно горная вершина. И вот она узнала, что Абай решил защитить ее. Но почему-то его не видно нигде, и это встревожило девушку. Однако когда она вошла в дверь здания суда, чей-то голос, прозвучавший близко из толпы, чуть сзади, произнес одну лишь фразу, которая сразу успокоила ее: «Макен, не бойся! Абай-ага здесь!» Она узнала этот голос, – он принадлежал маленькому Алмагамбету.

Кроме этих негромко произнесенных слов Макен больше не услышала ничего обнадеживающего, обращенного к ней. Наконец чиновники, заведя ее в какую-то отдельную комнату, поставили перед собой и стали зачитывать с бумаг свое решение.

Ввиду необычности разбираемого дела, окружной суд решил рассмотреть его на отдельном закрытом заседании, в присутствии всего трех человек – председателя и двух судебных заседателей. Не было заинтересованных сторон, отсутствовали прокурор и адвокаты. Заключительный процесс провели без

присутствия публики, приговор зачитали всего за несколько минут…

Макен видела перед собой продолговатую большую комнату, в глубине которой был тор, на котором, расположившись за широким четырехугольным столом, восседая на стульях с высокими спинками, замерли четыре человека. Главного, который читал бумагу, она вспомнила, – это был таксыр, опрятный лысый человек с подстриженной бородкой, который судил на первом заседании, четыре месяца назад. Макен, как только переступила порог и, медленно ступая, стала приближаться к столу, накрытому зеленым сукном, – смотрела только на этого человека, который показался ей добрым. На двух других, сидевших по обе стороны от него, она почти не обратила внимания, краем глаза только отметила, что один из них был очень высокий, худой, другой – не очень высокий, но тоже худой, с седыми волосами. Четвертым был толмач, толстенький казах с рябоватым лицом, стоявший возле председателя.

Макен держалась скромно, отвечала на вопросы тихим голосом, но никакой робости при этом не испытывала. Ей самой было удивительно собственное спокойствие, она даже шутливо обратилась к себе: «Е, ты, может быть, уже с ума сошла от страха, что больше ничего не боишься? Почему не плачешь, не дрожишь от страха?» У девушки и в мыслях не было, что она может отступиться. «Умру, но вытерплю все! Не боюсь ни огня, ни ада!» – решительно сказала себе. Пройдя половину расстояния до тора, накрытого зеленым сукном, Макен остановилась.

– Подойдите ближе! Вот сюда! – услышала она мягкий голос таксыра.

Высокая, стройная девушка, одетая в приталенный камзол лилового бархата, в расшитой серебряными нитями шапочке-такия с наброшенною поверх нее легкой расписной шалью, – смуглая степная красавица показалась председателю весьма умной и обаятельной. Он стал задавать через толмача обычные формальные вопросы, сопутствующие судопроизводству: како-

во ее имя, кто ее отец, сколько ей лет, училась ли она. Невысокий худенький судья, сидевший рядом с таксыром-судьей, стал записывать ее ответы, скособочившись на одну сторону. Макен стало немного смешно, – все это уже спрашивали в прошлый раз, несколько месяцев назад, и тогда тоже записывали. Неужели бумаги потеряли?

Дальше снова последовали уже задававшиеся вопросы: когда они соединились с Дарменом, почему решилась бежать от Даира? И опять Макен ответила кратко, слово в слово повторив свой прежний ответ: «С Дарменом не расстанусь. К Даиру не пойду, – лучше смерть. Прошу царский суд защитить меня».

Выслушав ответы с непроницаемым лицом, председатель стал обсуждать их с другими судьями на непонятном для Макен русском языке, и опять девушка подумала: зачем они повторяют одно и то же, почему не решат поскорей ее участь? Сколько можно… А в это время председатель говорил товарищам судьям следующее: «Слова этой киргизки вполне разумны. Она держится с достоинством и вполне искренна в своих заявлениях».

И вскоре, даже не удалившись в комнату заседаний, судьи вынесли окончательное решение. Для Макен толмач перевел на казахский: «Девушка свободна. Может распорядиться своей судьбой по личному выбору».

Девице Макен Азимовой суд выдал бумагу, удостоверяющую в том, что она свободна и взята под защиту российских законов, освобождающих ее от насильственного замужества.

Вопросы, касающиеся имущественных споров, разбираются на месте судом биев. Возврат калыма должен быть решен с согласия обеих сторон – между Даиром Шакарулы, претендовавшим на брак с девушкой, и Какитаем Исхакулы, представляющим ее интересы.

Это решение было оглашено в большом зале суда, в присутствии казахской публики – как из города, так и со степных кочевий. Затем обсуждение этого животрепещущего для них вопро-

са перешло из зала заседания во двор суда, на прилегающую к зданию площадь и даже на близлежащие улицы. Верховых, прибывших из степи, обсуждавших дело, не покидая седла, а также и приехавших на санных повозках и плетеных кошевках городских торговцев и баев – было немало. Но и тех, что были «на стороне Абая», оказалось не меньше. Это был в основном рабочий люд, мелкие ремесленники, лодочники-паромщики с обоих берегов Иртыша и прочий трудящийся народ Семипалатинска. Много было казахов-рабочих, одетых по-русски, в простые зипуны и кафтаны, в шапки-треухи. Особенно бросалась в глаза большая дружина крепких, широкоплечих, кряжистых джигитов, человек сорок, – крючников из Затона. Эти окружили мощной стеной защиты Абая и всех близких ему людей, когда они все вместе толпою вышли из здания суда.

На лице Абая, будто помолодевшем, сияла радостная, светлая, широкая улыбка. Давно ее не было у акына, – казалось, что брови уже навсегда сердито сдвинуты, черные глаза утратили прежний блеск и потускнели. А сейчас они излучали яркий свет, брови разгладились и лихо взлетели концами вверх. И хотя усы и борода были крепко побиты сединой, что говорило о преклонных летах акына, но улыбка его, сверкающая белым сплошным забором крупных зубов, сияла молодой радостью. Когда он, большой, широкий, обняв далеко раскинутыми руками за плечи Какитая и Дармена, вышел из здания суда и шел через двор, то выглядел гордым, воодушевленным победою человеком.

Но вокруг не только сияли радостные, ликующие глаза людей, приветствующих «победу Абая», – в толпе прятались и другие глаза, полные злобы и лютой ненависти. Это глаза Есентая и Оразбая и их приспешников. Наблюдая за Абаем, Есентай толкнул локтем рядом стоявшего Оразбая и тихо прошипел:

– Смотри-ка, раздулся от гордости! Как бы не лопнул!

– Пусть себе радуется. Взял верх… Но подожди, он еще получит свое. Так и напрашивается на кровь Ибрай… Кровь и бу-

дет ему! А ты все запоминай и молчи… – И Оразбай судорожно стиснул руку Есентая.

Макен вышла из здания суда – в последний раз сопровождаемая женой толмача Алимбека. Встретившись с ним, Абай договорился, что девушке немедленно предоставят полную свободу.

Абай не стал принимать участия во второй части тяжбы, там, где касалось свадебного имущества. Возмещение калыма взяли на себя, без особого шума, сторонники Дармена из круга Абая. Он также не поскупился, заплатил щедро, говоря: «Пусть берут, сколько захотят. Дадим все, что попросят».

При посредничестве ловкого джигита Айтказы из Белагаша, известного краснобая, быстро уладили дело с возвратом калыма, сразу же ошарашив сторону Оразбая тем, что без всякого торга и препирательств согласились отдать требуемое. А те ожидали свирепого торга за возвращенный скот, готовились стоять насмерть. И тут Абай своей щедростью вновь лишил Оразбая дара речи.

Но вскоре, очнувшись, Оразбай в припадке бешеной, лютой злобы затребовал выплаты мзды за нанесенное лично ему оскорбление. Абай и тут не стал спорить, но уже сам определил размеры мзды – две «девятки», два вида скота по девять голов.

Так закончилось «Дело Макен Азимовой», заставившее Абая и друзей из его круга надолго стать жителями города. Но эта же небывалая тяжба у противников Абая и тех правоверных мусульман города и степи, кто осуждал Макен за нарушение древних законов, была ославлена как «Смута из-за непотребной девки Макен». И для возлюбленной невесты Дармена все это могло грозить печальными последствиями.

Но что бы ни происходило в этом мире – любовь восторжествовала. После разлуки и перенесенных страданий чувства Дармена и Макен стали только горячей и сильнее.

Какитай, увезя Макен из дома толмача, нигде не останавливался и прямиком доставил ее к дому Абена. Он не сообщил заранее, в какое время привезет к другу освобожденную девушку, и Дармен, ничего не ожидая, пребывал в одиночестве, уйдя в дальнюю комнату. Как обычно, он заглушал сердечную тоску игрой на домбре, бездумно улавливая в звучании струн неведомую доселе новую мелодию…

Внезапно появившись в доме, заведя девушку в комнату к Дармену, Какитай тут же повернулся и вышел за дверь, тихо прикрыв ее за собой.

До сих пор не проронившая ни слезинки – ни во время побега и преследования врагов, ни на суде, ни в тяжкую пору заточения, – Макен только теперь разразилась горячими слезами. Упав в объятия возлюбленного, сильная, непреклонная Макен вдруг почувствовала себя слабой и беззащитной.

Дармен осушал поцелуями слезы на запрокинутом прекрасном лице своей Макен. Забыв снять с нее верхнюю одежду, усадил невесту на расстеленное у стены корпе. А затем, опустившись рядом, он привлек ее к груди и молился, молился – Богу, всем добрым силам жизни, судьбе, чтобы она была к ним благосклонна и милостива.

Макен в начале встречи была несколько скованна, словно старалась сдерживать свои и его чувства. Она отвыкла от любимого за долгие месяцы разлуки, в первые минуты долгожданной встречи испытывала перед ним смущение и робость. И, пребывая в растерянности и смущении, – похоже, почти бесчувственно, – отдалась его нежным ласкам. Но в скором времени, чудесно оттаяв душой, она сама не заметила, как вся радостно воспламенилась, и горячими, трепетными губами прильнула к губам своего возлюбленного.

В ПЕЧАЛИ

1

Стойбище Молалысу расположено на плоской возвышенности, продуваемой всеми ветрами. Аул беден, здесь живут обнищавшие жатаки, дошедшие до крайности в своем убогом существовании, ютясь всем своим многочисленным сообществом в жуткой тесноте – не более чем в двадцати серых юртах, рваных черных шалашах. О том, что селение не заброшено, свидетельствовали лишь тощие струи дыма, вьющиеся из тундуков, да исхудавшие собаки, по виду похожие на бродяжек, но все же ревностно стерегущие пределы жалких лачуг своих хозяев. Именно они, мелкие голодные щенки да озлобленные суки, выбежав с подветренной стороны каждого очага, встретили прибывших гостей оголтелым лаем.

Абай и Дармен, миновав унылую гряду холмов, добрались сюда лишь к вечеру сумрачного дня. Осеннее солнце, еле видное за пеленой облаков, уже клонилось к закату. Был час вечерней дойки, и хозяйки очагов, чьи надежды только и были связаны с молоком от одной-двух коров на семью, возились теперь со скотом, спрятавшись от ветра позади своих юрт.

Всадники не стали спрашивать у них дорогу, Дармен точно знал нужный дом, который нельзя было спутать ни с каким иным – в прошлом году на старый туырлык[1] хозяева нашили заплатку из красного войлока. И хотя теперь она изрядно выцвела, став грязно-бурой, Дармен, много раз гостивший в этом

[1] *Туырлык* – нижний полог юрты.

доме, узнал заплатку по ее причудливой форме. Здесь, у заштопанной юрты, путники и спешились.

Ни одна живая душа не вышла им навстречу, словно никто и не слышал стука копыт. Вблизи юрты паслись два стреноженных коня. Абай с облегчением узнал их. Один был точно – пестроногий скакун Ербола, другой – серо-чубарый, потрепанный, походил на некогда пятнистого красавца в яблоках, принадлежащего Базаралы. Подумав о своих друзьях, о совсем скорой встрече, Абай, совершенно утомленный дневным переходом, значительно приободрился.

Никто не подал голоса из этого темного дома, что сразу насторожило приехавших. Ведь слышно же, куда направились гости, и кто-то должен был выйти навстречу, едва раздался лай собак, звон стремян… Неужели случилось что-то? Или же в юрте, несмотря на спутанных подле коней, никого не было? Лишь переступив порог дома, Абай и Дармен узнали, в чем тут дело.

Слева от входа лежал старик с белой, по всей длине спутанной бородой. Он был еще жив, но уже отходил – здесь, на одеяле, расстеленном прямо на земле, в окружении молчаливых, пристально смотревших на него людей. Это были Базаралы, Ербол и Жаныл, хозяйка очага. Узнав вошедших, мужчины встрепенулись, вышли из оцепенения, в котором, по-видимому, пребывали долго, сидя у смертного одра. Они уступили место вошедшим, тихой скороговоркой пробормотав слова приветствия в ответ на салем Абая и Дармена.

Байбише Жаныл была настолько поражена горем, что даже не шелохнулась, по-прежнему обливаясь слезами, и лишь неопределенный знак, который больной подал ей, чуть шевельнув рукой, заставил ее нагнуться над постелью. Близко склонившись, почти прильнув к его лицу, она несколько раз громко повторила:

– Абай, Абай приехал, Абай и Дармен!

Больной с трудом повернул голову, язык плохо повиновался ему, он прошептал, еле шевеля губами:

– Кто приехал? Дармен…

Базаралы оборотился к джигиту:

– Слышишь – тебя зовет! Подойди, он хочет поговорить с тобой.

Дармен быстро снял верхнюю одежду и присел на корточки, склонившись над постелью. Абай сбросил на землю тымак и также приблизился к изголовью больного, сел, нагнулся, опираясь локтем на колено. Голова к голове, оба вновь прибывших склонились над умирающим. Ербол подбросил сухого кизяка поверх тлеющих в очаге угольев, принялся раздувать огонь.

Теперь, в свете ожившего огня, Абай хорошо видел лицо больного, с трудом узнавая черты своего старого друга Даркембая. Его крупный нос заострился и вытянулся, густые кустистые брови пали на глаза, затенив их, зрачки едва блестели где-то в глубине глазных впадин…

Ярко разгоревшийся огонь позволил и Даркембаю рассмотреть своих печальных гостей, чьи лица были столь близко… Побежденный болезнью, старик все еще мог улыбаться, хотя заметить его улыбку было и нелегко.

– Ты ли это… Абай… – произнес он тихим голосом, едва заметно вздрагивая веками, будто бы подзывая друга к себе.

Давно не плакал Абай, но теперь уже не мог сдержать слез: они так и закапали на лицо умирающего. Абай прижался лбом к его бороде, вдохнув теплый дух умирающего человека, стараясь навсегда запомнить его, и Даркембай тоже целовал его голову, вдыхал запах друга, будто желая навечно унести его с собой.

– Славный мой, дорогой мой старик! – скорбел в печали Абай, то ли взывая к умирающему, то ли говоря сам с собой. Всхлипывая, прерывисто дыша, он предавался горю, и ему казалось, что вся его многолетняя дружба с этим человеком и все его чувства к нему теперь собраны в этой широкой груди – и открылись в час смерти.

Дармен также заплакал. Жаныл подняла кверху лицо, шумно втянула воздух, не прекращая сотрясаться от немых рыданий. В свете пламени очага, горевшего в стороне, заблестели глаза Ербола, из его груди вырвался мучительный стон. Базаралы застыл у стены, низко опустив голову, было видно, как четко обозначились три глубокие складки меж его бровей, будто некий представший в отблесках огня знак печали.

Больной зашевелился, казалось, он с огромным напряжением стремится собрать все свои силы, напрягает разум, стараясь удержать уже уходящую жизнь. Глазами он отыскал Дармена, и тот понял, что Даркембай снова зовет его. Молодой джигит низко склонился над ним, приблизившись, насколько возможно, к лицу старика. Чуть поведя глазами в сторону Абая, умирающий вновь обратил свой рассеянный взгляд на Дармена и слабым шепотом, но все же внятно произнося слова, заговорил.

– Абай… – начал он и умолк ненадолго, затем, собравшись со всеми оставшимися силами, завершил: – отдал тебе долг…

Он сказал это очень тихо, обращаясь к Дармену, но в доме стояло такое безмолвие, что все услышали и тотчас поняли, о чем напомнил умирающий старик.

…Это случилось перед самым отъездом Кунанбая в Мекку. Он остановился в доме свата Тыныбека в Семипалатинске, собираясь в дальнюю дорогу, и в последнюю минуту Даркембай привел к нему мальчика десяти-одиннадцати лет. Это и был Дармен, племянник казненного Кодара. Показав его Кунанбаю, Даркембай сказал, что богатый бай в долгу перед сиротой. Увидев Дармена – слабого, беспомощного, с грязной повязкой наискось через все лицо, поскольку в те дни у него гноился глаз, Абай сказал: «Этот долг я возьму на себя». Только настоящий мужчина, исполненный истинного благородства, мог взять на себя кун, долг неправедно поступившего отца.

Лежа здесь при смерти, Даркембай неспроста вспомнил об этом. Базаралы и Ербол согласно кивнули, хорошо понимая, что́ он хочет сказать своими словами…

Каким был Дармен, когда он впервые предстал перед глазами Абая, и каким он стал теперь! Пусть он и не сын ему, но не менее дорог Абаю Дармен, чем родные сыновья. «Родился от меня» – это еще означает не все, Дармен был Абаю ближе некоторых его сыновей. Не повторяет ли он Абая во многих своих проявлениях так, будто он и есть его подлинный сын?

Подобные мысли, каких Даркембай был уже не в силах выразить, и пришли на ум его друзьям – Абаю, Ерболу, Базаралы…

Дармен и Абай никогда не говорили ни о чем подобном. Услышав слова Даркембая, они невольно переглянулись. Именно сейчас оба поняли, насколько истинным было то, что разумел умирающий. Сидя над ним и плача, низко склоняя голову, кивая, Дармен дал понять, что понимает слова старика. Вдруг он почувствовал, что Даркембай собирается сказать ему что-то еще. Дармен ближе прильнул к нему, едва не касаясь лбом его бороды, глядя на него умоляющими глазами, будто без слов вопрошая: «Скажи еще! Дай свои последние наставления!»

Все видели, как прощаются эти близкие, родные люди, и тоже прощались с умирающим, окружив постель в его маленьком доме… Жаныл, будто разговаривая сама с собой, все не переставала шептать, словно чувствуя, что старик, давно уже лежавший молча, хочет напоследок сказать что-то еще, сказать кому-то… Чем больше она думала об этом, тем чаще повторяла шепотом:

– Где же ходит Рахим? Что-то он не идет, Рахим, сынок наш, что-то он запаздывает…

И тут, тихо поздоровавшись с Абаем и Дарменом, в юрту вошел долгожданный Рахим.

На вид ему было лет четырнадцать-пятнадцать, был он рослым, светлолицым, худощавым. Увидев его, Жаныл молча подала знак рукой, что надобно снять тымак, тот так и сделал, подошел к постели отца и сел возле нее. Он вглядывался в лицо отца, рассматривал его тонкие губы, уже потерявшие цвет, крепко сжатые зубы, будто бы Даркембай только что глотнул горькой отравы…

Глядя снизу на своего единственного сына, чье юное лицо склонилось над ним рядом с лицом Дармена, Даркембай вдруг сильно разволновался от нахлынувших на него чувств. Сморщившись и закусив губы, весь сжавшись от горя, он издал громкий тоскливый стон.

Абай видел, понимал, ясно читал по его лицу: всю горечь этого бренного мира, всю его печаль и тоску он готовится унести в смертный миг с собой!

Абай угадал сокровенные мысли умирающего друга…

«Одиноким, неокрепшим сиротой остается в этом мире мой сын. Не на кого ему опереться, нет у него ни скота нажитого, ни знания, как добиться достатка. На кого я оставлю моего малого, единственного моего? Что же будет с ним?..»

С горечью думал Абай о своем уходящем друге: неужто так и покинет он этот мир, не высказав своего последнего желания? За что же ему такая тяжелая кара – уйти без слов своего отцовского завещания? Или слова эти зреют в нем, но не в силах он их высказать?

Дармен в душе спрашивал Даркембая о том же – что ты еще скажешь, ага? – он сидел над ним, скорчившись, не отрывая взгляда от его губ, и ему все казалось, что Даркембай дает ему некий знак глазами, будто взывая: «Слушай, слушай!»

Лежа в долгом молчании, Даркембай медленно переводил взгляд то на Дармена, то на Рахима… Вдруг его губы зашевелились, послышался еле внятный шепот. Дармен согнулся еще ниже, ухом припав ко рту умирающего.

– Судьбу моего сына вручаю тебе… Тоже возьми на себя, долгом своим… Выведи Рахима в люди… Как Абай – тебя…

Сказав так, он остановил глаза на Абае, и тот нагнулся к нему, как и Дармен. Шепот больного теперь был совсем тихим, слова отрывистые, в целом сказанное – коротким.

– Отдай Рахима учиться…

Теперь Даркембай замолчал надолго. Видимо, это и были его последние в жизни слова: он как-то сразу обмяк, застыл, плотно закрыв глаза…

Абай осторожно потрогал его запястье, ощутив слабое биение пульса больного. Все напряженно всматривались в лицо Даркембая, стараясь понять, что сейчас происходит с ним – то ли ослаб, потратив все силы на последние слова, то ли действительно отходит.

– Пусть отдохнет. С трудом ему дались эти слова, – сказал Базаралы.

– Он все ждал вас, все спрашивал, где Абай и Дармен? Теперь успокоился, дождался, – сказал Ербол.

– Да, кажется, задремал малость… Ведь он уснул, да? – спросил Дармен с робкой надеждой.

Он был молод, ни разу не видел смерти, не знал, что в таком состоянии у больного не бывает сна – он может лишь забыться, потерять сознание, находясь между жизнью и небытием. Старшие это знали, никто из них не ответил Дармену, лишь Рахим, еще более юный, часто закивал: дескать, да, отец сейчас просто уснул…

Остальные не разделяли этой надежды, знали: теперь надо оставить больного в покое, ждать, когда произойдет неизбежное. Абай молча показал рукою Дармену, чтобы тот оставался на месте, сам же отошел от постели, пересел на тор. Базаралы и Ербол также сели возле него. Напряжение последних часов оставило их. В нескольких словах они обсудили, что будут делать дальше. Затем Базаралы спросил Абая, тяжела ли, по нынешней погоде, была дорога сюда. Абай рассказал, как они выехали утром с Корыка, что ехали медленным шагом весь этот хмурый осенний день. Вскоре перевел разговор на то, что волновало его больше всего: расспрашивал о том, как и когда заболел Даркембай. Базаралы, Ербол и Жаныл поведали ему об этом по очереди:

– Сегодня четвертый день, как он слег.

– Я навестил его позавчера. Он был уже очень плох, все время стонал от боли.

– Как слег, так и не вставал. А я сразу так и не поняла, что началось это… – сказала Жаныл.

Она поставила чайник на очаг. Ее рассказ был долгим, обстоятельным, несмотря на то, что последние дни сильно измучили эту пожилую женщину… Усталая, с исхудавшим лицом, она все же говорила весьма ясно, точно передавая все, что случилось с ее мужем:

– Простудился Даркембай. Его все беспокоил один стог сена, что остался в низине, вы ее знаете, она вся заросла караганником. Этот стог надо было перевезти во двор, вот и поехали они за ним вместе с Рахимом, взяли у соседей арбу… А ведь уже целую неделю, как стоит этот холод, дует сильный ветер. Вот, поехали, а с утра он надел тонкий чекмень, вся грудь нараспашку. К обеду еще и снег пошел, ветер поземку погнал. Но он же не остановится, пока не закончит дело! До тех пор, пока не перетаскал и не сложил все сено, не успокоился, весь день на ветру и работал… Он ведь всегда тяжело трудился, а одежки теплой нет, да и еда не очень. Вот и ослаб телом. Все из-за этого. Домой вернулся уже затемно, сказал: сильно продрог, скверно мне, как бы этот день меня не доконал! Так и вышло. Утром начал кашлять, бросило в жар, потом и вовсе потерял покой… Что из этого вышло, видите!

– Понятно, – коротко заметил Базаралы, сам повидавший в жизни немало напастей. – Твои слова все объясняют.

Он испытал на своем веку и холод, и голод. Его рассуждения о несчастье, случившемся с Даркембаем, были полны горечи:

– Жаныл, твой муж побывал во многих переплетах, все знают… Да, скажу вам, человек не из железа сделан! Как бы ни был духом силен, не спасет его от холода старый чекмень. Каким бы ни был ты мужественным и стойким, борясь в жизни за своих близких, – но что толку, если ты останешься безоружным в дикой степи, пешим в окружении волков? А ведь старость, слабость, голод и нужда, безысходность нищего существования – что это такое, как не стая волков?

– Верно, верно, – говорили и Абай, и Ербол, слушая Базаралы, подтверждая, что нельзя сказать более уместных слов о бедняке Даркембае, недавно разменявшем восьмой десяток.

Ему, это чувствовалось, с каждым часом становилось все хуже. В середине ночи больной начал тихо стонать. Даже в беспамятстве он продолжал мучиться, не чувствуя и не осознавая того, – болезнь тяжело, неумолимо навалилась на него, лежавшего в полном забытьи.

И вдруг все услышали это дыхание… Хриплое, булькающее, оно было очень плохим признаком, самым последним знаком беды. Абай, Базаралы, Ербол, по очереди подойдя к больному, прислушались, затем, вернувшись на тор, заговорили.

Каждый из них знал, что это тот самый хрип, хорошо им известный, поскольку все они повидали на своем веку немало человеческих смертей… Хрип становился все громче и страшней, бульканье превратилось в густое клокотание, так продолжалось как раз столько времени, сколько варится мясо в котле… К рассвету Даркембай умер.

…Хлопоты о похоронах уважаемого человека, старого ага Даркембая, начались с раннего утра, и уже пополудни многочисленные жители жатака сопровождали покойника на кладбище. Оно располагалось на расстоянии одного выгона овец от Молалысу, под пригорком, было довольно большим, там хоронили умерших только из этого жатака. Снеся на мазар покойного, мужчины с подобающими почестями предали Даркембая земле.

Всю тяжесть похорон взвалили на себя Абай, Базаралы, Ербол, Дармен. Они были в самой гуще дел, приняли участие в подготовке обряда. Абай послал человека в близкий аул Акылбая, чтобы тот привел оттуда людей на похороны, а также пригнал корову и верблюдицу – приношение в дом умершего.

Кроме того, оттуда же были пригнаны овцы и жеребенок, отданы в руки Жаныл на забой для похоронной трапезы. Ербол, чьи дела в последнее время начали поправляться, также передал корову как приношение в дом и двух баранов на забой. Базаралы также оказал посильную помощь…

Вплоть до семидневки пробыли Абай и его друзья в ауле жатаков, всячески утешая скорбевших, плакавших близких, осо-

бенно вдову и осиротевшего сына, Жаныл и Рахима. Иногда Абай и Базаралы уезжали ночевать в ближайший аул Ербола, что стоял за пригорком в Аккудуке. В любом случае со своим старым другом, с Базаралы, Абай был неразлучен: раз вечером уехал в его аул, расположенный дальше дома Ербола, и заночевал там. Каждый день Абай приходил в дом Жаныл и проводил немало времени с людьми, что приходили утешить близких покойного.

Дармен же никуда не уезжал, дни и ночи он проводил возле Жаныл и Рахима. Абай и хотел бы взять Дармена, которого любил, как сына, в аулы своих друзей, однако не только не сделал этого, но и сам отчитал бы его, если Дармен вздумал покинуть своих близких в эти дни. Ведь Дармен был покойному как любимый младший брат и, конечно, не должен был оставлять его скорбящих родственников ни на минуту.

Было еще одно дело, о котором Абай напомнил Дармену и строго-настрого наказал исполнить. О нем говорил Даркембай перед самой смертью.

В один из этих трудных дней Абай и Дармен, встретившись вдали от людей, коротко обсудили меж собой слова умирающего, которые можно было назвать его завещанием. Абай сказал:

– Была у Даке к нам с тобой просьба, его мечта, высказанная им с большой печалью. Он ведь возложил на нас обязанность, доверил нам судьбу своего мальчика. Он, конечно, не только о том беспокоился, чтобы Рахим не умер с голоду без отца. Даркембай хотел, чтобы мы помогли ему выбиться в люди. Ты ведь знаешь, Дармен, что есть у мальчика тяга к знаниям, да и с начальным мусульманским образованием у него не так плохо. Пусть он и далее продолжит учебу, поедет в город. Поговори об этом с Жаныл и с самим Рахимом. Обязательно что-нибудь решите по существу, и непременно – до нашего отъезда.

Теперь вечерами, когда в доме не было скорбящих гостей, или по утрам, в часы, свободные от намаза, Дармен заводил

разговор с женге Жаныл и юным джигитом, увещевая их обдумать и принять предложение Абая… Кое-что было весьма трудным и для Жаныл, и для Рахима: он был словно связан путами своего собственного очага, не мог просто так расстаться с матерью.

Даркембай умер. Если и Рахим покинет ее, то Жаныл останется одна-одинешенька, безо всякой помощи и опоры. Разве когда-либо было такое, чтобы женщина справилась с хозяйством, взвалив на себя всю заботу по дому? Что станет с нею, если Рахим уедет в город?

Дармену вдруг пришло решение: а не взять ли Жаныл к себе? Он живет теперь вдвоем с Макен, ее родители далеко… Услышав такое, Жаныл призадумалась: ей пришлись по сердцу эти слова, ведь она очень любила Макен, словно родную дочь, или, точнее, – невестку, просто души в ней не чаяла! Дармен же был ей деверем, близким родственником, она и знала его хорошо по жизни, но, как уже давно поняла, скучала по Макен не меньше, чем по нему, когда не могла месяц-другой видеться с молодоженами. Макен нравилась Жаныл своей учтивостью, а ее характер она называла «мягким, как шелк…» К тому же, она видела, что и сама молодая женщина отвечает Жаныл столь же теплыми родственными чувствами.

– Чтобы Рахим мог учиться, уехать в город, вам нужно быть возле Макен, – так сказал Дармен, и Жаныл обрадовалась его словам, благодаря в душе Бога…

Она ответила безоговорочным согласием, добавив, что и сама думала об этом. Но оставалось одно… Дух Даркембая, долг ее перед покойным мужем! Разве может быть такое, чтобы до сорока дней или до года после его смерти исчез его очаг? Как отнесутся к этому люди, жатаки, которые уважали старика, чтили его за родного отца, которого любили дети?

Нет, только не сейчас, когда Даркембая только что предали земле! Не может Жаныл уйти жить в семью Дармена, забрать с

собой очаг Даркембая, так, чтобы здесь, в жатаке, не осталось от него и следа…

Итак, она должна жить пока что здесь, хотя бы до будущей весны и, значит, Рахим тоже должен быть с нею, по крайней мере, где-то поблизости, но уж никак не в городе.

Проведя несколько дней в обсуждении всех сторон этого дела, Жаныл, Дармен и Рахим так и не смогли ничего толком решить… Лишь после семидневных поминок по Даркембаю, Абай, присоединившийся к их разговору, предложил новый план, который был наконец всеми одобрен как единственно возможный выход. Конечно же, Жаныл не должна уезжать отсюда ни сейчас, ни зимой, и вдова рассудила мудро, чтя память покойного. Однако к концу осени, подготовив хозяйство к холодам, после переезда на зимовье, Рахим может оставить мать, отправившись к Дармену, в аул Абая на Акшокы. Там он и начнет заниматься и мусульманской, и русской грамотой.

На следующий же год дорога к образованию откроется перед ним во всей своей широте: Рахим даже сам выберет, какой грамоте ему дальше учиться в городе – мусульманской или русской. Когда Жаныл будет жить в семье Дармена, Рахим, свободный от отцовского дома, сможет уехать в город, однако нынешней зимой, живя в ауле Абая, он будет приезжать к матери раз в месяц, на несколько дней. Таким образом, наказ Даркембая, высказанный им на смертном одре, будет в точности исполнен.

После поминок, когда Абай и Дармен уже собирались в дорогу, Базаралы отвел Абая подальше от аула в степь и поведал ему о своих нерадостных делах. В этом году Базаралы вновь заболел: его давнишний куян – ревматизм одолевал с новой силой. То наступая, то отпуская, болезнь крепко связывала его. Теперь, не довольствуясь локтями и коленями, куян отзывается и на сердце.

– Так прихватывало, что даже в обморок падал! – заключил Базаралы.

Абай и сам видел, что за последнее время его друг не только исхудал, но и заметно постарел. Его тело значительно ослабло с виду, лицо было бледным. Абай с тревогой спрашивал его о здоровье, но Базаралы отвечал скупо, так ничего толком и не сказал, не желая распространяться об этом ни у смертного одра Даркембая, ни во время его похорон.

– Всем известно, – говорил он, стоя вдвоем с Абаем в степи, – что человек моих лет прежде всего рассказывает друзьям и близким о своем здоровье. Конечно, что бы там ни было, не нужно кричать об этом громогласно, но от тебя ничего скрывать не хочу. Поэтому и говорю здесь тебе: да, мой друг, силы покидают меня!

Таких людей, как Базаралы, сравнивают со львом или барсом – подобно этим могучим зверям, в уединении зализывающим свои раны, настоящие мужчины не обнажают прилюдно горести свои и печали. Кроме того, Абай знал, что у Базаралы немало врагов, как дальних, так и ближних. Никто из этих ненавистников, желающих ему погибели, не должен знать, что он ослабел, дабы при случае не могли безнаказанно выказать ему пренебрежение, даже открыто облить его презрением, – только потому, что он старый, больной и беспомощный.

Абай чувствовал, что Базаралы не все ему сказал, и напрямую спросил друга, чего он недоговаривает? Оказалось, и на самом деле у того было, что сказать еще…

История вкратце была такова. Шубар, Азимбай и другие иргизбаевские злопыхатели затеяли против него новое клеветническое дело. Они не называли впрямую имени Базаралы, но насели с ложными обвинениями на его младшего брата и соседа Абди, обвиняя его ни много ни мало – в конокрадстве. Этим летом якобы пропал у Азимбая то ли скакун, то ли ездовая кобыла. Его люди объехали окрестные аулы, без толку расспрашивали людей…

– И вдруг он обвиняет меня! – сказал Абаю Базаралы. – Мол, коня моего украл Базаралы, причем не собственноручно, а на-

учил своего брата Абди. Такежан и Азимбай посылают ко мне Шубара, тот наседает. Говорит: или отдай нам в руки Абди как вора, или же сам головой ответишь за него.

Базаралы знал, что все это клевета, и Абди не вор. Старый и больной, он уже не был силен, как прежде, поэтому не мог дать подобающего отпора врагу. Окруженный со всех сторон, он все же не признал Абди вором.

– Скажи, Абай, есть ли хоть какой-то предел их наглому вероломству? – возмущенно спросил он, и сам же ответил: – Нет предела! Но я не сплоховал, хотя враги окружили меня. Я отбросил их от себя: мол, считаю брата невиновным, умру, но буду стоять на этом. Если же Такежан, достигший возраста Пророка, уверен, что Абди вор, и сам готов отвечать за это головой, то пусть убивает и Абди, и меня!

Такие слова были полностью в духе Базаралы – решение столь же мудрое, сколь и смелое. Сейчас же Базаралы узнал, что дней десять назад аксакалы, карасакалы иргизбаев во главе с Азимбаем, Шубаром, собравшись на склоне Чингиза, в ауле Такежана, договорились сжечь Базаралы вместе с домочадцами, а если кто из сородичей посмеет заступиться, то и всех жигитеков уничтожить.

Среди людей, что держали этот совет, был «проныра Абдильда», как все его называли – бий из жигитеков, от коего исходили многие напасти. Этот Абдильда недавно потерял много скота, пережил зимний джут и сильно пострадал. Ему подарили коня, вдоволь попотчевали на трапезе, купив тем самым его поддержку. Он вечно клянчил, повсюду кричал – «обеднел я!», не брезговал поступиться своею честью, был известным плутом и проходимцем.

Говоря обо всем этом, Базаралы глубоко досадовал. Абаю казалось, что теперь вся жизнь, прожитая его другом, кажется ему какой-то горькой насмешкой.

– И хочется помереть, да не отпускают в могилу! – сказал Базаралы и вдруг хитро подмигнул Абаю. – Завидуют, что если и умру, то останусь безнаказанным, всех перехитрю. Вот и хотят

напоследок хоть колючего чингиля мне в могилу бросить. А я все живу, и как бельмо им на глазу, будто бы говоря: и не помер, и не покорился!

Сказав так, Базаралы неожиданно захохотал – так развеселила его самого эта гордая выходка. Промокнув рукавом слезы, выступившие от этого смеха, он подытожил свой долгий рассказ:

– Ты всю неделю присматриваешься ко мне, не перестаешь спрашивать о здоровье. А я скрывал, не мог рассказать при людях. Даже бывало, когда рядом с тобой лежали, я просыпался в ночи, сердце подскакивало к горлу, но и тогда виду не подал. Теперь же говорю тебе, и только тебе одному! Вот чего хочу: пока мои глаза не закрылись, пока не взяла меня земля, пусть мои враги знают, что не успокоился, не покорился, не сломался Базаралы…

Попрощавшись с ним и тронувшись в путь, Абай все думал о своем друге, и эти тревожные думы были как те серые, тяжелые облака в осеннем небе, что он видел перед глазами, покачиваясь в седле.

2

В ту осень долго не было снега, поэтому и холод казался черным, как сама мерзлая земля на склонах холмов Акшокы. Измученные пронизывающим ветром, люди из аула Абая перевезли свой скарб в теплые дома, где теперь через день топились печи.

Дармен и Макен переехали в отдельный уютный дом, в том же обширном дворе, где обосновался Баймагамбет. Абай, Магаш и Какитай жили вместе, в зимнем доме напротив. Абай усердно трудился, обложившись книгами, перелистывая свои бумаги. Не отставали и джигиты: Магаш с Какитаем с утра до вечера корпели над книгами в угловой комнате.

Читали они в основном русские романы, из тех, что попроще, – эти нехитрые книги были хорошо понятны двум молодым

казахам и настолько захватывали их воображение, что они обстоятельно и многократно пересказывали их друг другу в долгих осенних сумерках.

Дармен отчего-то пристрастился к уединению в последние дни... Сидя в жарко натопленной комнате, он подолгу играл на домбре, с бурной страстью ударяя по струнам. Вдруг начинал петь, громко и горестно, то внезапно обрывая, то надолго затягивая песни собственного сочинения, особенно те, что написал совсем недавно.

Айгерим каждый день звала к себе юную Макен, и обе немедленно погружались в большую работу... Это была вышивка по разноцветному дорогому бархату, а ее будущие изящные орнаменты искусные рукодельницы придумали и нарисовали сами, взяв в руки бумагу и карандаш.

Макен оказалась замечательной мастерицей по вышивке мелких узоров. Эти навыки смышленая дочь переняла от своей матери, и не только вышивку, но умение кроить самые разные одежды. Айгерим часто хвалила ее работу, как и Магаш, Какитай, Алмагамбет и другие, кто заходил в комнату, рассматривая особый раскрой тымаков, тончайшие рисунки на кимешеках.

Любовался работой женщин и Абай, подолгу рассматривал орнаменты, как рисованные на бумаге, мастерски вырезанные в виде маленьких выкроек, так и уже вышитые – все эти «бараньи рога», «птичьи шеи», «гусиные лапки», «ласточкины крылышки»...[1]

Не на шутку увлекшись, Абай уже и сам принимал участие в подборе цветных ниток, с самым серьезным видом расспрашивая у Айгерим, где и как правильно расположить тот или иной рисунок.

Постепенно искусные мастерицы увлекли своей кропотливой работой всех взрослых и детей, которым часто было нечего делать на зимовье.

---

[1] *«Қошқар мүйіздерін», «құсмойын», «қазтабан», «қарлығаш қанатшасын»* – традиционные казахские орнаменты.

Значительный запас бархата и сукна, шелка и плюша, разноцветных нитей, что все лето наказывала покупать в городе Айгерим, теперь был пущен в дело. К концу зимы Айгерим и Макен решили закончить одну многотрудную работу – полностью вышить большой настенный ковер – тускииз. Так, в кропотливом, увлекательном занятии и проходили дни этих трудолюбивых женщин, да и всех остальных аульных жителей, зимующих в двух теплых дворах на Акшокы.

Для Абая эта осень также была порой необычайного вдохновения, плодотворного творческого труда. Он работал всегда в уединении, часто ночью, порой по утрам. Так сложилось, что последнее время первым читателем его стихов стала Макен. Бумаги, исписанные рукой Абая, сначала попадали в руки Айгерим. Она брала их своими тонкими ровными пальцами, тотчас несла в комнату к Макен и просила прочитать стихи вслух, что уже стало их ежедневной привычкой. Макен, еще несколько лет назад наученная грамоте, не раз читала, заучивала и переписывала стихотворения Абая вместе с Магрипой, когда они обе были незамужними девушками. Вот и сейчас Макен каждое утро с нетерпением ждала, когда Айгерим принесет ей новые творения Абая.

Почерк Абая был крупный, красивый, разборчивый, строки стихов он всегда записывал простым карандашом. Макен брала из рук Айгерим никем еще не читанные стихи и чувствовала такое радостное возбуждение, что пальцы ее заметно дрожали. Для юной Макен эти листы казались трепетными утренними посланиями именно ей – от старшего ага, словно бы от отца. Ее смуглое лицо прояснялось, щеки заливал румянец…

Все это радостное волнение, разумеется, видела Айгерим, когда передавала ей листки. Она смотрела на Макен со смешенным чувством гордости и светлой зависти. Встрепенувшись, слегка подрагивая тонкими бровями, Макен тотчас с жадностью устремляла на бумагу свои красивые глаза. При прямом взгляде на ее лицо они порой выглядели небольшими, заметна

становилась их продолговатая форма, что ничуть не умаляло их красоты. В глазах Макен светились ум и теплота, умиротворение и особая притягательность, порой они жарко горели и казались узкими окошками в ее огромный душевный мир, полный света и огня.

Глядя, как молодая невестка волнуется, читая стихи Абая, которого она сама любила всей душой, Айгерим испытывала к ней нежное чувство материнской ласки. Стихи Абая удивительным образом сближали двух женщин – юную красавицу Макен и все еще молодую, не растерявшую былой притягательности Айгерим. Это была ранее невиданная, особенно волнующая, теплая пора для них обеих – именно потому, что Абай каждый день писал стихи, Айгерим приносила их Макен, а та читала ей вслух.

Все это было несказанной радостью, отдохновением от ежедневных трудов этих двух весьма рассудительных женщин, когда однообразие ручной работы и сопутствующих ей простых мыслей, измерений и расчетов кройки, шитья и вышивки внезапно прерывалось вспышкой ни с чем не сравнимых чувств, порожденных вдохновением поэта…

Как-то раз Айгерим принесла из комнаты Абая два листка, на которых было записано одно большое стихотворение, и Макен, как обычно, тотчас принялась читать своим красивым, мягким голосом. Айгерим сидела повыше Макен, на своем обычном месте. Макен прочитала стихи на одном дыхании… Едва огласив их, она сразу стала перечитывать их про себя, тут и Айгерим попросила повторить самое начало стихотворения…

Не хватайся за все сгоряча.
Дарованьем своим не гордись.
И подобием кирпича
В зданье жизни самой ложись[1]

[1] Перевод Я. Смелякова.

Услышав эти строки во второй раз, Айгерим вдруг тихо засмеялась своим красивым голосом, звучащим, как падающее серебро шолпы.

– Похоже, что эти слова про нас с тобой! Он ведь не раз говорил, что не должен разумный, наделенный способностями человек сидеть без труда. Мол, будь ты хоть королевой, хоть принцессой, пропадешь, захиреешь в безделье, – сказала она и, помолчав, добавила: – Только вот не пойму, при чем тут кирпич? И чем он, этот кирпич, похож на нас с тобой?

И они принялись наперебой рассуждать по поводу и других прочитанных стихов. В одном из них, им обеим показалось, речь идет об Айгерим – некой зрелой женщине, наделенной крепким характером, к тому же, красавице. Пусть женщина, о которой говорится в стихах, и выделяется среди других своим острым умом, но стихи эти могли выглядеть как назидание ей… С другой стороны, они заставляют задуматься и некую другую молодую женщину, такую, как Макен… Ну совершенно не ясно, для кого из них они предназначены!

Айгерим попросила еще раз прочитать конец стихотворения, и Макен, слегка улыбаясь уголками губ, вновь прочла вслух два последних четверостишия…

Хвастовство – это слабость тех,
Что хотят выше прочих встать,
Возбуждающий зависть всех
Может скоро несчастным стать.
Надо смело вперед шагать
По дороге трудной своей.
Никогда не могут устать
Обучающие детей[1]

Макен читала, так почтительно замирая в конце каждой строки, так явно любуясь только что прозвучавшими словами,

[1] Перевод Я. Смелякова.

что Айгерим расчувствовалась: щеки ее запылали румянцем, глаза заблестели слезами, но в конце она звонко рассмеялась, обнажив белоснежные зубы.

– А я и не заметила сразу! Точно: это написано про нас с тобой.

Макен кивнула в знак согласия, проговорила с робким почтением:

– Особенно последние строки, киши-апа! Здесь, я думаю, Абай-ага обращается к вам, а говорится о том, как вы стали моей наставницей и научили вязать узоры. Вот, послушайте: «*Никогда не могут устать обучающие детей!*»

Абай писал стихи, сидя за круглым столом, в уединении, в тиши, в ночную или предрассветную пору, когда весь аул спал, дом погружался в глубокую тишину… Ночью и на рассвете он лишь записывал, сами же стихи рождались при свете дня… А дни стояли пасмурные, лишь изредка проглядывало солнце, словно золотом осыпая холмы и степь, и так же, как солнечные лучи среди туч, вспыхивали в душе Абая новые строки.

Иные стихи были полны тяжелых дум о людях, о событиях, что происходили этой осенью. Никак не выходил из головы Базаралы… Неужто Азимбай и Шубар, другие его враги, что сговорились, поклялись разорить, изничтожить невинного, беззащитного человека, на самом деле исполнят свое намерение? Что говорил Базаралы перед самым отъездом из дома покойного Даркембая? Так стая волков смыкается, голова к голове, подняв свои оскаленные морды, воет, уставившись в небо, на разные голоса, еще пуще раззадориваясь собственным гамом, затем несется, словно черный смерч, налетает на лежбище кротких овец… Так и эти кровожадные люди, словно из одного помета с волками: присмотрели издали добычу, теперь распаляют друг друга. В помощь себе призывают таких же злобных ничтожеств, что и они, главное, чтобы всех было больше – кого подговорят, кого возьмут испугом, а продажного бия Абдильду, которого ни тем, ни другим не проймешь, просто купят с потрохами, честь

его и совесть обменяют на обильную трапезу – «круп коня да горб верблюда».

Думая обо всем этом, видя перед глазами стаю волков, застывшую, задрав воющие морды, с одной стороны, и честное, мудрое, немного грустное лицо Базаралы – с другой, Абай написал яростные, гневные строки…

У себя на дому
Собирается сброд,
Роют яму тому,
Кто не с ними идет.
В алчной злобе своей
Каждый клятву дает.
Ослабевших людей
Гибель верная ждет.
Зло не в силах пресечь,
Растерялся народ:
Как бы нам уберечь
От грабителей скот?[1]

Эта песня быстро разошлась по всей округе: сначала ее пел под домбру Дармен, затем переписали Магаш и Какитай, бумагу отдали мулле Кишкене, и тот разучивал стихи со своими учениками.

Другая знаменитая песня – о жадности, ловкачестве, лицемерии – также родилась в те дни на Акшокы. Это были строки, написанные мастером горькой иронии, язвительной насмешки, они шли от гневного сердца акына и молниеносно разлетелись среди людей…

Чтоб быть всегда на высоте, ты, страсти укротив,
Всем покажи, что прозорлив: не глуп и не спесив,
И будешь править без помех, коли обманешь всех,

[1] Перевод Я. Смелякова.

Что ты не мот, что за народ, что в меру бережлив.
Народ – дитя; ты у него кусок не вырывай,
А потихоньку, под шумок, тащи себе, хватай.
При людях делай гордый вид, что ты добычей сыт.
Как ворон глупый, на навоз при всех не налетай[1]

Все, кто знал положение дел в степи, хорошо понимали, что в этих стихах говорится о Такежане, разжившемся на взятках; о волостном главе Азимбае, который, по примеру отца, не в меру разбогател на воровстве, построил три зимовья; о Шубаре, который стремился во власть только ради мздоимства... Стихи Абая были словно тавро, которое он ставил на этих своих родственниках. Но, порожденные горькими думами над судьбами отдельных людей, стихи Абая обличали не только их самих, но и человеческие пороки в целом, поэтому и расходились они столь широко, даже среди тех, кто не знал ни Шубара, ни Азимбая, ни Такежана. Вот почему в ту вдохновенную пору, чуть ли не каждое новое стихотворение, рожденное в ауле на Акшокы, переписывалось и заучивалось, обретало мелодию, летело по всему краю под звуки домбры... И вся эта плодотворная, трудовая, но вместе с тем безмятежная жизнь была разрушена одним внезапным ударом.

Телеграмма пришла неожиданно, как-то в полдень, ее привез Баймагамбет, прискакав из города на двух сменных конях. Не заходя к себе домой, ни с кем не заговаривая, он быстро проследовал к Абаю. Все, кто был в доме, увидев тяжело дышащего, взволнованного гонца, зашли в комнату вслед за ним. Айгерим, Магаш, Какитай молча смотрели, как Баймагамбет опустился перед Абаем на корточки, еще не успев поздороваться, заговорить, вынул из-за пазухи лист бумаги размером с ладонь и протянул Абаю. Послание было из Алматы.

– Тилиграмм от Абиша! – тревожным голосом сообщил Баймагамбет.

---

[1] Перевод З. Кедриной.

Кто-то спросил озабоченно:

– От него самого? Что он пишет?

Абай медленно прочитал длинную телеграмму и, еще не полностью уяснив ее суть, подозвал к себе Магаша и Какитая, протянул им листок. Рукав его широкой рубашки мелко дрожал… Абай прикрыл глаза и, словно еще раз прочитав сообщение про себя, только теперь понял его жуткий смысл. Когда он вновь открыл глаза, красные, расширенные от ужаса, – представилось, что они сейчас зальются кровью..

Все видели, как побледнело его лицо. Он так глубоко погрузился в ужас, что, казалось, забыл о том, что в комнате есть еще люди и надо бы им сказать, о чем эта страшная телеграмма…

Молчали и все вокруг, не в силах даже шелохнуться. Айгерим умоляюще посмотрела на Магавью, тот понял ее немую просьбу, заговорил:

– Телеграмму, видимо, продиктовал сам Абиш. Два месяца он болел, сейчас его кладут в лазарет. Жену, Магыш, отправил с детьми домой. Меня просит побыстрее приехать в Алматы.

Все, кто сидел в комнате, давно уже знали о слабом здоровье Абиша, но эта внезапная весть смертельно перепугала близких ему людей. Были на то свои особые причины…

Когда Абиш приезжал на лето домой из Петербурга, его даже пытались уговорить бросить учебу, не возвращаться в северную столицу. И в последующие годы друзья и родные тревожились за него, хоть и молчали об этом, не зная толком, насколько серьезна его болезнь. Как-то раз, в компании Какитая и Магаша, он вскользь заметил, что жизнь его будет короткой. Джигиты не на шутку перепугались, принялись расспрашивать его, чуть ли не плача, но Абиш в ответ только улыбнулся, сказал, что просто неудачно пошутил…

Это было перед его женитьбой на Магрипе и отъездом в Алматы. Два последующих года Абдрахман регулярно писал домой письма, но нисколько не распространялся о своем здо-

ровье, заставив тем самым не то чтобы забыть, но как-то не очень-то и задумываться о его болезни…

И вот теперь эта ужасная телеграмма! Что значит – болеет уже два месяца? А врачи, ведь в большом городе они всегда рядом, почему не вылечили? Попал в лазарет, жену отправил домой – очень недобрый знак! Долго скрывал свою болезнь, и эта телеграмма может значить только одно… Ведь если бы его дела не были совершенно плохи, ужасны, стал бы он попусту пугать своих близких?

Вот о чем была эта телеграмма, ее скупые, холодные, как камень, слова! Вот почему все, кто был в комнате, пришли в столь неописуемый ужас… И сейчас, думая об этом, они плакали – мужчины молча, Айгерим и Макен навзрыд. Баймагамбет и Мука́ бережно взяли их обеих под локти и отвели в спальню.

– Ладно, хватит сидеть сложа руки! – сказал Абай, промокнув слезы платком. – Собирайтесь, готовьте все в дорогу. Коней в ауле нам не хватит, надо пригнать еще. Завтра же едем в город. Магаш, ты готовься особо, ибо сразу из Семипалатинска поедешь в Алматы. Какитай, Дармен, собирайтесь в дорогу и вы! Едем рано утром, все здесь сидящие.

Сказав так, Абай вдруг потерял свой решительный вид, не в силах произнести ни слова более. Он вновь расплакался, прикрыв ладонями лицо. Его молодые друзья тоже не выдержали, поспешно вышли из комнаты со слезами на глазах, понимая, что теперь надо оставить Абая наедине со своим горем.

Он и вправду не собирался пока ни с кем его делить. Такая душевная рана отца, скорбящего о молодой жизни сына, требовала полного, долгого одиночества…

Тем временем Магаш, Какитай, Мука́ занялись приготовлениями, коротко обсудив предстоящие действия. Сначала надо было пригнать в Акшокы лошадей для повозки, на которой Абай завтра отправится в город. Стойбище располагалось на пути в Семипалатинск, поэтому возвращаться им не имело смысла: отправят с джигитами пару вороных, а сами двинутся дальше, отобрав упитанных кобылиц и другую скотину для забоя и на

продажу в город – ведь на дорогу Магаша в Алматы понадобятся деньги…

В час, когда закатное солнце коснулось дальних холмов, Магаш, Какитай, Мука́ ускакали в сторону Семипалатинска.

Весь вечер и всю ночь Абай провел в одиночестве. Не находя покоя, он все ходил их угла в угол по комнате, и комната, которая прежде слышала в эти часы лишь живой шелест карандаша по бумаге, теперь оглашалась тяжелыми шагами пожилого, тучного человека да его горестными вздохами. Время от времени, будто вспомнив нечто ужасное, Абай содрогался всем телом, опустив голову, качая ею, шептал что-то невнятное, и порой, словно припев его глубокой печали, имя дорогого сына слетало с сухих губ, повторяемое на разные лады: «Ох, Абиш! Дорогой мой Абиштай!»

Ему казалось, что он сходит с ума, измученный собственными думами, истерзанный горем и печалью, а ночь все течет, и перед самым рассветом его душа будто раздваивается: одна половина скорбит о сыне, в другой, в жарком пламени мольбы и страха, рождаются стихи.

Не разум породил эти отчаянные строки, но сердце, пораженное смертельной тоской, огненный вихрь его воспаленной души кружил их, низвергая на свободу, и теперь они легли на бумагу, также пульсируя, словно кровь самого сердца…

Всемогущий аллах!
Обращаюсь с мольбой:
Не грози, не страши,
Обнадежь, успокой.

Умиленно молю…
Если б только ты знал,
Как он нужен отцу,
Мой любимец родной!

Ничего не хочу,
Не кричу, не молчу –
Лишь молитву одну
Потаенно шепчу[1]

Написав и отбросив карандаш, Абай не нашел успокоения: смутная, непрерывная тревога продолжала сжимать его взбудораженное сердце, словно захватив безжалостными железными пальцами смерти. Надо отринуть ее, сбросить эти острые когти и освободить собственное сердце… Что такое он написал сейчас? Уже и не помнит. Да и что еще осталось в душе разрываться, клокотать – не ведает. Одно было ясно вполне: эта мучительная ночь разделила его жизнь надвое, и то, что предстояло, начиналось сейчас, было гораздо более тяжелым, чем то, что было до сих пор…

Уже через два дня после телеграммы выступил в дорогу Магаш. Он взял с собой еще двоих: своего близкого друга Майкана и всеобщего аульного друга Утегельды, ровесника Абиша, горячо им любимого. Забрав с собой письма Абая, Какитая, Дармена, полные любви и горечи разлуки, Магаш со своими спутниками отправился в путь. Все остальные решили не покидать город – надолго расположились в Семипалатинске, ожидая вестей из Алматы.

3

Серая лошадь шла скорым шагом, глубокий снег, покрытый ломким, как стекло, настом, хрустел под ее подковами, скрипел под полозьями легких кошевых саней, что довольно быстро скользили по вечерним улицам головного жатака. Баймагамбет сидел на козлах, подергивая вожжи, Абай и Дармен откинулись на спинки задних сидений. Бороды и усы седоков были сплошь покрыты инеем, их ресницы слипались, замерзая… Нынешняя зима была весьма суровой.

[1] Перевод Я. Смелякова.

Переправившись со стороны Большого Семипалатинска по льду Иртыша, Абай и его спутники уже часа два кружили по слободке, побывав во многих домах по эту сторону реки. Первым делом остановились перед воротами Кумаша. Не сходя с саней, Абай послал Дармена узнать, нет ли для них писем. Увы, долгожданных вестей от Магаша еще не было.

Не теряя надежды, Абай распорядился править к другому дому и к третьему… Письма могли прийти в любой из казахских домов по эту сторону реки, где часто останавливался и сам Абай, и его дети, младшие братья, другие сородичи. Объехали и головной, и средний жатаки, зашли в один дальний дом за базаром… Ни по одному из адресов не было вестей.

От дома к дому усиливалась тревога Абая. Лицо его становилось все более мрачным, заснеженные брови, казалось, обвисают все ниже. Вот из ворот серого двухэтажного дома вышел Дармен, разводя пустыми руками. Абай вспомнил еще один дом, ниже слободки, возле лодочной переправы и торопливо, нервно двигая ладонями, объяснил Баймагамбету, как проехать туда.

И здесь ничего не было. Тогда Абай решил заехать в почтовую контору, сам зашел и спросил. Писем не оказалось. Абай попросил посмотреть среди залежавшейся, неотправленной почты: может быть, как-нибудь затерялось письмо. Худощавый пожилой чиновник с длинной бородой вздохнул и поправил на кончике носа очки. По выражению лица посетителя он понял, что тот ждет особого, чрезвычайно важного письма и постарался ответить как можно более ясно.

Внимательно просмотрев почту, включая и неотправленную, он сказал:

– Возможно, письма на ваше имя есть, но запаздывают из-за плохой погоды, иных причин быть не может. Возле Аягуза уже неделя, как сильные бураны. Дороги занесены, между пикетами Аркат и Аягуз прекратилось всякое сообщение. Скорее всего, письмо для вас задержалось в Аркате.

– И когда же ждать? – спросил Абай.

– Было сообщение, что вчера из Аягуза в нашу сторону тронулись почтовые подводы. Если не будет каких-то задержек, то ночью они должны появиться здесь. Если есть письмо, то получите его завтра утром.

Эта весть немного обнадежила Абая и его спутников. Покинув почту, они разыскали приземистый домишко с четырьмя окнами, расположенный где-то в середине слободки. В этом бедном, с плоской крышей, невзрачном строении квартировал Какитай.

Абай опять не стал выходить из саней, а попросил Дармена вызвать Какитая во двор. Когда тот показался, кутаясь на ходу в тулуп, Абай в двух словах поведал ему о том, что творится на почте, предупредив, что письмо может прийти сегодня ночью. Какитай с готовностью пообещал выполнить поручение – зайти рано утром на почту. Он ждал этого письма с не меньшим нетерпением. Какитай получит письмо и тотчас доставит его Абаю, в дом, где Абай-ага сегодня будет ночевать. Проехав еще несколько кварталов, сани остановились у двора Дамежан. Именно сюда Абай и был приглашен сегодня вечером.

Войдя в дом, он увидел, что в гостях у хозяйки сидит хорошо знакомый ему лодочник Сеил. Этот сдержанный, сообразительный человек давно нравился Абаю своими глубокими, надежными душевными свойствами. Подкупали в нем и хорошее знание городской жизни, и манера говорить скупо, но очень емко. Абай виделся с ним не только в его лодке, когда переплывал реку, но и частенько за дастарханом в гостях.

Сеил приходился ровесником Абаю, но при его появлении он вскочил с места, первым поздоровался и проводил гостя на тор, протянув ему в приветствии обе руки. Было ясно, что Сеил прекрасно умеет сочетать городскую вежливость с естественной степной учтивостью. Несмотря на удрученное состояние, Абай очень обрадовался этому человеку.

Сеил и Дамежан помогли Абаю раздеться, снять пояс, устроиться поудобнее на торе. Все это время на губах Абая держа-

лась приветливая дружеская улыбка. Он понимал, почему лодочник здесь: вот уже два года Дамежан и Сеил были сватами. Возможно, в этом сыграл роль сам Абай, когда-то представивший их друг другу.

Вскоре после кончины Жабикена Дамежан сосватала за их старшего сына Жумаша подросшую дочь Сеила, и нынешней осенью Жангайша переступила порог этого дома.

Всякий раз, когда Абай приезжал в город, Дамежан приглашала его в гости, что уже давно стало для нее добрым обыкновением: она всегда стремилась выразить ему свои чувства, как родственные, так и чисто дружеские, поддержать и утешить его, особенно сейчас, когда, как она уже знала, его сын был тяжело болен. О том, как сильно переживает Абай несчастье, случившееся с Абишем в далеком Алматы, Дамежан также была наслышана.

Сегодняшний дастархан был устроен по поводу недавней свадьбы: Дамежан хотела показать Абаю свою молодую невестку. Она позвала и Сеила, зная, как приятно будет Абаю поговорить с ним, да и сам сват со свадьбы не видел свою дочь. Специально к приходу Абая, уже поздно вечером, сварилось мясо, был готов самовар. За небольшим круглым столом расположились также Дармен и Баймагамбет, которые вошли в дом позже, привязав лошадей у низких кирпичных яслей во дворе Дамежан.

Абай говорил мало: ему, как всегда, хотелось побольше узнать о жизни людей, их тяготах и заботах. Когда Дамежан разлила чай, он обратился к Сеилу, которого считал настоящим работягой, истинным мучеником тяжелого городского труда. Чем живет Сеил зимой, как существует? Тот поначалу ответил весьма коротко:

– Пока река подо льдом, сами понимаете, работе на лодке конец. Потыкался туда-сюда, да и нашел место на бойне.

– Чем же ты занимаешься на новом месте? – спросил Абай.

– Да ничем особенным, просто режу скот, – отвечал Сеил.

Тут в разговор вмешалась Дамежан, рассказала, что и Жумаш также пристроился там, на скотобойне мясника Касена. Затем заговорили о том, как этот изверг, мясник Касен, предоставляя работу городским жатакам, всячески измывается над ними.

Сеил и Жумаш, порой поправляя и дополняя друг друга, поведали Абаю одну историю, которая произошла на бойне сегодня, но началась достаточно давно… Говоря, Сеил с горечью покачивал головой, а на лице Жумаша читалось явное отвращение.

Живет в слободке одна бедная женщина средних лет по имени Шарипа, после смерти мужа влачит жалкое существование с тремя малыми детьми, ходит и нанимается на работу повсюду, трудится из последних сил. Вот берет ее к себе упрямый, наглый торгаш Отарбай, приятель мясника Касена. Шарипа нанимается к нему чистить потроха. С раннего утра и до поздней ночи только и делает, что без устали чистит потроха. Работает, не разгибая спины, среди ужасной вони, не имея возможности прерваться, чтобы перекусить. А проклятый Отарбай платит ей всего лишь пять с половиной копеек в день!

Зимой жители жатаков согласны на любую работу, хоть только ради пропитания. В пору массового забоя скота мясник Касен именно в головном жатаке нанимает людей без разбору – будь то мужчина или женщина, стар или млад, дитя или выживший из ума. Намеренно посылает своих людей по бедным очагам, собирая голодных-холодных, всяческих доходяг. Всех подряд берет и заставляет работать за гроши, причем еще и жестоко торгуется из-за каждой полушки!

Что же произошло сегодня? Та самая женщина по имени Шарипа, о которой начали свой рассказ Сеил и Жумаш, испытала такой позор, который был похлеще всех прежних издевательств.

Когда работники уходили с бойни, двое приспешников Касена – Отарбай и еще один увалень по имени Конкай, оба изрядно пьяные, встали у ворот. Якобы бабы и дети, старики и старухи,

что чистят потроха, подворовывают и выносят за ворота овечий жир. Сказать, что воруют мясо, не могли – ведь крупные куски под тощей одежонкой не спрячешь. А им непременно надо было обвинить, унизить, прощупать всех. Вот и нашелся повод: дескать, тащат внутренний овечий жир. Причина же самого обвинения в том, что забой скота только начинается, и надо бы припугнуть людей, так сказать, впрок. Были у этих пьяных каналий и другие причины останавливать работниц…

Шарипа – женщина миловидная, светлая лицом, заметная. Ее и остановили первой, да и говорят ей, чтоб разделась. Женщина безропотно снимает чапан. Они заставляют ее снять еще и камзол. Облапали всю, ничего при ней не нашли. Заявляют: «Что-то растолстела ты не в меру, небось, сало на теле несешь!» И норовят задрать ей подол, выставить вдову на всеобщее позорище, унизить до смерти на глазах мужчин, детей…

Шарипа не в силах вынести такое унижение. Рыдая от досады, бессилия, она поминает имена своих детей-сирот, но стражники неумолимы. Тогда женщина дает оплеуху Конкаю, который уже начал стягивать с нее платье, а Отарбаю плюет в лицо.

Тут двое пьяных верзил без зазрения совести налетают на бедняжку, несчастную вдову, срывают с нее одежду, раздев почти догола, валят ее на снег и пинают ногами…

Все это видит Сеил. Он тотчас бросается на разошедшихся увальней, хоть силы и не равны. Они бы и его затоптали, но тут к нему присоединяется целая толпа женщин, сбивают этих двоих с ног – и отпинали их так, что им насилу удалось вырваться и убежать…

Обо всем этом Жумаш и Сеил рассказывали, то содрогаясь от возмущения, то смеясь от души. Дармена эта история вывела из себя: он просто зубами скрипел! Абай слушал молча, он был мрачен, на его лице обозначились глубокие морщины. Тем не менее, он слушал внимательно, что-то обдумывая про себя.

Видя, что Абая интересует его рассказ, Сеил заговорил снова. Оказывается, он сам нынешней зимой, после многих мытарств, попал в сети мясника Касена:

– Я человек, как все вы видите, пожилой. Поэтому и не люблю наниматься к хозяевам, не желаю, чтобы кто-то понукал меня да покрикивал. В жизни можно найти себе занятие и посвободнее. Вот летом я и вожу людей на своей лодке, и никто мне не указ. Зимой же решил поработать неделю у того, неделю у другого, чтобы не зависеть от кого-то сполна. Услышал, что бедняки жатака идут на бойню Касена, и сам отправился туда. Не думал я, что Касен окажется таким извергом!

И Сеил рассказал слушателям о том, как с полуночи и до конца следующего дня работал на бойне. Этому ремеслу он научился еще в молодые годы, когда только приехал в город. Работал умеючи, за день разделывал до шестидесяти голов овец, не испортив ни куска мяса. Заработок же ему положили всего по пятнадцать-двадцать копеек в день, с расчетом в конце недели. И вот, взяв в руки счеты, проворно щелкая костяшками, Касен все приговаривал: «Снимаю полгроша, крайнюю полушку не считаю…» Отарбай сидел тут же и ухмылялся. Даже в такой мелочи обсчитывали!

Сеил не выдержал издевательства, встал и сказал обоим: «Жадный пес даже у голодной собаки зад вылижет! Пусть будет по-вашему! Только желаю, чтобы эти полушки, честно заработанные мной кровавым трудом на бойне, застряли в ваших глотках».

В конце рассказа Абай улыбнулся и спросил Сеила:

– Ты говорил, что попал в сети Касена после других мытарств… Выходит, не со скотобойни твои приключения начинаются?

– Точно так! Сначала пришлось претерпеть от одного алчного бая, что объегорил немало городских жатаков.

Новый рассказ Сеила был не менее увлекателен и драматичен…

– Есть у меня младший брат, – начал он, – ему еще и семнадцати лет не исполнилось, и не освоил он пока что никакого ремесла. За лето мне удалось отложить кое-какие деньги, которых хватило, чтобы купить брату арбу и лошадь. Думал поначалу пристроить его на перевозку товара с барж, но тут пошли разговоры, что войлочник Сейсеке набирает ямщиков, чтоб со своими арбами да лошадьми. Возить надо было далеко – в Бакты, Чауешек. Говорили, что за одну ходку можно получить такие деньги, что утонешь в них. Привирали, конечно, но голосили его люди на всю округу, завлекая в свои сети. Так вот, несмотря на мои годы, седую голову, все же попался и я на эту удочку. И брата подвел. Говорю ему: «Съезди разок. Пожалуй, до зимы оборотишься». И отправил его…

Абай тяжело вздохнул, покачал головой. Он уже догадывался, чем кончится эта история, и сожалел, что Сеил попадает «в сети» уже не в первый раз. Он дал знак продолжать рассказчику, который, приметив волнение Абая, замолчал и вопросительно глянул на него.

– Этот Сейсеке большой бай, торговля у него солидная, казалось бы, можно было ему верить… – сказал Сеил, будто бы поняв, о чем подумал Абай. – В одну сторону возит товары аж в самую глубь Китая, в другую – до Ирбита, Макаржи[1]

Абай глядел на Сеила с сожалением, сочувствуя ему. Тот продолжал:

– И вот, до тридцати ямщиков на семидесяти-восьмидесяти лошадях повезли в Бакты мануфактуру в тюках. На обратном пути загрузились шкурами и шерстью для Сейсеке. Чтоб он сгинул! Брат вернулся недавно, уже в разгар зимы. Стал калекой, сидит у меня дома. Еле живой добрался. Руки-ноги обморожены, весь распух, скрючился, так исхудал, что аж уши светятся. Отправил его с упитанной лошадью и новехонькой арбой, теперь от арбы одно название, а лошадь стала доходягой, кожа да кости. Сам он как живой призрак. Всю дорогу

[1] *Макаржи* – Макарьевская ярмарка в Нижнем Новгороде.

ел черный хлеб с сырой водой. Денег – ни гроша. Лошади отпустили корму вполовину меньше потребы. Наконец, сказали, мол, еще посчитаем шкуры, что ты привез. Какие подрастерял, какие собаки порвали, какие промокли в дороге. «Еще и высчитаем с тебя!» А вы знаете, как они высчитывают с людей?

– Е, кое-что знаем! – невесело рассмеялся Дармен. – Приговаривают, собаки, щелкая своими счетами: «Можемке – испортил, можемке – потерял! За это отвечай!» Ограбят и глазом не моргнут.

Сеил кивнул Дармену, соглашаясь с его замечанием, затем закончил свой долгий рассказ:

– Тридцать ямщиков обвинили в порче-потере! На всякие уловки пошли, только бы не платить им честно заработанные деньги. Теперь все эти ямщики, измученные, дошедшие до последнего предела, каждый день сторожат у ворот бая Сейсеке. Воют от обиды, посылают ему проклятия. Там и мой напарник, он тоже подряжался ямщиком. И он плачет, и старый отец его плачет. Братишка туда пойти не может, не в состоянии выйти из дома. И я не могу сходить, так как работаю с утра до ночи. Вот, Абай-ага, какие у нас в городе дела!

Рассказ Сеила сильно удручил гостей, и трапеза, к которой они вскоре приступили, безрадостно прошла для Абая.

– Как говорится, – сказал он, – думали найти груды золота, а не нашли и ломаного гроша… Нет человеку сегодня житья нигде – ни в степи, ни в городе!

Утром, когда Абай и его спутники только сели за стол, а Дамежан принялась разливать чай, как от ворот послышались громкие приветствия Какитая. Он весь сиял – не шел, а бежал по крытому двору, звучно скрипя сапогами, оставляя на земляном полу снежные следы. Ворвался в комнату с облаком морозного пара, рывком распахнув дверь. Его маленькие густые усы были прихвачены инеем, а глаза горели на красном от холода лице. Не дав ему ни раздеться, ни даже поздороваться толком, Абай спросил, хотя ему и так уже была ясна причина столь шумного появления джигита:

– Ты прямо с почты? Есть ли письмо?

Их было даже два: Какитай вытащил письма из-за пазухи и вручил Абаю.

– Только не с почты! – пояснил он. – Сначала забежал в дом к Кумашу, туда и пришли.

Тотчас распечатав письма, одно за другим, Абай первым делом посмотрел на даты, стоящие внизу страниц.

– Одно написано двадцать дней назад. А второе – двенадцать… Это от Магаша, – сообщил Абай. – Я говорил, пиши каждую неделю, так он и исполнил! Но из-за задержек на почте оба письма пришли вместе, – приговаривал Абай, уже надевая очки.

Письмо начиналось с обычных слов, как пишутся все письма, но завершалось стихами Магаша. Абай читал письмо про себя, и все, кто был в комнате, молча смотрели на него, едва дыша, стараясь уловить содержание по переменам в его лице… Рассказав в письме о положении дел, Магаш, в сущности, повторял в стихах содержание письма, от всего сердца поведал в них о своей печали, каковую впервые в жизни довелось ему испытать. Эти нехитрые строки Абай, в паузах грустно вздыхая, прочитал вслух…

Он в недуге лежал, полотна белей,
Устремив на меня в упор
Потускневший во мраке бессонных ночей
И покорный страданию взор.
Он казался иссохшим стеблем степным,
Милый брат мой, сердечный мой.
И, рыданья сдержав, я стоял над ним
И терзался печалью немой…[1]

Прочитав, Абай рывком снял очки. Слезы хлынули из его глаз, мир помутился в них. Он прикрыл обеими ладонями вмиг

[1] Перевод А. Жовтиса.

побледневшее лицо. Глядя на Абая, Дармен и Какитай тихо заплакали.

Баймагамбет, более старший и крепкий духом, сдерживая слезы, с надеждой сказал Абаю:

– Может быть, второе письмо менее печально?

Абай развернул листок. И правда, содержание следующего письма было гораздо более спокойным.

«Последнее время настроение Абиша-ага несколько приподнялось, – писал Магаш, – появился изрядный аппетит, сон стал значительно спокойнее. Доктор сказал, что мы можем взять Абиша домой, лечить в надлежащей домашней обстановке. Хорошая квартира лучше лазарета. Слова доктора вселили в нас большую надежду. Мы наняли в городе хорошую, удобную квартиру и перевезли Абиша туда. Сейчас Абиш-ага всегда находится возле меня. Мы поселились у старика Абсамета. Относится он к нам хорошо, дружески. Этот казах Абсамет приходится нам жиеном[1] Находясь на постое в его доме, мы лечим Абиша двояко. С одной стороны, проводим необходимое лечение у доктора, с другой – сами поим кумысом, ухаживаем за ним. Теперь вся надежда только на Аллаха!»

Второе письмо немного взбодрило Абая, некоторые строки, особенно утешительные, он прочитал вслух, повторив два-три раза. Окружающие заговорили: кто высказал слова надежды, кто зашептал молитвы… Попросив Дамежан принести бумагу, карандаш, Абай без промедления сел писать ответ. Какитай тоже принялся за письмо, выйдя в переднюю и устроив свой листок на низенькой деревянной подставке, что отыскалась в доме Дамежан. Взялся писать и Дармен, облокотившись о подоконник. Все писали быстро, искренно, стараясь найти самые сердечные слова…

Абай, подумав о Магаше, который от переполнявших его чувств перешел на стихотворную речь, также открыл свою смятенную душу пронзительным стихам…

---

[1] *Жиен* – младший родственник по материнской линии.

Я не пишу, а слезы лью.
Ты видишь, в горести мой дом.
Иссякли силы, я стою,
Как перед смертным рубежом.
Я о себе пишу, Аллах,
О горе я пишу своем,
Ищу забвения в стихах[1].

Так он изливал свое горе – стихами, более привычными для него, чем общепринятая речь для выражения чувств. И далее, исписав еще с пол-листа собственно послания, вновь перешел на стихи. То надежда, то тревога овладевали его душой, словно обжигая пламенем ее или окатывая ледяною водою. Не может иначе поэт, столь углубленно живущий поэзией: любое его состояние во всей своей полноте и правде выливается в поток стихотворной речи…

То надежда придет,
То тоска нападет.
Нужных слов не найду,
В мыслях полный разброд.
…Дух и тело лечи,
Отвечай – не молчи,
Как он там – я боюсь –
Не ошиблись врачи!

Эти строки мешались с приветствиями сыну, горестными вопросами, обращенными неизвестно к кому, просто безответными возгласами…

Хорошо, что с тобой
Твой племянник родной.

---

[1] Перевод В. Бугаевского.

Услужить ему рад
Я услугой любой.

Вдруг, вспомнив о безмерно преданном Магаше, чувствуя его раненую отзывчивую душу, в которой зазвучали его собственные поэтические струны, Абай обратился и к нему:

Песнь твоя с мукою схожа,
Болью она рождена.
Мне объясни – отчего же
Сам ты лишился сна?[1]

Неподалеку согнулся над подоконником Дармен, – как и учитель, он в горе своем также воспламенился стихами. Все, прочувствованное сегодня с самого утра, легло в строки его послания в Алматы…

На письма глянул Абай-ага
И взял их молча, суров и строг.
Я видел, как задрожала рука,
Когда развернул он первый листок.
Абай дочитал письмо до конца,
Скупые слезы вытер платком…
Кто может измерить горе отца,
Чей сын страдает в краю чужом?
Мы вместе второе письмо прочли –
И искры надежды в сердцах зажглись…
О, если б молитвы помочь могли,
И пожеланья друзей сбылись![2]

…Еще перед тем как все засели за письма, Абай не забыл дать молодежи необходимый совет.

---

[1] Перевод Я. Смелякова.
[2] Перевод А. Жовтиса.

– Порой надо писать так, – говорил он, – чтобы заставить человека улыбнуться, найти особые слова, чтоб отвлекли и взбодрили его истосковавшуюся душу. Для того, кто прикован к постели, всякие новости, незначительные, казалось бы, живые вести, становятся самым настоящим лекарством.

Немало подобных врачующих строк написали Какитай и Дармен, изложив многие обстоятельства, которые пришлись бы по душе прежде всего Абишу. К полудню разными приветственными посланиями было исписано множество листов. Так и полетели весточки их славных душ, сплоченных одной глубокой печалью, далеко на юг, и теперь, с надеждой и нетерпением, все ждали исхода недели, когда придет, как они были уверены, новое приветственное письмо из Алматы.

4

Лазарет Алматы был, пожалуй, единственным государственным заведением, которым по праву мог гордиться этот небольшой уездный город. Здесь, на протяженной лощине у подножия величавых гор, среди густых садов и плоских бахчей стояли лишь низкие, в большинстве своем небогатые дома. На окраине, у подола горы, и располагался этот лазарет с его многочисленными постройками.

Летом длинные одноэтажные корпуса для различного рода больных были окружены цветочными клумбами и плодовыми деревьями, столь густо растущими, что весь лазарет казался садом, полным цветов и фруктов.

Такое великолепие расцвело еще лет пятнадцать назад, когда в Алматы приехал новый главный врач, пожилой еврей Лев Николаевич Фидлер, и взял лечебницу в свои руки. Все здесь преобразилось, лучше стали условия для больных, питание и, разумеется, само качество лечения. Цветы и деревья также были нововведением неутомимого Фидлера. Сейчас все это великолепие было укрыто снегом, припорошено инеем…

У главного корпуса лазарета стояли кошевые сани, мощный конь гнедой масти с подтянутым животом смиренно ожидал уже более часа, поскольку сани были пригнаны заранее, гораздо раньше оговоренного срока.

Чуть за полдень из широких дверей большого деревянного строения вышел, торопливо застегивая пуговицы на шубе, сам Лев Николаевич Фидлер. Приподняв в вежливом поклоне борик, он по-русски поздоровался с Майканом, который ожидал его в санях. Придерживая полы своей дорогой шубы, с воротником из горлового меха лисы, доктор устроился в санях, и конь, почувствовав послабление вожжей, мотая головой и вытягивая шею, тотчас пустился ровной дорожной рысцой.

Доктор Фидлер был весьма известным человеком в Алматы, лучшим врачом города. Его имя превозносили на разные лады местные жители многих наречий – русские и казахи, татары и таранчи, дунганы и кашгарцы. Лев Николаевич славился к тому же не только как хороший врач, но как человек благородный и особо добродетельный.

Доктор плохо говорил по-казахски, но ничуть этого не стеснялся. Привалившись к плечу Майкана, предупредил озабоченно:

– У моя время мало, смотрю, и гнедой много торопится, давай, отпусти вожжи!

– Быть по-вашему! – с улыбкой воскликнул Майкан. – Мигом домчимся.

Чуть попридержав коня, он вывел его за ворота, на городскую дорогу и, упершись обеими ногами в передок саней, резко встряхнул вожжи. Тут же огромный иноходец, лоснясь выпуклым крупом, часто стуча подкованными копытами, размером не меньше, чем грудь доброй кормилицы, распрямил спину и понесся по укатанной дороге вниз, в сторону города.

Густой снег, падавший в полном безветрии, теперь, под стремительный бег коня, летел в лицо, забивал глаза, словно на улице был ураган. Впрочем, попадая на горячую кожу, снег тут

же таял. Вдали крупные снежные хлопья нисходили отвесно, плавно.

До городской заставы долетели мигом, затем, не снижая хода, сани стремительно пронеслись по широкой стреле Колпаковской улицы, круто повернули на Сельскую, столь же прямую и звонкую, направляясь в сторону Никольской церкви, что сияла своими куполами поверх городских крыш.

Далее пошли не такие ровные улицы – Гурде, Нарымская, Сергиопольская, Розовая, – их ямы и колдобины пронеслись под полозьями саней с шумом и грохотом. Осталось только повернуть направо – по Старокладбищенской, далее – в низину, туда, где и стоял дом старика Абсамета, конечная цель этого недолгого путешествия…

Казахи Северной Арки почитали иноходцев не больше, чем скаковых лошадей. Здесь же, на юге, иноходцы ценятся гораздо выше, и чуть ли не каждый второй стремится заиметь себе такого коня. Этот гнедой попался джигитам по особому случаю и, вспоминая об этом, Майкан был благодарен и судьбе, и хозяину коня.

Добравшись в начале зимы до Алматы, джигиты решили купить крепкого упитанного коня под сани, чтобы ездить по городу, поскольку их собственные лошади, взятые в Семипалатинске, изрядно исхудали в дальней дороге. Едва они приехали на скотный базар, что у Никольской церкви, как к ним сразу подошел человек. Оказалось, что его зовут Дат, и он уже наслышан об их приезде, поэтому сам и разыскал их в толчее. Дат, подобно многим здешним людям, знал Абая и готов был помочь его близким родственникам.

Слухи, как это всегда бывает, летят впереди людей: Дату было известно, что любимый сын знаменитого акына тяжело болен и попал в лазарет, а его младший брат, посланный Абаем, приехал в Алматы.

– Не ищите коня на базаре! – сказал Дат. – К чему торговаться, покупая скотину у незнакомого человека? Слышал я, что вы

остановились в доме Абсамета, он тоже близкий мне человек, мой друг. Пойдемте-ка сейчас к нему.

Вскоре все трое поскакали обратно, а Дат продолжал говорить, уже по дороге:

– Голубчик Магаш, ты младше меня, приходишься мне как бы братишкой! Не должен сын самого Абая искать коня на базаре. Думаю, об этом мы поговорим в доме Абсамета.

Войдя в дом и посидев за дастарханом, Дат вывел Магаша во двор, где стоял его гнедой. И тут же подарил Магашу коня, вместе со всей упряжью, сняв только седло.

– Можешь увозить его в родные края. Стоит он немало – как кун за какую-нибудь убитую вдову. Передай Абаю-ага, мол, это подарок от одного сына Старшего жуза.

Вот какова была история иноходца, который, управляемый Майканом, привез сейчас доктора Фидлера в дом Абсамета.

Пробыв возле Абиша около часа, доктор так и не смог сообщить ничего утешительного. За последние три-четыре дня в состоянии больного произошли некоторые перемены, но не в лучшую сторону. Фидлер с грустью сказал, что эта болезнь сильнее самой медицины, всех знаний и возможностей врача.

Абиш слабел с каждым днем, жизнь покидала его медленно и неотвратимо… Какая же это несправедливость, что уходил столь молодой человек, угасала такая умная, красивая душа! Фидлер тяжело переживал это несчастье, он был не только врачом, но и сокровенным другом больного. Абиш делился с ним самыми глубокими своими переживаниями. Сейчас, едва врач склонился над его постелью, Абиш сказал ему, что теперь, когда в Алматы приехали близкие, когда он получает письма из дома, его одиночество кажется ему еще более тяжелым, тоска по родному очагу – почти непереносимой.

– Есть у меня одна мечта: продержаться хоть до весны, – тихо сказал он. – Полюбоваться теплыми деньками. Или же, чего еще больше хочу – добраться до родных мест, а там и умереть не страшно…

Появление в городе близких людей, разумеется, не излечило Абиша, но при них он прибодрился, развеялся, и Фидлер разрешил ему покинуть лазарет и полечиться какое-то время в домашних условиях, взяв на себя обязательство посещать больного раз в три дня.

Доктор сам присутствовал при переезде, распорядился освободить для больного самую просторную, светлую комнату и прочь вынести все предметы домашнего обихода, на которых оседала пыль: тускиизы, ковры, сырмаки, текеметы… Благотворным фактором был кумыс, которого не могла предоставить больница. Об этом позаботился уже Абсамет: специально для дойки он взял трех яловых кобыл и держал их на своем дворе. Доктор, конечно, выписывал рецепты на лекарства, но помощь от них была небольшой. Постоянно наблюдая за больным, он не уставал напоминать домочадцам о лечебных процедурах, мерах по уходу и питанию больного.

Лев Николаевич не сразу ответил на слова Абиша, которые тот назвал своей мечтой. Посмотрев в окно, Фидлер глубоко задумался. Его серые проницательные глаза, светящиеся недюжинным умом, слишком большие для лица старика, как-то сразу погрустнели, и он отвел их в сторону, упершись рассеянным взглядом в окно…

Небо было пасмурным, над горизонтом неподвижно стояли плотные серые тучи, вываливая на городские крыши медленный, отвесно падающий снег. Голые стволы деревьев казались глубоко черными, в замысловатом переплетении ветвей, давно лишенных листвы, грезился какой-то запутанный лабиринт, откуда нет – и не может быть выхода. Все это навевало тоску, будто бы сама природа давно и тяжело больна.

Надежда была призрачной, лекарства бессильными. Льва Николаевича охватил мучительный, совершенно не оправданный стыд, происходящий от его врачебной беспомощности. Но разве можно сказать правду этому хрупкому, надломленному

болезнью человеку? Он отвел взгляд от окна, слабо улыбнулся Абишу, проговорил:

– Ничего, Габдрахим, и лета дождетесь, и в родные края поедете! Вот потеплеет, и поедете… Ранней весной, когда еще не будет пыли на дорогах. Медленным ходом, спокойно поедете, под присмотром друзей. Так и доедете до родных мест!

Фидлер почувствовал, как неловко прозвучали его собственные слова. Надо было сказать проще, естественнее, как бы между прочим, чтобы Абиш поверил ему. Доктор давно уже понял, что посещает больного не столько ради самого лечения, которое бессмысленно, сколько для того, чтобы ободрить его, утешить… Да и еще есть резон: не сам врач, так молва о нем поддержит в больном надежду – ведь это Фидлер, легендарный, просто чародей, а не доктор! И, раз он сюда ходит, значит – вылечит.

Вот уже пятнадцать лет он врачевал в этом маленьком городе, поднимая на ноги старых и молодых, мужчин и женщин. Были и случаи, когда он вырывал людей прямо из рук смерти, вылечивая, казалось бы, безнадежно больных. Здесь, в глуши, катастрофически не хватало эскулапов разного профиля, поэтому Фидлеру пришлось практиковать лечение почти всех болезней, проводить сложнейшие хирургические операции… Однако в отношении болезни Абиша он оказался бессилен, и это терзало и мучило его. Приходя сюда регулярно, он возвращался в госпиталь расстроенный и удрученный.

Если с самим Абишем, безнадежно больным, Лев Николаевич не мог быть откровенным, скрывая от него страшную правду, что вполне понятно для врача, то лукавить с Магашем уже не мог и не хотел. Хотя он и видел на утонченном, приятном лице этого юноши выражение тяжелого горя, мог бы попытаться как-то и успокоить его, но честный, открытый характером Фидлер предпочел сказать, уходя:

– Ничем не могу утешить вас, голубчик мой! Не радует меня состояние Габдрахима. Ничего не могу поделать. Ничего…

После визита доктора Фидлера близкие Абиша остались в еще большей тревоге. Магаш проводил его из дома во двор, усадил в сани, Майкан вскочил на козлы и хлестнул гнедого камчой, сани понеслись… Магаш вернулся назад. Абиш лежал с письмом в руках, близко держа перед глазами развернутый листок. Еще несколько писем, полученных на днях, белели на одеяле.

Абиш всегда хранил под подушкой письма из родного края, порой перечитывая, порой просто разглядывая, размышляя… Это было письмо из аула, от Магрипы. В конверт она положила две чистые полоски бумаги – желтую и красную. Абиш прижал их к своим тонким бескровным губам. Когда вошел Магаш, он притворился, что просто перечитывает письмо.

Его изящно изогнутые брови взметнулись, будто навстречу брату, и он заговорил, указывая на эти полоски бумаги:

– Вот два листочка, посмотри. Магыш пишет: «Дни и ночи я провожу в мучительной тоске по тебе… Твоя маленькая дочка Рахиля уже начала ходить… Она растет, расцветает, словно тюльпан весной. Посмотри на эти два листочка: один – Рахиля, другой – я».

Ноздри Абиша нервно затрепетали, слезы навернулись на его глаза, он больше не мог говорить, хотел отвернуться к стене, но, не в силах справиться с собственным телом, лишь повернул голову на подушке… Тихо прошептал, глядя в стену:

– Желтая, пожелтевшая от тоски, – это Магыш, а красная – цветущая маленькая Рахиля.

Магаш понял: его брат снова угодил в провал глухой печали, а такое всегда случалось с ним, когда он думал о своей семье, и весело напомнил Абишу, что, кроме этого письма, есть еще и другие, где были и приятные вести, и шутки…

Абиш и вправду полез под подушку после этих слов, но не письма друзей – Дармена, Какитая – извлекли на свет его тонкие немощные руки, а послания отца, вчерашнее и предыдущее, которые он перечитывал по нескольку раз в день. Тихим

голосом он прочитал стихи из обоих писем, затем проговорил задумчиво:

– Ага, похоже, сильно напуган, потому и взмолился Аллаху… Пишет, как обыкновенный богобоязненный мусульманин. Молит Бога, чтобы тот спас его от страха. Может, человек всегда молит Бога, если теряет надежду? Понимаешь?

Абиш умолк, похоже, и не ожидая ответа, затем заговорил, но лишь для того, чтобы спросить кумыса. Магаш обернулся быстро, зная, что теперь для больного кумыс не просто питье, но и единственная еда. Сделав два-три глотка, Абиш вернул чашку и заговорил снова, наверное, успев обдумать свою тайную, недосказанную мысль:

– Вот что гнетет меня больше всего! Ведь отец все свои надежды связывал со мной. Воспитал, выучил… Всегда радовался при редких встречах, когда видел, что я опять чего-то достиг. Говорил: «Нет у меня иной мечты, только бы вышел ты в люди, выучился, честно стал служить во благо своего народа». Вот, что мне горше всякого яда! Не оправдал я надежды отца…

Крупные, частые слезы покатились по щекам больного, заплакал и Магаш, беззвучно, закрываясь платком, чтобы не показать Абишу свое горестное лицо.

Прошло несколько дней, и самыми значительными событиями за это время были письма, которые снова пришли из Семипалатинска и родного аула. Магаш написал ответы – и от себя, и от Абиша. Больной все реже поднимал голову с подушки. Худой и бледный, он лежал навзничь, глубоко вдавленный в пуховую перину.

Сегодня в просторной комнате не было посторонних. Магаш сидел у окна за высоким столом и что-то писал, уже заполнив неровными строками весь лист донизу.

День выдался светлым, ярким. Алматинская зима подходила к концу, о чем беспрерывным карканьем возвещали вороны на голых ветвях тополей. Над этими стройными, огромными, изо всей силы стремящимися ввысь деревьями сияло светлое чи-

стое небо. Под яркими лучами солнца играли дети, с улицы доносились их звонкие голоса.

Двое прохожих промелькнули за окном, из обрывка их разговора стало ясно, что сегодня большой праздник. Тут, будто в подтверждение их слов, где-то неподалеку развернулась гармонь, послышался звон медных колокольцев. По улице проехали нарядные сани, за ними еще… Резвые кони с красными, зелеными лентами в гривах, хвостах бодро тянули сани, убранные коврами, и вместе с ними мимо проносились песни, переливы гармони, радостный смех…

Таков был этот шумный, праздничный мир за окном, а здесь, в сумеречной комнате, томился смертельно больной человек, лежа на узкой кровати в углу, и его младший брат, которого ничто не могло отвлечь, сидел за столом и писал стихи. Он лишь едва приподнял голову, исподлобья взглянув за окно, где пронеслась цветистая здоровая жизнь, и вновь обратился к своим печальным думам о брате – самой близкой ему душе, к своей белой бумаге – единственному верному собеседнику. Быстро написав несколько последних строк, он с шумным вздохом откинулся на спинку стула.

Абиш уже давно лежал в ровном молчании, будто забывшись, но это было не так: мысль его напряженно работала, просто он не хотел мешать брату. Теперь же он подал голос, но Магаш, глубоко задумавшийся, не сразу услышал его.

– Дай мне! – шепотом, но все же повелительно произнес Абиш, протягивая тонкую руку. – Вижу, что завершил свои стихи. Дай посмотреть.

Магаш смутился: он писал не о чем-нибудь, а о болезни брата, и показать ему эти стихи не решался. Как отнесется больной к строкам, что отражают сторонний взгляд на него самого? Но и не дать тоже нельзя, – этим он обидит его… Абиш хорошо понимал суть волнения своего младшего брата.

– Не бойся, – сказал он. – Тяжелее мне уже не станет. Давайка сюда, ты же ведь всегда был честен со мной! Только сначала принеси мне чуток кумысу.

Магаш вышел и вернулся с полной чашей, Абиш отпил немного, увлажнив горло. Пошутил, принимая стихи из рук брата, правда, улыбался он уже через силу:

– И что же там сочинил про меня мой Магатай, который того и гляди станет великим акыном?

Магаш подошел и смиренно сел рядом, облокотившись о край постели. Абиш расправил лист бумаги своими белыми костлявыми пальцами и принялся читать…

Сижу у ложа больного,
И горькая дума со мной.
Он кашляет – снова и снова,
Он трудно дышит, больной.
И в сердце моем отдается
Кашель его глухой,
Когда за грудь он берется
Прозрачной своей рукой.
Мужественно, как воин,
Встретился он с бедой:
Взгляд, как всегда, спокоен,
Взгляд, как всегда, прямой…
А в доме все гуще тени…
И, стиснув ладони рук,
Он молит об избавленье
От нестерпимых мук[1]

Прочитав эти строки, Абиш долго лежал в глубоком молчании, то ли с мыслями собираясь, то ли с силами… Наконец, не отрывая взгляда от Магаша, тихо заговорил:

– Сколько стихов родилось из-за моей болезни. В родном крае писали отец, Дармен, Какитай, здесь – ты. Но не горе должно навевать стихи, а радость! Вот какие я желал бы услышать

[1] Перевод А. Жовтиса.

стихи! Передай мои слова отцу. Я часто говорил ему об этом, и сейчас повторю…

Сказав так, Абиш опять надолго замолчал, затем снова вернулся к тому же разговору, но уже более тщательно взвешивая слова:

– Вижу я по стихам, что пишете вы, молодые, как все вы даровиты и, пожалуй, станете настоящими акынами. Да и пишете вы особенно, подобных стихов никогда прежде не знали наши акыны, разве не так?

Магаш не ответил: он весь был во внимании, слушая брата. Полежав недолго в молчании, тот сам разрешил свой вопрос:

– Эти стихи похожи на сочинения русских поэтов, и научил вас этому отец. Ему же помогло оседлать крылатого коня именно русское искусство, оно подняло отца на вершину, возвысило, вывело на свет! И всем вам надо бы обратить свои взоры на Россию, быть вместе с русскими. Я многих видел в Петербурге, в Москве. Только послушать, о чем говорят русские – одна надежда и вера в радужное, чуть ли не райское будущее. И Павлов в это верит, прислушайся к нему. А если народ верит, то так оно и будет!

Силы вдруг оставили Абиша, он протянул обе руки к чаше с кумысом, с жадностью выпил несколько глотков и лишь теперь взбодрился. Голос его зазвучал чище, он продолжал, все более проясняя ту же самую мысль:

– Люди рождаются и умирают, одни отжив свое, другие – до срока… Но само общество, народ – живет своей жизнью, да и время идет своим чередом. Ни один человек не может повернуть его вспять, равно как изменить судьбу этого мира.

Теперь Абиш замолчал надолго, собираясь с силами. Магаш тоже молча сидел и ждал. Наконец, больной взял в руки листок со стихами и сказал, заставив себя улыбнуться:

– Ты что же, никак не можешь избавиться от слез, вырваться из объятия печали? Я запрещаю тебе предаваться унынию.

Перестань, взбодрись! Иди на улицу, в город, прогуляйся да развейся.

В эту минуту в комнату вошел Абсамет. Был час обеденной трапезы, а у хозяина дома была привычка лично приглашать гостей к обеду. Так он наведывался в дальнюю комнату два раза в день, чтобы своими глазами увидеть больного и расспросить о его здоровье. Увидев Абсамета, Абиш знаком подозвал его к себе. Тут же попросил Магаша:

– Сходи за Утегельды и Майканом!

Джигиты жили в передней комнате, в любую минуту готовые чем-то помочь Магашу, который всегда находился возле больного. Против своего обыкновения, привычек завзятых степных балагуров и весельчаков, эти бодрые, крепкие джигиты вели сейчас весьма скромный образ жизни. Они вошли сразу, как только их позвали, озабоченные, готовые к немедленным поручениям, но тотчас просияли, едва увидев веселое лицо Абиша, который теперь приподнялся на своей постели, взяв Магаша и Абсамета за руки.

– Запрягайте коня и сейчас же езжайте в центр города, все четверо! – сказал он друзьям таким строгим голосом, словно и вправду поручал им важное дело. – Сегодня Масленица, а это славный русский праздник. Слышу, улицы полны музыки и пенья!

Абиш говорил тоном, не терпящим возражений. Друзья недоуменно переглянулись, но больной нетерпеливо взмахнул бледной рукой. Сказал:

– Я не позволю моему Магашу захиреть в этих стенах. Посмотрите, как он исхудал. Магаш, Утеш, живо – езжайте, погуляйте! Будут скачки, бега. Абсамет, ты сам садись за вожжи да смотри, чтобы иноходец обставил всех коней города. Назначаю награду!

Все разом засмеялись, даже лица засветились: так они были рады приказанию! Закивали, загалдели:

– Есть! Жаксы!

– Будет исполнено!

– Всех обгоню, только распорядись! – радостно воскликнул Абсамет и тут же заметил: – Как же ты весел, айналайын, и впрямь праздник! Похоже, идешь на поправку…

Он радовался пуще всех, поблескивая большими огненными глазами. Этот небольшого роста, с черной остроконечной бородой старик был, на самом деле, заядлым ездоком. Не говоря никому, они уже давно вместе с Майканом выгуливали гнедого коня, готовя иноходца к такому случаю.

После обеда с просторного двора один за другим выехали два санных экипажа. Впереди бежал гнедой иноходец, ласково понукаемый Абсаметом, который сидел один в легкой повозке на полозьях. За ней шли вместительные кошевые сани, где на заднем сидении удобно расположились Магаш и Утегельды. На козлах, с гиканьем нахлестывая коня, возвышался опытный возничий Майкан.

Всякий раз, оказываясь на улицах Алматы, Магаш и его друзья начинали невольно сравнивать этот город с Семипалатинском. Все здешние дома были сплошь одноэтажные, все как один деревянные. Большой Семипалатинск был более высок крышами, широк и просторен улицами, красив и величав каменными зданиями. И все же, без умолку болтая втроем в кошевых санях, говоря об Алматы явно в пользу своего Семипалатинска, друзья любовались городом, что разворачивался неспешно перед ними.

Они восхищались его великолепными садами, в эту пору года еще спящими, – но настанет время, и город будет завален разнообразными фруктами… Особенно поражали тополя, высаженные вдоль улиц, – настоящие великаны! Да и белоснежные березы, и могучие молодые дубы – все здешние деревья устремлялись ввысь, будто соперничая с самим пиками Алатау. А уж эта великая горная гряда, своими снежными вершинами закрывавшая половину вечернего неба, словно волшебной силой притягивала взгляд. До чего ж высока, какая громадина, какие

белоснежные зазубренные остроконечные вершины! Просто не было слов, чтобы описать такую красоту…

Утегельды принялся расспрашивать Магаша о том, что, почему-то, интересовало его больше чего-либо другого:

– Неужто все сады в этом городе были посажены в одно и то же время, все деревья разом? Почему они, как на подбор, выглядят одинаково, словно остриженные осенью жеребята-трехлетки? Какой джин выстроил их в столь ровный ряд?

Абиш немало рассказывал младшему брату об Алматы, поэтому тот знал о многих городских секретах.

– Ты это верно подметил! – сказал он, обернувшись к любопытному Утегельды. – Деревья в здешних садах посажены в один год, поэтому и выглядят друг дружке вровень, словно их только что постригли. Все дело в том, что весь город был восстановлен восемь лет тому назад, после ужасного землетрясения, тогда же и сады насадили.

Будучи человеком степи, выросший среди безлесных отрогов Чингиза, Утегельды никак не мог понять, что обилие деревьев может быть украшением города и благом для его жителей. Он не мог согласиться и с тем, что горы, сады и густые леса окрест Алматы делают его лучше Семипалатинска.

– Если начистоту, – говорил Утегельды, – этот город, мне кажется, – место сплошных воровских засад. Разве не на руку лихим людям, когда летом распустится листва на деревьях? Тень любого дерева накроет целый дом, она так и манит – если хочешь скрытно напасть, ограбить кого-то… И во всем виноваты эти деревья! Вон какие большущие ели на Алатау – это ли не разбойничьи укрытия! Разве не просят они, не подстрекают: своруй, убеги, спрячься?

Магаш улыбнулся в ответ:

– А ты видел в этом городе хоть одного лихого человека? За то время, что ты здесь, тебе ведь ни разу так и не довелось крикнуть: «Держи вора!»

Утегельды озадаченно нахмурился:

– Это ты верно сказал, здесь и вправду не видать воров. Будь вором я, то непременно промышлял бы в Алматы!

Сказав так, Утегельды от души рассмешил Магаша, но Майкан сердито посмотрел на балагура с высоты своих козел. Обычно немногословный, он разразился довольно длинной для него речью:

– Что вы орете на всю улицу? Да еще такие вещи… Как вас люди поймут? А тебе, Утеш, какое вообще дело до воров?

Майкан как раз только что натянул поводья и остановил сани на углу улицы Гурде, где уже скопилось множество нарядных повозок. Веселые лица с любопытством взирали на вновь прибывших. Утегельды же все не унимался:

– Напрасно ты серчаешь, Майкан! Если на то пошло… я слышал все такое, и не от кого-нибудь, а от самого Абая, вот этими ушами… Как-то спросил у него: почему воров так много в роду Мырза-Бодей? Он ответил мне: потому что их стойбища расположены среди скал, возле саев-оврагов, среди непроходимых тугаев. Сама местность подвигает людей, наверное, к воровству: есть куда увести, где спрятать, разделать добычу… Понятно вам? Так мне сам Абай-ага говорил, а вы мне толкуете…

Но его уже никто не слушал. Магаш и его друзья впервые видели город во время большого праздника. Многочисленные санные упряжки, влекомые быстроногими иноходцами, наперегонки неслись по Сельской улице. Абсамет, хлестнув иноходца, смешался с потоком других легких саней, немедленно вступив в ряды желающих выйти на состязание. Друзьям в кошевых санях оставалось только ждать.

Город между тем продолжал веселиться по-своему: громко скрипя полозьями, с песнями, со звонким смехом проносились мимо многочисленные сани. Вот показалась тройка, набитая разгоряченными, уже подвыпившими мужиками и бабами в ярких платках. Они тоже участвовали в состязании, хотя их кони не были ни рысаками, ни иноходцами, годными для санных гонок. Тройка, которую составляли беспородные ломовые, каких

используют в работе по хозяйству, бежала вразнос, вразвалку, словно раскормленные лошади тоже напились вина. Народ смеялся и тыкал пальцами в сторону этих неуклюжих коняг, покрытых густой шерстью, не в меру разжиревших от обильного овса и отрубей.

Саней было так много, что иные не вмещались даже в широкую Сельскую улицу и в азарте состязания неслись по обочине, с хрустом поднимая пургу, осыпая снегом зевак. Были тут и хорошие рысаки английской породы – длинноногие, гривастые, с красивыми тонкими шеями. Их всегда можно узнать издали: по острым ушам, коротким хвостам и особенно – по их горделивой стати.

Часто мимо проносились не столь породистые, но также красивые, спорые на шаг, казахские иноходцы – гнедые, сивые, вороные… Мелькали и чистокровные русские рысаки. Было видно, что с десяток иноходцев стремятся догнать пару саней, вышедших вперед…

Магаш и Майкан вдруг одновременно вскрикнули. Впереди иноходцев, ноздря в ноздрю с каким-то заячьего окраса конем, стремительно несся их гнедой.

– Жми, Абсамет! – яростно закричали джигиты.

Оказывается, состязание только началось. Конники должны были проехать Колпаковскую улицу, миновать Ташкентскую аллею, затем, обогнув парк, снова вернуться на Колпаковскую и, разогнавшись по широкой, прямой как стрела Сельской, остановиться на скотном базаре перед Никольской церковью.

Народ уже потянулся туда, встречать победителей. Магаш и его друзья также направились в сторону церкви, ясно белеющей вдали в сгущавшихся сумерках. Сидя в санях, они рассматривали праздную публику. Зрителей собралось немало, в большинстве молодежь – гимназисты в серых шинелях с серебристыми пуговицами. Реже мелькали пуговицы подороже – позолоченные: они принадлежали шинелям чиновников, слу-

жащих различных контор, которые пришли на праздник вместе с женами.

Больше всего в этой разношерстной толпе было полицейских, урядников, стражников, их беспорядочно спутанные красно-желтые аксельбанты и пестрые сабли мелькали там и тут. Служителей порядка здесь было неправдоподобно много, равно как и их начальников, жандармских офицеров, щеголявших парадными мундирами.

Магаш знал, откуда взялось такое обилие служивых: Абиш рассказывал ему, что из городской казны выделялись значительные средства на полицейских, раз в десять больше, чем, скажем, на врачей. Здесь даже ходил анекдот, который брат услышал от местных разночинцев. На вопрос «Кого чаще встретишь в городе Верном?» – прохожий отвечал: «Мулл в белых чалмах и жандармов с желтыми саблями».

Что касается вероучителей, то их также было немало в толпе зевак, и теперь, когда потихоньку темнело, таковых почему-то становилось все больше. Многие местные казахи, татары, таранчи либо учились в медресе, либо уже были халфе при пяти мечетях города. Все они носили татарские борики и, похоже, намерено вышли полюбоваться русским праздником под покровом темноты.

Были здесь и богатеи всех местных наречий – русские промышленники, татарские баи, таранчинские, казахские торговцы. Этих было немного, но они особенно бросались в глаза, поскольку сами и выпячивались поперед всех, показывая свои енотовые и лисьи шубы, чаще из нежнейшего горлового меха, сшитые на зависть своим же товарищам, таким же имущим, как и они сами, торговцами-меховщиками.

Столь же многоязыкими были нищие, ходившие здесь с протянутой рукой. Худые, изможденные, они не упускали случая попросить милостыни у нарядной толпы. Это была другая сторона жизни города, который отличался от многих других окраинных поселений России обилием еды, особенно летом, когда

в садах, на бахчах созревали фрукты и овощи. Многие попрошайки добрались сюда из глубины России, это были крестьяне, оставшиеся без земли. Они ехали в поисках жилья, посильного ремесла для существования. Встречались тут и обездоленные казахи, целыми аулами покидавшие родные степи из-за страшного джута, который, особенно в последние годы, опустошал их пастбища.

Вот уж действительно: «Кто от радости скачет, кто от холода…» Среди сытой разряженной толпы эти обнищавшие люди думали только об одном: как бы добыть пропитание, чтобы не умереть с голоду этой же ночью…

Разглядывая толпу, Магаш увидел группу своих знакомых, толмачей и чиновников из казахов. Они также заметили его и подошли, справились о здоровье Абиша, затем разговор перешел на состязание: все заспорили о том, выиграет ли сегодня гнедой?

Несмотря на то что гонка началась в обеденную пору, сейчас уже сгустились сумерки, улицы залила все еще по-зимнему быстрая тьма. Весь город окунулся в плотный безмолвный мрак.

В Алматы вообще не принято уличное освещение: даже в центре не было ни одного фонаря. Совсем уж не ясно, каким образом зрители собирались узнать победителя скачек, когда он покажется в конце улицы: ведь все гнедые, мухортые, черные, дымчатые кони сейчас казались вороными, а издали можно было различить разве что белую или сивую масть. Тем не менее, горожане с нетерпением ожидали окончания скачек, так как это было самое главное зрелище праздника, который отмечался раз в году.

В толпе нарастало оживление, люди стояли по обеим сторонам улицы, оставив широкий просвет для коней, то и дело поглядывая на часы, подбадривая друг друга возгласами:

– Сейчас прискачут! Вот-вот появятся!

Действительно, гонщики были уже близко от Никольской церкви, они видели над городскими крышами ее купола, тем-

неющие на еще белесом небе. Вот вдали, на широкой улице, на расстоянии где-то с полверсты показалась масса народа, сдерживаемая цепью полицейских, чтобы кто-нибудь не попал под копыта.

– Чу-а-а, ай-да! – громко кричал Абсамет.

Он уперся обеими ногами в оглобли, дернул вожжи и с силой хлестнул камчой коня по бокам. Маленькие сани рванулись вперед.

Задрав голову и закусывая удила, словно борясь с вожжами и пытаясь скинуть дугу, гнедой вдруг почувствовал послабление.

– Айт, чу! – истошно завопил Абсамет, и конь, услышав его крик, откинул назад челку и, весь преобразившись, смотрясь сказочным скакуном, рванулся вперед.

Бок о бок рядом с ним шел, пока не пропуская вперед, сивый иноходец известного бая Абдуалиева, владельца нескольких городских магазинов. Но гнедой уже видел конец своего пути и стремительно нарастил бег.

С каждым мигом он все больше отрывался от соперника – на голову, на шею, на корпус. Вот густой пар из ноздрей сивого в последний раз обдал плечо Абсамета, и его сани ушли значительно вперед, оставив позади основную массу саней на полквартала.

Гнедой во весь опор промчался живым коридором ликующей толпы, словно небесный метеор, и чудом не сшиб людей у самой церкви, где он и встал, круто развернув санки…

Домой Абсамет и Магаш вернулись безмерно радостные, они взошли на крыльцо, громко разговаривая, широко размахивая руками. Немудрено – ведь теперь их гнедой иноходец, можно сказать, превратился в легенду: в городе только и говорили о нем. Веселился, ликовал и Утегельды, хотя к санной выездке призового коня не имел не малейшего отношения.

Домочадцы Абсамета обступили вошедших в передней, принимая у них одежду. Те все никак не желали угомониться: стря-

хивая с себя снег, рассказывали наперебой о своей удаче. Так, с разговором на ходу, и ввалились в дальнюю комнату, где лежал Абиш.

Он не спал, хотя и были прикрыты его глаза. Слегка приподняв руку, он подозвал вошедших.

– Слышал, слышал о вашей победе! – сказал он. – Вот и обещанная награда.

В руках Абиша появился большой длинный кинжал, который он заранее приготовил, держа под подушкой. Ножны были украшены затейливым серебряным орнаментом, а рукоятка матово поблескивала слоновой костью. Нельзя было не узнать работу хорошего кавказского мастера.

Абиш вручил Абсамету не только замечательное произведение, но и дорогую, памятную вещь: он привез кинжал из Абастумани, где жил и лечился прошлым летом.

Позже, расположившись за ужином в гостиной комнате, Магаш, Майкан, Абсамет и Утегельды принялись горячо обсуждать сегодняшний успех иноходца. Внесли желтобокий, жарко блещущий самовар. На круглом низком столе, на розовом дастархане, были расставлены чаши и тарелки с маслом, медом, жентом, щедро насыпаны баурсаки.

Пир по случаю победы едва начался, как послышался скрип входной двери, тяжелые шаги в прихожей, и на пороге гостиной комнаты, глухо стуча войлочными сапогами, появились два крупных пожилых человека, довольно тепло укутанных.

– Ассалаумагалейкум! Ассалау! – раздались громкие приветствия, и Абсамет тотчас вскочил с места, встречая гостей.

Их было двое: один высокий, с окладистой черной бородой, другой – среднего роста, плечистый, также бородатый, но седой. Оба были в куньих бориках, причем головной убор седого выглядел значительно пушистее. Магаш и Майкан узнали чернобородого: это был Дат, один из самых уважаемых и желанных гостей в доме Абсамета. Джигиты вскочили, помогли раздеться вошедшим и с почтением проводили их на тор, подложив им за спины подушки.

Дат был приятной наружности, розоволицый карасакал, одетый в камзол из черного ламбука, с рукавами в трубочку. Его нагрудный карман оттягивали массивные часы, золотая цепочка свисала вниз.

Первым делом он поздравил Абсамета с удачей, с победой гнедого иноходца. Затем представил своего спутника тем, кто его не знал, – Магашу, Майкану и Утегельды.

– Это мой друг Жамбыл, должно быть, вы слышали о нем. Тот самый, известный в Алматы, Капале, Жетысу, даже среди дальних киргизов, искусный акын.

Жамбыл поприветствовал Абсамета как давнего приятеля. Знакомясь с Магашем, он весело и многословно рассказал о том, что был на состязаниях и своими глазами видел, как знаменитый гнедой пришел первым. Маленькие карие глаза Жамбыла смеялись на его смуглом лице.

– Быстроногий как ветер скакун! – сказал он, потрясая в воздухе кулаками. – Все только прищелкивали языками от восторга – и богачи-сановники, и самый простой люд. Нет слов, о, Кудай! Да будет тебе всегда удача, мырза Магаш! Ты сын достойного человека и происходишь от знатного рода, вот и конь тебе под стать!

Слова Жамбыла, как говорится, не с кончика языка слетали, а широко из уст лились. Он сразу развеселил всех, сидящих за столом.

– Стоило акыну рот раскрыть, как вмиг все и рассказано! – с уважением заметил Майкан.

Магаш одобрительно кивнул, молча с ним соглашаясь. Здесь, в Алматы ему не раз приходилось слышать о славе Жамбыла, и он с улыбкой смотрел, невольно любуясь кряжистой фигурой, широким лбом известного акына с живыми, проницательными глазами.

Когда все немного притихли, Дат сказал, что приехали они с Жамбылом, чтобы проведать Абиша, но, узнав, что Магаш и его друзья уже на скачках, также направились туда. Так и не успели

зайти о светлую пору... Теперь же, с наступлением сумерек, и вовсе не стоило идти в комнату к Абишу. Знающие казахи, особенно в возрасте, не беспокоят больного после захода солнца. Все чтили эту старинную традицию и согласились с гостями.

С печалью в голосе Магаш поведал о состоянии брата: рассказав о положении больного в нескольких скупых словах, он умолк. Дат сказал, что они с Жамбылом зайдут к Абишу назавтра утром. Они никуда не торопились, намереваясь остаться в этом доме на ночь.

Наконец запоздалые гости принялись за чаепитие. Они столь долго пребывали на воздухе и так продрогли, что большой желтый самовар дома Абсамета сделал свой первый поклон довольно скоро[1] Тут же внесли другой готовый самовар, на сей раз это был громоздкий польский. Чаепитие продолжалось долго, пока не склонили и поляка.

Жамбыл расспрашивал о состоянии Абиша и о многом другом: его интересовало и то, как удалось Абаю дать сыну образование, и то, что пишет Абай из Семипалатинска. На все вопросы Магаш отвечал с охотой, прочитал несколько писем, стихов. Дату очень понравились те стихи, где упоминалось имя его друга Абсамета.

– Барекельди, вот уж правда, коль делать добро, то делай тому, кто его достоин! – воскликнул он. – Абай благодарит человека, даже не зная его. Пусть и сам Бог возблагодарит тебя, Абсамет! Как и Абай, как все мы. Уйсуни, дулаты, весь Старший жуз приносит тебе тысячи поклонов за доброе дело. Если даже и туда доходят вести о тебе, то пусть и здесь множатся твои друзья!

Жамбыл очень хотел послушать стихи Абая, и Магаш с радостью исполнил его настоятельную просьбу. В числе других он прочитал знаменитое стихотворение, в котором Абай высмеивал лживых акынов-попрошаек, привыкших бегать за подачкой к баям. Он бичевал тех продажных бродячих певцов, что стран-

---

[1] *Поклон самовара, склонить самовар...* – израсходовать в самоваре весь кипяток.

ствовали по свету с протянутой рукой, словно нищие. Этих стихов Жамбыл прежде не знал, и они вызвали у него удивление.

– Ни от одного казаха не слыхивал я подобных слов, – сказал он, качая головой и цокая языком. – Абай сам назначает людям меру наказания, словно справедливый судья.

Следующее стихотворение еще больше тронуло Жамбыла – это были строки, полные боли и печали: «О, казахи мои! Мой бедный народ!» Жамбыл даже беспокойно качнулся на месте.

– Эх, что за бренный мир, столь же славный, сколь и мучимый вечной печалью! – в сердцах воскликнул он. – Наступит ли день прозренья, день радости для детей твоих? Айналайын, что за слова! Читай же еще, брат мой! С этих слов словно свет озарил мою душу, доселе лежащую в темноте. О, Магаш, ты так щедро одарил меня!

Едва посреди дастархана поставили чашу, полную желтоватого кумыса, принялись взбалтывать, Жамбыл, сидевший по левую руку от Дата, быстро пересел к Магашу, расчехлив свою домбру.

Весь вечер он слушал песни Абая, упрашивая то Магаша, то Утегельды пропеть их ему, что-то постоянно обдумывая про себя, стараясь понять смысл многих новых изречений, никогда доселе не слыханных… За поздней трапезой его мысль окончательно сформировалась в слова:

– Испокон веков мы говорим о различных акынах, приводим их слова: так де сказал акын Кабан, а вот, словно вихрем пролетел Кулмамбет, вот, мол, какую мудрость изрекли Дулат, Майкот, Суюнбай… Но все они – лишь узкие арыки по сравнению с полноводной дарьей[1]! Мы как-то по-своему пытаемся пропеть, рассмешив одних, одернув, высмеяв других, но, оказывается, никто из нас не нашел того, что нужно! Вот же где кладезь мудрого ума, где искусство для подражания, опора и защита наша! Только сегодня я понял: все богатство в Абае. И не нужно никого другого. В нем, и только в нем – все сокровища нашего языка!

---

[1] *Дарья* – большая, полноводная река.

Сказав так, Жамбыл обвел горящим взором всех, кто сидел за дастарханом и, остановившись на Магаше, обратился к нему:

– Ох, Магаш, пусть твой отец, дай Аллах ему многие лета, услышит мои слова. Донеси же до него мой самый искренний, великий салем!

В завершение своей пламенной речи Жамбыл пропел короткое четверостишие…

Внемлем песне могучей, новой,
Пробудившей родимый край.
Потрясенные силой слова,
Внемлем песне твоей, Абай![1]

Эти речи, а особенно – импровизированные стихи убедили Магаша в том, что Жамбыл – человек страстный, искренний, весьма прозорливый. Он попросил его спеть собственные творения, и все сидящие здесь присоединились к этому пожеланию. До самой полуночи в комнате звучал голос Жамбыла, мелодичные переборы струн его домбры…

Все в доме были спокойны, даже изрядно веселы, никто не знал, что в тот вечер, преподнося победителям в дар кавказский клинок, Абиш разговаривал весело со всеми и улыбался в последний раз.

…Снег сошел, почернела земля, но нынешняя весна оказалась скупой на погожие дни. Тяжелые серые облака курились на вершинах гор, порой спускаясь и нависая над городом, давя своей свинцовой тяжестью. Однообразной чередой шли унылые, пасмурные дни, будто специально стремясь прервать и без того слабое дыхание Абиша.

Голова его была ясной, но выглядел он теперь каким-то совершенно вялым, будто спал с открытыми глазами. Иногда он произносил несколько слов, но только едва различимым шепо-

[1] Перевод А. Жовтиса.

том. Его глаза отзывались на любой шорох, движение, но разговора уже не получалось, он лишь просил иногда попить кумысу, слабо шевеля пальцами. Затем у него остались лишь два слова, которые он повторял изо дня в день, с нежностью глядя на Магаша:

– Мой Магатай!

Последние три дня он уже и этого не говорил…

Магаш безмолвствовал за столом в совершенном отчаянии, долго сидел в тишине, все повторяя про себя: «Сегодня? Завтра?»

Рука потянулась к бумаге, он стал бездумно записывать приходящие к нему стихотворные строки…

Где предел печали моей?
Кто душе возвратит покой?
Неужели в расцвете дней
Ты покинешь нас, дорогой?
Я не в силах произнести
Слово «смерть», о тебе сказать…
Пламя скорби горит в груди,
И глаза мои жжет слеза[1]

В тот же день, будто бы отец издали почувствовал, что жизнь Абиша подошла к самому краю, из Семипалатинска пришла телеграмма. Абай просил срочно сообщить о состоянии сына…

Абиш видел, как Майкан, быстро войдя в комнату, передал Магашу листок. Тот прочитал телеграмму сначала сам, затем – вслух, над кроватью умирающего. Абиш не промолвил ни слова, лишь указал глазами на черную книжицу, лежавшую на столике у его изголовья. Она была открыта.

Казалось, будто Абиш хотел сказать: здесь мой ответ. Магаш взял книжицу, это был небольшой альбом для дневниковых записей, на раскрытой странице вилась чернильная арабская вязь:

[1] Перевод А. Жовтиса.

«Ага, прощайте! Ухожу, не отдав должное. Ни мои мечты не сбылись, ни ваших надежд не оправдал. Магыш! Ты была моей радостью, любимой женой. Всей душой я был предан тебе! Поцелуй за меня Рахилю».

Это были последние слова Абиша, последние его мысли, которых он уже не мог произнести вслух…

Теперь в дом Абсамета потянулись люди, они приходили весь день, по два-три человека. Весть о том, что больной умирает, облетела весь город, и люди шли проститься с ним.

Пришел Дат, приведя с собой местного аргынца по имени Бакия.

– Разъезжал по разным местам, прежде не было случая проведать, – сказал Дат Магашу. – Вот, встретил Бакию, тоже образованный человек и ваш сородич, хочет он взглянуть на Абиша.

Магаш тихо сказал, что Абиш сейчас в очень тяжелом состоянии и беспокоить его нельзя.

– Все вижу, голубчик мой! Лишь бы только поправился, – сказал Дат, будто не понимая сути происходящего, и оба посетителя вышли из комнаты.

В городе жили люди родов Аргын, Найман, они служили толмачами в городской управе, в окружном суде, в конторе уездного главы. Те приходили прощаться небольшими молчаливыми группами.

О несчастье, грозящем дому Абсамета, прослышали и вероучители пяти мечетей: друг за другом пришли халфе и муэдзины в чалмах, пожилые послушники медресе. Какой-то чернобородый халфе, кривоглазый, с высохшими проваленными щеками, вышел из комнаты Абиша в переднюю. Он не заметил Утегельды, тихо сидевшего тут же, на стуле в углу, с довольным видом напялил кебисы, пробормотал, выпучив глаза: «Баракалла!»

Утегельды, и так уже до предела взвинченный, измученный скорбью, до смерти рассердился.

– С какой стати баракалла? – вскричал он. – Проклятый стервятник, трупоед! Что, прилетел со своим горбатым носом,

падальщик вонючий, на запах мертвечины? Дать бы тебе по этому клюву, да лапы твои когтистые повыдергать!

Вскочив со стула, Утегельды все продолжал кричать, размахивая руками. Слова проклятия, как стрелы, летели вслед носатому халфе, пока тот в спешке убегал за дверь.

Последним, уже в глубоких сумерках, пришел Фидлер, долго сидел, опустив голову, у постели Абиша, сжимал его сухую ладонь, гладил бледный лоб… За весь свой последний визит к больному доктор не проронил ни слова, молча попрощался с Магашем, долго пожимая ему обе руки.

Всю ночь Абиш лежал в забытье. С первыми признаками тусклого рассвета он перестал дышать. Ни одного движения, ни единого знака страдания. Его бесценная душа, уже давно безмолвно трепещущая между жизнью и смертью, спокойно и тихо покинула этот бренный мир.

На телеграмму, пришедшую от Абая еще вчера, ответил Абсамет. Коротко сообщив о происшедшем, он выражал свои соболезнования и спрашивал, как распорядиться с похоронами.

Абай ответил тотчас, срочной телеграммой, наверное, уже давно приняв это решение: он просил временно похоронить сына в Алматы, с тем, чтобы потом, когда наступят теплые дни и просохнут дороги, увезти Абиша в родные края и перезахоронить. Абаю было известно желание больного, которое передавал в письме Магаш: добраться до родных мест, а если и суждено умереть, то на руках отца и матери…

В день похорон неожиданно показалось солнце: небо, давно уже хмурое, пасмурное, просветлело и засияло чистой голубизной. Похоронная процессия тронулась от дома Абсамета, далеко растянувшись по Ташкентской аллее в сторону казахского кладбища, где в мерзлой земле уже вырыли могилу с боковой нишей. Тело, завернутое в саван, было худым и казалось маленьким, хотя Абиш был человеком значительного роста. Все знали, что хоронят человека с большим сердцем и чистой, ангельской душой.

Майкан и Утегельды положили тело Абиша на дно ямы и осторожно расположили в могильной нише.

– Аманат![1] – сказали они одновременно, и люди, стоявшие вокруг, в один голос повторили:

– Аманат! Аманат!

Это было слово горечи, скорби от тяжелой потери, беспомощной мольбы живых о милосердии, обращенной к черной холодной земле.

Очень много горожан пришло на похороны, с искренним желанием проводить Абиша, но Магаш понимал, что это все народ чужедальний, люди – не сородичи, не жители родного края, поэтому, выплакав сегодня утром в одиночестве все свои слезы, он вел себя сдержанно. Весь исхудавший, с серым лицом, он будто бы онемел в этот день и сам выглядел, словно больной.

Майкану и Утегельды он также наказал, чтобы строго держали себя в руках, что оказалось для обоих невозможно: рыданья, особенно в момент, когда они укладывали тело в нишу, готовы были задушить их.

Яму закрыли землей, люди собрались уходить, вдруг перед свежей могилой появился Жамбыл. С самого утра он был на выносе тела вместе с Абсаметом и Датом, и теперь обратился к Магашу со словами глубокого соболезнования.

Затем, горестно вздохнув, он помолчал. По его широкому лицу катились безудержные слезы, казалось, что горе сжигает его изнутри…

Спустя некоторое время после того, как Жамбыл заговорил, все поняли, что обращается он не к молодому Магашу, стоящему здесь, не к духу покойного Абиша, лежащего в сажени земли под ногами, но к далекому Абаю… От имени всех здешних казахов, дальних родственников, которых на кладбище собралось не менее двадцати человек, Жамбыл произносил слова утешения, сопереживания, адресованные скорбящему отцу. Постепенно его речь переросла в медленную песню, в импровизацию

---

[1] *Аманат!* – Отдаем на твое попечение!

не в тоне плача и причитания, – но в ровную и сильную песню любви и скорби.

Добрый путь тебе. Друг Магаш,
Добрый путь в далекий Семей!
Ты отцу привет передашь
И поклон от верных друзей.

Дат, Абсамет, Майкан и другие казахи, стоявшие рядом, тихо внимали уверенному пению акына, зная, как хорошо, как искренне и точно он умел выразить себя и словами, и мелодией. Иные заплакали, горько вздыхая. Здесь, у могилы безвременно умершего Абиша, родилось и полетело вдаль послание дорогому для всех человеку, достойному сыну своего народа, безутешно скорбящему вдали.

Едва затянув свою песню, Жамбыл сразу собрался, выпрямился, прекратил плакать, но в голосе его осталось горькое эхо рыданий.

Мудрым словам своим всегда
Утешал он в печали нас.
Пусть не сломит его беда,
Испытания трудный час!
Горько думать, что нет орла,
Расправлявшего крылья в полет…
Многих мать-земля приняла.
Многих в лоно свое возьмет…

Далее стихи Жамбыла то оплакивали Абиша, то утешали отца. Когда Абай услышит его, он будет знать, что и здесь, на этой далекой земле, есть люди, разделяющие его скорбь. Печаль особенно остро терзает душу человека, если он одинок. Но Абай не одинок – он окружен великим множеством друзей, он – в самом сердце народа! Так заканчивалась эта песня-послание.

Ношу горя так трудно нести.
Одному – тяжелей во сто крат.
Только ты не один в пути –
Мы с тобою, наш друг и брат…
Пусть осушит слезы твои
Пламя жаркое нашей любви![1]

Сразу после похорон, как распорядился Абай, Магаш и его спутники покинули Алматы. Дорога до Семипалатинска заняла целых двадцать дней, несмотря даже на то, что друзья очень спешили, а дневки-ночевки в пути старались делать как можно короче.

То была пора весенней распутицы, дорога совсем разбита, движение – чрезвычайно медленно. Миновали Лепсинск, приблизились к Аягузу, из алматинской весны попали в протяженную зиму Арки, которой не видно было конца… От Аягуза до Семипалатинска дорога превратилась в грязевой поток, поскольку тут только что стаял снег.

Ожидая Магаша, Абай впал в глубочайшее уныние, ему казалось, что он стоит на вершине скалы, у края ущелья, в любой момент может сорваться вниз. Только сделать один шаг… Власть над утлым телом потеряна, он летит в бездонную пропасть… Нет ни сна ночью, ни покоя днем!

Его большое сердце, пораженное горем, как будто захлопнулось перед людьми: все это время он ни единым словом не обмолвился даже с самыми близкими – Дарменом, Баймагамбетом, Какитаем…

Незадолго до возвращения Магаша, справив в ауле на Акшокы семидневные поминки по Абишу, затем еще целую неделю принимая людей, читавших молитвы, в Семипалатинск приехал Акылбай.

Абай с порога спросил его о Магыш, только затем поинтересовался состоянием Дильды и других близких. Акылбай провел

[1] Перевод А. Жовтиса.

несколько часов наедине с отцом, он обстоятельно рассказал о том, что происходит в ауле, и как каждый переживает общее горе. Абай слушал его молча.

Магыш часто впадает в беспамятство, вся исхудала и извелась, с ее лица совершенно спал обычный румянец. Поведав отцу о других близких, Акылбай замолчал. Абай понял, что у него есть сказать нечто еще, но не торопил его с вопросами. Так и есть: Акылбай начал бесстрастно рассказывать о словах Такежана на семидневках, о новой выходке Каражан во время вечерней трапезы, когда эти двое пришли прочитать заупокойную молитву по Абишу.

Говоря за дастарханом с Дильдой, Такежан косвенно обвинил Абая в смерти собственного сына. Сказал примерно следующее… «Абай посылает родное дитя учиться, считай, мытариться на край света, зная, что сын слаб здоровьем, вот и заболел он там. Кончил учебу, и хорошо. Зачем же надо было отправлять его на службу в Алматы – за деньгами? Ясно, что всех знаний не добудешь, всех денег не заработаешь. А наши предки и без грамоты вышли в люди, не служа русским, обрели в народе уважение, достойно правили людьми».

Абай смотрел на сына, слушал его и сам себе удивлялся: гнева и в помине не было. Услышь он что-то подобное раньше, позволь Такежан себе столь гнусные слова, Абай бы вскочил, словно тот посмел выстрелить в него… Сейчас все это казалось ему ничтожным. Так муха ползет по носу льва, а он лежит с переломанным хребтом… На слова Акылбая он лишь устало, холодно заметил:

– Придет Такежан на мою могилу да вместо горсти земли бросит в нее колючки чингиля.

Увидев, что отец не слишком расстроился от его сообщения, Акылбай рассказал еще об одном гнусном обвинении родственников. Дело в том, что отсутствие Абая и Магаша, главных мужчин аула, позволяло некоторым гостям допускать лишнее, дерзить всякими пакостными речами, что весьма тяжело пере-

несли женщины и дети. Но были и такие слова, от которых содрогнулись даже недруги, пришедшие на поминки.

Принялась ругать Абая, вслед за Такежаном, и его сварливая байбише Каражан. Ей поддакивала и чванливая, тупая жена Исхака – Манике. «Кого же будут оплакивать сородичи, мать и жена? – причитали они. – Хотя бы горсть земли положить на могилу своими руками! Почему сам не поехал? Почему не вернул домой его сразу, как он заболел? Даже корове ставят чучело теленка! Где могила, чему поклониться, ведь и колышка нет...»

То ли не ведали о решении отца привезти тело Абиша домой, то ли знали, но все равно обливали Абая грязью в его собственном очаге... Самая близкая родня – и те словно скрытые враги, чьи слезы притворны, а слова сочувствия – как проклятья!

Абай заранее знал, что найдутся злые языки, предчувствовал подобные слова. Но, подумав о неимоверной тяжести дороги в весеннюю распутицу, он, ни с кем не посоветовавшись, распорядился временно захоронить сына в Алматы. Уже тогда, наедине с самим собой, сказав «Аманат!» – понимал, что не дадут покоя не только ему, но главное – духу Абиша!

Теперь было ясно, что в своей печали аул на Акшокы нуждается в мужчинах. Сам Абай поехать не мог, ожидая Магаша. Не долго думая, он отправил в аул Какитая. Возле Абая из джигитов остался один Дармен.

Когда Какитай с Акылбаем уехали, Абай опять погрузился в молчание, переживая удар судьбы, тяжелее которого еще не было во всей его жизни.

Тем временем люди прослышали о горе Абая и потянулись к нему в дом. С утра до вечера шли потоком. Пришли грузчики из Затона, во главе с Абеном и Сеитом, наведались и городские торговцы, чиновники-толмачи, даже муллы, послушники медресе.

Абай не в силах был принять всех, но с многими разговаривал охотно. Когда решили побыть с ним рядом Сеил и Дамежан,

отвлечь его и утешить, также заставить хоть что-нибудь съесть, он душевно встретил и проводил их. Приветил он также и Абена, который считал Абиша за вожака и друга, после событий, связанных с бегством Дармена и Макен.

– Спасибо, что пришли помянуть Абиша, – сказал Абай людям, пришедшим вместе с Абеном. – Не ради меня. Думаю, дух Абиша также благодарен вам и рад, что я сел вместе с вами за трапезу, рассеяв мою печаль.

Абен, хорошо понимавший все горе Абая и всецело разделявший его, так ответил ему:

– Мы тоже чувствуем себя осиротевшими! Кто из таких ученых людей, как Абиш, мог понять простой люд? В свое время он направил нас, повел за собой. Дармен и Макен нашли в нем опору и защиту.

Все сказанное Абеном было большим утешением, особенно трогали последние слова:

– О таком друге можно только мечтать! Славный ты наш, милый и родной Абиш! Как мы будем теперь без тебя?

Порой, когда Абаем всецело владели тяжелые, горькие думы, и он, по своей новой привычке, говорил сам с собой шепотом, то как-то внезапно, безо всякого его порыва к сочинительству, к Абаю подступали слова, и эти слова были стихами…

Стоило остаться в одиночестве, как приходилось выбирать одно из двух одинаково мучительных состояний – либо проливать слезы, истекающие с такой острой болью, будто не слезы это вовсе, а сама кровь, либо выплескивать эти слезы и кровь на бумагу.

Весь этот день то на устах, то на бумаге, – переписываемые или повторяемые снова и снова шепотом, появлялись слова:

Смерть, ответь, как посмела ты
Сына взять себе моего?

Когда Абен и его товарищи ушли, он опять сел за стол, продолжая выписывать и зачеркивать строки, один и тот же мотив,

который преображался, изменяясь, пока не застыл в единственно возможном сочетании слов. Так сказал Абен, неожиданно подтолкнув и Абая к мысли: милый, славный Абиш был не только мечтой отца, но и других, не родных, людей, мечтой иного, более юного поколения, мечтой всего народа…

Я ушедшее замыкал.
Он глашатаем нового был.
Все надежды я потерял,
Ужас кости мой пронзил.
Одряхлел я, стал стариком,
В сердце боль – горячей огня.
Горе длинным своим бичом
По глазам хлестнуло меня.

Если бы смерть не унесла Абиша, то не только отрадой отца он мог стать, опорой родного аула, его домочадцев, близких людей, но верой и правдой служил бы народу, стал бы его светочем во тьме невежества. И теперь Абай исходил слезами не просто как скорбящий отец, но и как подвижник, радетель своего народа, каковым он и был всю жизнь, неся на плечах бремя не только главы аула, предводителя сородичей, но и тягот всех казахов, избранный на то самой судьбой…

Все обдуманно делал ты,
Не обманывал никого.
Был отважным и смелым ты
И удачливым оттого.
Смерть, ответь, как посмела ты
Сына взять себе моего?[1]

В миг, когда эти строки, вихрем крутившиеся уже много часов, легли на бумагу в окончательном своем виде, не вдохновенную

[1] Перевод Я. Смелякова.

радость поэтической удачи испытал Абай, но острую боль в груди, будто только что глотнул смертельного яда…

Одно утешало порой, хоть немного и ненадолго: в своем горе Абай не был одинок, причем не только казахи, сородичи близко к сердцу принимали утрату, но и многие инородцы, русские жители этого города. Искренне, не в пример некоторым «родичам», как те называли себя…

Павлов пришел к Абаю первым и три дня, с утра до вечера, был с ним неразлучно… Сразу после трагической вести Абай чувствовал себя особенно плохо, в какой-то миг подвело сердце, и он рухнул без сознания, упал прямо на руки Павлова, который не зря оставался рядом. Видя беспомощность Абая, горе и отчаянье, пожирающие его, словно зловещее внутреннее пламя, Павлов жалел его, как родного отца, успокаивал и утешал часами, пока они сидели в комнате вдвоем. Раз вышел, сходил домой, принес пачку писем.

– Ибрагим Кунанбаевич, это письма Абдрахима ко мне, – сказал он. – За последние четыре-пять лет. Вы увидите, какой высоты достигла его мысль. Думаю, это утешит вас. Сколько всего он познал, до каких благородных помыслов дошел, насколько взлетел умом и сердцем за столь короткую жизнь!

Письма сына Абай хранил под подушкой, аккуратно завернув их в вощеную бумагу…

Абиш переписывался не только с Павловым, но и с другими русскими, например, с Евгением Петровичем Михайловым, который знал все о его делах за последние годы, узнал и о болезни, смерти Абиша, прислал свои искренние соболезнования.

Старый друг Абая, человек прекрасной души, Михайлов был изгнан из Семипалатинска много лет назад и жил в стороне Зайсана, у отрогов Алтайских гор, порой странствуя где-то, порой занимаясь науками или сочинительством.

В своем письме он пытался утешить Абая, утверждая, что за свою короткую жизнь Абиш повидал, узнал больше, чем иной древний старик. Он также рассказывал о детстве Абиша, о его

проделках в начальной русской школе, куда сам и привел его за руку. В те первые дни аульный мальчик дичился людей, боялся самой школы, обнимал Евгения Петровича, словно родного отца.

Все это бывший учитель описал прекрасным языком, сумев не только утешить Абая, как Павлов, но и натолкнуть на столь глубокие размышления, что и его слова отозвались новыми стихами, полными мысли, чувства и в то же время – лаконичными, скупыми…

Жил он вовсе не напоказ,
Умудреннее старца был.
Беспокоился он о нас,
Об оставшихся он грустил.

Хотя Абай подолгу и был один, но это нельзя назвать одиночеством: он как будто разговаривал с живым Абишем, что стало ежедневной, ежечасной привычкой. В те скорбные дни из-под его пера вышло множество сокровенных строк, пока еще никем не читанных, посвященных Абишу и только ему, словно бы Абиш жил и умер лишь для того, чтобы появились на свет эти великие стихи…

Наконец, приехал Магаш. Три дня они провели вместе. Абай узнал обо всем, что произошло в Алматы за зиму, все об Абише, вплоть до его последнего вздоха. Все его желания, мечты и надежды легли теперь на душу Абаю, и мистическое вдохновение, болезненная радость творчества, смешанная со слезами и кровью, охватили его сердце с еще большей силой.

Магаш передал Абаю и черную книжицу, где была запись, адресованная отцу, и последнее послание к Магыш. Нельзя было точно сказать, когда он написал эти слова: Абиш показывал свой журнал вскоре после русской Масленицы, когда гнедой иноходец выиграл скачки, но к тому времени больной уже был обессилен, не было у него сил взять в руки перо. Скорее

всего, эти строки он написал раньше, с тем, чтобы передать их отцу и супруге в последние часы жизни…

Эти печальные слова тяжело ранили сердце Абая и так же, как всё в эти дни, сгорев в его душе, восстали стихами…

Дальнозорок, умен и смел,
Он судьбу свою точно знал,
Ей бесстрашно в лицо глядел,
Но от нас это все скрывал.
Знал, что мало осталось жить,
Не хотел пугать никого.
То, что он не успел свершить,
В завещании есть его.

Самые сокровенные мысли выплескивал акын на бумагу вместе со слезами, вспоминая долгий разговор наедине с Магашем, ни перед кем из людей не обнажая так свою душу…

Двадцать семь! Только двадцать семь!
Сын мой, мало ты прожил лет…
Ведь известно разумным всем,
Что другого такого нет.

Эти слова Абай адресовал людям молодым, по праву ставя своего родного сына в пример целому поколению, и далее, воспевая прекрасное создание, находил в себе такие глубины отцовских чувств, которые раньше были ему неведомы…

Не стремился к богатству он.
Лжи и чванства не признавал…
Он оставил свою семью,
На земле он не долго был,
Но короткую жизнь свою
Он познаньями удлинил.

Перед ним расстилалась ширь
Всех просторов и всех времен,
Крым, Россия, Кавказ, Сибирь –
Все пределы изъездил он.
Как комета с большим хвостом,
Появился он и исчез[1].

Прежде Абай имел привычку с кем-то делиться только что написанными стихами: он вслух читал их близким или передавал Магашу, Дармену, Какитаю, иногда отправлял Кишкене мулле. Теперь же писал и клал в шкатулку, либо держал, перечитывая и переправляя, у изголовья, под подушкой. Это были его личные душеприказчики, и он не показывал их никому.

Впрочем, подобную тайну сохранить было трудно: когда Абай покидал комнату, Дармен тотчас устремлялся туда, находил его новые стихи и переписывал в свою тетрадь. Уединившись с Какитаем, они читали их, затверживая наизусть. Когда приехал Магаш, они прочитали стихи Абая и ему.

Читали они Магашу и свои стихи, и его собственные, которых Магаш уже не помнил, поскольку писал их у постели Абиша и сразу отправлял домой.

С начала болезни и Дармен, и Какитай, и Акылбай написали немало стихов. У всех этих опусов было одно общее свойство, которое первым заметил Абиш. Все стихи, написанные в этом году, включая творения самого Абая, стали заметным образом меняться. Абиш считал, что в этом повинно влияние русского поэтического примера, о чем и сказал Магашу, а тот, в свою очередь, поделился этой мыслью с остальными пишущими джигитами из круга Абая.

Разговор этот состоялся пока не в присутствии учителя, молодежь еще не осмыслила этот факт, и Абаю решили ничего не говорить.

Да и сами недолго размышляли над этим обстоятельством, вспомнив лишь, что теперь все они не то чтобы перестали пре-

[1] Перевод Я. Смелякова.

даваться горести и печали, но по-другому стали излагать свои чувства.

Особенно слышалось дыхание правды, ясно ощущался иной голос в одном стихотворении, что написал Магаш после кончины брата, привез и отдал в руки Дармену и Какитаю…

Вырастет Рахиля без отца,
Будет тосковать по тебе.
Хватит ли материнской любви
Девочке на всю ее жизнь?
Рядом будут люди, родня,
Не найдет лишь тебя она.
Смогут ли другие вокруг
Счастьем наделить сироту?
Не смогу стать отцом никогда
Девочке несчастной твоей,
Но могу обещать лишь одно –
Буду ей опорой в судьбе.
Той, что выбрало сердце твое,
Вдовья доля досталась теперь.
Рано кончилось счастье ее.
Рано в душу проникла боль.
И не сбыться уже мечтам.
Вспыхнув раз, угасла она…[1]

В этих безыскусных строках, кроме тоски и боли, была некая простая истина, трагическое чувство живого человека, готового понять и принять горькую правду жизни.

Именно такой характер, как признали сами джигиты, под крылом Абая слагавшие стихи, и стала обретать их поэзия в последний год, несмотря на болезнь Абиша и, может быть, даже благодаря ей.

Раньше казахам в таких обстоятельствах были свойственны стенания, плач, обыденные прощальные слова. Стараясь вы-

[1] Перевод А. Кима.

разить горе и печаль, прежние акыны щедро рассыпали всякие пустые бессвязные словечки. Многие казахские бии и беки, велеречивые муллы поздних времен принимались писать плачи, и в них, наряду с мусульманскими символами, звучали всем известные избитые речения, вроде: «Ушел из жизни даже пророк, ближайший к Богу!» Или: «Друг Магомета, шахарияр, тоже покинул этот мир!», «Погиб и Хамза – брат пророка белого!», «В Кербале сложили головы Хасен и Хусаин».

Стихи Абая, полные, прежде всего, страдания и тяжести утраты, все же поведали миру о чем-то далеком, лежащем в запредельном, безмерном будущем… Отец не только воспевал сына, ушедшего навсегда, – он говорил о неком человеке вообще, незнакомце, которого будто бы кто-то привел за руку из иного мира и поставил среди людей, говоря: «Смотрите! Вот он пришел…»

Абиш возвратился из Петербурга, первого города крупнейшей державы мира, с огромным достоянием, суть которого – вовсе не злато и серебро… Не ради себя и блага своей семьи учился, трудился Абиш, – ради своего народа, томящегося в темноте. И он принес с собой негаснущий светоч нового знания для него… Он должен был стать, словно вожак стаи перелетных птиц, во главе целого поколения казахов.

Какова была заветная отцовская мечта? Чтобы вернулся сын в родные края и стал трудиться здесь. И мечта начала чудесным образом сбываться… Получив достойное образование, возмужав и окрепнув крыльями, Абиш выходил на большую дорогу жизни… И вот, жизнь его оборвалась.

Абай не находил себе места от горя, уходя в стихи, будто прячась среди них от нежданно нагрянувшей беды. Пожилой человек, многими уважаемый, истинный азамат, яркий пример для подражания, – Абай едва справлялся со своей печалью. Накануне приезда Магаша принял решение, пока не говоря о нем никому. Лишь спустя три дня, выслушав сына и узнав об Абише все, он объявил это решение всем.

Тело Абиша отец решил привезти из Алматы как можно скорее, пока еще не совсем оттаяла земля, не наступила жара. В спешном порядке в Алматы отправились три экипажа: ехали Утегельды и Майкан, трое джигитов сопровождали их.

Магаша Абай не стал задерживать в городе, отправил в аул на Акшокы. Пусть будет в доме Абиша, возле его матери, разделит с ними горе. Сам Абай, держа при себе Дармена и Баймагамбета, оставался в городе, пока не пришли вести из Алматы, телеграмма от Майкана и его спутников: «Возвращаемся в Семипалатинск с телом Абиша».

Абай и джигиты немедленно выехали навстречу, поскольку не было никакого смысла везти Абиша в Семипалатинск. Они встретили траурный обоз в Аягузе и по земле тобыктинцев сопроводили его вдоль подножия Чингиза в аул Абая на Акшокы.

Так осуществилось решение Абая: в середине мая тело Абиша привезли в родной аул. Недалеко от аула, на расстоянии одного выгона для ягнят, стоял четырехугольный каменный мазар. Это была могила матери Абая – Улжан. Абиш будет возвращен в объятия бабушки, захоронен рядом с ней.

На похороны собралось очень много народу, все хотели увидеть Абиша, уже зная, что тело извлечено на свет Божий и привезено в деревянном гробу домой. Абиш так тосковал по родной земле! Почему бы родным людям не посмотреть на него теперь, именно здесь, где он появился на свет, открыл глаза и сам увидел мир? Дильда просила его об этом, и Абай внял ее просьбе: «Матери Дильде и жене Магыш дозволяется увидеть Абиша и попрощаться с ним».

Майкан и Утегельды, хоронившие Абиша в далеком городе, и сейчас сделали все своими руками. По совету аксакалов в Алматы, они привезли тело Абиша, зашив его в прочный кожаный мешок. Теперь оно было извлечено из гроба.

Тело покоилось под плотным пологом на костяной кровати, в полутемной, прохладной комнате. Рядом стояли, едва сдерживая рыдания, Майкан и Утегельды. Дильда и Магыш

подошли к кровати, еле переступая ногами. Дильда заглянула в лицо сына, из ее груди вырвался мучительный стон.

– Жеребеночек ты мой! – вскрикнула она.

И тут же, не выдержав этого зрелища, опустились наземь и зарыдали в голос Майкан и Утегельды.

Дильда обняла Магыш и подвела ее к изголовью костяной кровати. Вдова не могла даже плакать, поскольку сумеречное сознание едва мерцало в ней. В ее глазах зловещим знаком смерти чернела бездонная скорбь. Когда Дильда открыла перед нею лицо Абиша, Магыш опустилась без чувств на землю.

Абиш лежал как живой, будто просто уснул. Это казалось чудом, но в его лице не было заметных изменений. Глазами, полными слез, Дильда, несчастная мать, рассмотрела лишь, что облетели волосы с его впалых висков.

Утегельды и Майкан вывели обеих женщин, осторожно поддерживая их под руки. Только оказавшись на улице, Магыш очнулась.

– Клянусь тебе, Абиш, душа моя! – вскричала она, начиная плач. – Перед лицом твоим даю тебе слово… Я тоже отрекаюсь от жизни! Нет мне без тебя жизни, и скоро, совсем скоро пойду и я за тобой!

С этими словами она потеряла сознание, рухнув на руки Утегельды.

ВО ВРАЖДЕ

1

Абай проснулся с чувством глухой тревоги. Снаружи за юртой слышался странный шум. Словно приехало великое множество всадников, громко переговариваясь, спрыгивали с лошадей и сбрасывали на землю соилы, – с деревянным стуком падали и рассыпались по земле сухие палки. Топали, отфыркивались лошади, звенела сбруя, перекликались грубые мужские голоса.

Кто бы мог с таким шумом нагрянуть в дом с закрытым тундуком[1] в котором хозяева отдыхают? Было послеобеденное время, Абай прилег совсем недавно.

Подняв голову с подушки, он обернулся к выходу и увидел Айгерим, стоявшую у двери и выглядывавшую наружу, сдвинув полог.

– Что за люди? Откуда? – осевшим со сна голосом спросил Абай.

Айгерим не успела ответить – словно быстрый вихрь, ворвалась в юрту Рахиля, маленькая дочь Абиша. Проскочив мимо бабушки, что-то быстро сказав ей на бегу, Рахиля с криком «Аке! Аке!» бросилась прямо к Абаю. Он принял ее в свои раскрытые объятия.

Теперь все внучки и внучата возраста Рахили величали Абая не «ага» или «ата», но неизменно ласковым – «акетай», «аке»[2]

---

[1] *Закрытый тундук* оповещает, что очаг не горит, гостей хозяева не ждут.

[2] *Акетай, аке* – папочка, отец (ласкат.).

Обняв деда за шею, девчушка принялась торопливо сообщать ему новость, лепеча сладким для ушей Абая голосом:

– Ойбо-ой, акетай! Там много плохих воров приехало! У них длинные соилы! Они с кем-нибудь драться хотят, аке?

Абай, целуя девочку в макушку, поверх ее головы вопросительно смотрел на Айгерим, ожидая от нее ответа. Наконец спросил у жены еще раз:

– Кто они? Ты узнала кого-нибудь?

– Да, – был спокойный ответ, – среди них мой Шырак.

Айгерим, по обычаю, назвала вымышленное, а не настоящее имя родственника мужа. Кого именно, Абай не сразу понял.

– Какой Шырак?

– Сын нашего Айнеке из Малого Каскабулака.

– Неужели Азимбай?

Абай вспомнил о племяннике, потому что в этом году Такежан, названный Айгерим – Айнеке, выбрал летние пастбища в урочище Каскабулак. И только лишь он произнес имя Азимбая, как большая чернобородая голова в тымаке просунулась в юрту. Невнятно пробурчав слова приветствия, без приглашения Азимбай прошел на тор и уселся, скрестив ноги. Вслед за ним длинной вереницей вошло около десятка человек, возвещая салем, и присели кто куда. Все это были крепкие бородатые и усатые мужчины, одетые в старую, ношеную одежду. С виду – байские соседи.

Когда незваные гости расселись, Абай удивленно спросил у Азимбая:

– Куда едете? Что случилось?

Азимбай заговорил, непонятно усмехаясь в бороду.

– Едем разбираться по одному делу. К вам заехали, потому что ага велел оповестить вас.

– О чем? Какое дело?

– Апырай, разве вы не слышали? А ведь уже давно назревает вражда...

– Ладно, говори яснее! – нетерпеливо перебил Абай.

Он почти с отвращением смотрел на племянника, по лицу которого блуждала странная, невнятная, неприятная ухмылка. Глядя исподлобья на Абая, племянник ответил все с той же кривой улыбкой:

– Назревает вражда между родом Уак с Кокена и нашими сорока родами. Неужели не слышали? У них появился некий грамотей и плут по имени Серке, он привез с собой из города не то «жемтемира», не то «земтемира»[1] и отрезал кусок нашей земли в пользу рода Уак, как раз у Есболата, Тасболата, Карамырзы и Дузембета, что в Бугылы. А теперь, волоча свою полосатую деревяшку, появился аж возле Сак-Тогалака. Отмеривает земли вокруг колодцев наших родичей Олжай, что рядом с землями Кокен, собирается их тоже отрезать…

Абаю об этом уже было известно, – кроме того, что касалось колодцев Олжая. Решил уточнить, спросил:

– Какие колодцы, какие земли в Есболате собирается отрезать землемер?

– На Верхнем Жымба, Нижнем Жымба, Караган-Копсакау, также урочище Шолак-еспе до самого Бильде. Далее этот проклятый Серке и уездный земтемир, шагая от Обалы до Торекудука, намерены выйти к Шагану, к самому подножью Семейтау. Короче, собираются отрезать почти все тобыктинские пастбища Кокена в пользу Уака. Нападают не на отдельных старшин и их аулы, а на весь Тобыкты, считай.

– Ну, а тобыктинский честной народ что собирается делать? – усмехнувшись, спросил Абай.

– Оразеке возглавил тобыктинцев, народ будет слушать его, – сообщил Азимбай, хорошо зная, что это меньше всего понравится Абаю. – Главный враг – враг всего народа, самый главный спор – земельный спор, говорят. Оразеке обратился к Серке: «Ты скажи этому жемтемиру, чтобы он остановился! Сами будем разбираться между родами!» Три раза посылали своих людей. Но эти уаки отвечают одно: мол, достаточно натерпелись от

[1] *«Земтемир»* – искаж. «землемер».

тобыктинцев. Теперь пусть нас рассудит городской начальник! И после этого Оразбай бросил клич: «Тобыктинцы, на коней! Отомстим этим извозчикам, презренным жатакам, ковыряющим землю, всем голодранцам уакам!» Стал собирать джигитов. Прислал послание и нашему ага: «Пусть приведет коней, пригодных в набег. Пусть вооружит соилами достойных джигитов!» Вот и едем к Оразбаю в его стан. Буду биться с уаками, головы своей не пожалею!

Высказав все это, Азимбай принялся за кумыс, предложенный гостям хозяйкой. Была пора, когда доят только жеребых кобылиц. В небольшой сабе, из которой разлили кумыс для взбалтывания в серебряную чашу, выставленную Айгерим, напитка содержалось немного, но его хватило на всех.

Выслушав Азимбая, Абай коротко высказался, не скрывая усмешки:

– Слова – ветер, рот – ворота… Раскрылись, закрылись… Ну и разболтался ты, наш тобыктинский вояка!

Молча допивая кумыс, Азимбай ничего на это не ответил. Поручение, данное ему отцом, он считал выполненным.

– Теперь, Абай-ага, вы все слышали. Хотелось бы и мне услышать, что скажете сородичам, которые сейчас садятся на коней, что хотите передать Оразбаю?

Абай услышал, как голос племянника в этом месте лицемерно смягчился, стал вкрадчивым. Но он не дождался того, чего хотел: Абай и не думал открывать перед ним подлинных своих мыслей. Он готов был поддержать уаков, а не тобыктинцев, причем не только в душе, но и конкретными действиями… Придет время, и он все выскажет самому Оразбаю, а не этому «тобыктинскому вояке». И Абай ответил ему в привычном по отношению к племяннику насмешливом тоне:

– Е, зачем Оразбаю вооружаться, садиться на коня и скакать куда-то в поисках врага? У таких, как он, враги всегда очень близко – это они сами. Пусть хватает себя самого за воротник.

Озадачив племянника таким ответом, Абай говорил дальше:

– Насильник сам погибнет от насилия. Набеги с черными шокпарами ушли в прошлое вместе со временем Кунанбая. Неужели Оразбай не почувствовал этого на себе? Если нет, то обязательно почувствует. А вместе с ним и вы тоже. Скачите, бейтесь мордой о камни, будет вам знатная наука!

Азимбай поднялся, подал знак рукой своим людям: уходим! – и, холодно попрощавшись, первым вышел из юрты.

После его ухода Абай обстоятельно поведал Айгерим обо всем происходящем. Распрю с пастбищными угодьями начали не уаки, проживающие в округе Кокен. С незапамятных времен тобыктинцы притесняли уаков. И все те колодцы и пастбища, которые «жемтемир-землемер» отбирал у тобыктинцев и передавал во владение Уаку, на самом деле искони принадлежали людям Кокена. Расторопный малый Серке, грамотный казах, раскопал в архивах губернского управления документы, свидетельствующие о подлинном владении уаками землями этого благодатного округа. Подав толково составленные заявления в управу, Серке добился решения губернских властей о возвращении насильно захваченных земель их настоящим хозяевам – оседлым казахам края Кокен. Это решение было объявлено на чрезвычайном сходе Семипалатинского уезда, состоявшемся в прошлом году в округе Жалпак. Там присутствовал уездный начальник, который лично привез все надлежащие бумаги, свидетельствующие о законном владении людьми Кокена землями, отнятыми у них тобыктинцами.

И тогда же, на этом «чрезвычайном», участники съезда стали свидетелями необычных событий. Вначале все узнали, что некий тобыктинец Таурбек, из рода Мукыр, вдруг однажды налетел на Серке с обвинениями, что тот много задолжал ему, и начал костерить его и материть. Вслед за ним нашелся еще один, кому Серке якобы также задолжал, – известный жалобщик и волостной сутяга Казбек, из рода Олжай.

Но не сумев всем этим запугать Серке, тобыктинцы подкараулили его, когда он шел в казенную юрту к начальству, и на-

пустили на него, словно охотничьего пса, некоего Оспана, сына Аширбая, который мимоходом, будто бы споткнувшись и падая, ударил кулаком по затылку Серке, сбил с него шапку. Все это очень напоминало свару в стае свирепых волкодавов.

Или вражду и шалости маленьких детей, заметила Айгерим, и Абай отметил про себя снисходительность и мягкий юмор, свойственный жене. Но он пояснил ей, что эти «шалости» оказались сущей мелочью по сравнению с тем, на что пошли обозленные тобыктинские воротилы дальше, и рассказал, чем закончился тот чрезвычайный съезд.

Однажды глухой ночью запылала Большая юрта, в которой спал уездный начальник. Едва одетый, ояз успел выскочить из горящего дома, но все казенные бумаги сгорели. На том и завершился съезд, начальство спешно уехало, и земельный вопрос остался нерешенным.

Но через год появился этот «жемтемир-землемер» с полосатой палкой, и это для тобыктинских главарей явилось знаком, что сгоревшие бумаги каким-то образом восстановлены, и надежды людей Кокена продолжают жить. «Тогда и Оразбай решил вернуться к своим диким привычкам, – подумал Абай. – Видно, мне придется вмешаться, на этот раз выступить на стороне противников Тобыкты».

Оразбай прикочевал на просторное урочище Каракудук со всей ордой многочисленных своих аулов. Сам расположился возле колодцев, поставил свои три белые юрты и множество гостевых юрт, растянул между ними длинные веревочные коновязи, к которым были привязаны дойные кобылицы.. Сыновей своих, Хасеина, Касымжана, Елеу, расположил врассыпную вокруг себя, чуть далее от колодцев. И уже за ними, составляя второй круг заслона, по широкой долине расположились многочисленные аулы младших родственников, таких как Даспан.

С самого раннего утра сегодня в стан Оразбая стали прибывать, затем растекаться по окольцевавшим его аулам многочисленные верховые. Было это похоже на прибытие гостей по

поводу богатой свадьбы или большой тризны. В стане Оразбая оставались только лишь аксакалы да карасакалы – аткаминеры из разных мест, считавшиеся главами схода. Они с утра шумно заседали во всех трех белых юртах хозяина. Остальной народ, составляющий их челядь и дружину, способную помахать соилами, скапливался в окружающих аулах.

В Большой юрте главари рода и аткаминеры, явившиеся на клич Оразбая, шумели и распаляли себя, повторяя его воинственные призывы: «Достойный джигит умирает в бою, трусливый заяц – в камышах!», «Главный враг – враг народа. Самый главный спор – земельный спор!»

Устами Оразбая было сказано: «У меня нет ни долгов, ни счетов перед Уаком. Сажусь на коня только потому, что хочу постоять за сородичей, защитить честь тобыктинцев!» И эти его благородные речения повторялись устами многих аткаминеров перед аксакалами, карасакалами и молодыми джигитами тобыктинских родов и аулов, в каждой юрте.

Были и другие его высказывания: «Уаки хотят забрать у тобыктинцев пастбища на землях Каракудук, Торекудук, Обалы, Когалы, Шолак-еспе и многие другие. Но разве ими пользовался один Аккулы, мой отец? Или один Кунанбай? Разве раньше не кочевали там Божей, Байсал, Молдабай и Буркан? Аллах свидетель – там, на осенних и зимних пастбищах или, как сейчас, на весенних выпасах, держали скот все сыновья Тобыкты! И это теперь хотят отобрать у нас?»

«Кто хочет спрятать свою голову, пусть так и сидит у себя дома, согнув спину. А я хочу защищать твою честь, Тобыкты! Битва за землю – главная битва!»

Слушая Оразбая, главари некоторых богатых родов, такие как Жиренше, Абыралы, Азимбай, Абдильда, весьма одобрительно, хвалебно отзывались о его призывных речах. Жиренше сказал от имени всех: «Знамя тобыктинцев в твоих руках! Тобыктинцы не изгои без роду и племени – все пойдут за тобой! Будем готовы зубами рвать этот нечестивый Уак!»

Услышав слово «Уак», Оразбай подскочил на месте, свирепо вращая своим единственным глазом:

– Эти жалкие землеройки, сурки, подбирающие колосья, запрягающие своих клячонок в скрипучие арбы, лопатой и кетменем добывающие себе пропитание! Хотя бы осмелились пойти на столкновение с нами! А то ведь только на то и способны, что превозносить себя: «Мы народ Кокена! С кем бы нам схватиться на этот раз?» А сами – настоящий сброд, состоящий из сорока родов, как чапан с сорока заплатками. Но, как говорится: «Песку не быть камнем, рабам не дано властвовать». Я хочу размесить их ногами, смешав в одну кучу, как серую глину!

Все гости Каракудука, прогуливаясь вдоль желей в перерывах между кумысом, чаем и мясом, уходя в зеленые луга за белые юрты, могли вдоволь обсудить речи и призывы Оразбая. Затем устами тридцати-сорока главных гостей Большой юрты его слова были переданы их дружинникам и соседям, а те передавали эти призывы дальше по округе, пока они не доходили до каждого старика и ребенка в самых дальних аулах. И по пути, перелиняв и пообтершись, поднабрав сочной ругани и матерщины, эти призывы доходили до воинственных джигитов, любителей помахать соилами и пограбить на свободе.

У Азимбая, равно как и у других баев, в дружине кроме отпетых головорезов и барымтачей были и простые кочевники, умевшие и скот пасти, и поработать соилами, коли придет на то случай. Этим было не очень ясно, почему разгорелась борьба за какие-то земли, малоизвестные им, – ибо они не пасли там свой скот. Но эти малоимущие степняки, не имевшие своих стад, слышали от стариков, что некие пастбища когда-то были отобраны тобыктинцами у уаков. В разговорах между собой эти бедняки только пожимали плечами: «Пес его знает, за какие это земли надо драться!»

А от Оразбая исходят, словно раскаты черной бури: «Спор за землю!», «Враги!», «Честь рода Тобыкты!». И эти раскаты разносятся по всему тобыктинскому краю устами баев, соратников Оразекена, которые зимой пасли там на подножном корму свои

неисчислимые табуны. Именно на тех землях ставились временные балаганы табунщиков.

На отобранных у людей Кокена угодьях, на зимних пастбищах, разбредались табуны лошадей численностью до пятидесяти-шестидесяти тысяч голов. Вот в чем была правда, которая крылась за громкими патриотическими призывами Оразбая и всей его клики.

Итак, черная буря словоблудия, напущенная злоречивым Оразбаем, превращалась теперь в грозную бурю народных столкновений, вот-вот готовую обрушиться на мирные аулы.

Когда день перевалил за середину, по всем аулам орды Оразбая пронесся первый порыв этой бури – в виде одновременной великой суеты, что началась подле всех коновязей – байских, под навесами, и прочих – вдоль натянутых арканов. Повсеместно разом прозвучала команда:

– Время! Всем садиться на коней!

– Аттан! Вперед! – эта команда прозвучала уже непосредственно из Большой юрты Оразбая.

И минуты, за которые можно вскипятить молоко, ушли на то, чтобы весь военный стан оседлал коней и, постукивая соилами, сверкая стальными секирами, воздев над головами пики, двинулся рысью в сторону гор Кокена. Отрядом в сотню всадников управляли шесть еще не старых опытных джигитов. Их с утра, в продолжение всего времени сбора, наставляли и напутствовали Оразбай, Азимбай, Жиренше, называя их «батырами», «предводителями набега». Но ни один из напутствовавших не взобрался в седло и не отправился вместе с ними в поход.

Лишь один бай Есентай вскочил на своего коня, стоявшего под навесом, и с места припустил его вскачь, помчался вслед за ушедшим отрядом. Наблюдавшие за ним со стороны Оразбай, Жиренше и другие баи оглянулись друг на друга, не то с удивлением, не то с одобрением в глазах. Жиренше взял под локоть Оразбая и насмешливо проговорил:

– Видать, взыграла в нем кровь! Молодые годы вспомнил!

Это он намекал, что в молодости Есентай был известным барымтачом. Оразбай, однако, сразу не ответил Жиренше, вперив горящий взгляд вслед удалявшемуся Есентаю. Затем с умешкой промолвил:

– А ведь со вчерашнего дня ни слова не сказал. Такой поделится нужным словом разве что перед самой смертью. Полетел дать им кое-какие наставления.

Азимбай не мог не вложить своей доли ехидства:

– Е, и совет даст, и угрызет что-нибудь для себя. Такой уж как вопьется, так сразу не отстанет, пока всю кровь не высосет.

Стоявшие вокруг баи одобрительно заулыбались.

Вскоре Есентай нагнал отряд и поскакал рядом с одним из главарей набега, Беспесбаем. Отделившись с ним немного в сторону от скачущего отряда, Есентай принялся за свои наставления:

– Набег возглавляешь ты. Тысячу раз говорил всем: в плену не оставляйте своих, и тебе говорю это. Бывают дурни, которые потеряются среди битвы и со страху попадают в плен. Таким накажи: если вдруг окажутся одни, без своих, пусть скачут во весь дух, повернув коней хвостами на Темирказык[1] И тогда, даже отбившись от своих, смогут наверняка добраться до дома.

Беспесбай молча кивал головою и посматривал на скачущего рядом толстого, с трясущимся двойным подбородком, потного Есентая. Они еще в недавнем прошлом вместе ходили в воровские походы, на барымту, пили сурпу из одной баклажки. Теперь же Есентай, не способный ходить в набеги, давал ему боевые советы. Беспесбай усмехался, слушая его.

– Добро! – сказал он.

А жирный Есентай, трясясь на коне рядом, продолжал давать советы.

– Если попадется среди врагов джигит с крепкими руками, на хорошем скакуне, постарайтесь первым делом вышибить его из строя. С таким трудно сладить в поединке, сходясь на

[1] *Темирказык* – букв. Железный кол, казахское название Полярной звезды.

соилах, и если он начнет тебя теснить, то, отступая, постарайся нанести удар не по нему, а по его коню. Одним хорошим ударом по виску можно завалить под ним коня. И пока джигит поднимется, найдет другого коня, пройдет немало времени. Опасного врага можно обойти именно так. Уай, я тебе все сказал, теперь скачите, бейтесь, – и удачи вам! Вы наши батыры, настоящие азаматы!

Скоро выговорив последнее напутствие, Есентай резко остановил коня, натянув поводья, развернул его на месте – и галопом понесся назад.

Те, кого он назвал батырами и азаматами, на самом деле известны были всему народу как отъявленные конокрады и воры. И этих отпетых разбойников собирал под свои знамена и подкармливал сам Оразбай, владелец трех тысяч отменных лошадей. Но эти барымтачи были близкими друзьями, побратимами – тамырами и для других богатых владетелей Тобыкты. Их имена были известны народу: Жаркымбай, Дубай, Беспесбай, Саптаяк, Кулайгыр, Кусен.

Выехавший из Каракудука засветло довольно большой отряд верховых был заметен издали, его могли легко увидеть дозорные уаки с высот Кокена. Поэтому, для скрытого подхода, опытная шестерка барымтачей, посовещавшись, решила разделить сотню на шесть маленьких отрядов и подбираться к аулам уаков разными путями. И из равнины к горам эти маленькие отряды должны просачиваться по отдельности.

Глухой ночью все воровское войско собралось за перевалом в неширокой долине между горами Кокен и Семейтау. Решили перед делом дать лошадям отдых. Ослабили подпруги, сняли удила, слегка приподняли седла над спинами коней, чтобы ветром обдуло пот.

Среди шестерых барымтачей заметно выделялся Беспесбай, из рода Олжай. Это был сорокалетний крепкий карасакал, широкоплечий и коренастый, в седле он сидел, словно влитой. Был известен как мастер боя на соилах, на черных шокпарах.

Опытный, матерый вор, он знал все подходы к аулам, которые грабил, точно мог сосчитать, сколько лошадей и другой скотины содержится там, когда и по какой дороге погонят табуны на ночной выпас. Он собрал всех главарей на соседнем холмике и сообщил им:

– Отсюда на расстоянии одного ягнячьего перегона находится озеро Тущиколь. Наши враги расположились вокруг него. У берега, что ближе к нам, камышовые заросли. Противоположный берег крут и малодоступен. Если табун войдет в камыши, нам нелегко будет их выгнать оттуда. В аулах еще не спят, видите, жгут костры вокруг отар, охраняют их. Табуны же пасут со стороны гор Семейтау, к западу от озера. Ветер сейчас с той стороны. Лошади, днем измучившись от жары, двинулись навстречу ветру.

– Ты прав. Ветер доносит конское ржание, – подтвердил Саптаяк, громадного роста барымтач из Карамырзы.

– Ночь впереди длинна. До полуночи еще далеко. Спешить не будем. Ударим, когда люди погрузятся в глубокий сон. А там, когда отобьем табун, погоним лошадей назад, к долине Кандар… А сейчас пусть кони отдыхают, а вы объясните людям, как им действовать.

– А как действовать? Неужели непонятно?

– Среди джигитов немало таких, что держат впервые соилы в руках. Пусть не шумят, не поднимают по глупости крик, когда начнем. Надо строго их предупредить…

Вскоре Беспесбай подал команду: «На коней!» В овраге люди засуетились, спешно начали взнуздывать лошадей. Некоторые джигиты стали стягивать правые рукава чапанов и затыкать их за кушаки, чтобы рука свободнее действовала при замахе дубиной. Оружие, кто какое имел, было приведено в боевую готовность: соил зажат под мышкой, секира крепко схвачена за рукоятку, а длинная пика поднята острием прямо над головой, поставленная концом древка на ногу в стремени.

В ожившей тишине разлетались отрывистые команды Беспесбая. Он был на сером коне, боевой чекмень на нем тоже был светло-серым, под цвет его – серая мерлушковая шапка. Беспесбай был заметен среди ночных барымтачей.

Вечерний прохладный ветер тянул в лицо. Впереди, над изломанной линией гор, пылала огненная полоса позднего заката. С востока на раскаленный закат налетала громадная черно-синяя клубящаяся туча. В ней полыхнула зарница... И вдруг в предгрозовой тишине и прохладе хлынули навстречу всадникам густые, насыщенные запахи степных трав – полыни, изеня, смешиваясь с острым ароматом дикого лука.

Глухо звучал топот множества копыт, вспугивая из травы жаворонков и скворцов, расположившихся на ночь вдоль дороги. Порой с хриплыми криками перелетали через всадников, мелькая черно-белыми крыльями, стаи степных куропаток.

Чем дальше погружался в ночь отряд, тем строже и грозней выглядел его растянутый строй. В просветах безлунного неба сверкнули первые звезды.

– Стой! – подняв руку, Беспесбай остановил отряд.

Направив свой черный шокпар на ярко сверкавшую звезду, Беспесбай сказал:

– Вон звезда Темирказык. Запомните ее хорошенько. Если случится, что в бою шайтан пошутит над вами, и вы потеряете из виду своих, а вокруг будут одни враги, то уходите от них, повернув коней хвостом к этой звезде. Темирказык спасет вас от плена.

Беспесбай стегнул коня и снова поскакал впереди отряда. Всадники двигались крупной рысью навстречу догорающей вечерней заре.

Беспесбай сказал поравнявшемуся с ним Саптаяку:

– Табуны близко. Слышишь, жеребцы грызутся?

– Слышу. Ветер нам навстречу. Табунщики ничего не заметят.

Подскакали Жаркымбай, Дубай, Кулайгыр. Подвязали наушники тымаков.

– Дай нам Кудай удачи!

– Пусть нам выпадет счастье Оразды[1]!

Вполголоса пробормотав пожелания друг другу, они разъехались, каждый к своей ватаге.

Все ближе приближались барымтачи к табунам.

Кокенцы, названные «врагами» тех, что замыслили набег, на самом деле были миролюбивыми казахами. Они вели оседлую жизнь, освоили разные ремесла, сеяли хлеб, занимались извозом. Аулы их отличались от всех аулов кочевников. В каждом дворе в краю Кокен стояли двухколесные арбы или четырехколесные повозки. Селились они, в отличие от скотоводов, в больших аулах. По их названиям можно было определить, чем население занимается. В ауле Балта-Орак (топор-серп) жили плотники и землепашцы. В поселении Жалпак (ширь) на просторных лугах люди косили сено на продажу. Находясь недалеко от города, они вполне могли прокормиться подобным мирным трудом.

Только у кокенцев были аулы, называемые «крыкуйли», то есть «сорокакибиточные». Скотоводы, которым нужны просторные пастбища для их скота, никогда не селятся таким скопом, жители же таких больших аулов занимались земледелием и ремеслами.

Местечко Кандар[2] называлось так не потому, что там было пролито много крови. Привычка местных людей давать имена своим детям с прибавлением окончания *хан* (Асамхан, Салимхан, Жумахан, Семейхан, Жабайхан, Торехан) связана была не с тем, что они были потомками ханов. Отчего-то было принято так у местных родов, и даже те, что прибывали туда жить в поисках нового места под солнцем, давали новорожденным имена с присовокуплением того же «хана». Потому и около восьмидесяти семейств имели своих «ханов», и местность об-

---

[1] *Оразды* – тот, кому всегда везет в жизни. При гадании на бобах ему всегда выпадает счастливый расклад.

[2] *Кан* – в 1-м значении – кровь, во 2-м значении – то же, что хан. *Кандар* – ханы.

рела название – Кандар. Жили там в основном разного рода ремесленники.

Среди них были представители многих и разных кочевых родов – и наряду с уаками проживали там Бура, Найман, Жалыкбас, Басентиин, Матай, Керей и много обнищавших беженцев-тобыктинцев, которые осели в Кандаре и обрели какое-нибудь посильное ремесло.

Этим людям больше всего на свете нужен был покой, который часто нарушался, особенно в последнее время. Земледельцам жилось и так трудно на тех малых землях, что оставили им тобыктинцы, захватившие просторные пастбища для табунов своих лошадей. Если бы распахать эти земли, эту степную целину, покрытую густыми травами, то жизнь оседлых кокенцев стала бы намного сытнее. Но шестидесятитысячные табуны Оразбая и других владетелей Тобыкты не давали никакой надежды на такое счастье! Тобыктинские табуны паслись здесь весной, летом и осенью до самого декабря, когда выпадал большой снег и степь покрывали глубокие сугробы. Но, глядя на щедрые снега, душа земледельца скорбела, предполагая, каким обилием благодатной влаги напитают они весной степную землю, которую у них отняли…

Итак, люди Кокена были решительно настроены вернуть свои земли, и настойчивый, неотступный Серке этой весною добился присылки землемеров. Однако все настойчивее разносились слухи о нападении на Уак, готовящемся главарями тобыктицев. И, оставив свои весенние полевые работы, свернув на время ремесла, кокенцы двинулись в кочевье, собравшись воедино у озера Тущиколь. Они решили дать военный отпор, если тобыктинцы устроят против них набег. Объединив всех своих лошадей в один табун, они стали пасти их на прибрежных лугах возле озера.

На слухи о том, что тобыктинцы собираются снарядить барымтачей, чтобы грабить аулы Кокена, первым обратил серьезное внимание все тот же Серке. Он настоял на том, чтобы

многие по отдельности стоявшие аулы уаков перекочевали к одному месту – озеру Тущиколь. И он же стал созывать дружину смелых, крепких джигитов из разрозненных аулов Кокена, чтобы выступить против тобыктинцев военной силой, если те нападут на мирный край. «Вы способны отразить любое нападение! Ваши руки не поднимали соилы и шокпары, но вы умеете обращаться с топором и молотом. Ваши руки в мозолях, привыкли пахать землю, а не размахивать соилами, но если на вас пойдут с шокпарами, вы можете взять в эти руки оглоблю!» Так воодушевлял своих людей смелый и разумный Серке. И по его призыву явились все мужчины, способные держать оружие.

В ополчение к озеру Тущиколь пришли известные в Уаке крепкие и отважные джигиты, в былые годы, когда сами еще вели кочевническую жизнь, прославившиеся как мастера конного боя с шокпарами, соилами, пиками и секирами. Но они никогда не были привержены воровству и разбою и лишь в случае надвинувшейся опасности могли сплотиться, чтобы отразить набеги барымтачей или отбить у них угнанный скот. Сейчас они объединялись, чтобы совместно пасти и охранять свои не очень многочисленные табуны. Этих джигитов, умеющих постоять за себя и свои аулы с боевым оружием в руках, называли в народе «баглан[1] седла», «смелый табунщик», «лихой наездник», и никакого отношения к барымте они не имели. Они постоянно находились при табуне, вместе с ними пасли и охраняли коней человек двадцать совсем юных джигитов-подростков. Это и сорокалетний Бостан, выходец из кандаров, и Конай из среды Балта-Орак, а также джигиты из разных родов и аулов – Енсебай, Марка́, Кулжатай. Все они бывали в столкновениях с воинственными тобыктинцами и хорошо знали коварные привычки и воровские уловки их барымтачей.

Среди уаков самым опытным и смелым багланом-воином был Бостан. С большой головой на короткой, толстой шее, с массивным торсом, это был человек невероятной, верблюжьей

[1] *Баглан* – уважаемый мастер, незаурядный умелец.

силы и большой воинской отваги. Рядом с ним всегда находился Конай, высоченный, сухощавый, жилистый, широкоплечий, быстрый. Ночью при встрече с этим человеком, когда он ехал на своем рослом коне, можно было принять его за великана, оседлавшего верблюда. Третьим был кряжистый, как пенек дуба, Кулжатай с аспидно черной лохматой бородою. Он надел для боя верблюжий чекмень, оголявший шею и грудь.

Бостан сегодня был особенно насторожен. Сильный ветер, дувший от Семейтау, он считал на руку врагу, а для своих невыгодным.

– Если враги подойдут с подветренной стороны, то они нас будут хорошо слышать, а мы их услышать не сможем. Так что, джигиты, мы должны разделиться надвое. Одни погонят табун сначала на Семейтау, а потом, через некоторое время, круто свернут его в сторону, на север, и погонят к озеру. А остальные, человек пять-шесть, поскачут по ветру навстречу противнику и постараются его задержать.

– Дельный совет!

– Так и сделаем!

– В ауле и так сидят с оружием наши люди, не спят.

– Им спать не велено, и разжигать костры тоже.

Конай подтвердил:

– Сегодня в ауле все должно выглядеть так, как будто люди давно отошли ко сну. Договорились, что ночные сторожа будут поменьше кричать. Но у каждого дома должен стоять оседланный конь, привязанный к забору. Поэтому – прислушайтесь! – сейчас не слышно ничего, кроме лая собак. Наши затаили дыхание!

– Омай, ничего тут особенного. Сегодня мы все должны затаить дыхание!

– Приступим к задуманному! – скомандовал Бостан.

По его распоряжению двадцать молодых джигитов, заворачивая табун, погнали его к подветренной стороне аула. Оставшая-

ся пятерка самых опытных разделилась на две части: Бостан и Конай, затем Кулжатай, Енсебай, Марка́ поскакали разными сторонами узкой долины между горами Кокена и Семейтау, по которой ожидался набег барымтачей.

Кулжатай первым заметил бесконечную, как показалось ему, вереницу верховых с поднятыми пиками, которые пересекали долину чуть наискось, разворачиваясь со стороны степи.

– Стой! – сдавленным голосом крикнул он и пригнулся к гриве коня.

Кулжатай был воин неробкого десятка, но, увидев заворачивавший по широкой дуге нескончаемый конный отряд вооруженных людей, невольно похолодел от страха.

– Е! Это большой набег! Врагов не сосчитать… Пропадай сегодня, Уак!

Енсебай рассвирепел не на шутку, услышав эти слова, и рявкнул приглушенно:

– Ну, шайтан тебя в лохматую бороду!.. Чего ты затявкал? Видишь врага – вот он, пришел, валится на тебя. А ты что думал? Будешь обниматься с ним? Жа, браток, страху на себя не нагоняй. Рванем сейчас навстречу им, покажемся, мелькнем – и уйдем в сторону. Пусть погонятся за нами, а мы уведем их в сторону. Мой чалый и твой буланый в темноте неразличимы, мы близко подберемся. А ты, Марка́, на своем белом, заметен издали, поэтому стой здесь на месте, не шевелись. Как только услышишь, что мы закричали и повели за собою погоню, ты дай плетей белому и скачи в аул, кричи «Аттан!» – поднимай тревогу.

Енсебай закусил в зубах тесемки наушников тымака и ткнул концом кнутовища в бок Кулжатаю: «Вперед!»

– Е, подождем немного, может, скоро кончится отряд. Как только хвост покажется, мы его сзади ударим, а?

Енсебай молча с размаху стегнул плетью буланого коня под Кулжатаем, и тот пулей полетел с места в карьер в сторону вражеской конницы. Рядом с ним, пригибаясь к гриве лошади,

мчался Енсебай. Пристыженный Кулжатай начал приходить в себя, в сердцах стеганул чрезмерно сильно своего буланого плеткой и выскочил далеко вперед Енсебая. Стремительно налетели они на колонну верховых сбоку, примерно в ее середине, угрожающе, громогласно крича: «Бей! Круши!» Затем внезапно, не сбавляя хода, завернули по крутой дуге и понеслись прочь – в другую сторону от аула.

Вожак одного из отрядов барымтачей Кулайгыр успел заметить смельчаков – на расстоянии брошенного аркана.

– Вижу врага! – гикнул он во все горло и кинулся в погоню, увлекая за собой с десяток джигитов.

Боясь нарваться на засаду, Кулайгыр старался не упустить из виду двух всадников, зорко следил, не спешит ли кто-нибудь к ним на помощь со стороны. И вдруг эти двое мгновенно растворились во мгле вечера, словно призраки, растаявшие среди туманных ковылей. Кулайгыр круто окоротил коня, стараясь разгадать загадку, – что происходит? Куда делись выскочившие на них два всадника?

А тем было нетрудно скрыться из виду, завернув круто за скалу. Они были довольны: замысел их удался, за ними увязалась погоня. Теперь можно дать знать Марка́, что он может лететь изо всех сил к аулам уаков и поднимать народ. Грозными, раскатистыми голосами они бросили в ночь воинственный клич:

– Аттан! Аттан!

Марка́ услышал и, нахлестывая белого коня камчой, стремительным галопом помчался в сторону озера. Врываясь в аул, он тоже зычным, страшным в ночи голосом закричал:

– Аттан!

Это был тот самый клич, которого боязливо ожидали мирные жители аулов вокруг Тущиколя на протяжении последних недель и дней. Ведь все эти дни дряхлые старики и старухи, маленькие дети и женщины перед отходом ко сну только и говорили о том, что «враг на подходе», «уведут лошадей», «прольется кровь», «воры идут на барымту».

И вот пришла та со страхом ожидаемая жуткая ночь.

– Аттан! Аттан! – раздавалось в тишине.

Но в аулах вокруг Тущиколя не спали. Джигиты сидели без огня, не разжигая костров, небольшими группами по двое, по трое. Никто из них не испугался тревожного крика в ночи. Все были готовы к схватке, предупрежденные о неизбежности нападения.

Марка́ пролетал по аулам на своем белом коне, беспрерывно возглашая: «Аттан! Аттан!», этот клич подхватывал весь аул, а затем он летел от аула к аулу через озеро и вскоре наполнил собой безлунную ночь над приозерной долиной.

Слышался плач детей и голоса встревоженных женщин, провожающих у юрт своих мужей и братьев, протяжные голоса матерей и старых отцов, дающих благословение на праведный бой с врагом.

И не успели тобыктинцы доскакать до кокенских табунов. Перед ними встали, словно возникнув из ночи, конные уаки и жатаки из других родов, – многочисленное войско, вставшее на защиту своей мирной жизни.

– На-за-ад! Отступись! – протяжно прогремело над тишиной приозерной долины.

Готовясь к атаке, Бостан поднял над головою соил. Его примеру последовали Енсебай и Марка́. И вот кокенская конница кинулась во мгле на сотню барымтачей, и тем показалось, что на них набросилась неисчислимая орда всадников. В треске дубин смешались ряды джигитов с той и с другой стороны. Начался ночной бой степных конников.

Беспесбай искал встречи с Бостаном, налетел сбоку на него. Обменялись первыми ударами дубин, и Беспесбай почувствовал, насколько тяжелы и сокрушительны удары этого кряжистого батыра-кокенца. От сотрясения соилов, скрещивающихся в воздухе, осушились и заныли руки у Беспесбая. Он стал проворно кружиться около Бостана, конь которого оказался менее подвижным, чем у тобыктинца. И выждав момент, Беспесбай

нанес быстрый, коварный удар соилом по руке Бостана. Рука эта сразу повисла, как плеть. Перехватив дубину в другую руку, Бостан нанес страшный ответный удар по темени Беспесбая. Кровь мгновенно залила его лицо. Он зашатался в седле, но на коне удержался. Едва сумел ускакать в сторону от широкоплечего батыра-земледельца. Вспомнив уроки Есентая, выхватил шокпар и принялся бить по виску и валить на землю лошадей противника.

Марка́, Енсебай и рядом с ними другие кокенцы бились с ватагой барымтачей Дубая, Кусена, Саптаяка. Ночная схватка длилась долго, яростно, упорно. Было разбито немало голов, многие всадники потеряли коней и, сброшенные с них, лежали неподвижно на земле. Им грозил плен, когда поле битвы останется за победителями – той или другой стороны. Растеряв своих седоков, с диким ржанием носились по полю оседланные кони. Некоторые из них убегали в ночь, оглашая визгливым ржанием дальние пределы степи.

Превозмогая боль в раненой руке, Бостан с новой решимостью кинулся в бой, с криками «Бей их! Окружай!», круша врагов направо и налево. Вновь вступил в битву и Беспесбай с перевязанной головой. Он сразу, одного за другим, двумя ударами дубины выбил из седла двух табунщиков из кокенской дружины.

Ожесточенное сражение, шумное и яростное, шло по всей долине до самого утра. Уже наступил рассвет, потом взошло солнце, поднялось на высоту пики, а рассвирепевшие противники продолжали крушить друг друга.

Опытным, коварным и хитроумным был главарь тобыктинских барымтачей Беспесбай, но правильно выбранное, дружное противостояние кокенцев, организованное Бостаном, принесло им полный успех. Долго еще говорили в народе, как умно он поступил, распорядившись собрать в один огромный косяк лошадей тридцати аулов. Одновременно охранять табун и выставить большое ополчение против барымтачей, силами тех же

табунщиков, объединенных в мощный кулак с джигитами боевой дружины, было замечательно мудрым решением.

Также было удачным ходом – вечером гнать лошадей в сторону Семейтау, а с наступлением темноты скрытно переместить табун к аулам с подветренной стороны.

Сто крепких, матерых барымтачей на ста отборных скакунах, заклявшихся не возвращаться с барымты, не захватив весь косяк, – даже и не увидели его в эту ночь своего разгрома и полного поражения.

И все же Беспесбай и Саптаяк сделали со своими людьми последнюю отчаянную попытку прорваться к табуну, но навстречу им вылетела из аула лава всадников, погнала их назад.

Наконец, подгоняемые все громче и победнее звучащими боевыми кличами кокенцев: «Аттан! Аттан!», «Окружай!», «Круши!» – тобыктинцы побежали. О великой добыче им теперь не приходилось думать – только бы спасти свои шкуры. Беспесбай, Саптаяк и Дубай, сражавшиеся впереди своих ватаг, сговорились и быстро, все разом повернули коней назад. С криками: «Назад! Сражайся, отступая!», «Держись вместе!», «Не попадай в плен!» – главари кинулись в отступление, увлекая за собой поворотивших коней тобыктинцев.

Их на земле осталось лежать около десятка человек. Примерно столько же кокенцев сшибли с седел, поразбивав им дубинами головы, лихие джигиты барымты – Беспесбай, Жаркымбай, Саптаяк, Дубай, Кулайгыр, Кусен…

Раненые тобыктинцы, не потерявшие сознание, увидели отступление своих и стали подбегать к ним, хвататься за уздцы, за стремена, умоляя захватить их с собой. Но не всем повезло, только человек пять-шесть смогли уйти от плена, забравшись на коней, сидя сзади отбивавшихся от преследователей барымтачей.

Итак, не сумев захватить хотя бы одного жеребенка в аулах вокруг озера Тущиколь, тобыктинский отряд откатился назад, изрядно поредев. Налетчики бежали, продолжая на ходу отби-

ваться от наседавших победителей. А те гнали их до самой лощины Кандар и далее за перевалы Кокена, нещадно побивая. Только за Кокеном преследователи отстали, и тогда потрепанные, истерзанные барымтачи начали оглядываться и собираться вместе, считать товарищей.

Оказалось, что в отряде тринадцать человек утеряны, больше двадцати боевых коней с седлами не хватает. В сражении с дубинами, старинным оружием степняков, у многих разбиты головы. Некоторые, сидевшие за спинами уцелевших, притянутые к ним арканами, были без сознания, мотали окровавленными головами. Вид тех, что уцелели, был измученным и жалким, все они также были в крови.

У Беспесбая в бою сбили тымак, он туго перетянул окровавленную голову поясным платком. Кровь, стекавшая с его круглого выпуклого лба, оставила черные дорожки вдоль крыльев носа, застыв сосульками на усах и бороде. Саптаяк, с подвешенной на платке рукою, видимо, перебитой, еле удерживался в седле, весь согнувшись, опираясь на камчу грудью. Дубай, Жаркымбай, Кулайгыр и другие – все разбойники были ранены, в крови, с выбитыми зубами, с разбитыми кровоточащими коленями, по которым пришелся удар шокпаром..

Но ни один из матерых главарей набега не попал в плен, хотя им тоже досталось немало. Попавшие же в плен тринадцать барымтачей все были из пастухов, табунщиков, дояров, верблюжьих пастухов, которых их баи втянули в барымту. И теперь вся тяжесть кары, которая последует за разбойное нападение, обрушится на их головы. Каждый из них будет называться отныне «врагом уаков».

Захмелевшие от кумыса кобылиц из табунов Оразбая, отправленные им на грабеж конокрады возвращались ни с чем, как побитые собаки, униженные и опозоренные.

Также оказались опозоренными Оразбай и все его окружение – Жиренше, Абралы, Такежан. В своей гордыне и спеси, – уверенные в собственном могуществе и безнаказанности, эти

степные владетели несметных стад, собравшие сотню воров и отправившие их за легкой добычей, потерпели сокрушительное поражение. Чванливые, самонадеянные, они переоценили свои силы и воистину стали посмешищем перед всем народом.

2

Уже вторую неделю шел большой сход тобыктинцев, кочующих по волости Бугылы. Для схода был выбран дальний джайлау, где ставили свои очаги люди из родов Тасболат, Есболат и Карамырза. Вся эта местность славилась сочной травой для покоса и обилием бегущей воды. Всюду, насколько хватало глаз, простиралась зеленая равнина с частыми проблесками ручьев, речушек и стариц, а посередине высился видный со всех сторон света Большой Коксенгир.

Так называлась единственная гора в округе, казавшаяся еще более высокой оттого, что на расстоянии конного перехода не было других вершин. Горы, стоящие за Чингизом, – Бугылы, Машан, Акшатау, а также Карашокы, Тезекти, не менее высоки, но все же не кажутся таковыми, поскольку окружены значительными холмами и отрогами. Кроме того, Коксенгир притягивает взор своим иссиня-зеленым цветом, ясно выделяясь на ровной глади степи, как бы громогласно утверждая – я здесь!

У подножия Коксенгира, особенно с северной его стороны, где из глубины горы бьют многочисленные родники, расселилось великое множество людей. Ручьи с чистой ледяной водой бегут со склонов вниз, сливаясь в быстрые реки, которые, успокаиваясь, вьются по обширной низине. Эти благословенные места сенокосного разнотравья с живительной водой и горной прохладой, с густыми обширными лугами, удобными глинистыми склонами стали самыми лучшими джайлау на много верст вокруг.

«Нас тут и так видимо-невидимо!» – говорили местные степняки, постоянно разъезжающие по гостям, а теперь сами вынуж-

денные принимать многочисленных пришлых участников схода. Это было не обычное собрание по поводу выборов и съездов, не ас, довольно редкий в этих местах, но чрезвычайный, впервые проводящийся среди местных казахов сход, который они промеж себя прозвали – *санак*[1].

Временные жилища для участников схода были поставлены довольно причудливым образом. В самой середине заметным куполом возвышалась большая восьмиканатная юрта, к ней впритык примыкали четыре шестиканатных, дверь в дверь. Далее, окружая это крестообразное сооружение, в трех местах стояли, сомкнутые четверками, белые, разукрашенные орнаментом шестиканатные юрты, а вокруг уже без всякого плана размещалось не менее сорока небольших юрт. Издали казалось, будто здесь происходит некая грандиозная многолюдная ярмарка.

Эти своеобразные степные войлочные дворцы поражали воображение, заставляя проезжающих удивленно цокать языком, – да и внутри также было на что посмотреть. Богатое, разнообразное убранство из ковров и алаша, больших тускиизов и разноцветных пологов отличало эти дома не только от простых казахских очагов, но и от юрт, что ставили для крестьянских начальников и даже от дома уездного главы, ояза. Все говорило о том, что цветистый городок ставился с особым старанием, как проявление единой воли всех баев этого зеленого и водоносного джайлау, с явным намерением проявить особое уважение и почет к людям санака.

Одним из распорядителей схода был бай Оразбай, всесильный аткаминер, прославившийся на весь край своим трехтысячным табуном, считавший себя главарем рода Есболат численностью в четыреста очагов. Именно по распоряжению Оразбая и была поставлена восьмиканатная юрта среди домов для переписчиков, возвышавшаяся тут, словно шатер хана некой всемогущей орды. Мало кто знал, что Оразбай не сам был зодчим

[1] *Санак* – перепись населения.

этой идеи – ее подсказал сын бая, волостной глава Елеу. Этим громадным куполом здесь оказывали почет и уважение одному чиновнику-казаху, из больших начальников, который и спешился возле шатра вместе со своим денщиком, стражником и личным секретарем – русским джигитом.

Около двадцати юрт заняли переписчики, помощники этого большого начальника, – чиновники, пожилые женщины и джигиты, которым и предстояло провести санак. По-иному эти люди назывались регистраторами: среди них были русские и казахи, владеющие грамотой, кроме того, к санаку привлекли двадцать толмачей. Казахи из группы чиновников-регистраторов были в основном мелкими судьями, возрастом между тридцатью и сорока, а толмачи – и вовсе юнцами, учащимися лет семнадцати-двадцати.

Эти мальчишки, будучи на летних вакациях, которые длились у них обычно два-три месяца, нанялись на службу не только с целью заработать, но и чтобы хорошо провести время. Денег за санак им вполне хватит на пропитание, сносную жизнь до конца учебного года, а несложные обязанности они превосходно сочетали с увеселениями на зеленом джайлау. Свою легкую, привычную службу толмачей они обычно заканчивали до обеда, а затем садились на коней и устраивали скачки. По ночам джигиты гуляли с девушками, встречаясь с ними в укромных местах за окраиной аула… Порой, уговорив старших чиновников, отправлялись на охоту – преследовали по склонам Коксенгира зайцев, носясь туда-сюда вместе со сворой быстроногих гончих собак.

Юные толмачи, если их разговорить, весьма расхваливали своего начальника, чиновника-казаха, который руководил санаком. К ним присоединялись и некоторые регистраторы постарше, из городских казахов. Благодаря этим слухам, Оразбай и его сын Елеу составили свое, довольно преувеличенное, мнение об этом человеке…

Кроме студентов, на сходе работали и более опытные толмачи, специально приданные четырем волостям рода Тобыкты. Они прибыли из Семипалатинска ранее других, чтобы собрать людей на сход. Среди них был и толмач окружного суда Сарманов, а также толмач банка, тобыктинец по имени Данияр.

Волостные главы Жанатай, Елеу, Азимбай и самый юный из них, управитель из Коныркокше Самен были охочи до развлечений, равно как и прибывшие на сход семипалатинские толмачи и судьи. Сразу по прибытии эти полные сил мырзы спешились в ауле Оразбая, где для них забили жеребенка-стригунка, и шумная ватага городских и местных молодцов предалась веселью на лоне прекрасной долины. Тем временем волостные главы распорядились поставить сорок-пятьдесят новых белоснежных юрт у Ортабулака, а посередине – большую восьмиканатную юрту-шатер, как уже было сказано, по распоряжению Оразбая и совету его сына Елеу.

Подобными изысками степного зодчества они пытались не только угодить чиновникам вообще, но с особым почетом принять именно чиновника-казаха, возвеличив его как среди всех остальных, так и перед жителями окрестных аулов. Санак, о котором так много говорили в последние дни в доме Оразбая, не будет кочевать по другим волостям тобыктинцев. Когда закончат ставить причудливый поселок из разных юрт, наладят за ним должный присмотр, приготовят скот для забоя, сюда хлынет целая орда чиновников, значительный отряд, численностью не менее, чем присутствие солидной городской конторы. И вот, среди их всех, русских и казахов, больших и малых, – самым значительным и уважаемым, живущим в центральном восьмиканатном шатре и будет сановный казах по имени Азимкан…

Об этом важном начальнике особенно лестно отзывались гости дома Оразбая, заранее прибывшие на сход. Человек этот, по их словам, учился не где-нибудь, а в Петербурге. Был он гораздо образованнее и значительнее всех здешних казахов, что и немудрено: ведь он рос и совершенствовался в тесной

дружбе исключительно с аристократической молодежью обеих столиц, с князьями да знатными дворянами. Он вхож в высший свет: вращается в обществе, близком к белому царю.

– Имел дело аж с восемью министрами! – возвестил один из волостных за дастарханом Оразбая.

– Младшие братья, племянники и даже дети жандаралов, что повыше корпусных, воспитывались рядом с ним! – подхватил другой.

– Он на короткой ноге с многими русскими миллионщиками, особливо из нового поколения! – заявил третий.

– Как ему, казаху, удалось так возвеличиться? – с удивлением вопрошал Оразбай.

На это толмачи и судьи, сидевшие за дастарханом, поведали историю чиновника, переданную понаслышке. Оказывается, этот торе сам был выходцем из родовитой среды – вот почему и дружил с русскими дворянами. Он был не кем иным, как внуком самого Жабай-хана, некогда державшего власть над всем Средним жузом. Старшие братья его отца, Куспек и Жамантай, по очереди долгие годы занимали должности глав Каркаралинского дуана. Именно они некогда низвели Кунанбая, отобрав у него должность ага-султана. По их наущению Кунанбая призвали в Омск для ответа, возвели на него следствие, чуть было не отправили в ссылку в «дальние земли собачьих упряжек, на край земли – в Сибирь».

Наверное, что-нибудь сверх того добавит и сам едущий торе, и даже скажет, в каком году-месяце произошло означенное событие, ибо сам был его свидетелем.

Говоря обо всем этом, льстивые чиновники не забыли намекнуть, что история с Кунанбаем делает легендарного сановника-казаха родственной душой Оразбаю, Елеу, Самену и Жанатаю, которые борются с его потомком.

Рассказ этот весьма понравился Оразбаю. Сидевший поначалу молча, насуплено слушая похвалы ожидаемому торе, он стал понемногу оттаивать. Причина была в том, что он, как

всегда, вспомнил о своем давнем сопернике – Абае. Оразбай никогда не думал, что Абай выше него, напротив, он полагал себя значительнее Абая по авторитету и достоинству в глазах людей, а также, разумеется, – по богатству и мощи. Лишь одного он не мог оспорить – происхождения Абая. Отцом Абая был сам Кунанбай, отец же Оразбая, Аккулы, родился среди черни, он и баем-то не был.

Львиную долю своего богатства Оразбай добыл собственноручно, а начало знаменитым тысячным табунам положил простым воровством. В молодости был горяч, творил по всей округе набеги, полностью доверяя поговорке: «Коль узнают – барымта, не узнают – сырымта»[1]

Торе, которого ждали, отпрыск Жабай-хана, не особо лестно отзывался об Абае, что и понятно: чувствовалось, что это был сильный сановник, который ни во что не ставит ни самого Кунанбая, ни его сына. Как шепнул Сарманов, родовитый чиновный казах довольно хорошо говорил об Оразбае по пути сюда, зная о том, что сделал Оразбай в прошлом году.

Выйдя из Каркаралинска, проводя перепись на многих больших джайлау, он был достаточно наслышан о делах рода Тобыкты. Дошли до него и слухи о том, как нынешней весной Оразбай, отрядив сто джигитов, совершил налет на кокенцев. Доносили, что он не только не порицал Оразбая за такое деяние, но и восхищался им, говоря: «Какая смелость – совершить налет! Чего только стоит лишь один такой поступок!» По слухам, он также назвал Оразбая самым крепким казахом края и обещал первым поприветствовать его среди тобыктинцев.

Наслышанный обо всем этом, Оразбай ни минуты не колебался, когда Елеу предложил поставить у подножия Коксенгира не тридцать, как просили, а целых пятьдесят белоснежных юрт, а посередине установить пять соединенных юрт, как ханскую орду, что было и лестью, и выражением высшего почтения славному торе. И теперь, прекрасно зная, что те донесут

[1] *Сырымта* – ответный на барымту угон скота.

его слова кому надо, Оразбай не скупился на похвалы в адрес чиновника-казаха.

– Кому же воздвигать ханскую орду, как не ему? – с жаром говорил он перед семипалатинскими толмачами. – Он и русский чиновник, и самый достойный из казахов, родовитый, настоящий хан! Его удостоил своею милостью сам белый царь. Кому ж другому оказывать такие почести?

Несколько дней назад Оразбай предусмотрительно отправил навстречу чиновнику свой салем: «Пусть большой торе приезжает в Коксенгир и здесь проведет перепись людей всех четырех волостей рода Тобыкты. Раз суждено ему быть среди тобыктинцев, то уж мы примем его с честью. Пусть приезжает только к нам и да не решит кочевать ни на какое другое место».

В эти дни Оразбай всюду без умолку расхваливал будущего гостя, всем аксакалам, карасакалам рода Тобыкты, с кем сидел за трапезой или кого встречал в седле, говорил приблизительно одно и то же:

– Слышал я, что торе о многом сведущий человек. Умен, образован, так что многие наши казахи ему даже в подметки не годятся! Вот мне все уши прожужжали Абаем: он и знаток, он и образован… Посмотрим же, как будет выглядеть перед этим торе этот несчастный Абай! Ни дать, ни взять – как простолюдин перед муллой…

Наконец окрестности Коксенгира огласились заливистым звоном многочисленных медных колокольчиков – это на пяти крупных повозках, ведомых тройками отменных лошадей, приехал долгожданный гость Оразбая – большой торе Азимкан, в сопровождении молодых чиновников и толмачей, главным образом, своих сверстников, таких как Сарманов и Данияр. Отложив другие дела, он спешился в ауле Оразбая, с явным намерением поприветствовать его прежде всех.

Днями он работал, а вечерами гостил либо в доме самого Оразбая, или же, что чаще, – у Елеу. Вместе со своей свитой торе проводил время в удовольствиях, развлечениях, преда-

ваясь вполне заслуженной неге. Все эти люди, приехавшие «с добрым и дружеским намерением», съедали за раз целого жеребенка-стригунка, да еще двух-трех ягнят раннего окота. Сидя в теплом кругу аксакалов, карасакалов, а также молодежи – Елеу, Азимбая, Самена, других аткаминеров во главе с Оразбаем, знатный торе подолгу и с увлечением рассказывал о том, что видел и слышал в своей жизни.

Эти чрезвычайно интересные рассказы выставляли чиновника в самом выгодном свете, что подвигало и остальных на разные лады расхваливать его. Впрочем, на всех устах преобладало прежнее суждение, некогда высказанное Оразбаем: «Наш гость из знатного рода, он потомок хана, правившего Средним жузом. Весьма достойный человек, настоящий хан-торе! Похоже, и сейчас, при российской власти, именно он и будет начальником всех казахов края».

Эти слова и стали своего рода посланием, тотчас распространившимся среди баев, биев, хадж, волостных и аткаминеров. Уже спустя неделю после приезда начальника до всех джайлау рода Тобыкты дошла слава о нем, впрочем, замешанная на чрезмерной лести и явно преувеличенных похвалах.

К примеру, волостные Азимбай, Самен, Жантай, приехавшие на сход издалека, тотчас передали весточки своим людям, специально приглашая их сюда. Дескать, скачите немедленно, познакомим с торе Азимканом! Знатный, влиятельный торе, как среди русских, так и среди казахов. Приезжайте, не пожалеете!

Именно таким образом, по салему Азимбая, в Коксенгир приехал Шубар. Было время, когда он стремился угодить Абаю, представляясь вполне благорасположенным другом. Все это оказалось сплошным притворством: на самом деле Шубар словно охотился за врагами Абая, стремясь найти с ними общий язык и даже завязать дружбу. У Шубара давно зрели свои замыслы против Абая, и он связывал их с его недругами.

Поняв, что Азимбай еще более упрям и напорист, нежели Такежан, да еще имеет весьма мстительную натуру, Шубар назвал

его своим «близким родственником» и «закадычным другом». Порой, сидя вдвоем или в компании того же Такежана, они честили Абая, налепляя на него самые черные ярлыки. Все это продолжалось из месяца в месяц, из года в год, особенно в те времена, когда Абаю приходилось вмешиваться в различные раздоры степи…

Абаю не хотелось верить, что Шубар настолько коварен, хоть и чувствовал нутром его злобную душу. Понимая, что Шубар преисполнен зависти, Абай все же считал его неспособным на коварство и месть. Он и представить себе не мог, как ошибался на его счет: вот уже многие годы Шубар с величайшей осторожностью строил против него козни. Пуская перед собой кого-то другого, хитрого и жестокого, Шубар постоянно оставался в стороне. Он будто бы мстил Абаю, целясь из-за чужого плеча. В роли таких людей выступал то Оразбай, то Такежан, порой – Азимбай. Осторожно понукая плутоватых задир из своего рода, таких как Жиренше, Абдильда, выпускал их вперед, а сам прятался, исчезая за их спинами. Шубар всегда умел найти слова, чтобы натравить на Абая и городских баев – войлочника Сейсеке, мясника Касена, незаметно распалял, разжигая желание мести у Жакыпа, хазрета, халфе из мечетей, медресе.

В своих кознях Шубар ловко использовал знания, полученные им за годы обучения в медресе. Когда-то он достаточно начитался книг мусульманских мудрецов и вовремя мог блеснуть красным словцом, держать себя на высоте в общении с Азимбаем, Оразбаем, Такежаном и другими ревностными мусульманами края.

Шубар самостоятельно освоил и русский язык, смолоду подвизаясь в волостных и уездных чиновничьих кругах, поэтому и даже в разговорах с Абаем мог должным образом проявить себя как человек образованный. Он умел показаться сторонником Абая, близким ему человеком, делая все то, что делали молодые люди его окружения – Магаш, Какитай, Дармен, участвуя

вместе с ними в поэтических айтысах. Так, Шубар помнил все стихотворения Абая и, если надо, мог продекламировать, пропеть многие их них.

В отличие от Азимбая и Такежана, Оразбая и Жиренше, которые не знали и знать не хотели никаких стихов Абая, столь открыто его ненавидели, что ни единого слова акына не исходило из их уст, – Шубар прекрасно знал всю кладезь его поэзии, хотел видеть все то, что видел Абай, знать все то, что знал он, за все цеплялся, что открывал Абай в искусстве, тщеславно стараясь ни в чем не отстать от него. Тем не менее, запросто входя в круг Абая, будто бы свой, он был для него одним из тех сородичей, о которых Абай говорил: сегодня – друг, назавтра – враг. Шубар не был лишен как раз тех подлых свойств, о которых не раз писал Абай, отмечая всяких наглецов и плутов: «Все твое сокровенное выдаст врагу!»

Так и выходило: теперь Шубар, вместе с Оразбаем, Азимбаем и другими, подобными им, жаждал поприветствовать казахского торе, которого последние недели, с легкой руки Оразбая, все превозносили словно хана.

Сегодня вечером орда из пяти юрт, поставленная Оразбаем, была полна народу: торе Азимкан, закончив дневные дела, принимал гостей. Он важно разлегся на белоснежных подушках и говорил о многом, удивляя собравшихся своими глубокими познаниями, особенно – в области родословных казахов.

То ли вычитав из книг, то ли благодаря своему высокому происхождению зная предмет разговора с малых лет, он так говорил об истории рода Тобыкты, что никто из сидевших здесь, а это были довольно умудренные главари родов, не слыхал ничего подобного.

Касаясь вопроса, каким образом Казахская степь вошла в подданство России, Азимкан поведал следующее:

– Казахи Младшего жуза подчинились белому царю ровно сто шестьдесят семь лет назад. Этому немало способствовал хан Абылхаир. Внес в это дело свою лепту и наш предок – хан

Жекей, когда Средний жуз перешел в подданство России благодаря Аблай-хану.

Слушатели – Оразбай, Есентай, Жиренше и остальные – одобряюще зацокали языками, причем Жиренше удивленно пробормотал, правда, довольно громко, чтобы торе услышал его:

– Барекельди, вот он каков! Предок якшался с самим белым царем, а он, видать, продолжает его дело, словно цепь золотая выстраивается. Достойный человек, наш торе!

– Сорок лет прошло с тех пор, – продолжал Азимкан, пуще распаляясь от брошенного замечания, – как Старший жуз перешел под подданство русских, и сделали это наши ханы, сыновья Аблая по имени Сок и Адиль. Да и Кунанбая сняли с должности ага-султана – кто? Мои родные старшие братья Куспек и Жамантай! – чванливо закончил он.

Казахи этого края не произносили имени Кунанбая всуе, почтительно называя его «хаджи», даже Шубара и Азимбая, сидевших тут же, не называли отпрысками Кунанбая, а величали потомками хаджи. И сейчас, когда торе назвал хаджи Кунанбая просто Кунанбаем, Оразбай и Есентай, не удержавшись, громко, одобрительно зашумели. Оразбай счел это тяжелым ударом – прямо по голове его врага Абая, сына Кунанбая.

Оразбай очень хотел, чтоб сидящий на белоснежных подушках торе продолжал в том же духе, он улыбался ему, радостно поддакивал, чтобы торе говорил и говорил, а тобыктинцы внимали его словам. Тот, в свою очередь, попался на эту удочку и говорил, заметно возбуждаясь…

Он с увлечением рассказал, как жили казахи при правлении Чингизхана, восхваляя четырех его сыновей, подчинивших себе все четыре стороны света. Оразбай и все присутствующие даже и не слыхивали ни о чем подобном. Тем не менее, пока не принесли чай, Азимкан потчевал всех своим пространным рассказом:

– Касымхан избрал Светлую дорогу, а Есимхан – Старую[1] Родословная же всех ханов, правивших над казахами трех жузов, связана с еще одним сыном Чингиза – Джучи. Я и сам не так далек от этих родов и являюсь, хоть и не прямым, но все же потомком Чингизхана.

Все эти слова также воодушевили Оразбая.

– Иншалла! – воскликнул он. – Теперь казахами и должен править такой человек, чья родословная происходит от ханов, – образованный, познавший и мусульманскую, и русскую культуру, удостоившийся милостей самого белого царя!

Желающих послушать речи Азимкана-торе, как теперь его называли, собралось столько, что они еле вместились даже в восьмистворчатую юрту. В шести-семи местах были расстелены дастарханы, там бурлил кумыс и запрокидывались чаши, глаза разгоряченных гостей горели, обращенные в сторону Азимкана-торе, который начинал свой очередной рассказ, как и все предыдущие – весьма интересный и новый для слушателей, изрядно удививлявший почтенное собрание аксакалов и карасакалов, биев и баев, главарей родов, не очень-то знавших историю своего народа.

На этот раз торе поведал, откуда пошло деление казахских земель на волости и уезды, чем вызвал особенное восхищение у Оразбая и Азимбая. Названные цифры численности казахов по волостям почему-то привели в чрезмерный восторг Шубара и Елеу, которые наперебой загалдели:

– Е, почтенные, слушайте! Это говорит тот, кто будет теперь во главе народа!

Азимкан назвал общую численность всех казахов, живущих на Земле, кроме того, столько-то миллионов, особо заметил он, проживает под властью России. Затем он привел численность казахов по каждой местности:

---

[1] Речь о сводах степного обычного права – «Светлый путь» Касымхана и «Старый путь» Есимхана.

– В Астраханской губернии проживает двести шестнадцать тысяч казахов. В Уральской области – четыреста двенадцать тысяч. В Тургайской области – триста тридцать восемь тысяч, в Акмолинской – триста сорок одна тысяча. В пяти уездах Семипалатинской области, где сейчас проживаете вы – пятьсот сорок семь тысяч. В долине Жетысу – шестьсот тысяч. По берегам Сырдарьи, в стороне Туркестана, Ташкента – семьсот тридцать тысяч казахов. Эти края – самые плотно заселенные места!

Осоловевшие от обильных чаш кумыса гости подняли восторженный гомон, со всех дастарханов только и слышалось подобное:

– До чего же много казахов!

– Барекельди! Вот это знание!

– Настоящий хозяин! Кому другому известно, сколько где живет казахов!

Конечно, степняки, сидящие здесь, в глаза не видели «Энциклопедического словаря», изданного в Петербурге в 1895 году, 15 том которого и цитировал образованный чиновник.

Теперь все, развалившись на подушках, от кумыса красные, принялись расхваливать Азимкана-торе, да непременно так, чтобы он хорошо расслышал, что о нем говорят.

– Вот что значит – глубокие знания! – воскликнул Жанатай.

– Какая казахская голова, какой шенен-оратор может так точно посчитать всех казахов? – вторил ему Самен.

– Он и вправду, как говорит Оразеке, будущий хан казахов, – сказал, поглядев на отца, Елеу.

– Да, и сам – истинных ханских кровей, – подал свой голос Шубар.

– Полагаю, он задумал пересчитать всех казахов, а затем и объединить их навеки! – заключил Жиренше.

Воодушевленный всеобщим восхищением и также весьма хлебнувший кумыса Азимкан продолжил излагать статью из «Энциклопедического словаря», которую он когда-то вытвердил

наизусть. Теперь торе перешел к дополнительным сведениям, набранным в книге мелким шрифтом:

– Помимо перечисленных казахов, около сорока тысяч населения Уральской, Торгайской областей располагаются до самых Уральских гор. Казахи живут даже в таких уездах, как Верхне-Уральский, Челябинский, Троицкий. Тысячи казахов проживают на территории Хивинского ханства. Среди теке-туркменов по берегам Амударьи проживают около сорока тысяч казахов. В Самаркандской области насчитывается двадцать тысяч, а в окрестностях Каспия – еще более сорока. Немало казахов располагается на территории Китая, в верховье Черного Иртыша, на южных отрогах Алтая, между его грядами, по этой, по той стороне Тарбагатая и Сауыра[1].

Слушая все это, даже не успевая осмыслить, каждый тобыктинский бай, прежде качавший головой и цокавший языком, теперь уж и вовсе сидел с раскрытым ртом от удивления. Будто бы выражая всеобщее мнение, с короткой, но пламенной речью выступил Оразбай:

– Дай Бог тебе удачи, голубчик Азимкан! Уже вторую неделю слушаю твои слова, не могу нарадоваться на тебя, даже и не знаю, что еще сказать в благодарность! Кому, как не тебе, каждый из нас может теперь сказать. «Ты – хан мой, я – подданный твой»? Иные казахи, мнящие себя мудрецами, даже жертвенными агнцами не смогут стать для тебя.

Сказав так, Оразбай громко расхохотался, подмигнул единственным глазом Жиренше, кивнул Азимбаю. Оба они, конечно, поняли, что под недостойным жертвенным агнцем он разумеет Абая, с которым был во вражде, как всем уже давно казалось, – вечной, непримиримой, начавшейся, видимо, еще с колыбели…

Когда уже под утро гости стали расходиться, источив Азимкану-торе все возможные запасы славословия, тот вдруг прервал Шубара, который приставал к нему с какими-то невнят-

---

[1] *Сауыр* – горный хребет в Зайсанском районе.

ными объяснениями по поводу чего-то незначительного, неожиданным вопросом:

– Правда ли, что в здешних местах есть некий Абай, сын Кунанбая, который пишет стихи и знает русский язык?

Шубар, который как раз бормотал в это время что-то вроде: «Мне бы хотелось узнать у вас… поведать кой о чем…» – остолбенело уставился на торе.

Да, конечно, он знает тут одного Абая, он, кстати, его близкий родственник… Кумекает и по-русски… Шубар был в замешательстве. Сказать правду об Абае он не мог: зависть затыкала ему рот. Но Азимкан вдруг спросил напрямую:

– Правда ли, что Абай переводит на казахский язык русских поэтов?

Похоже, Азимкан знал гораздо больше, чем это предполагал Шубар…

– Да, Абай переводит с русского, – сказал он наконец правду. – Сам пишет. Часто читает мне свои сочинения… По-родственному, – добавил Шубар, делая вид, что потому был столь сдержан, что не хотел, чтобы все подумали, будто он расхваливает своего родственника…

– Может, знаешь, какие стихи Пушкина, Лермонтова он перевел? – спросил он.

Тут только Шубар понял, что вовсе не стоит ему скрывать правду об Абае, ведь именно эта тема может помочь ему сблизиться с торе! Ох, хорошо, что он не ушел в гостевой дом вместе со всеми, а задержался подле чиновника…

– Знаю! – уверенно ответил Шубар. – Все стихи Абая знаю наизусть.

– Ну, я хочу услышать их. Будешь возле меня завтра и прочитаешь! Договорились? – спросил Азимкан.

Шубар часто закивал головой, что неожиданно рассмешило торе.

Он и вправду слышал об Абае, о его стихах, которые уже доставили ему немалое удовольствие. Летом прошлого года он заезжал из Петербурга в Семипалатинск, затем направился

в сторону Каркаралинска. Заночевать пришлось у одного бая рода Бура, в ауле у подножия Семейтау. В соседней юрте слышался праздничный шум, похоже, там веселилась молодежь. Азимкан, сидевший за дастарханом с хозяином аула, стал прислушиваться к незнакомым песням…

Спросил хозяина: оказалось, гулянье устраивалось в честь приезда жениха, который прибыл не один, а привез с собой какого-то певца, довольно известного в окрестности Семейтау, среди людей рода Кокен. Азимкан немедленно попросил пригласить певца.

Это был весьма крупно сложенный казах, с круглым светлым лицом, которое удачно подпирала снизу черная подстриженная бородка. Певец удивил Азимкана не только своей приятной наружностью. Первое, что он спел, было «Письмо Татьяны».

Эти слова, прозвучавшие по-казахски, смутно что-то напомнили Азимкану, но само их явление в этой далекой глуши мешало сразу распознать принадлежность…

– Ну а теперь, – важно объявил светлолицый певец, – послушайте, что ответил на это письмо пылкий джигит Онегин…

Азимкан с удивлением понял, что его догадка оправдалась. Он быстро оторвал голову от подушки, потянулся к певцу и спросил в присущей ему простоватой манере:

– Ойбай! Не о джигите ли Онегине по имени Евгений ты тут говоришь?

Певец заметил, как бы между прочим, не оборачиваясь и намеренно важничая:

– Видать, ты и сам знаешь, господин хороший! Конечно, тут идет речь о Татьяне и Онегине.

– Е, а ты откуда их знаешь?

– Кто же их не знает?

– Да кто они такие, по-твоему?

– Как кто? Девушка и джигит. Про них написал Пушкин, такой же акын, как я, только русский. А песню про них, что на казахском языке, написал наш друг, большой акын Абай!

Светлолицый певец был не кто иной, как близкий друг Абая Мука́. Именно от него Азимкан впервые услышал имя Абая и представлял его диким степным акыном.

В этом году, выехав на санак, двигаясь дальним путем от Караоткеля, Каркаралинска, от самого Барнаула до здешних мест, он не раз слышал от разных людей песни, стихи, назидания, принадлежащие Абаю. И вот теперь, когда ему попался Шубар, знающий Абая, он целых полдня сидел, внимательно слушая песню за песней.

Впрочем, стихи сами по себе Азимкан не любил – знал их только в силу своего общего образования. Слушая Шубара из чистого любопытства, он совершенно не понял стихов Абая, тех, что были написаны по-казахски, на языке народа, к которому принадлежал и сам Азимкан.

Конечно, ему было любопытно послушать, как странно, забавно звучат на степном наречии Пушкин и Лермонтов, он был даже очарован этими словами и звуками… Но, едва Шубар перешел собственно к песням Абая, обращенным к простым степнякам, сиятельный торе потерял интерес к поэзии и предпочел просто поболтать.

– Вот Бухар-жырау – точно был хорошим акыном! – сказал Азимкан-торе, очевидно, с присущей ему непререкаемостью суждений, хоть и не сравнивая того явно с Абаем, но, несомненно, считая Бухара выше него.

Здесь, сам о том не догадываясь, образованный торе почти повторил слова из басни Крылова «Осел и соловей». Шубар же, зная, что Абай недавно перевел эту басню, вспомнил, как мудрствовал осел, с удивлением и интересом выслушав песню соловья. «Песня твоя хороша, только вот тебе следует немало поучиться у петуха», – вспомнил Шубар суждение осла и, несмотря на свою неприязнь к Абаю, скрытно улыбнулся в усы.

Что бы там ни было, каких бы ни испытывал Шубар личных, глубоко запрятанных чувств, он считал Абая большим поэтом. Тем досаднее ему было сознавать, что Абай идет, как он ис-

кренне полагал, по неверной дороге – как в стихах, так и в жизни. Абай порицал, прилюдно позорил хороших людей и ставил на пьедестал всяческих изгоев казахской среды, чернь разную и бедноту. Зачем? Ведь он мог бы, с присущим ему талантом и остротой, воспевать героические подвиги ханов, настоятельно утверждать мусульманские обычаи и традиции шариата. Именно тогда, по мысли Шубара, из Абая мог бы получиться акын, стяжающий любовь всех достойных казахов…

Тем не менее, сидя перед лицом сановника, Шубар вел свою игру и, решив подыграть Азимкану-торе, поведал еще кое о чем касательно Абая, думая несколько настроить чиновника против акына.

– Кстати о Бухаре-жырау, – будто бы между прочим подхватил Шубар. – Наш славный Абай как-то сочинил на Бухара и других акынов насмешливые стихи, словно рогом поддел их.

После такого вступления, Шубар пропел нарочито громким голосом, заставив торе даже слегка нахмуриться:

Бухар-Жирау, Шортанбай и Дулат,
Песни их все из пестрых заплат!

Закончив, Шубар подмигнул Азимкану, смешно задрав голову и вытянув подбородок.

Азимкан не оценил кривлянья: он хлопнул себя по ляжке, давая понять, что больше не хочет слушать никаких песен Абая. Тихо, но высокопарно он заговорил о Бухаре-жырау, называя его совершеннейшим акыном своего времени, достойно воспевшим подвиги прежних ханов, и явно намекая на то, что и деяние современных казахских сановников также не мешало бы отметить добротными песнями и стихами.

Спустя несколько дней Азимкан-торе, не объявляя до поры о своих намерениях, опять пригласил Шубара к себе. Придя в шатер орды, тот с удивлением увидел, что там уже ждет его волостной Елеу.

– Велите седлать коней, – объявил Азимкан. – Я собираюсь отправиться вместе с вами в путь!

Оказалось, что чиновник намеревается поехать к Абаю в Шакпак, куда от Коксенгира было полдня пути. На это неожиданное и странное решение высокого гостя хозяин Елеу не стал давать Шубару никаких объяснений: Азимкану-торе надобно, и все. Сын Оразбая не отходил от сановника целыми днями, считая, что стал ему верным и надежным другом, – и никак не обсуждал его поступков. Не произнеся ни слова, он велел быстрее готовить коней.

Выехали сразу же после утреннего чая, в окружении десятка джигитов свиты. Едва аул скрылся вдали, Азимкан, ехавший в середине ватаги, попридержал коня, пропуская всех вперед, и знаком предложил Елеу, Шубару и Азимбаю отделиться.

Разговор, который он начал в уединении с ними, касался Абая. Азимкан был достаточно наслышан об этом человеке, знал и его собственные суждения, и отзывы о нем, и сейчас у него было об этом самом Абае немало противоречивых мыслей.

Он готов был, скорее, порицать Абая, нежели хвалить, чему немало способствовали Шубар и Азимбай, бывшие возле него в последнюю неделю. Если бы Абая порицал один лишь Оразбай, то безоговорочно верить его слову было бы ошибкой, но мнение близких родичей, джигитов на трех конях, что ехали сейчас рядом с ним, было все же определяющим. Что, если спросить их напрямую, без обиняков?

– Чего же все-таки больше в вашем Абае, – спросил Азимкан, – хорошего или дурного? Пусть каждый из вас вспомнит какие-то случаи, а я сам решу, какую линию вести в беседе с этим человеком.

Теперь Азимкану оставалось только слушать и размышлять, а трое его спутников всю дорогу рассказывали ему о человеке, к которому он направлялся.

Начало положил Шубар. Когда-то он был весьма расположен к Абаю, но со временем охладел к нему, и были тому особые причины, о чем он и повел свой неторопливый рассказ.

Началось с того, что Абай умудрился настроить против себя ишанов, имамов, халфе семи мечетей Семипалатинска по ту сторону Иртыша, а особенно – обеих слободских, что произошло во время эпидемии холеры. Мало того, еще не утих этот скандал, как Абай способствовал бегству жесир, невесты-вдовы из аула Оразбая. В то время как весь его род пребывал в глубокой скорби и печали, эта шальная женщина сбежала с безродным, обнищавшим бедняком. Призвав на помощь русских судей, Абай увез ее в город под защиту тамошнего сановника, нарушив тем самым порядки и обычаи предков. Он и не кто другой заставил беглецов перешагнуть устои шариата, сбил их с истинного пути.

– Вот эти два поступка – поведение Абая во время холеры и особенно случай с дерзкой молодежью и заставили содрогнуться наставников-имамов, а все городское казахское общество – навсегда отвернуться от него. Вот что я никогда не смогу простить Абаю! – с обидой в голосе завершил Шубар, резко стегнув на последнем своем слове коня камчой, будто ударил самого Абая.

Вслед за ним разговор продолжил Азимбай, с места в карьер начав ругать Абая. Азимбаю больше всего не нравилось то, что Абай не раз вступал в раздоры с волостными края, хаджи, баями. И все из-за чего? По большей части, он мнил себя великим защитником всяких жатаков, обнищавшей голи, которая сама виновата в своем жалком положении – все эти многочисленные земледельцы и косари, еле влачащие свое ничтожное существование… Именно из-за них Абай постоянно ссорился с достойными, родовитыми людьми, даже до того дошло, что он хватал за грудки своих родных и близких, таких как Такежан, старший брат, дядя Майбасар и он сам, Азимбай.

– Как волостной глава, – подытожил Азимбай, – я хорошо знаю, сколько заявлений-жалоб поступает от этих самых изгоев на подвластной мне земле, как часто разражаются споры-раздоры, затеваемые бедной, обнищавшей голью, и всех этих людей науськивает именно он, Абай!

Выговорившись, Азимбай насупился, уставившись на степной горизонт. Азимкан кивнул и перевел взгляд на Елеу, который до сих пор молча покачивался в седле, не слишком торопясь вступить в разговор. Сын Оразбая наловчился говорить весомо, с дальним прицелом, рассчитывая и выверяя каждое свое слово. Внимательно слушая первых двоих, он повторил некоторые факты, уже приведенные ими.

– Не буду говорить о прошлых делах, – начал он, – расскажу о том, что было нынешней весной. – Все дело в том, что этот Абай не только заступается за весь этот обнищавший сброд, но и науськивает, натравливает его на лучших, благородных людей нашего общества.

И Елеу, тщательно подбирая слова, порой замолкая, поведал о том, как Оразбай, собрав отряд, совершил набег на аулы рода Кокен. Зная, что Азимкан-торе особо хвалил Оразбая за это дело, оценивая его как отважное, решительное действие, как достойный гнев, совершенно не интересуясь справедливостью поступка Оразбая, Елеу не преминул заметить, что и здесь не обошлось без вмешательства Абая. Вместо того чтобы быть вместе с лучшими людьми рода Тобыкты, он отвернулся от них, назвал Оразбая, крепкого казаха, способного встать во главе рода, – как и сказал о нем по этому поводу Азимкан-торе, – так вот, Абай назвал Оразбая не иначе, как бестолковым сумасбродом! Сказал про кокенцев, дескать, они мирные земледельцы да портные, кроткие люди ремесла. Все его, Абая, заботы и чаянья только о них!

– Он даже пошел супротив двух своих младших сородичей, этих славных двух, – сказал Елеу, – что скачут теперь рядом с вами. И против старшего своего брата – Такежана. Говорит:

прошли времена разбоя и набегов, надо избавляться от вековых устоев, старых обычаев! Сегодня, мол, жизнь становится хорошей, а будущее будет еще лучше.

Молча, внимательно выслушав всех троих, Азимкан задал лишь один вопрос:

– Кто это сказал ему такое, про лучшее будущее? Какое будущее ожидает казахов, о чем это он говорит?

Первым опять заговорил Шубар:

– В этом отношении Абай не говорит о казахах. Говорит о России вообще. Мол, в России скоро будут перемены, изменятся существующие порядки, будет даже другое правление…

– Кто же все-таки надоумил его так говорить? – опять спросил Азимкан, настораживаясь. – От кого исходят эти слова?

Шубар и на этот вопрос мог ответить исчерпывающе.

– Е, всех этих мыслей Абай набрался от своих многочисленных друзей, ссыльных из глубинной России! – сказал он, отчего Азимкан вздрогнул и завозился в своем седле.

Шубар же не унимался: он поведал о Павлове, знавшемся с Абаем последние восемь-девять лет, человеке темного происхождения и сомнительных взглядов, о других ссыльных… Когда он закончил, джигиты свиты, что ушли далеко вперед, уже подъезжали к аулу Абая…

– Елеу! – вдруг крикнул Азимкан-торе, осадив своего коня.

Все с изумлением посмотрели на него. Чиновник переменился в лице: его густые брови были нахмурены, челюсти крепко сжаты.

– Елеу, я изменил свои намерения, – твердо сказал он. – Не поеду к этому Абаю! Не вижу никакого Абая, достойного моего приветствия. Заворачивай всех обратно, – сказав так, Азимкан сам, рванув поводья, резко развернул коня и поскакал, не оглядываясь.

Хотя Елеу и Азимбай были озадачены столь внезапным решением, оно было встречено ими в душе с великой радостью. Оба тотчас поскакали во всю мочь, крича и размахивая камча-

ми, быстро повернув джигитов назад. В тот же вечер, так и не повидав Абая, Азимкан возвратился в Коксенгир.

Оразбай, заслышав так скоро обернувшуюся ватагу, немедленно призвал к себе сына и набросился на него с расспросами. Слушая его рассказ, он прямо-таки не мог усидеть на месте, все просил повторить то суждения Шубара и Азимбая, как они честили его врага, то слова Азимкана-торе, как он порицал Абая, гневался на него. Радостный Оразбай то облокачивался на подушку, то вдруг замирал, выпрямившись, то опять начинал ерзать, сползая с тайтери, подстилки из шкуры жеребенка. Елеу, хоть и понимал чувства отца, сидел перед ним спокойно, излагая подробно все случившееся и произнесенное в этой несостоявшейся поездке…

Прошло два дня, и Оразбай пригласил Азимкана-торе в свой большой дом, настоятельно передав, чтобы тот пришел к нему один. По замыслу Оразбая, им удалось поговорить втроем – третьим собеседником стал Самен, волостной правитель Коныркокше, бывший из одного рода с Оразбаем, несмотря на отдаленность своих земель. Не так давно Самен раскрыл Оразбаю одну тревожную тайну, и теперь он решил поделиться ею со своим новым другом Азимканом-торе. Трое сидели без свидетелей, советуясь пока что накоротке, скрыто от кого бы то ни было.

Дело было в том, что через пятнадцать дней уездный глава Семипалатинска Маковецкий созывал чрезвычайный сход – шербешнай в ауле на Аркате, с целью расследовать столкновение между уаками и тобыктинцами. На сходе будут законно утверждены границы земельных владений двух родов.

Теперь уаки ходят по биям Семипалатинского уезда, надеясь на их помощь и поддержку. Обсуждать на сходе будут и набег Оразбая на уаков, тот самый, о котором весьма лестно отозвался сам Азимкан-торе. Рассказав обо всем этом, Оразбай выложил перед ним свою главную просьбу, вскользь заметив, что это будет единственное, о чем он хотел бы попросить.

Подводя к главному, Оразбай выразил опасение, что Абай выступит на стороне уаков, тем самым станет обвинителем из среды тобыктинцев. Но это немыслимо! Не от сановника, не от самих уаков прозвучат эти обвинения, а от тобыктинца. Не какой-нибудь рядовой обвинитель выступит, а сам Абай, имя которого весьма широко известно и в степи, и в городе. Что же произойдет дальше? Вслед за Абаем все роды, живущие на территории Семипалатинского уезда – Сыбан, Керей, Бура, Матай, Найман – все объединятся и непременно набросятся на Тобыкты. Получается, что Абай пытается бросить достойных людей рода Тобыкты на землю под ноги другим.

– Именно это и будет самой тяжелой раной! – скорбно вскричал Оразбай. – И все из-за чего? Абай, по своей старой привычке, хочет заслужить себе имя справедливого заступника казахов, особенно обездоленного люда. Что мы можем противопоставить этому? Как мы поступим с этим Абаем, если завтра на шербешнае он свалит всех нас в один ров?

Как это ни странно, но Самен был еще пуще зол на Абая, чем сам Оразбай. На должности волостного он вынашивал немало собственных замыслов против него, но сейчас, будто позабыв о своих кознях, горячо поддержал Оразбая, обращаясь к молодому торе запросто, поскольку тот был его ровесником:

– Агеке, дорогой! Мы ждем от тебя совета, полагаясь на твой недюжинный ум, – начал он, не забывая, однако, и подольститься, для чего придал своему бормотанию тон легкой жалостности. – Впредь ты наш глава, скажи, что думаешь! Как нам поступить с этим Абаем?

Торе сидел мрачный, уперев руки в колени, хмуро сдвинув брови. Теперь он выглядел не только как праведный обличитель, но и как непримиримый каратель. Да и слова его, прозвучавшие в ответ, были так жестоки в своей прямоте, что два аткаминера раскрыли рты от изумления. Поглаживая кулаком жесткие торчащие усы, Азимкан-торе сказал сердито:

– О чем говорить, если больше нет слов? Разве Оразеке раньше не бывал в таком положении? Что это вы, словно в угол забились? В таких делах разговор один. Что умеет делать Оразеке, чему он учил других? Черный шокпар, что был пущен в ход у Тущиколя, сможет усмирить Абая, вернуть его в лоно мусульманства. Посмотрел бы я на этого медведя, если такое дело не утихомирит его!

Немного отойдя от удивления, Оразбай и Самен с радостью переглянулись. Больше они не промолвили ни единого слова, лишь многозначительно наклонили головы.

Азимкан вернулся в свою юрту-орду и тут же лег спать. В эту ночь он собственной рукой подал курук, подвигая своих людей, казахов, на страшное, позорное, непостижимо жестокое дело…

3

Аркат – небольшая, но весьма своеобразная гора. Вершина-то у нее одна, но высоких, отвесных скал, нависающих над бездонными ущельями, на ее склонах предостаточно. Остроконечные пики многочисленных скал столь же красивы, сколь и недоступны. Сама вершина Арката, острием вонзаясь в небо, уходит затем в глубокое ущелье гладкой, отвесной стеной, будто специально отесанная. Выглядит она, как некая огромная повозка, поэтому и нарекли ее – Куйметас[1]

На восточном склоне Куйметаса раскинулась Копа – так называют местность, покрытую сквозным молодым лесом, поросшую тополями, и осинами, и березами, что спускаются с горы, окружая просторный луг, полный чистых родников и ручьев.

Сейчас на урочище Копа поставлены многочисленные юрты: видно, что это не очаги отдельных семей, не аульные дома, а явно гостевые, для тех, кто редко появляется в здешних краях. Всего этих новых юрт тут не менее пятидесяти: где-то они стоят

[1] *Куйметас* – камень-повозка.

скученно, образуя отдельные составные шатры среди древесных стволов, где-то – рядами, вытянувшись в цепочки, насколько позволяет лес. Даже издали заметно, что здесь происходит многолюдный сход…

На небольшой каменистой россыпи, чуть поодаль от кучки гостевых юрт, прилепленных друг к дружке, сидели несколько кокенцев. Среди них выделялись Бостан, Кулжатай и Енсебай: они говорили больше остальных и вообще были в довольно приподнятом настроении.

В центре внимания оказался Бостан: он сидел, устроив на коленях свою правую руку, чтобы все смогли ее хорошенько рассмотреть. Рука была кривой, короткой, кончики пальцев отсыхали… Дело в том, что в ночь столкновения на Тущиколе Бостан получил серьезное увечье, и теперь его рука стала короче. Вторым пострадавшим в той схватке был Кулжатай: чей-то шокпар снес ему передние зубы. Впрочем, оба батыра не выглядели опечаленными – Бостан все поигрывал своей сухой рукой, а Кулжатай часто смеялся, и тогда за черной бородой и густыми усами обнаруживались неприглядные провалы на месте выбитых зубов.

Оба пострадавших бойца собирались решительно выступить на сходе как понесшие ущерб от дерзкого набега и потребовать «мзду за потерю голов» – возмещение за перенесенные страдания и напасти. Они уже основательно обсудили свои дела, хотя пока что и не выступили с этим на сходе.

Дело было в том, что они с нетерпением ожидали некоего особого человека, который, как говорили, должен прибыть именно сегодня, и только он способен высказать окончательное решение по их вопросу. С чем он придет, как скажет? Бостан и Кулжатай для того и сели на видное место на каменной россыпи, чтобы не проглядеть, когда этот человек приедет.

Время шло, а его все не было. От нечего делать кокенцы вели разговоры о всякой всячине. Енсебай, посмотрев на Кулжатая, указал в сторону скал Куйметаса и просто, будучи его ровесником, обратился к нему:

– Вот ты все твердишь, Кулжатай, что отличаешься большой храбростью. А залез бы ты на вершину Куйметаса? Говорят, что на нее еще не забиралась ни единая живая душа. Может, отважишься да попытаешь удачи?

– Уж не думаешь ли ты, что я второй Боран? – засмеялся в ответ Кулжатай.

– Боран? – с удивлением спросил Енсебай. – Кто это такой – Боран, и при чем тут он?

Бостан также ничего не слышал о человеке по имени Боран, он посмотрел на Кулжатая, явно ожидая послушать историю, и не ошибся: Кулжатай, осклабившись беззубым ртом, принялся рассказывать.

– У тобыктинцев и лжецы особые, нежели у других родов! – произнес он довольно оригинальный зачин, глянув в сторону скал Куйметаса. – Рассказывают, что есть некий человек по имени Боран, выходец из рода Мамай, лжец, каких свет не видывал. Как-то он и говорит: «Решил на ранней зорьке взойти на вершину Куйметаса, на самый Аркат, и обозреть окружающий мир. Вот, взобрался, гляжу вокруг, а весь мир, как на ладони – нет ни одного затаенного уголка. Даже город Семей увидел, что в ста пятидесяти верстах отсюда, – будто оказался под моими ногами…»

Тут все слушатели и сам Кулжатай громко расхохотались. Он продолжал свой рассказ, подрагивая от смеха массивными, богатырскими плечами:

– «Семей, значит, под моими ногами, – говорит Боран далее, – сижу и смотрю: а городской-то бай, войлочник Сейсеке с медным кумганом[1] в руке, шаркает по своему двору в сторону уборной!» Е, оказывается, с вершины Арката Боран сумел увидеть Семипалатинск, расположенный в ста пятидесяти верстах отсюда, да и не только город, но и городского бая, даже кумган в его руке! А ведь позже и стихотвореньице появилось с насмешкой на того самого Борана.

---

[1] *Кумган* – чайник для омовения.

Кулжатай помедлил, наслаждаясь вниманием своих слушателей, затем с улыбкой прочитал забавное четверостишие:

На верху Куйметаса Боран побывал –
Из казахов никто так отменно не врал.
Вслед за ним до вершины до той ледяной
Лишь орел поднебесный едва долетал.

Бостан и Енсебай от души посмеялись и над рассказом Кулжатая, и над стишками.

– А что, давайте и мы, – сказал Енсебай, все еще желая подколоть своего лучшего друга, – сочиним что-нибудь подобное! Если из Тобыкты в гору пошел Боран, то прямо отсюда, из этого крыкуйли пусть пойдет на гору и наш Кулжатай. Останется легендой на устах будущих поколений! Время терпит, давай, полезай, Куке, на вершину!

– Где твои мозги, недотепа? – беззлобно огрызнулся на сверстника Кулжатай, затем легонько поворотил разговор в другую сторону. – Чем взбираться на вершину Куйметаса, сбивая ноги, лучше повострить языки на тобыктинских забияках. Это и есть теперь наша единственная цель, вроде как вершина и высота, разве не так?

– Точно так, джигиты! – подхватил Бостан, вскакивая со своего места. – Смотрите-ка на эту кучку верховых! Похоже, среди них тот самый человек, которого мы ждем. И время ему подошло приехать, и похож больно… Едут к центру этого крыкуйли, пойдемте и мы туда.

Посередине временного лагеря стояло с десяток больших юрт. Здесь расположился уездный глава Семипалатинска Маковецкий, в соседних юртах – два крестьянских начальника из степных волостей, приехавшие вместе с ним. Уездный толмач Самалбек, конторские служащие и еще пять-шесть стражников также жили в центре аула. Выше по склону стояли юрты для пятнадцати-шестнадцати человек из волостей Семипалатин-

ского уезда, ниже, уже на лугу – для тех, кто прибыл из четырех тобыктинских волостей, отдельно от них – для людей волости Кокен, таких как Бостан и Енсебай.

В сходе на Аркате участвовали все казахские волости Семипалатинского уезда, поэтому он и назывался чрезвычайным. Он действительно был созван в самых чрезвычайных обстоятельствах уездным главой Маковецким и позже стал широко известен многими своими решениями.

Обычно на таких чрезвычайных съездах рассматривалось множество дел. Этот же был созван ради рассмотрения одного-единственного, но весьма большого дела. То был земельный спор между родами Тобыкты и Кокена. Прежде всего, состоялась проверка по поводу набега, совершенного весной этого года, столкновения и большой межродовой распри. По согласованию с «жандаралом», губернатором, Маковецкий обеспечил участие в съезде представителей всех шестнадцати волостей Семипалатинского уезда.

Сразу после начала расследования от Тобыкты во главе с Оразбаем сюда прибыло около пятидесяти человек, а с каждым из них – еще и сопровождающие свои люди. По десять, по двадцать человек приехало с Азимбаем, Саменом, Жанатаем…

В споре между Тобыкты и людьми Кокена одна сторона выступала в качестве истца, другая – ответчика. Предварительное решение должны были вынести представители третьих, незаинтересованных сторон, окончательное, с учетом предложений и выводов первого слушания, – сам уездный глава.

В качестве незаинтересованных сторон выступили посланники пяти волостей, расположенных ниже по течению Иртыша, – из родов Басентиин, Найман, Бура. Были здесь и люди казахской волости Белагаш, что раскинулась в сосновом бору за Иртышом. Со степной стороны Иртыша также собрались посланники шести-семи волостей. Разумеется, представители, «люди», как их называли, не были простыми людьми – все волости прислали своих биев, избранных согласно действующим

законам, и собраны на чрезвычайный съезд они были указами уездного главы и крестьянских начальников.

Если считать, что от каждого аульного правления посылалось по одному бию, то от каждой волости было примерно по десять-пятнадцать человек. В целом, от всех шестнадцати волостей, прибыло около двухсот пятидесяти человек. Всех этих биев разместили в небольших юртах по двое, по трое. Именно эти бии и должны были расследовать спор между родами Тобыкты и Кокена и вынести свое окончательное решение…

Дело было только в одном – за кого будет большинство биев? Этим были озабочены не только должностные лица, но и все участники съезда, об этом и шел среди них беспрерывный разговор. Велись даже тщательные подсчеты – за кого выступит больше биев, за Тобыкты или Кокен? Вот о чем все судачили, и никто еще не мог назвать точные цифры, поскольку до окончательных выводов было еще далеко.

Тобыкты считали воинственным родом, средой, где в изобилии плодились насильники, разбойники, прохвосты и барымтачи. Всему населению степи, особенно бедному, трудовому люду, земледельцам, ремесленникам Кокена, жителям Семейтау, Белагаша, лесного края, – было известно, на что способны иные тобыктинцы, и они крепко ненавидели их. Порицая Тобыкты, эти мирные жители степей приводили стихи тобыктинца же – Абая, который как-то раз, в минуту отчаянья, разразился следующей эпиграммой:

Гордиться нечем роду Тобыкты,
Кругом одни смутьяны и плуты[1]

Слова эти были тем более весомы, что произнес их человек из самого рода Тобыкты, причем весьма достойный его представитель, и они, эти слова, стали довольно сильным упреком против тех, кто пытался замолвить словечко за тобыктинцев.

[1] Перевод А. Кима.

На первый взгляд, сторонников у Тобыкты было мало: не более, чем пятьдесят-шестьдесят биев, а остальные, трижды превосходящие их численностью, должны были встать на сторону Кокена. Но разве допустят тобыктинцы такое? Абай не раз говорил, что бии не стоят на одном месте, рыщут повсюду, высматривают свою выгоду, облокачиваясь «то на круп коня, то на горб верблюда».

Был у всей этой кухни один секрет. В любой волости соперничали, по крайней мере, два самых богатых бая, следовательно, и бии этих волостей смотрели в разные стороны, поддерживая своего покровителя-богатея. И сейчас, в начале чрезвычайного съезда, еще нельзя было понять, кто из биев в какую сторону потянется.

Чтобы переманить их, никто не жалел и не выбирал средств. Из уст в уста передавалось великое множество сплетен и кривотолков, ежедневно за войлочными стенами жилищ, где расположились бии, происходили горячие словесные схватки, а под покровом темноты совершались сделки, которые можно было назвать не иначе, как бойкой торговлей честью и совестью.

Здесь говорили языком денег и тех хорошо известных сущностей, что играли в степи ту же самую роль, что и деньги. Можно было сказать «конь» или «верблюд», и даже более туманно, рассуждая о «конском жирном крупе», о «верблюжьем горбе»...

Человек, которого с таким нетерпением ждали Бостан и другие изувеченные кокенцы, должен был вот-вот появиться на съезде. Он являлся свидетелем пострадавшей стороны, и от него ждали особо важного, окончательного слова. Именно оно, это слово, и должно было повлиять на решения многих биев, которые еще не раскрыли свои карты, намереваясь сначала выслушать означенное свидетельство. Выступления этого человека требовали уездный глава Маковецкий и оба крестьянских начальника. Имя этого свидетеля было указано в каждом из многочисленных приговоров, поступивших от массы людей

края Кокен. Писали они примерно следующее: «Он лучше всех знает, с самого начала и до мелочей, всю долгую историю земельного спора родов Кокена и Тобыкты, и мы выбираем его в свидетели, чтобы рассудить, наконец, кто прав, мы или те, кто с Оразбаем…»

Для кокенцев было особенно важным то обстоятельство, что свидетель происходил из Тобыкты. Получалось, что люди Кокена либо слишком верили ему, либо полагались на справедливость вообще…

Тобыктинцы по этому вопросу разделились: как быть, если враг выставляет в свидетели твоего же человека? Одни, такие как Оразбай, были против, но заявить об этом на съезде не решались. Другие, наоборот – радовались его согласию дать показания. Все-таки свой человек, и вряд ли он уронит честь тобыктинцев, бросит своих людей на землю под ноги врагов. А вот если он все же попытается поставить тобыктинцев на колени, то выявит себя, наконец, истинным чужаком перед сородичами. Сам подставит под пулю свой широкий лоб.

– Узнаем теперь его до конца, проверим! – говорили тобыктинские аткаминеры, втайне радуясь, что положение складывается именно так.

Вот и получалось, что этот человек будто бы стоял среди острых копий, нацеленных на него со всех сторон. Трудно представить, что он выйдет из-под удара целым и невредимым, не позволив нанести себе ни душевной, ни телесной раны.

Наконец долгожданный свидетель прибыл. С пятью-шестью товарищами он спешился в доме толмача Самалбека, и целая толпа ожидающих возбужденно загалдела:

– Приехал! Приехал!

Этим человеком, вынужденным принять нелегкое решение, появиться перед глазами массы людей, тобыктинцем, который должен был выступить на стороне Кокена, был не кто иной, как Абай.

Самалбека, киргиза по происхождению, семипалатинского мелкого чиновника, из тех, кого называли каратаяками, Абай особо ценил за кротость характера, говоря, что на должности, которая может любого сбить с пути, он ведет себя с редкостным достоинством. Абай желал избежать поначалу встреч с людьми обеих враждующих сторон, потому и остановился у Самалбека, где смог бы скрыться от бесконечных расспросов. Для начала он хотел узнать, кому и зачем будет нужен, как в целом сложатся обстоятельства на сходе.

Встретив и разместив Абая, Самалбек в своих речах проявил сдержанность – не только по природной скрытности, но и потому, что многого не знал, например, того, почему и уездный глава, и крестьянские начальники так легко согласились на выступление Абая, чем они руководствовались? По его мнению, Абай сам хорошо знает, как ему поступить.

– Мне известно одно, – сказал Самалбек. – Обе стороны желают видеть вас свидетелем. Я бы посоветовал вам выступить в обычной вашей правдивой манере, на что, думаю, и рассчитывают все на этом сходе.

Показания Абай должен был дать назавтра. Ближе к обеду он вышел из дома Самалбека, на каждом шагу встречая людей, желавших переговорить с ним наедине. По-прежнему, избегая больших собраний, он беседовал с людьми с глазу на глаз, посвятив этим встречам весь сегодняшний день до самой полуночи.

С той и другой стороны встреч потребовали влиятельные баи, он принял по одному от тех и других. Затем пришли обездоленные в результате стычки – кто потерял близкого, кормильца, сам впоследствии обнищал. Были такие, как Бостан, Кулжатай, Енсебай – кокенцы, получившие увечья, ставшие ущербными во время набега Тобыкты. Но и среди сотни нападавших тобыктинцев, снаряженных на битву разными аулами, нашлось не менее десятка увечных – люди с поломанными ребрами, руками, с тяжелыми ранениями головы и лица, инвалиды, потерявшие глаз.

Пришла одинокая мать, старик, теряющий рассудок, несколько женщин с детьми… Эти последние осиротели, были вынуждены просить милостыни, поскольку их дети, мужья и отцы были теми тринадцатью тобыктинцами, что до сих пор так и не вернулись из кокенского плена.

Абай не отдохнул с дороги, даже не перекусил. До самой полуночи он сидел возле дома Самалбека, слушая тех и других, бедных людей, чья жизнь коренным образом изменилась в результате этой весенней стычки.

На следующее утро сход выслушал двух свидетелей, ближе к обеду открылось большое собрание под руководством уездного главы, с участием всех волостных правителей. Туда и пригласили Абая, послав за ним вестового в дом Самалбека.

Слух о том, что сейчас будет выступать «тот самый свидетель», мгновенно облетел весь лагерь. С родника, со стороны тугая, из дальних домов на склоне Арката к восьмиканатной юрте потянулись люди, озабоченные, как вчера утром Бостан со своими товарищами, и Абай шел от дома Самалбека в окружении толпы, которая двигалась по зеленой траве Копы вместе с ним.

Несколько сот человек окружили большую восьмистворчатую юрту, куда вошел Абай, иные пытались проникнуть внутрь следом за ним, кое-кому это удалось, пока атшабары не преградили вход.

Таких, ворвавшихся на собрание после Абая, было все же предостаточно: они переговаривались друг с другом, возбужденно галдели, казалось, и самому Абаю уже не останется места: во всяком случае, приветствий, которые он произнес, здороваясь с разношерстно одетыми чиновниками и казахскими акимами, никто не услышал…

Едва люди угомонились, как из середины послышалось объявление:

– По причине тесноты в юрте, предстоящее собрание будет проводиться снаружи, под навесом. Пусть все выйдут, как вошли!

С этими словами уездный глава направился к двери, волостные потянулись за ним. Пока все снова выходили и устраивались на лугу, прошел еще час.

Сидеть под палящим солнцем уездный глава не пожелал, и открытие собрания продолжало откладываться, пока между юртами не натянули большой холст, расстелив под ним ковры. Принесли сюда и стол, стулья. Площадка, отряженная таким образом для начальства и биев, стала сразу заполняться людьми, ищущими тени. Те, кому не хватило места сесть, теснились сзади, стоя на ногах. Люди стояли и между юрт, и выглядывали изнутри них, расположившись в дверных проемах. Толпа слушателей была значительна, в несколько раз превышала собравшихся на заседание биев.

Наконец пришло время для свидетельских показаний Абая. Глядя на множество лиц, со всех сторон повернутых к нему, он ощутил знакомый трепет: не раз приходилось ему выступать перед людьми, которые ждали, полагаясь, что он оправдает их надежды.

Теперь же он, смолоду немало говоривший на многих сходах, почувствовал особое беспокойство. Не сама масса посторонних людей, огромное стечение зевак волновало его, а то, что он должен был сказать. Легко быть свидетелем, но нелегко рассудить. Прежние сходы были не менее многолюдны, ничуть не легче этого, он не раз рубил самые запутанные узлы, всегда был строг, справедлив, внимателен, чтобы не опорочить свое имя. Но никогда прежде Абай так не волновался!

Он подходил к сегодняшнему выступлению не так, как ко всем предыдущим. Не Оразбаю, вперившему в него свой единственный глаз, он будет сейчас говорить, не биям, выставившим свои двести пятьдесят блестящих на солнце медных знаков, привыкшим торговать честью и совестью, он собрался открыть свою душу. Повидавший немало на своем жизненном веку, Абай больше всего боялся оказаться в долгу перед прошлым и будущим, чувствовал себя ответственным перед самой эпохой, а вовсе не перед чиновниками, готовыми сейчас зане-

сти на бумагу его слова. Ему казалось, что он будет откровенно говорить со своим сыном, со всем его поколением…

Самое странное, что он еще толком и не знал, какие именно скажет слова, но был уверен, что они придут вовремя, что сама совесть подскажет ему их. Вот и подошел его черед. Абай встал, снял с головы тымак. Его смуглое лицо стало бледным, спокойным. Заложив руки с тымаком за спину, он заговорил:

– Братья! Вы привлекли меня свидетелем по этому недоброму делу, что заставило собраться в одном месте весь люд одного дуана. Я и пришел дать свои свидетельские показания, как вы того потребовали. Я не могу рубить с плеча, тем более, что здесь собралось немало самых почтенных людей. Замечу лишь, для некоторых должностных лиц, сидящих тут, что человека красит вовсе не место, не должность. Человек находит свое счастье только в согласье с другими людьми. И я желаю, чтобы каждый человек нашел свою верную дорогу, свой счастливый жизненный путь. Справедливость – единственное снадобье от душевных ран. Справедливость, правда, – даже если она горькая. Лекарство всегда горькое, но я верю, что это лекарство вылечит вас от любого недуга. Вы, я понимаю, и сами думали обо всем этом, я же, насколько мне хватает ума-разума, стараюсь быть откровенным и говорить то, что представляется справедливым моей душе. Скажу прямо: это дается не легко!

Абай остановился, переводя дух. По толпе прошел ропот: все видели, что перед ними человек искренний и открытый.

– Люди все разные, – продолжал он. – Есть среди людей злоба и коварство. Иные размышляют только об этом. Говорят в народе: «трудно выкопать колодец иглой». Мне же думается, что копать колодец иглой легче, чем изгонять коварство, жестокость из душ некоторых чванливых гордецов. Именно эта мысль и есть главное в моем сегодняшнем свидетельстве!

Не все собравшиеся поняли, о чем так настойчиво хотел сказать Абай, но всем и каждому было ясно, что акын говорит очень важные, сокровенные слова. Он не стал углубляться в частности, в обстоятельства схода, но, оказавшись выше по-

вседневности, напомнил о самой чистоте человеческой души, будто выдвигая на всеобщее обозрение новую ценность.

Среди бедно одетых жатаков рода Уак, жадно внимающих Абаю, сидел и Дармен. Он слышал одобрительные возгласы, цоканье языков вокруг, чем казахи привыкли выражать свое восхищение.

– О, Аллах, айналайын! – слышалось отовсюду.

– Да сбудутся твои мысли, пусть тебе сопутствует удача!

– Кто вспомнит о справедливости, как не ты!

Слыша все эти суждения, Дармен невольно загляделся на Абая, словно глазами незнакомого, постороннего человека. По его назиданиям и стихам, уму и душевным порывам Дармен прекрасно представлял себе этого человека. Тем более ему было удивительно сознавать, что вышел он из той же самой среды, что породила Кунанбая, где выросли и продолжают произрастать люди, подобные этому общему предку.

Много раз думал Дармен об одном: сможет Абай отринуть образы своих предков, если их честь на самом деле будет задета? Искренне преклоняясь перед старшим другом, он уже давно мечтал увидеть своими глазами этот миг. И вот, похоже, он настал! Как раз сейчас Абай и подошел к той узкой двери, каменному порогу предела своих испытаний.

«Как поступишь, Абай-ага, как преодолеешь этот порог?» – думал Дармен, весь напрягшись, подавшись вперед, внимательно прислушиваясь…

Во время своей речи Абай не слышал ни единого звука со стороны биев, к которым обращался, зато за спиной явно различал возгласы одобрения, слышал, как в многочисленной толпе кто-то восхищенно цокает языком.

Это были лишь вступительные слова, теперь Абай сообщил, что переходит непосредственно к свидетельским показаниям. Тут Оразбай и его родственники, сидящие рядом с ним, близкие ему не только по крови, но и по духу, оцепенели, потупившись в неприязненном ожидании.

– Не стоит спрашивать меня об обстоятельствах набега тобыктинцев на людей Кокена этой весной, – сказал Абай. – Никто не будет отрицать, что набег был. Как же такое произошло? Почему люди Кокена решились дать отпор тобыктинцам? Давайте вместе поразмыслим над этим…

Сказав так, Абай перешел с нынешних дел на события давнего прошлого:

– Я сам – сын рода Тобыкты, и должен, по праву, его защищать. Что я и сделаю, по собственному разумению, никому и ни за что не продаваясь. Именно защищая тобыктинцев, я и буду говорить откровенно о разбойных деяниях, о высокомерии, о насилии с их стороны. Я говорю это не со стремлением очернить тобыктинцев, а напротив – с намерением обелить их. Здесь я говорю о невинном их большинстве и о низости малой кучки тобыктинцев, подстрекавших кроткое большинство на преступное деяние. Я хочу оправдать моих сородичей в глазах кокенцев, размежевав их от злодеев и смутьянов, которые тоже суть – тобыктинцы!

Сказав эту тяжкую правду во весь голос, Абай почувствовал такое облегчение, что даже воздух полуденной жары показался ему прохладным. В то же время он видел, как заколыхались в разных местах лица тобыктинцев, как яро блеснул на него издали злобный глаз Оразбая.

– Астагыпыралла! – проворчал кто-то.

– Из ума выжил! – добавил другой сердитый голос.

– Предатель, изгой! – послышались ругательные возгласы в заволновавшейся толпе.

Абай лишь нервно повел плечами и продолжал во весь голос говорить о том, как на протяжении пятидесяти-шестидесяти лет тобыктинцы, начиная с правления Кунанбая, бесцеремонно занимали, силой отнимали стойбища и поселения рода Уак. Земли Жымба, Аркалык, Кушикбай, захваченные его отцом, бесспорно, принадлежат роду Уак. Перечисляя земли Акжал, Торекудук, Каракудук, Обалы, Когалы, из-за которых разгорелся кровавый спор, Абай даже точно назвал, какому аулу, какому

роду кокенцев они принадлежат. Тобыктинцы насильно заняли все эти земли, бесцеремонно расселялись на них, и теперь, когда число людей Кокена выросло, и они потребовали вернуть свои законные владения, призвав с этой целью землемера, тобыктинцы пытаются подавить Кокен силой.

Обо всех этих обстоятельствах Абай поведал подробно и ясно, едва сдерживая досаду и гнев. Теперь многие тобыктинцы молчали, опустив глаза, поскольку Абай привел неопровержимые факты.

Затем он перевел разговор на весенний набег, дерзкую выходку, совершенную нынешними Кунанбаями. Они заставили рыдать не только кокенцев, но и самих тобыктинцев. Абай рассказал о тех людях, кто пострадал в огне, который разжег Оразбай, обо всех увечных, убитых, плененных, об их обездоленных родственниках.

Голос его задрожал, глаза покраснели от напряжения, дыханье прерывалось. Он говорил с трудом, с яростной, мучительной борьбой в голосе, но сама мысль об этих людях как раз и заставила его преодолеть свою слабость, твердо и уверенно продолжать обличительную речь:

– Все вы видели, что я пришел на это собрание не в назначенный час, а позже. Задержало меня вот что: я хотел узнать побольше о пострадавших в том проклятом набеге, о людях, получивших увечья, о домочадцах тех, кто не вернулся. Приехав сюда вчера, я весь день и всю ночь слушал жалобы, своими глазами видел горькие слезы многих и со стороны Тобыкты, и со стороны Кокена. До сих пор тринадцать тобыктинцев сидят в кокенском плену, закованные по рукам и ногам. Некогда здоровые, достойные азаматы Бостан, Кулжатай, Енсебай и другие кокенцы стали в ту проклятую ночь убогими калеками. Они также приходили ко мне, чтобы поведать о своем тяжком положении. Одному из них сломали руку, другому выбили зубы, третьему переломали ребра. И ведь нет среди них ни одного бая, богача. Все они живут только своим трудом на земле, ремеслом. Как же им жить-то дальше? Сердце мое заходится, ког-

да думаю об этом! У каждого из них дома плачут дети-малютки, старики-старухи, беспомощные больные, полагающиеся только на них. Только у этих трех джигитов на иждивении я могу насчитать двадцать четыре души, теперь обездоленные!

Голос Абая дрожал и звенел, сердце его учащенно билось, когда он стал поименно называть всех отцов, матерей тех джигитов со стороны Кокена, которые пострадали во время набега.

Далее он вспомнил тех тринадцать тобыктинцев, которые попали в плен. Все они были из пастухов и прислуги: пятеро – конюхами, шестеро – пастухами, двое – малаи, причем один служил у Оразбая, другой – у Азимбая. Трое из плененных пастухов работали на волостного Жанатая, еще несколько безответных, сирых бедняков влачили свое жалкое существование у порога таких баев, как Жиренше, Абыралы. Отцы и матери, малые детишки считают их убитыми, до сих пор плачут по ним, не находя себе места. Сегодня домочадцы всех этих людей вынуждены голодать, испытывать всякие унижения и незаслуженные обиды. Оказывается, семьи некоторых из них, как это узнал Абай сегодня ночью, вынуждены просить милостыню.

Он не только назвал всех этих людей, перечислил имена их отцов, жен, сообщил место расположения их аулов, но и с особой просьбой обратился к толмачу Самалбеку, чтобы тот записал в официальную бумагу все эти подробные сведения о них.

Далее Абай попросил записать более десятка имен тех людей, кто был изувечен, остался без руки, без ноги, с тяжелыми ранами головы, потерявших глаз. Однако, заметил он, те, кто затеял эту бузу – Оразбай, Азимбай, Жиренше, волостные Самен, Жанатай, ходят себе, как ни в чем не бывало!

Теперь слова, сказанные Абаем, истинные слова защиты безответных, несчастных людей, никогда прежде столь весомо не звучавшие с высокого общественного тора, стали более чем свидетельством – это было самое настоящее обвинение, причем столь прямое и жесткое, что почувствовали все, в том

числе и дерзкий волостной из семьи Жокен рода Тобыкты. Этот молодой, своенравный аткаминер вдруг вскочил с места, зашумел, принявшись честить Абая на чем свет стоит:

– С чего это Абай разоряется тут за каких-то сирых и голодных, коих и числом не много в долине, да и следов их нет в песке? Старается, вроде как тот, кого назвали красильщиком, – тут же начал красить себе бороду, обольстившись новым прозвищем!

Довольный, как ему казалось, удачным словцом, волостной сел на место, стиснув зубы, всем своим видом показывая, насколько же он возмущен.

Тут из толпы послышался громкий голос Дармена:

– Оно и видно, Абай-ага, что здесь мало людей, почитающих вас! Как в наставлениях ваших: «Не будь сыном своего отца, а будь сыном своего народа!» Только сейчас я понял эти слова. Хотя, оказывается, не в наставлениях сила, а в правде, и вы ее произносите, словно хан, без сомнения и страха принимающий решение. О, мудрый мой ага, я готов жизнь отдать ради вас!

Дармен выпалил все это в сильном возбуждении, в его голосе звучали и трепетная радость, и гордость за учителя. Белки его больших глаз покраснели от слез, блестя на солнце так, что Абай видел издали эти лучистые искры… Сидевший рядом кокенец Кулжатай одобрительно похлопал Дармена по колену за эти слова, за его отвагу – произнести их прилюдно.

– Хорошо сказано! – воскликнул он, оглядываясь по сторонам, где сидели Бостан и Енсебай, – ты настоящий джигит, не в пример другим тобыктинцам. О таких, как Абай, и говорят: сын своего народа! Он ведь не побоялся обвинить не только дальних предков, но и собственного отца Кунанбая. Все во имя истины, что есть самое ценное на свете!

Бостан и Енсебай закивали ему в знак одобрения, последний подтвердил:

– Впервые вижу такого человека, как Абай-ага, он заслуживает всеобщего уважения! Удачи вам, почтеннейший!

Абай тем временем продолжал. Сейчас, когда он подробно поведал о безысходном положении людей, пострадавших от напастей, оставалось только сделать окончательные выводы. Он начал с вопроса:

– Теперь поразмыслите: так ли нуждались в землях, за которые они пошли на ночной набег, за которые пострадали, изувечились все эти простые люди – конюхи, пастухи, скотники, прислуга? Разве у них есть скот, который может пасть с голоду без земель Кокена? Разве они не могли найти куска землицы, чтобы поставить свои ветхие шалаши и лачуги? Зачем им нужны были Жымба, Акжал, Каракудук?!

Абай обвел слушателей взглядом, словно ожидая ответа на свой очевидный вопрос. Встретив напряженное молчание, ответил сам:

– Нет, они были вовсе им не нужны. Эти земли были нужны Оразбаю, Азимбаю и другим – тем, кто послал этих несчастных джигитов, используя их как выстреленные пули, обнаженные сабли, машущие соилы. Получат ли, наконец, достойное наказание смутьяны, использовавшие простой люд в своих корыстных целях?

Опять Абай замолчал, опять посмотрел на притихших людей. Ответил в жуткой тишине:

– Подобное требование раньше никогда не оглашалось, но сегодня я желаю, чтобы такие люди, как Оразбай, Азимбай и другие, сделавшие несчастными этих бедняков, понесли заслуженное, особое наказание. Я хочу, чтобы за преступления, обрекшие людей на несчастье, им вынесли самый строгий приговор.

Так сказал Абай, довольно спокойным и ровным голосом, и тотчас обратил свой взор в сторону чиновничьего стола, внимательно проследив, чтобы и эти слова были аккуратно внесены в бумаги.

На этом он решил завершить свое выступление, сказав напоследок следующее:

– Я считаю, что земельный спор должен решиться в пользу людей Кокена, сегодня испытывающих притеснения, людей, существующих честным трудом на своей земле. Я уже говорил в самом начале, что захват земель Кокена идет со времен Кунанбая. А теперь, пожалуй, скажу, когда и кем точно захватывались эти земли. Когда мой отец силою вторгся на земли Жымба, Аркалык, Кушикбай, мне было одиннадцать лет. Затем, нагло отобрав у Уаков Аюжал, расположенный за Бильде, тобыктинцы стали там расселяться и превратили это место в стойбище Шока. Вот здесь сидит сын того самого Шока, сегодняшний владелец тысячного табуна лошадей, Жиренше, тогда он был в возрасте шестнадцати лет. Вот тот Абралы в свои одиннадцать лет стал свидетелем, как его отец нагло расположил свои аулы в Обалы, Когалы. Когда в Каракудук, Торекудук насильно вторгся Аккулы, то Оразбаю было пятнадцать лет. Все это я знаю: кто и с какого времени начал насилие, обо всем этом и поведал вам! Если, услышав о подобной несправедливости, вы, сидящие здесь бии, решите, что не должно возвращать кокенцам земли, возвращать их людям, которые сегодня терпят насилие, набеги, проливают свою кровь, то, пожалуй, вас накажет Бог. Я завершаю!

Абай замолчал, присел на стул, предложенный ему Самалбеком. Вынул из кармана просторного бешмета большой носовой платок и устало вытер пот с широкого, открытого лба.

Свидетельство Абая было решающим для многочисленных участников чрезвычайного съезда. Не прикрываясь ложным честолюбием, не заступаясь за тобыктинцев по зову крови, откровенно высказав всю правду, что клокотала в его душе, Абай в конечном итоге справедливо разрешил спор. Выводы съезда были полностью в русле речи Абая и не нарушили ни одной ее грани. В конце концов пятнадцать баев рода Тобыкты во главе с Оразбаем были вынуждены подчиниться решению чрезвычайного съезда, состоявшегося в Аркате.

Все они были признаны виновными в разжигании раздора между двумя родами и должны были заплатить штраф родам

Кокена по девять голов каждого вида скота, начиная с верблюда. Раздел земли, которому они пытались помешать, должен быть проведен в том же виде, как весной замыслил его Серке, пригласив землемера.

Такому исходу обрадовались многочисленные гости съезда, где людей из соседних родов – Сыбан, Керей, Уак, Бура, Матай было гораздо больше, чем тобыктинцев, про которых сейчас же сочинили насмешливое присловье, что напел какой-то находчивый острослов:

– Теперь Аргын не Тобыкты! Аргын теперь – и я, и ты!

После оглашения приговора, когда для Оразбая была потеряна уже всякая надежда, хотя бы и малая, до этого все же теплившаяся в глубине его души, он пришел в состояние бешеной ярости. Проходя вместе с Саменом мимо Абая, на миг задержавшись у ствола дерева, где стоял в тени Абай, он злобно бросил ему через плечо:

– Не знаю, чего ты этим добился, Ибрай, но хочу заметить, что ждет тебя большая беда.

Абай в ответ рассмеялся и сказал, рассмешив этим и других людей, переводящих дух в тени чинары:

– Е, Оразбай! Не тонким словом ты блещешь, но очень даже толстым, как сам ты, как твоя толстая сума и толстый твой соил. Что – не знаешь теперь, на кого замахнуться этим орудием?

Абай и не знал, что своей острой шуткой, в сущности, легким замечанием, сказанным второпях, задел Оразбая за живое, ненароком ударил в самое его больное место…

Повернувшись спиной, Оразбай услышал многоголосый смех. Уже уходя, он тихим, злобным шепотом пробормотал какую-то клятву. Молодой Самен, верный черный шокпар Оразбая, его кровожадная рука, чуть ли не лопнул от возмущения. Задержавшись за спиной своего владыки, он прямо посмотрел на Абая и проговорил сквозь зубы:

– Мырза Абай, вы, наконец, добились того, о чем так долго мечтали. Заставили-таки уткнуть глаза в землю самых достойных людей Тобыкты!

Абай поначалу глянул на него с недоумением, затем, вспомнив, кто перед ним, вспомнив также все его мерзкие деяния, почувствовал, как ярость заливает его собственные глаза.

– Это ты-то достойный?! – вскричал Абай. – Ты тот самый достойный, весьма достойный, достойный из достойных?

– Знаю, – угрюмо возразил Самен, – что лично вы не считаете меня таковым. Однако меня выдвинули в волостные другие люди, избрал сам народ…

– Скот тебя избрал, а не народ! Твой личный скот, который ты пустил на взятки. Да ты и в жертвы не годишься тем людям, что выбрали тебя в волостные.

– Считаете, что я не могу управлять волостью?

– Волость, доставшаяся недостойному, несчастная волость.

– Что ж! Я бы мог и потягаться с вами. Завтрашние выборы покажут, достоин я или нет. Только непременно покажитесь там!

Говоря так, Самен прямо-таки дрожал всем телом. Кончик его носа покрылся мелкими бусинками пота, искрившимися на солнце, словно роса. Обычно малозаметные рябинки на его лице теперь обернулись пестротой, как пойма у водопоя, а рыжие волосы, казалось, запылали на землистом, посеревшем лице. Но так и не дожидаясь ответа, жестоко разгневанный Самен повернулся и ушел вслед за Оразбаем.

Молча пройдя незначительное расстояние по лугу Копа, они оба присели на траву. Несколько поодаль, чтобы не мешать их разговору, но все же самим своим присутствием давая понять, что он заодно с ними, расположился Есентай, сопровождавший обоих с момента стычки.

Оразбай был бледен, без единой кровинки в лице. Оглядевшись по сторонам, даже весьма круто повернувшись на месте, чтобы при помощи своего единственного глаза наверняка определить, что рядом нет посторонних, Оразбай заговорил:

– Я предупреждал: кровный враг недалеко, он рядом! Это и есть – Ибрай!

– Он, точно он! – подхватил Самен, все еще не в силах успокоиться, часто дыша. – Теперь уже не сомневаюсь. он враг! Из кожи вон вылезет, только бы опозорить тобыктинцев, всех самых лучших из рода, особенно вас и меня!

Лицо Оразбая исказилось, он вспомнил, как надсмеялся над ним Абай, и с горькой улыбкой повторил его слова:

– Как он сказал? Твой соил толст, но не знаешь на кого замахнуться… Он же ведь так сказал?

– Он это на свою беду сказал! Помните, Оразеке, слова Азимкана-торе? Тот-то уж знает, на кого замахиваться…

Говоря так, Самен чуть ли не подпрыгивал на месте, будто бы готовый сейчас же полезть в драку, рвануть кого-нибудь за грудки… Оразбай обнял его, стал успокаивать, раскачивая, будто баюкая ребенка.

– Барекельди! – воскликнул он. – Хорошо, что напомнил… Сам торе дал мне курук в руки. Пусть же исполнится его желание! Я ведь говорил, он – теперешний глава казахов. Вот и передам бразды ему, сам поддержу его. Только вот… – Оразбай прикусил свой палец, о чем-то задумавшись, затем встрепенулся: – Был же удобный случай! Ибрай только что сам напрашивался своею шуткой! Как же я оплошал! Надо было взять мне в руки толстый соил… Теперь сожалею.

– Не стоит так убиваться, Оразеке! – ободряюще воззвал Самен, прерывая Оразбая, который в неистовстве все повторял одно и то же, будто уже причитал.

Самен знал, что собирается предпринять его старший друг, поскольку в ближайшее время должно было состояться некое важное событие… Сам весь пылающий жаждой мести, готовый броситься в огонь, теперь он желал, чтобы Оразбай не изменил своему намерению.

– Да пусть исполнится твое желание, – сказал Самен. – Подойдет его черед…

– Какой еще черед? – не понял Оразбай.

– Предстоящие выборы. Разве это не удачный случай? Как сегодня объявили на сходе, уездный голова и двое крестьянских начальников не собираются возвращаться в город, а поедут по степным волостям, проведут там выборы. Недели две будут выборы в волостях Кызылмола, Енрекей, Кандыгатай, затем, еще через три недели, приедут к нам, в Тобыкты. Мне же ведь уже сказали: скоро будем у вас, поставь юрты, подготовь людей к выборам!

– А Ибрай приедет туда?

– Конечно! Пусть только мырзы Жокена уговорят людей, чтобы повторно выдвинули меня в волостные. Абай сейчас своими устами перед народом сказал, что помешает мне. Чую, что он серьезно возьмется за дело: все свое влияние использует, чтобы снять меня с должности. И на толмачей, и на самого уездного главу! Разве это не повод, чтобы прилюдно начать распрю?

Самен знал, что Абай зол на него, и столь же хорошо знал – почему… Став главой волости Коныркокше, он рыскал по этой земле, словно матерый волк. Из аула в аул ходили слухи о его пагубных деяниях: тут угнал скот, там земли пожег…

В поисках защиты бедные люди Кокше обращались к Абаю: «Если сможешь, то словами либо делами избавь нас от этого изверга. Он хуже двуглавой змеи из старой сказки: не только отбирает коней да пищу, но и унижает, притесняет людей, заставляет рыдать вдов и сирот!»

Так было сказано в приговоре к оязу, кому жаловались на Самена самые что ни на есть кроткие люди. Примерно с такими же словами они обращались и к Абаю, и к другим сородичам.

Все эти отчаянные вопли и жалобы уже давно доходили до ушей Абая. Слышал он их от многих людей, когда ездил по джайлау Коныркокше. Со вчерашнего дня говорилось об этом и на сходе в Аркате, что и послужило поводом для Абая высказать, при случае, свое возмущение Самену в лицо, словно стегнув его камчой.

Самен понимал, что Абай, который назвал его недостойным даже в жертву людям, выбравшим в волостные, теперь поста-

рается помешать выдвижению по второму разу. Самен и Оразбай ждали от Абая какого-то нового подвоха и немедленно приступили к довольно решительным действиям...

Выехав из Арката, Оразбай прямо проследовал в аул Самена. Жителей этой местности со стороны называли «жаман Тобыкты»[1] сами же они себя причисляли к роду Жокен. Именно жокенцы и составляли большинство населения Коныркокше. Кроме них здесь жили люди из рода Мамай, и совсем немного – из Кокше.

Остановившись у Самена, Оразбай в три дня собрал всех аткаминеров Жокена, пригласив вдобавок баев Мырзы – самой большой семьи рода Мамай.

С именем Аллаха на устах и призывая духов предков, Оразбай произнес свою обычную бесноватую речь, на чем свет стоит ругая Ибрая, Кунанбаева сына.

– Именно Ибрай, – говорил он, – унизил, опозорил тобыктинцев на сходе в Аркате, положил нас на лопатки перед родом Уак. Вот увидите, на предстоящих выборах этот самый Ибрай привяжет вас к стремени какого-нибудь безродного бедняка из рода Кокше!

В тот день были зарезаны несколько баранов, затем и серая кобылица, с этой жертвой и произнесли слова клятвы, заверяя друг друга в согласии. Так, используя все свое влияние, Оразбай перетянул на сторону Самена всех мырз Жокена, окончательно повязав их словами клятвы.

Недели через две после того на жокеновском джайлау Акшатау были поставлены юрты, на стойбище Кошбике готовились к выборам. За три дня до их начала к Оразбаю, тем временем вернувшемуся в свой аул, на двух сменных конях прискакал вестник. Вот что сообщал через него Самен: «Если выборы пройдут по шарам, то победа за мной. Однако сюда собирается приехать Абай. Он может помешать, коль скоро снюхается с уездным чиновником и толмачом. Приезжай сам, никак нельзя без тебя. Оразеке, приезжай немедля, как и обещал!»

---

[1] *Жаман Тобыкты* – букв. «плохие тобыктинцы».

Получив такую весть, Оразбай тотчас сел на коня, как всегда, взяв с собой Есентая, своего постоянного спутника, и еще двух джигитов. Есентай был грузным, тяжеловесным, толстым, словно тот черный шокпар Оразбая, однако стоило ему слово сказать, как он бессловесно следовал за ним. Сев на коней, несмотря на свои годы, они пустились быстрой рысью, как в прежние времена, когда барымтачили вместе по всему краю.

До Кошбике добирались с одной ночевкой, хоть путь был и не близкий. Остановку предполагали в ауле Такежана, чтобы вместе обсудить свои замыслы. Первые версты на своем белогривом медлительном коне Оразбай преодолел неспешно, затем, разогнавшись и перейдя на быструю дорожную рысь, ватага в сумерках прибыла на место ночевки. По распоряжению Оразбая, Такежан приступил к делу, едва допив чай: он вызвал из соседнего аула Шубара, взял с собой Азимбая. Вскоре все трое иргизбаев и Оразбай удалились в степь и, совещаясь долго, до самой полуночи, тайно замыслили свое неслыханное злодеяние. В завершении разговора Оразбай, как обычно, наседая в присутствии Такежана на Азимбая и Шубара, сказал:

– Ваши отцы не простые люди, каждому из них в имени дали одно и то же слово – *берды!*[1]

Говоря так, он разумел Кудайберды, отца Шубара, и Такежана, отца Азимбая, чье имя по рождению было Танирберды.

– Вы, стоящие рядом со мной, – продолжал Оразбай со значением, – прямые потомки Оскенбая, дальнего вашего предка, и хаджи Кунанбая, предка ближнего. И вы оба – единомышленники мои! От имени этих двух великих духов я приношу в жертву Ибрая, вычеркнув его из их потомков!

Произнеся свое страшное заклятие, он умолк, глядя по очереди на трех иргизбаев, в ожидании, что скажут они. Все трое молчали, возражений своих не высказали. Казалось, кровавое решение, прозвучавшее из уст Оразбая, даже не заставило поморщиться этих людей. Лишь едва заметно кивнул Шубар, как только Оразбай пронзительно посмотрел на него. Ничего не

[1] *Берды* – данный (Богом, Аллахом).

сказал вслух, не выразил свое согласие словами, но по виду было ясно: все принимает… А в Азимбае и Такежане Оразбай не сомневался и без всяких слов.

– Так и порешили! – отрезал он, как только заметил кривым своим глазом скупой кивок Шубара, быстро встал с места, опираясь на камчу. Крикнул в темноту, где ждал верный Есентай:

– Подводи коня!

Он приехал в аул Такежана в сумерках, под покровом ночи и уезжал, дабы избежать лишних свидетелей этой встречи.

Оразбаю было на руку, что эти трое иргизбаев затаятся до поры до времени, пусть никому в голову не придет, что между ними сговор. Не дожидаясь рассвета, даже не отужинав, лишь вдоволь напившись кумысу, он сел в седло. Как в молодые годы, бодро пустился в путь, гоня быстрой рысью своего медлительного белогривого коня. Темной ночной степью свита Оразбая во главе с ним двинулась на Кошбике.

Абай также направлялся туда, двигаясь с другой стороны, со своими четырьмя товарищами. Если Оразбай ехал ночь и объявился на рассвете, то Абай прибыл на место выборов лишь во второй половине следующего дня.

Он не мог спокойно усидеть дома, вновь услышав о жестоких деяниях Самена в отношении людей родов Кокше и Мамая. Абай твердо решил быть на этих выборах и всеми силами бороться за то, чтобы сняли с должности жестоких, ненасытных волостных.

– Хотя бы малость облегчить существование беспомощным людям! – с горечью сказал он Какитаю, которого взял с собой в поездку.

Преданный джигит был единственным близким товарищем в его сопровождении – остальные трое были просто соседями.

Спешившись со своими спутниками у отдельного дома, предоставленного здесь ему, Абай узнал, что на место выборов только что прибыл и уездный глава. Наспех попив немного кумысу, Абай собирался к Маковецкому…

Он и не догадывался, что джигиты, приставленные к нему в этой юрте, были людьми Самена. Подавая кумыс, один из них слышал разговор Абая с Какитаем и понял, куда пойдет вскоре мырза. Тайный соглядатай незаметно выскользнув наружу, где ждал его другой, рыжеволосый и щербатый молодой джигит.

– Иди, передай, – шепнул один шпион другому, – Абай сейчас собирается к оязу!

В соседних юртах, закрытых наглухо, тихо сидели атканинеры, человек пятьдесят-шестьдесят озлобленных людей, возглавляемых Саменом. Не только камчи были у них в руках – некоторые поигрывали шокпарами, кое у кого даже поблескивали на поясах кинжалы. По сообщению молодого соглядатая, вся эта толпа вмиг окружила юрту, где остановился Абай. У самого порога откуда-то появился Есентай. Он отвел Самена в сторону и, уперев руку ему в грудь, исподлобья уставившись на него своими маленькими, выпучившимися от волнения глазками, сказал назидательно:

– Нельзя быть батыром лишь духом своим! Действуй крепче руками, бей смелее.

Он взял из рук Самена тонкую плетку, взамен вручил ему свою толстую, из телячьей сыромятины, восьмижильную камчу.

– Вражина достал нас до самых костей, – продолжал Есентай. – Будь жесток, не жалей и самого себя. Поручаю тебя духу твоего Жокена!

Дух Жокена был, похоже, очень злобным духом, а его черная кровь, бурлившая в жилах Самена, немедленно призвала его к действию. Самен широко распахнул двери и быстро вошел в юрту, за ним, не скрывая своего оружия, теснясь толпою, устремились и остальные. Абай не испугался – скорее, опешил от неожиданного вторжения. Самен подошел к нему широким шагом, произнеся на ходу грубое ругательство. Вскричал, с ненавистью глядя на Абая:

– Ты отстанешь от меня или нет?!

Эти слова не были вопросом и не требовали ответа: Самен тут же с размаху ударил Абая камчой по голове. Абай потерял равновесие, его грузное тело покачнулось. Тут же со всех сторон на него посыпались удары, Абай упал наземь, не удержавшись на ногах. Дико вскрикнул Какитай…

Вдруг из толпы налетчиков вывернулся кто-то и бросился на Абая, но не с целью нападения… Кто-то еще метнулся. Еще кто-то… Их оказалось несколько человек: неизвестные из среды нападавших, они упали на него, прикрывая своими телами – то ли из сострадания, то ли просто испугавшись, что на этом месте, с их участием, будет совершено убийство… Но другие, не сумев достать Абая плетями, кинулись на тех, кто был с ним в доме – Какитая и других джигитов. Какитай, не помня себя от страха, закрывая голову от ударов, успел выскочить наружу и бросился в сторону юрты уездного главы, отчаянно взывая о помощи, громко крича по-русски:

– Помогите! Спасите!

Пока стражники уездного главы поняли, в чем дело, пока выскочили на улицу, паля из винтовок в воздух, прошло довольно много времени, и Абая успели крепко избить. Толпа нападавших бросилась врассыпную, Абай остался лежать без сознания посреди юрты.

Как только он пришел в себя, одна-единственная мысль забилась в его израненной голове: «Зачем я еще живой? Лучше бы убили!» Он повторял это снова и снова, думая о том, что был подвержен такому наказанию, что хуже самой смерти.

Так дико и просто – замыслы коварного Оразбая и зверские желания Самена, давно скалившегося на него, все же осуществились. Днем и ночью, месяцами, годами живя в окружении ненавистных врагов, но не побоявшись, рискнув приехать в самое их логово, Абай теперь лежал весь в крови, с глубокими ранами на теле, со смертельной раной в душе.

Жители аула в Шакпаке, куда вернулся Абай, не решались поднять глаза, заглянуть ему в лицо. Взрослые и дети, родичи и соседи, все эти любящие души также испытали на себе удар,

что пришелся по Абаю. Но все они еще не могли осознать, что была кощунственно попрана не только честь Абая, но и поругана честь каждого из них.

Айгерим никому не позволила встретить мужа, сама взяла под уздцы и привязала его коня, своими руками приняла камчу Абая, который молча обратил к жене усталое, израненное лицо. Последующие дни он также молчал, все больше лежал без движения, словно в беспамятстве, между жизнью и смертью. Молчала и Айгерим, тихо лила слезы по ночам, плакала и днем, если никто не мог ее видеть. Казалось, она постарела за это время: на ее лице стали ясно видны морщины, под глазами темнели сизые круги – извечные знаки печали и горя…

Отчаянно, тяжко переживал происшедшее Дармен, ни на мгновенье он не мог уйти от боли и скорби, что навалились на его душу. Войдя к себе домой, он бессвязно принялся рассказывать Макен о беде, случившейся с наставником, но не в силах говорить внятно, упал, будто в припадке, на постель, уткнулся в подушки и горько зарыдал, задыхаясь в бессильном плаче.

Макен в ту минуту, как он вошел, сидела возле постели и что-то штопала. Увидев мужа, она громко вскрикнула, в испуге отбросила рукоделие. И затем, преисполнившись сострадания, вместе с ним стала рыдать и причитать.

– Славный мой агатай!

– О, бедный агеке! Как жаль его!

– Великий агатай! Мне бы стать жертвой твоей!

– Агажан! Лучше бы мне стать жертвой твоей!

В полном смятении, растерянная, Макен то подходила к Дармену, обнимая его, успокаивая, то сама, теряя силы, валилась с рыданьями на подушки… И Дармен, спохватившись, то пытался утешить свою жену, то сам исходил в рыданиях. Так, то плача, то успокаивая друг друга, провели они долгое время ночи…

Когда, после всех этих мучительных часов страданий, Дармен пришел в себя, он понял всю подоплеку смертельного унижения Абая в Кошбике, его первопричину. Этой правдой он по-

делился с Макен. Дармен говорил с женой, обращался к ней, но, казалось, что слова его обращены не только к ней, но и к Абаю. Он смотрел в стену своей юрты – в сторону Большого дома, где сейчас пребывал Абай.

– Дорогой, славный агажан, учитель мой! – говорил Дармен. – Они отомстили тебе за твое свидетельство, данное в Аркате! Которое ты дал ради чести, ради человечности, ради справедливости… И как же ты пострадал за это!

Вскоре, во второй половине следующего дня, в степи послышался шум большого кочевья. Это в Шакпак, якобы оказывая сочувствие Абаю, со своим аулом прибыл Такежан.

В тот же вечер Магаш, Какитай и Баймагамбет ехали по окраине аула и вдруг заметили коня под седлом, спрятанного под ветвями одинокого дерева.

Это был гнедой в яблоках конь, он поднял голову, заслышав стук копыт, и посмотрел на всадников. Магаш и Какитай, тотчас узнав знаменитого скакуна, насторожились… Магаш схватил гнедого за повод, из-под брюха коня тотчас выскочил человек, до сих пор хоронившийся под ним, вспрыгнул на круп и мигом оказался в седле. Это был не кто иной, как вор Кикым, приспешник Оразбая.

– Стой! – громко закричал Какитай, но Кикым, дав гнедому шенкелей, сорвался с места и, огибая крайние юрты, с быстротой молнии понесся на запад, в сторону аула Оразбая.

Этот хитрый, широко известный по всей округе вор, явно появился здесь неспроста. Несмотря на погоню трех всадников, ему удалось скрыться: все только и успели заметить длинное тело этого высокорослого безбородого человека, его крючковатый нос, когда он оглядывался на скаку. Стремительный гнедой оставил преследователей далеко позади, в клубах дорожной пыли на взмыленных конях, что просто вывело из себя Магаша и Какитая, словно бросив их самолюбивые сердца конников в огонь.

Быстроногий в белых яблоках гнедой по кличке Танбалат был раньше непревзойденным скакуном старшего брата джи-

гитов – Акылбая, затем он переходил из рук руки: сначала коня выпросил Азимбай, потом он был подарен сватам в аул Оразбая. Говорили, что Танбалат трижды приходил первым на байгах в Есболате.

Не составляло большого труда догадаться, зачем лукавый вор Оразбая, приехавший сюда на Танбалате, хоронился от посторонних глаз за аулом. Ясно, что его послал Оразбай, и послал к Такежану и Азимбаю, чтобы они донесли через него, что происходит в ауле Абая. Какитай и Магаш ехали теперь к Абаю, с возмущением обсуждая недавнее происшествие.

Абай, и так последние дни бывший не в себе, молча сидевший в Большом доме, едва заслышав у порога шаги, встрепенулся, толком и не разглядев, кто пришел:

– Что там еще случилось? А ну, говорите скорее!

Магаш ничего не хотел скрывать от отца.

– Такежан – будь он трижды проклят!.. – сказал он и поведал отцу о случившемся.

Выслушав его, Абай решительно встал.

– Подай мой тымак! – сказал он Баймагамбету, нетерпеливо протягивая руку.

Тот, вместе с тымаком, подал и камчу. Абай двинулся к выходу, крича на ходу:

– К чему мне оставаться рядом с этими людьми!? Ядовитая змея сидит у меня за пазухой! Я ухожу. Нет меня больше, ни для кого из вас! За мной, Баймагамбет!

Рядом с Большим домом был привязан к поперечине серый иноходец Есентая, на котором Абай ездил в последнее время. Он отвязал коня, сел в седло.

– Садись на этого коня и веди меня! – сказал он Баймагамбету, указав на скакуна Магаша. – Прочь от этих людей, от этой лживой жизни!

Абай был белым, как бумага, щетина топорщилась на его лице, так как скулы были сведены от гнева. Баймагамбет проворно вскочил в седло и вывел коня вперед.

– Куда скажете? – оглянулся он.

– Гони на запад! – крикнул Абай и, ударив стременами серого иноходца, с места рванул в карьер.

Магаш и Какитай замерли на месте, перепуганные, растерянные, не в силах даже шевельнуться.

Дробный топот копыт еще не стих вдали, как к Большому дому подъехали Исхак и Шубар. Растерянные лица джигитов насторожили Исхака.

– Что тут случилось? – встревоженно спросил он. – Не Абай ли это уехал? Зачем?

Магаш не смотрел на подъехавших: он стоял боком к этим родственникам и заговорил, обращаясь в сторону, будто сам с собой, глаза его были полны слез…

– Что такое в этом мире творится? Отец ушел… От нас, из этого стойбища… Вон, уезжает, решил более не возвращаться…

– Ойбай, да что это он надумал? – сказал Шубар, изображая сочувствие. – О, Кудай, о чем это он? Неужто так и отпустим? Исхак-ага, чего стоим, поехали!

С этим словами, нахлестывая коня, Шубар поскакал вслед за Абаем. Вместе с ним ускакал и Исхак.

Вечерело, безоблачное небо над джайлау в вышине стало густо-синим. Огромный шар медленно заходил за горизонт, желтый степной простор наливался багровой краской. Все казалось иным, странным в пору заката солнца: и горные хребты вдали, и стадо коз у степной дороги, и холки коней, быстро несущих Абая и Баймагамбета к западу.

Погоня стала ясно слышна, заглушая топот копыт их собственных скакунов. Абай, казалось, не замечал, даже не оглянулся. Баймагамбет же натянул поводья, остановив своего коня.

В этот миг Исхак и Шубар поравнялись с Абаем, обойдя его с обеих сторон, спрыгнули с седел. Шубар, метнувшись к нему с серым лицом, схватился за поводья иноходца.

– Агатай, куда же вы? – вскричал он плачущим голосом.

– Отпусти! – крикнул Абай сердито.

Тут Шубар дважды обернул вокруг своей шеи, прямо поверх длинной черной бороды, повод коня Абая, будто готовый быть удушенным на месте, только бы не отпускать его. Проговорил с притворной жалобностью:

– Айналайын, Абай-ага! Ты же не уйдешь от нас, не покинешь родных-близких! Если решился уйти, то прежде задуши меня, растопчи копытами, железными подковами!

Тут же подхватил Исхак, держащий коня Абая за узду с другой стороны и тем самым сводящий на нет смехотворную попытку Шубара лечь под копыта.

– Успокойся, Абай! – сказал Исхак тоном человека, якобы искренне озабоченного происходящим. – Да и не время тебе ехать! Есть еще одно, что ты должен узнать… Только что я заходил, справлялся... Магыш, оказывается, лежит сейчас при смерти! Ты что же, предашь память своего сына Абиша, когда его супруга потеряла рассудок, лежит, просит: «Хотя бы разок повидаться с отцом перед последним вздохом, поблагодарить за все хорошее!»

Абай вздрогнул, выпрямился в седле.

– И то правда! Что же это я? Как мог я забыть о ней! Ведь она гораздо несчастнее, чем теперь я…

И Абай отказался от своего намерения, решив немедленно возвратиться…

Магыш в эти самые минуты умирала, лежа в траурной юрте, что была поставлена на самой окраине аула два года назад. Возле высокой постели сидела ее лучшая подруга Макен, держа голову одинокой вдовы на своих дрожащих коленях.

Горе потери, боль утраты поразили, словно ядом, это молодое, сильное тело. Глубокая тоска мучила Магыш две зимы и три лета, теперь клятва, данная ею у гроба любимого мужа, исполнялась.

Абай вспомнил свои недавние стихи… Думая о ее безутешном, неизбывном горе, неотвратимо поедавшем душу невестки, словно болезнь, горе, которое и в сердце Абая поселилось те-

перь навсегда, он написал плач, и сейчас, скача во весь опор к одру умирающей, припомнил его строки…

Я стал бедней бедняка,
Меня сгибает тоска.
Опоры ищет рука, –
А где она, где она?!
Лишь горечь сердцу близка,
Ему отрады не знать.
Мне наша скорбь тяжела.
Мой сын не встанет от сна.
Мне трудно стало с людьми,
Навеки я одинок.
Магыш, родная, пойми![1]

Теперь безутешная вдова достигла своего, исполнила клятву… Магыш умерла в тот самый миг, когда Абай, отделившись от Шубара и Исхака, вдвоем с Баймагамбетом подъехал с тыльной стороны к траурному жилищу Абиша.

Еще на пороге, увидев глаза Макен, Абай понял, что это уже произошло. Он молча обнял свою мертвую невестку, и его крупные, горячие слезы тяжело упали на ее белое лицо.

[1] Перевод М. Петровых.

В СХВАТКЕ

1

Избиение Абая в Кошбике породило немало противоречивых слухов, сплетен, досужих разговоров и бурных чувств. В тот день, когда униженный Абай вернулся домой, многие аулы иргизбаев даже посадили на коней своих джигитов, способных, по их собственному мнению, воевать. С криками: «Убьем! Изничтожим!» – шумная ватага объезжала многие аулы, всюду попивая кумыс, поправляя снаряжение и поигрывая соилами. Разговоры шли о том, что надо бы устроить засаду, перехватить Оразбая, когда тот будет возвращаться с выборов, и «перебить их всех в дороге» – соответственно, самого Оразбая и тех, кто будет с ним…

В таком настроении, постоянно прикладываясь к бурдюкам, джигиты собрались на вершине холма, правда, как вскоре выяснилось, – лишь для того, чтобы вдоволь нахвастаться своими былыми подвигами да еще немного попить кумысу. Когда бодрящий напиток закончился, то, после обеденной поры, слово за слово, все поутихли и еще засветло разбрелись по домам… Это же самое повторилось и на другой, и на третий день.

До Оразбая, разумеется, вскоре дошли все эти угрозы, слухи о каждодневных приготовлениях, и, несмотря на то что все это было похоже на пустые угрозы и имело явно кичливый характер, он не на шутку перепугался. Его обратная дорога пролегала через аулы иргизбаев, и он ехал в родные края крадучись, под покровом ночной тьмы.

Вернувшись в свой аул, Оразбай немедленно послал тайного гонца, затем другого и третьего – к Азимбаю, чтобы разведать настроение иргизбаев и обстановку в их аулах. Вот откуда взялся Кикым, которого чуть было не поймали Магаш и Какитай.

По-боевому настроенная ватага джигитов, уже привыкшая ежедневно пить кумыс на холме, всегда несколько остужалась, когда среди горячих воинов появлялись Такежан, Азимбай или Шубар с довольно постными лицами. Их же умиротворяющие разговоры и вовсе заставляли джигитов умерить свой пыл и спокойно разойтись по домам. Однако, вернувшись в аул Абая, они вновь возбуждались, хватали оружие и кричали: «Убьем! Уничтожим! Ударим!» – опять надевали старые, поношенные одежды, готовясь выступить в поход, крушить врагов.

Возглавив подобную разъяренную ватагу, в один из этих дней к Абаю явился старший из иргизбаев – Ирсай. Он то хныкал обиженно, то яростно ревел во всю глотку.

– Родной ты наш! Вот, хотим умереть ради тебя, – говорил он, тыча дрожащим перстом в сторону угрюмой толпы своих воинов. – Велишь рубить – изрубим, велишь биться насмерть – схватимся в жестокой битве с твоим врагом!

Люди, пришедшие с Ирсаем, были большей частью карасакалы, чернобородые жители аула, привычные к мирному труду. Магаш и Какитай пришли вместе с ними, желая узнать, как же теперь поступит Абай? Увидев своих молодых друзей, он вышел из оцепенения, в котором пребывал последние дни, и тихо проговорил, будто бы высказывая мысль, что всерьез мучила его:

– Если на человека набросилась кусачая собака, неужто он станет кусать ее ответно? Так же и самому ведь недолго стать собакой!

Несмотря на то что жители Шакпака, казалось бы, готовы были броситься в огонь, мало-помалу они все же остыли, особенно, увидев, что другие два аула сыновей Кунанбая вовсе не лезут в драку. Вслух, правда, об этом никто не говорил,

но молчание Такежана и Азимбая было весьма красноречивым…

Воинственная ватага, то собиравшаяся выступить, то расходившаяся, была не единственной силой в среде тобыктинцев: сородичи, аульные соседи – все так или иначе переживали случившееся, глубоко возмущались и готовы были мстить. Их слова быстро разнеслись по Чингизской и соседним волостям, приводя людей в волнение, причем самых простых кочевников, казахских середняков, в то время как баи, бии, волостные и прочие аткаминеры никаких особых воинственных настроений не выказывали…

Все же постепенно среди казахов Тобыкты созревала мысль наказать Оразбая. Предлагалось отомстить не только за поруганную честь Абая, но и за унижение тобыктинцев вообще.

– Надо выявить всех виновных, тех, кто дал Оразбаю курук в руки! – сказал один из предводителей сходки, куда пригласили Магаша и Какитая как самых близких Абаю людей. – Пусть они заплатят откупную, надо с позором выставить их перед людьми. Виновного – наказать, отобрать его достояние, весь его скот!

Говоря подобные слова Магашу, выслушивая его ответы, люди отмечали, что он любимый сын Абая, а среди молодых – самый рассудительный и образованный джигит.

Многие, все больше распаляя в себе воинский дух, постоянно связывались меж собой, посылая друг к другу людей, обсуждали, принимали какие-то решения… Так, люди из родов Мотыш, Кулык, Дузбембет, Карамырза, которые все еще относились с почтением к сыновьям старшего рода – Тобыкты, держали меж собой совет, и их посланец по имени Кодыга имел встречу и долгую беседу с Магашем.

Приезжали к нему и люди от ближайших соседей, многочисленных родов Сак-Тогалак и Жуантаяк, из Кокше и Мамая. Все они говорили примерно то же самое, что и разъяренные тобыктинцы: «Опозорим Оразбая перед всем миром, с повинной головой поставим перед Абаем на колени!»

Магаш выслушивал все эти предложения, но отвечал коротко и скупо: «Честь моего отца нельзя обменять на скот! Его совесть не позволит обелить злодея мздой. Мой отец не примет подобных откупных, и я тоже не одобряю такое!»

Абай был рад, что Магаш отвечает именно так: слова сына, переданные ему посторонними людьми, переполнили гордостью его душу. Магаш вырос умным и рассудительным человеком, и его отец не мог не оценить этого…

С тех пор прошло около года, люди жили, занятые привычными заботами на джайлау и стойбищах, на пастбищах и у родников, но жестокое деяние, совершенное с Абаем в Кошбике, осталось в памяти незаживающей раной, неразрешенным вопросом не только для жителей этого края…

Беду, как говорят в народе, в мешок не спрячешь: эта напасть и через год была на устах людей, – всюду, где знали Абая, его стихи и песни, назидания, где слышали о его благих деяниях, заступничестве за простой люд. Весть эта широко распространилась по всей степи, дойдя даже до таких отдаленных родов, как Керей, Найман, Уак, всего многочисленного населения рода Аргын.

Ее услышали не только на джайлау, на осенних, весенних пастбищах, в зимовьях. Слово за слово, пешим ходом эта тяжелая весть дошла и до всех пяти волостей Семипалатинского уезда и, конечно, до самого города. В Семипалатинск, который был центром большой области, со всех сторон приезжали как простые люди, так и чиновники различного ранга, они увозили новости с собой, так эта новость достигла и многих городов – Усть-Каменогорска, Жайсана, Баяна, Каркаралы, Кереку, Кокпекти, которые входили в один дуан с Семипалатинским уездом. Оттуда разговоры перекинулись и в соседние с Семипалатинской областью волости: Акмола, Караоткель, Шубарагаш, Лепсы-Капал, Аягуз, что в Жетысуйской области. Словом, все города и веси, где жил степной народ, были хорошо осве-

домлены о том коварном, подлом нападении, которое было совершено на одного из самых уважаемых его людей.

В разных кругах об этом говорили по-разному. Большинство выражало сочувствие или возмущение, что было вполне естественно. В то же время этот горестный случай, казалось, обнажил истинное лицо иных казахов, которых он не только не волновал, не коробил, но даже и вызывал некоторое удовлетворение. Волостные и хаджи, муллы и баи – те, что кичились своими предками, удостоенные всяческих чинов, ездившие на Макаржинскую ярмарку или совершившие паломничество в Мекку, те, кто хвастал, что был принят в конторе «жандарала» или якшался с каким-то сановником на чрезвычайном съезде, – эти люди не упрекали Оразбая за его преступные деяния. Напротив, они преклонялись перед его грубостью и дерзостью, говорили: по-другому и не могло быть, дескать, батыр только так и мог поступить – и тому подобное…

Эти люди ненавидели Абая столь же тяжело и неотступно, что и Оразбай, они ненавидели его «Слова назидания», его стремление к новой жизни. Они пытались опорочить Абая, услышанное подавали в искаженном виде, упрекая его в том, что он, мол, сам довел Оразбая до крайности.

«Ибрай зазнался! – говорили они. – Возгордился сверх всякой меры, унизил достоинство лучшего из лучших среди казахов, вот и встал за свою честь Оразбай… За языком своим надо было следить Ибраю!»

Чаще всего подобные слова исходили от людей, не раз сталкивавшихся с Абаем, хорошо сознающих его превосходство и сгоравших от черной зависти к нему. У этих-то людей – волостных, владетельных баев, хаджи из Усть-Каменогорска, Жайсана, Кереку, Каркаралинска – как раз и были основания всячески одобрять и поддерживать Оразбая, и разговоры они заводили соответственно своему уровню, сами мало чем отличаясь от него.

А что же люди, остальные, те, кого принято называть простым народом? Этот народ не остался безучастным к событию: люди искренне сожалели о случившемся с Абаем, и таковых, выражавших свое глубокое сочувствие ему, было многим больше, их было не счесть… Здесь даже нельзя сказать, кто из ближнего или из дальнего аула, – сторонники, единомышленники Абая были везде, не считаясь ни с родством, ни с соседством. Услышав плохую весть, поразившую их сердца, они не только тяжело переживали, но и не уставали повторять слова Абая, песни его и стихи, еще глубже воспринимая их сердцем.

Людей, искренне сочувствующих Абаю, было одинаково много и в степи, и в городах. Особенно много сторонников Абая нашлось в Семипалатинске. Горожане хорошо знали стихи, назидания Абая, – их читали наизусть как молодые учащиеся русских школ, мусульманских медресе, так и простые городские жители, ремесленники, базарная беднота, даже мелкие торговцы по ту и по эту сторону Иртыша, и люди тяжелого труда, как, например, лодочник Сеил. Все любили Абая, часто повторяли в обыденной жизни его слова, приводили их в качестве ответа в беседах, – мол, так сказал Абай…

В отношении всяческих слухов уши у города были острее, нежели у степи: новость, прозвучавшая сегодня за вечерней трапезой в любом скромном очаге, назавтра оказывалась достоянием всего базара и продолжала свое шествие по улицам и площадям. Так и само искусство Абая: оно быстро распространялось по обоим берегам Иртыша, уже многие годы, неся радость и самому городу, и аулу Жоламан, и Затону. Город праздновал под песни Абая: их исполняли на проводах невесты и на самой свадьбе, на крестинах, на любых праздниках, как мирских, так и религиозных, во время айта.

Разве могли люди, радовавшиеся искусству Абая, певшие его песни и сыпавшие его крылатыми словами, равнодушно принять весть о невзгодах, выпавших на голову акына, о чер-

ных делах, запятнавших его честь? Все это город воспринял с возмущением и гневом.

Вот что случилось на пароме, ходившем между Семипалатинском и слободкой.

Близилась осень. В пору жаркого лета поубавились воды Иртыша, стали значительно чище по причине редкости дождей, несущих в реку всякий сор, да и берега несколько сблизились.

Через Иртыш и Карасу ходили два парома. Сначала людей переправляли через Большой Иртыш, на лесистый остров, который высился посередине реки. Пешие, верхом или на арбах, люди пересекали остров, заросший большими тополями, соснами и карагачами, затем заходили на другой паром, который переправлял их через протоку Карасу. Вся эта шумная переправа, с посадкой-высадкой, отнимала более часа.

Если не считать юрких, снующих туда-сюда лодок, по-другому, как на больших паромах, перебраться через реку было невозможно, с чем и приходилось считаться, проявляя порой великое терпение, всем до единого – большим и малым, верховым и пешим, русским и казахам, жителям города и степнякам, прибывающим с караванами, обозникам из отдаленных городов, лихим ямщикам…

Сегодня, как и всегда, на пристани теснились многочисленные подводы и арбы в ожидании парома, который шел к слободке со стороны острова.

Стоило парому коснуться берега, с него повалили люди: верховые и пешие, покатились подводы и арбы – все, кто прибыл на эту сторону из Большого Семипалатинска. Едва паром опустел, как на него хлынул встречный поток – такие же арбы и повозки, задевая друг друга колесами, с грохотом и шумом катились по деревянному мостику, что соединял пристань с паромом.

Позади каждой арбы висела торба с кормом, чтобы задние лошади, зарясь на нее, сами устремлялись вперед, без понуканий возчика. В общей толчее трудно было разобрать, куда идет передняя арба: может, она прямо сейчас свалится в реку, и ты

свалишься за ней… Или на пароме начнется пожар, а повозка за повозкой все так же будут идти вперед, под напором задних – хоть в воду, хоть в огонь. Сейчас самыми смелыми оказались арбы ямщиков, ехавших со стороны Жетысу, они и вырвались вперед, обгоняя зацепившиеся повозки. Пешему путнику должно было сильно повезти, чтобы занять местечко поудобнее, прежде других добраться до парома, не теряясь в этой суматохе, под окрики и ругань ямщиков, свист их длинных бичей.

Пешим и верховым было положено заходить на паром первыми. Ловко шмыгая между повозками, они раньше всех забирались по мостику на паром. Уже оттуда, как бы спасенные от общей давки, они весело смотрели на яростную борьбу колес, происходящую на мостике. Под их гогот порой у чьей-то арбы отлетала осевая чека, подкашивались колеса, ломались оглобли. А уж если половина арбы, запряженной строптивым верблюдом, вдруг повисала над быстрой водой, для пеших путников не было более интересной забавы!

В такие минуты пристань оглашалась невообразимым шумом, руганью:

– Ай хой!

– Пошел вон!

– Стой! Сукин сын!

– А ты сам свинья!

– Чего глаза вылупил?

– Вот змеюка! Куда ползешь?!

Кого-то придавит, он взмолится о помощи, раздастся плач ребенка, истошный крик женщины, вдруг, совсем некстати, ржание осла… Так и живет пристань с утра до ночи, под скрипы несмазанных колес и крики, гомон толпы…

Сейчас, когда Марков, фельдшер Девяткин и их общий друг грузчик Сеит попали наконец на паром со стороны слободки, там уже никто не толкался, не дрался за место, по той простой причине, что паром уже был битком набит и немедленно отчалил. Те, кто не смог прорваться на своих больших арбах,

остались на берегу, ожидая возвращения и следующей ходки парома. Сеит, Девяткин и Марков вышли на нос парома со стороны острова, чтобы полюбоваться голубой водой Большого Иртыша.

Прямо посреди парома стояло с десяток крепких повозок, ямщики восседали на козлах в смиренном ожидании. Когда Сеит пробирался сквозь эти толпящиеся арбы, пригнувшись под шеей чьей-то лошади, вдруг кто-то окликнул его. Грузчик поднял голову и, узнав своего доброго знакомого, радостно воскликнул:

– Е, Жунус, ты ли это?

Встав на колесо, он проворно запрыгнул в высокую арбу. Повозка была доверху набита шкурами всякого пушного зверья, которые были закрыты мешковиной и аккуратно перетянуты веревкой. Сеит помахал своим спутникам, приглашая их сесть подле себя. Те охотно согласились, поскольку никаких лавок или стульев на пароме предусмотрено не было. Марков и Девяткин тотчас запрыгнули в арбу, устроившись на мягких мешках с мехом.

Представляя друзьям Жунуса, своего давнего знакомого, Сеит повел о нем обстоятельный рассказ.

– Когда-то и он был грузчиком в нашем Затоне, был не менее крепок, нежели я, правда, Жунус? – говорил Сеит, толкая кучера в бок. – Бывало, спорили, кто сильнее, кто больше поднимет руками. Как видим, Жунус не только телом крепок, но и умом, смотрите, как разбогател, баем стал! Вот и арбу, и лошадь свою имеет, везет шкуры, волчьи да лисьи. Вон, какое достояние везет! Откуда едешь, Жунус? – только в самом конце своей речи задал Сеит вопрос, который, по правилам приличия, должен был задать в начале.

– Со стороны Жетысу, с Шубарагаш-Ойжайлау! – немедленно отозвался Жунус, весело блеснув глазами.

Было видно, что человек этот когда-то был рыжеватым, со светлой кожей, но сейчас изрядно загорел на солнце. Его обве-

тренное лицо потемнело, ладони потрескались и кровоточили. Похоже, совсем недавно, оказавшись в городе, он коротко подстриг свою бурую бороду, придав ей остроконечную форму. Рассказ Сеита о нем же самом он слушал, добродушно улыбаясь.

Его собственный, ответный рассказ прозвучал не столь ободряюще… Оказалось, что Жунус все еще ходит в наемных ямщиках бая, полуказаха по имени Мателн. Лошадь с арбой были байские. И летом, и зимой он возит различные грузы. Вот и на этот раз шел в караване в двадцать подвод, с грузом звериных шкур, собранных по эту сторону от самой китайской границы. Только десять ямщиков сумели зацепиться сейчас за паром, остальные десять остались на пристани.

Вскоре все, сидящие в арбе на мешках со шкурами, неторопливо разговорились. Сеит и Жунус толковали о чем-то своем, а Девяткин спросил Маркова, откуда тот едет и, получив ответ, выслушал его дорожную историю, поскольку встретились они только что, у самой пристани, и толком не успели поговорить…

Девяткин, как выяснилось, ездил ниже по течению Иртыша, а Марков – выше. Девяткин с неделю был в казахских аулах на левом берегу, лечил людей, занемогших от инфекционной болезни, предположительно тифа. Марков отдыхал на пикете Шоптигак, в ауле Жоламан, рыбачил и охотился. Оба сейчас возвращались домой.

Когда рассказы обоих исчерпались, они замолчали, глядя на воду, слушая плеск волн о борт парома да голос Сеита, который взволнованно говорил по-казахски с ямщиком…

– Эге, да о чем же они говорят! – воскликнул Девяткин, прекрасно понимавший язык степи. Он немного послушал, склонив голову набок, затем пояснил: – Они ведь об Ибрагиме Кунанбаевиче сейчас говорят!

– Неужели? – удивился Марков, почему-то весьма пораженный тем, что рабочий и ямщик говорят об Абае.

Прислушавшись, он действительно уловил его имя в потоке речи, но, не полагаясь на свои слабые знания казахского языка, обратился к Девяткину:

– Пожалуйста, переведите!

Коротко пересказав Маркову то, что уловил прежде, Девяткин внимательно прислушался к разговору ямщиков.

Его начал Жунус, спросив Сеита насчет слухов, которые дошли до него в дороге: на последнем пикете он слышал, что, дескать, какие-то люди жестоко обошлись с Абаем, совершили против него злое деяние…

Жунус приехал в город только нынешней ночью, не знал последних новостей. Некогда они вместе с Сеитом читали стихи Абая, хорошо знали его песни. Жунус спросил, правда ли то, что говорят? Едва Сеит начал рассказывать все, что он знал об этом, к арбе Жунуса потянулись и другие ямщики, и вскоре на середине парома собралась небольшая толпа.

Похоже, что ямщики хорошо знали Абая, хотя все семеро были нездешние – со стороны Шубарагаша, Капала, Аягуза. То ли по рассказам Жунуса, то ли и сами были наслышаны об акыне, но разговор их явно заинтересовал.

Сеит был осведомлен настолько, что обстоятельно поведал о бесчинстве, совершенном в Кошбике. По его словам, с Абаем разделались за то, что он, с одной стороны – выступил на стороне простого люда, земледельцев из рода Кокен, голи всяческой и бедноты, с другой – посрамил аруахов Тобыкты, унизил знатных людей, предал и оскорбил, как они считали, память достойного Кунанбая…

– Они даже хотели убить его! – с возмущением закончил Сеит. – Только вот не смогли завершить свой злодейский план.

– Собаки! – немедленно выругался Жунус. – Паршивые хищные звери!

– Кровопийцы! – поддержал его один из ямщиков. – Как они посмели поднять руку на Абая!

– Разве они пожалеют кого-то! – сказал другой. – Мало, что грабят караваны на большой дороге, жгут мирные селения, так они решились посягнуть на единственного среди нас благородного человека! Чистейшая, одинокая честная душа…

– А куда градоначальник смотрел? – вдруг подал голос сердитый ямщик с бурой бородой. – Ведь он же там был! Почему не защитил Абая, который, как ему известно, сам упорно защищает все русское?

– Этот-то как раз и вступился! – сказал Сеит, будто пытаясь обелить чиновника. – Не кто иной, как сам уездный глава и спас его, послал атшабаров, те стали палить из ружей… Получилось, что Маковецкий и спас Абая, когда его нещадно избивали.

– Такого просто не могло быть, – вдруг тихо сказал Девяткин. – Наверное, все оно было не так. Кунанбаева не станет защищать ни уездный начальник, ни любой другой. Он даже пальцем не пошевелит. Кто может защитить такого человека, как Абай? Только вы сами. Вот, например, ты! – Девяткин ткнул пальцем в грудь Сеита. – И ты! – тут он указал на буробородого ямщика и дальше, будто пересчитывая всех по очереди, указывал пальцем и говорил: «Ты! Ты!»

Подобные слова Девяткина немало озадачили казахов.

– Апырай! А ведь он верно говорит! – воскликнул Жунус, когда до него дошел их смысл.

– Стоящие слова! Точно сказано! – загомонили все.

– Конечно, стоящие! – подумав, сказал Сеит. – Только не радуйтесь так: это не в похвальбу вам, а в упрек сказано! И тебе, и тебе! – он тоже ткнул пальцем в ямщиков. – Доктор говорит, что Абай – защитник людей. Каких людей? Оразбая? Кроткое большинство… Так он говорил. А где оно, это большинство, когда на самом деле с ним случилась беда?

Ямщики молчали, прекрасно поняв слова Сеита, и Девяткин, достаточно в этом убедившись, заговорил снова, начав рассказывать о том, что видел собственными глазами в аулах Карашолак, Кенжебай и Жалыкбас, откуда он возвращался.

Раз в сумерках он зашел в дом пожилой женщины, у которой заболел ребенок. Это был один из беднейших очагов в ауле Карашолак. В углу, в полутьме сидел старик, он читал молитву, отвернувшись к стене, казалось, что он плакал, будто бы о том

ребенке, который лежал тут же, больной… Но нет – как вскоре узнал Девяткин, печаль его была другого рода: старик услышал о беде, происшедшей с Абаем, и плакал от сострадания к нему.

В другом ауле он стал свидетелем такой картины: пять-шесть детишек, сидя возле молодого муллы, заучивали и громко повторяли стихи Абая. Когда урок закончился, они обступили муллу с вопросами: что за напасть случилась с акыном? И были весьма огорчены, когда мулла поведал им об этом…

В ауле Кенжебай есть одна хорошенькая девушка по имени Акбалык. В тот день, когда Девяткин посетил аул, к ней приехал жених, и в доме было большое веселье. Сидя среди гостей, Девяткин слушал, как невеста читает письмо Татьяны, ответ Онегина… Едва закончив чтение, она расплакалась. Когда ее окружили с расспросами, она сказала, что плачет из сострадания к Абаю. «Как казахи могли напасть на такого казаха? – вопрошала девушка. – И что за собаки хотят убить человека, из чьих уст льются такие золотые слова?»

О красавице Акбалык Девяткин рассказывал с особой теплотой:

– Девушка из далекого аула тронула меня больше всего. Надо же, как она любит и ценит его! Это меня и убедило, что именно степной народ защитит Абая, не даст его в обиду! Вот что я видел собственными глазами!

Разговор об Абае, начатый на первом пароме, с большой охотой продолжился и на втором, когда та же компания переправлялась через Карасу. Тут в беседу включился и Марков: охотясь и рыбача вдоль Иртыша, он не раз слышал о знаменитом акыне от казахов, как старых, так и молодых… Позже об этом разговоре Марков поведал и Павлову…

Все это случилось примерно через полмесяца после того, как Абай безвинно пострадал в Кошбике. Происшествие затем обросло многочисленными слухами, превратилось в легенду. Говорили об этом и в очаге Дамежан, и в лодке Сеила, и на

пристани, где работали грузчиками Абен и Сеит. В бараке на Затоне, пристанище одиноких грузчиков, среди многочисленных рабочих порта люди вспоминали Абая добрым словом и, напротив, – с неприязнью и гневом клеймили Оразбая.

Прошел год, знаменитый палван Сеит отъехал из Затона в степь…

Переболев в конце зимы тифом, он только что встал на ноги и теперь, когда вскрылась река и по ней вновь пошли пароходы, должен был выйти на свою сезонную работу, которая была весьма тяжелой оттого, что каждому крючнику приходилось справляться за двоих. После болезни у Сеита уже не было такой силы, да и заработки последнее время стали почему-то ниже… Товарищи, такие, как Абен, посоветовали Сеиту выехать этим летом в степь, к ним присоединились голоса его жены и родных.

Прислушавшись к их советам, Сеит в начале лета отправился в земли рода Тогалак, в аул, который покинул еще в пору своего детства. Там, среди своих сородичей, он значительно окреп. Приехал, когда народ отправился на джайлау, а сейчас, когда люди спускались с пастбищ, они с трудом узнавали его: погостив на родине около двух месяцев, вдоволь попив кумыса и отдохнув, он изрядно поправился и восстановил свои богатырские силы, на его смуглом лице проступил здоровый румянец.

Сеит был человеком душевным и щедрым, хоть и жил в бедности, существуя лишь ежедневным тяжелым трудом. Несмотря на скудность своих средств, он нечего не жалел для людей, приходивших в его дом.

Его небольшой кирпичный дом в Затоне был с плоской кровлей, низкий, всего в две комнаты, зато весьма гостеприимный: здесь всегда останавливались люди, приезжавшие со степи. Прибывали порой целыми караванами, которые едва помещались в невеликом дворе, летом и зимой, на арбах и санях, с множеством лошадей и верблюдов, проживая достаточно долго.

Широкая натура и отзывчивый характер Сеита были известны многим, поэтому у его дома спешивались и люди из других волостей, не только из родного Тогалака. Даже и те, кто имел своих родных среди жителей Затона, других грузчиков, выходцев со степи, все равно стояли у Сеита, зная его особое гостеприимство.

В пору зимнего согыма или летней стрижки скота жилища городских казахов набивались степными гостями: они либо приезжали основательно закупиться на зиму, либо сами продавали шерсть на базаре.

Случались дни, когда нечем было накормить гостей: в доме уже не было ни хлеба, ни мяса, но Сеит и его жена Катша старались и виду не подать. Гости были накормлены, оставались довольными, даже и не зная, что гостеприимный дастархан приходилось потом Сеиту отрабатывать, возвращая долги…

Многочисленные приезжие то ли не знали, то ли знать не желали о бедственном положении столь гостеприимной семьи – ели и пили вдоволь, лишь некоторые, особо проницательные, украдкой оказывали какую-то помощь. Как-то раз вообще ничего в доме не осталось, и взять было не у кого: ни у друга-казаха, ближайшего соседа, ни у других грузчиков Затона, рабочих, мастеров, ни у кузнеца Кирилла, что жил на той же улице. Тогда уж гордая Катша просто развела руками, при виде очередных гостей, ввалившихся в дом:

– Нечем вас угощать! Ничего нет, сами сидим голодные.

Сеит славился не только щедростью натуры, но еще и исполинской силой. Любили его и за то, что он был весельчаком и балагуром, очень приветливо встречал людей, не скупясь на веселые разговоры. Сравнить Сеита можно было, разве что, только с Абеном, его другом и столь же замечательным весельчаком. За это и любили этих двоих друзей Дармен, Алмагамбет и Мука́, которых, в свою очередь, любили и почитали взаимно – как певцов, поэтов и вообще щедро одаренных джигитов, не только Сеит с Абеном, но и все рабочие Затона. Именно через

Дармена, Алмагамбета и Мука́ грузчики перенимали, заучивали новые песни Абая, которые они затем пели по всему городу, передавая их вверх и вниз по реке.

В доме Сеита была старая трехструнная домбра работы семипалатинского мастера, которая все еще сохраняла свои достоинства. Едва выдавалась свободная минутка, Сеит ложился на спину, брал на грудь свою голосистую, красноречивую домбру, начинал играть, затем басовитым голосом запевал. Он подолгу пел сам себе, в уединении, тешась песнями, что любили казахи степи и низины – то новые сочинения Абая, то хорошо знакомые татарские песни.

Все это Сеит, хорошенько разучив дома, пел и в гостях среди тогалаков, которые теперь, в ответ на его многолетнее гостеприимство, заботились о нем и ухаживали, как могли. Бедняки рода Тогалак, которые частенько ездили в город и бывали у него дома, теперь ничего не жалели для него: щедро угощали кумысом и чем-нибудь покрепче, резали для него козлят и ягнят.

Теперь борец и певец, весельчак и благородный балагур Сеит, всеми привечаемый, ходил со своей красноречивой семипалатинской домброй от дома к дому, из аула в аул, и везде был принят с почтением. Этому немало способствовала скученность рода Тогалак: будучи весьма бедным, он имел немного земли для стойбищ, поэтому все аулы рода стояли совсем близко друг к дружке.

Тут же располагались близкие родичи тогалаков – не менее многочисленный род Сак, настолько близкий, что часто их называли вместе: Сак-Тогалак. Впрочем, так оно и было: Сак-Тогалак слыл единым, дружным родом, к тому же весьма смирным и дружелюбным. Эти люди были спокойными, никому не вредили, не делали ничего плохого. Может быть, поэтому, а скорее всего – по причине многочисленности и скученности родов Сак-Тогалак, никто им не вредил ответно, воинственные баи соседей, родов Есболат и Олжай, не решались им угрожать.

В последние дни перед отъездом из степи Сеит отправился в Есболат: приглашала одна небогатая семья. Взяв с собой

джигита-подростка, Сеит два дня гостил у своего ровесника и близкого друга Айсы, наполнив его дом песнями и весельем.

Голос Сеита не был ни звонким, ни особо красивым: его певческие способности держались на добротном среднем уровне, но здешним слушателям он показался настоящим певцом-серэ. Низким басовитым голосом Сеит исполнял песни Абая.

Надо заметить, что хозяином аула был большой бай рода Есболат, а сам аул располагался по соседству с аулом Оразбая. И вот, Сеит наполнил своим весельем и песнями одну из здешних бедных юрт, куда постоянно набивалось множество людей, которые с удовольствием слушали, как Абай, устами Сеита, измывается над баями, выставляя их на посмешище, обвиняет, обличает… Что-то Сеит исполнял под струны домбры, что-то просто читал как стихи. Всех без разбору толстосумов клеймил и позорил Абай низким голосом Сеита под звоны струн, словно нещадно хлестал ударами лозы: и глав родовых кланов, и всяких аткаминеров, и просто богачей, словно все они провинились лично перед ним. Народ же, собравшийся в юрте, смеялся и радовался, в чем не было ничего удивительного, ибо всю массу слушателей составляли конюхи, верблюжьи и овечьи пастухи, дояры и скотники – многочисленная обслуга аула. Этим кротким людям никогда прежде не доводилось слышать ничего подобного…

Достаточно напевшись в юрте, Сеит вышел наружу, где стал показывать уже свои борцовские способности. Специально для этих целей Айса пригласил троих джигитов. Все они, во главе с Дамели, были ровесниками Сеита, поэтому Айса и поставил их на ковер перед ним, а тот немедленно уложил их, одного за другим, применяя приемы семипалатинской борьбы, иначе – «приемы грузчиков», то есть, приподняв джигита или же взяв на плечо, со словами: «Вот как делаем мы, грузчики!», бросал его оземь, словно сорванный с головы тымак.

На другой день Сеит отличился у источника, вокруг которого был разбит этот многолюдный аул. Вдвоем с Айсой они вышли

из юрты на шум и увидели, что посреди аула собралось множество народу: прямо в водоносную яму угодил верблюд! Последний принадлежал баю Оразбаю, впрочем, как и сам колодец, над которым царил его приспешник, известный вор Кикым, исполнявший теперь роль раздатчика воды. Кикым уже собрал значительную ватагу местных джигитов, поскольку вытащить животное было нелегкой задачей, требующей не только сноровки, но и огромной силы. Джигиты, примеряясь и так, и этак, старались вытащить верблюда из глубокой ямы, оглашая окрестности разноголосым гвалтом.

Это был старый облезлый атан, он громко ревел от страха. Колодец был также старый, ветхий, все еще довольно глубокий и достаточно широкий, чтобы в нем застрял верблюд. Целых двадцать джигитов не смогли справиться с этой затеей, но как только здесь появился Сеит, дело пошло на лад: как потом рассказывали очевидцы, именно благодаря сноровке его и силе им удалось вытащить из ямы огромного верблюда.

Из этого колодца, единственного на всю округу, пили воду и люди, и скот всех окрестных аулов. Кто знает, что там наделал насмерть перепуганный верблюд? Теперь надо было выбрать всю воду и основательно почистить источник. В ближайшее время собирались прикочевать на осенние стойбища многие аулы, а в степи, в отличие от верхних джайлау, не было лишней воды…

В ход пошли ведра, черпаки и все, что попалось под руки: люди долго не могли победить эту воду, вычерпать ее всю, наконец чье-то ведро стукнуло о дно, и все поняли, что цель их близка. К окончанию работы снова призвали Сеита, дабы закрепить свою радость: его попросили спеть, на что он ответил охотным согласием и сходил за своей домброй.

Под звон последних ведер он повторил песни, исполненные вчера, а также новые, которые людям еще не приходилось слышать, затем, отложив домбру в сторону, наизусть читал отдыхающим джигитам отрывки из «Слов назидания», высоко подняв палец над головой.

Надо сказать, что Сеит, если бывал в хорошем расположении духа, никогда не артачился, не отнекивался, но с большой охотой пел все, что ни попросят. Сейчас он запел «Алыстан сермеп», то мелодично вытягивая, то внезапно наращивая ритм, то включая скороговорку речитатива… Окунувшись в создание Абая, он пел долго, с удовольствием, как бы для себя, даже забыв, что его слушают, не замечая, что где-то посередине песни люди стали ерзать, озираться, поглядывать с опаской куда-то за его спину… Сеит увидел, что двое байских детей, сидящих подле него, вдруг стали какими-то скучными, рассеянными, а пожилой малай, прислужник, вдруг побледнел лицом. Сеит оборвал песню и оглянулся. В нескольких шагах от него возвышался, пританцовывая, упитанный сивый конь, а в седле сидел, нахлобучив на глаза белый заячий тымак, с грозным видом одноглазый бай Оразбай.

Не ответив на вежливое приветствие Сеита, нависая над ним с камчой в руке, он грубо спросил:

– Что это за слова ты занес в мой аул – ты, голь перекатная?

– Какие слова? – поначалу не понял Сеит.

– Такие, что я сейчас слышал своими ушами!

Тут только Сеит понял, что имеет в виду бай, и честно ответил на заданный вопрос:

– Так то ж были песни, Абаем сочиненные. Я частенько их пою – и здесь, и в городе.

– Ну, так что ж ты замолчал? Спой еще, покажи свое мастерство!

– У меня нет никакого особенного мастерства, пою только то, что сумел разучить, – скромно возразил Сеит и принялся, чуть перебирая струны, нараспев читать стихотворение, сочиненное Абаем в позапрошлом году и заученное Сеитом со слов Дармена: «Стяжателю одно лишь тешит душу – скот…»

Читая, Сеит сидел на корточках, обратив к Оразбаю свою могучую грудь. Он, конечно, узнал одноглазого бая, и у него воз-

никло желание как-то досадить ему. Он говорил словами Абая, будто кидаясь ими прямо в лицо своему одноглазому слушателю. Более того, ему казалось, что это не слова в его устах, а соил в руке: он читал, глядя проницательными карими глазами прямо в единственный злобный глаз Оразбая, точно бил его по голове…

Богатство копит богатей,
Чтоб похваляться им,
Чтоб тыкать им в глаза людей,
Чтоб жить не дать другим.
Свинья и тех, кто рядом с ней,
Считает за свиней, –
Мол, всех подкупим, коль дадим
Помоев пожирней.
Сегодня совесть, ум и честь
Едва ль на свете есть.
Брось баю золото в навоз,
Навоз он будет есть…[1]

Тут Оразбай не выдержал, перебил чтеца, громко рявкнув:

– Хватит, прекращай! Ты что же это, нарочно? Это кому такой подарок привез – неужто мне?

Сеит притворился, что его искренне удивили такие слова. Ничуть не убоявшись громко кричавшего бая, он возразил:

– Аксакал, я просто повторяю слова поэта, и ничего не собираюсь дарить вам! Мои руки пусты!

Тут Оразбай рассердился не на шутку:

– Я понял, ты, собака, тут не просто так бродяжничаешь! Ну что ж, я отвечу тебе на твой дар. А ну, полезай в колодец, давай, почистишь его вместе со всеми.

– Нет, аксакал, хоть я и бродяжничаю, однако не у вашего порога. И не для того я сюда приехал, чтобы чистить колодец.

---

[1] Перевод З. Кедриной.

Оразбай так дернул за поводья, что его конь стал часто перебирать ногами, затанцевал на месте.

– Я сказал, полезай в колодец! – закричал бай. – Или я тебя накажу сейчас же, да так, что тебе и не снилось! За всю твою вину – со вчерашнего дня.

Сеит, наконец, сам рассердился, вскочил на ноги.

– Что значит – со вчерашнего дня? Какие такие мои проступки, аксакал?

– Твоя вина в том, – зашипел Оразбай, – что ты сторонник моего врага.

– Да кто же ваш враг-то?

– Будто не знаешь! Слова его лопочешь, словно шокпаром тут размахиваешь!

– Так вы что же, почтенный, – об Абае говорите?

– О нем! О враге моем! О кафире, который сеет тут смуту твоими устами!

Сеит решил терпеть, что бы ни стало: он желал выйти с достоинством из этого словесного поединка.

– Я вижу, что вы можете сказать только что-то в этом роде. Если я начну возражать, то скажу, что вы даже в жертвы Абаю не годитесь.

Сказав так, Сеит подал знак Айсе, тот также встал, и оба стали уходить… Но не тут-то было: Оразбай громогласно приказал своим джигитам, которые чистили его колодец и теперь хмуро стояли в стороне, опустив грязные руки:

– А ну, хватайте! В яму его!

Оразбай грозно посмотрел на Кикыма, который немедленно рванулся вперед из молчаливой толпы всадников. Тогда бай и сам, подняв камчу, злобно ощерившись, подскакивая в седле, ринулся за своим подручником-вором.

– Хватайте его! Налетайте! – повторял Кикым за баем, но никто не двинулся с места: джигиты, со вчерашнего дня слушавшие Сеита, от души любовавшиеся его искусством, не пожелали выполнить распоряжение хозяина, лишь двое явных

прихлебателей отделились от толпы и вместе с Кикымом догнали идущих.

– Стой! – крикнул Кикым, став на пути и раскинув руки, но Сеит оглянулся, не прекращая идти, и, посмотрев на него исподлобья густо налитыми кровью глазами, убедительно проговорил:

– Прочь с дороги, не то сейчас кому-то морду разобью.

Оразбай, издали в ярости наблюдавший за этой сценой, истошно заорал:

– Держите его, приволоките сюда!

Никто не внял его приказанию, один пожилой скотник, взяв под уздцы его коня, сказал:

– Утихомирьтесь, Ореке! Он же наш гость…

Оразбай, выпучив свой глаз, стегнул аксакала камчой, выбив пыль на его спине, развернул коня и заорал вслед Сеиту:

– Да пусть меня самого назовут кафиром, если не велю изловить тебя да в землю по уши вогнать!

Произнеся такую клятву, Оразбай хлестнул коня и поскакал в сторону своего аула, вопя:

– Аттан! Аттан!

Сеит в тот день собирался уезжать, Айса проводил его до своего дома, помог изловить коня… Вдруг со стороны аула Оразбая в клубах пыли показалось небольшое войско: человек тридцать взбешенных джигитов с соилами, шокпарами, арканами, цепями в руках. Друзья и оглянуться не успели, как их окружили, схватили, скрутили… Сеита взяли и увели, а Айсу бросили на землю, изрядно поколотив.

Плененного палвана приволокли к Оразбаю, который стоял за своим домом, похожий на шамана-баксы, чью душу одолели бесы: на его губах пузырилась бешеная пена, говоря, он брызгал во все стороны слюной. Меж тем какие-то люди уже копали чуть поодаль яму…

– Говорил, что накажу! – исходя злобой, ехидно сказал Оразбай. – Говорил, в землю зарою по уши!

Он размахивал руками, указывая то на Сеита, снизу вверх, то на яму, сверху вниз. Сказал и подскочил, сам завернув назад руки Сеита:

– Вязать его волосяным арканом! Засунуть его в эту яму! Заживо закопать!

Джигиты бросили связанного Сеита в уже глубокую свежевырытую яму. Первую горсть земли швырнул сам Оразбай, остальные последовали его примеру… Сеита и впрямь закопали живьем, с двух сторон набрасывая сырую, холодную землю. Вскоре на ее поверхности осталась лишь торчащая голова.

– Чтоб он не сразу сдох, – пояснил кто-то из мучителей.

Это были отпетые люди Оразбая, его приспешники, исполнявшие сумасбродные приказы бая не только из страха, но и поддерживая всей душою. Они были отборными, сходными с самим Оразбаем – такие же отъявленные негодяи, до сих пор творящие барымту и набеги на мирные аулы, пользуясь покровительством своего богатого владетеля. Под его крылом они проломили немало человеческих черепов, наломали костей, пролили реки крови… Но даже они, эти грязные отродья, впервые слышали о подобном наказании. Сейчас же они сделали все это своими собственными руками.

Сеита закопали пополудни. Не издав ни звука, он терпел это ужасное унижение до самой полуночи…

Сама мысль наказать Сеита пришла в голову Оразбаю гораздо раньше, чем он увидел его у колодца. Хозяину уже давно донесли, что некто приехал к бедняку Айсе, поет там песни Абая, читает его стихи, развлекая и завораживая здешний люд.

По-хорошему, он должен был наказать этого распевшегося палвана еще вчера, так и говорил аксакалам на распитии кумыса:

– Выкину его из аула, чтоб духу его не было больше в наших краях, не позволю, чтоб эта бродячая собака лаяла тут голосом Абая!

Аксакалы остановили Оразбая:

– Зачем тебе драться с этой собакой, не стоящей даже твоих слов о нем?

– К чему вязаться с этим безлошадным бедняком, не имеющим никакого достоинства?

Оразбай вроде послушался аксакалов, но потом, порасспросив своих джигитов, узнал об этом Сеите такое, что его зубы сами собой сжались от ярости.

В том году, когда в городе разразился спор из-за молодой вдовы Макен, похищенной Дарменом, когда Корабай отнял у него девушку и уже вез на пароме обратно, чему способствовал посланный Оразбаем борец Донагул, – вдруг некий городской джигит, «батыр-грузчик» одним ударом уложил на землю этого самого Донагула, что привело к поражению всей затеи… Оказывается, тем «батыром» и был данный Сеит!

Вот о чем думал Оразбай, когда направлялся к колодцу, и к его сегодняшней злости добавилась и старая месть. Теперь песни и стихи Абая, которые исполнял джигит, стали не причиной, но поводом к истинному гневу Оразбая, который хотел наказать грузчика уже за давнюю обиду. Вот откуда произошло это жестокое деяние, никогда прежде не виданное людьми в здешних местах…

Велев закопать живьем Сеита, Оразбай даже не захотел узнать, жив он или уже умер, до самых глубоких сумерек не спросил, что творится с человеком, которого живьем зарыли в полдень.

Аульные люди настолько трепетали перед своим баем, что никто из них даже не приблизился к зарытому Сеиту. Лишь только в час, когда все отошли ко сну, весь день не находивший себе места Айса, сам избитый и измученный, пришел к старому сторожу аула. Это был кроткий малай, бывший пастух, ныне служивший караульщиком.

Тихо проклиная Оразбая и все его потомство, сторож привел Айсу на то место, где был закопан Сеит. Вдвоем они разрыли яму руками и с большим трудом откопали несчастного. Тот долго не мог прийти в себя, наконец произнес одно только слово:

– Воды!

Испив воды, принесенной сторожем в ведре из колодца, Сеит поднялся на ноги. Сторож сказал ему, что его спутник, джигит-подросток, был жестоко избит людьми Оразбая и сидел у него, привязанный к кереге. Доведя Айсу до окраины аула, Сеит сказал:

– Иди домой. Мне более не надо помощи. Тебе же здесь оставаться нельзя. Еще попадешься ненароком кому-нибудь на глаза, опять тебя накажет этот одноглазый дракон!

Поблагодарив также старика-сторожа, Сеит распростился с ними. Невдалеке был привязан пегий конь, на котором ездил пастух Оразбая. Он был без седла и уздечки, но Сеиту не впервой было справляться с неоседланной лошадью: вскоре он галопом скакал по ночной степи, держась за ее гриву…

На другой день в ауле рода Тогалак, куда прибыл Сеит, было весьма людно, так как наступил курбан айт: ровно в полдень ожидалось начало праздника. Люди из многочисленных окрестных аулов собрались здесь – в большинстве своем это были мирные кочевники, простые кроткие труженики рода Сак-Тогалак.

Эти приветливые и доброжелательные люди жили в дружбе, согласии, делились друг с другом, чем могли. Да и делиться-то им было особенно нечем: на этом большом стойбище, во всех его поселениях, не было видно ни одного богатого аула с белоснежными юртами, напротив, все сплошь состояли из серых, черных юрт или из рваных лачуг-шалашей. Все эти аулы теснились, располагаясь вокруг колодцев, на расстоянии не более одного выгона ягнят друг от друга.

Несмотря на всю эту бедность, ни один очаг не выставлял своих тягот в день курбан айта. Заранее подготовившись, гости привезли с собой все, что могли. В назначенный час, в самый полдень люди на своих конях и подводах въехали на вершину холма, поросшего густым ковылем, расположившись на западном его склоне, где не было камней.

Сюда и прискакал Сеит, в то самое время, когда здесь в полном разгаре шли всяческие соревнования: в одном месте джигиты стремились подхватить на скаку тенге с земли, в другом – готовились к кокпару. Его друзья, те, у кого он гостил все лето, также участвовали в джигитовке – это были молодые люди, небогатые, но уважаемые в своей среде за другое: ум и отвагу, умение хранить искреннюю дружбу, постоять за себя и не дать в обиду товарища.

Двое лучших друзей Сеита, его ровесники, летом проводившие с ним время в разъездах и гуляньях, один – Жомарт из рода Тогалак, другой – Омар из рода Сак, встретили его с радостью, но, увидев, как истерзано его тело, нахмурились, спешились и обступили Сеита. Это были двое лучших палванов, весьма известные в аулах, стоявших вдоль Еспеса. Они молча выслушали его рассказ…

Оба что-то решили про себя, их лица выражали твердость и непреклонность. Без тымаков, с распахнутыми воротами чапанов, Жомарт и Омар поднялись на вершину холма, Сеит шел за ними. Толпа, почувствовав недоброе, расступилась перед джигитами, каждый гадал, что это за люди, с какими вестями они пришли?

На вершине холма стояли самые уважаемые аксакалы и карасакалы родов Сак-Тогалак и Жуантаяк, среди них – Базаралы. С ним рядом был силач Абди, близкий друг Сеита.

Сеит не стал говорить сам. Указав на него, Жомарт поведал Базаралы и другим пожилым сородичам об унижении, которому подвергли Сеита.

Жомарт сильно волновался, он почти кричал, вовсю матеря Оразбая, его приспешников, честил на чем свет стоит всех его предков и потомков, даже весь его скот. Люди, стоявшие на холме, не решались как-либо ответить на его слова, лишь молча переглядывались. Тогда в разговор вступил Омар.

– Почему вы никак не отзываетесь, аксакалы? – вскричал он со злостью в голосе. – Разве кому-нибудь из вас приходилось слышать о подобном унижении, не говоря уже о том, чтобы

воочию увидеть такое? Неужто вы не отважитесь пойти на этого одноглазого? Неужто так и останемся тут, утремся и ничем не ответим на этот позор?

Тут снова заговорил Жомарт, затем, слово за слово, подскочили еще джигиты из аула, только что узнавшие о том, что случилось. Каждый кричал, размахивал руками, все наседали на аксакалов, которые все еще пребывали в нерешительности…

Тогда Жомарт, не прекращая кричать, подступил вплотную к Базаралы, которого хорошо знал, и заговорил с обидой в голосе, прося у него совета.

Он уважительно называл Базаралы нагаши, родственником по материнской линии, хотя и обращался к нему в крик. Базаралы действительно мог считаться его родственником, поскольку матери многих людей рода Тогалак были из жигитеков. Подошел ближе и Омар: теперь они оба, обступив Базаралы с двух сторон, стали по очереди наседать на него, сердито крича, но все же называя его с почтением:

– Нагаши, шайтан тебя побери! – воскликнул Омар. – Скажи ты что-нибудь, на худой конец!

– Дай нам совет, родной! – подхватил Жомарт. – Ты человек или кто? Говори, наконец, хоть на смерть нас пошли!

– Разве не видишь, что ждет твоих слов весь честной народ?

– Дай нам совет!

Базаралы прибыл сюда только вчера. Он не только приходился здешним джигитам нагаши – в этих аулах жили его сородичи и по отцовской линии. Базаралы был в сильном затруднении: как он может здесь что-то решать? Едва сдерживая слезы жалости к Сеиту, тихо сказал, обращаясь к Абди:

– Лучше умереть, чем слышать такое…

Базаралы видел, что взоры всех присутствующих обращены на него. Он стоял, стиснув зубы, тяжело и мучительно дыша: опять дало о себе знать сердце, оно забилось бешено, казалось, подпрыгнув к самому горлу…

Меж тем в толпе, после всех этих слов, сказанных отчаянными джигитами, нарастал ропот: аксакалы, карасакалы, подростки – все стали обращаться к нему:

– Пусть скажет сам Базеке!

– Пусть он и распорядится, что нам теперь делать.

– Он всегда решал самые трудные дела…

– Был некогда главой, предводителем людей…

Эти робкие возгласы перерастали в громкий, можно даже сказать, требовательный гул, хотя само решение, очевидно, как раз и перекладывалось на плечи Базаралы.

Тот прекрасно понимал состояние людей. Базаралы, будто опытный лекарь, всегда угадывал настроение народа, особенно, если это были простые степняки, люди земного труда. Вдруг, неожиданно даже для себя самого, он пришел к некой решительной, окончательной мысли. Он вскочил на своего большого коня, заметно возвышаясь над другими, поднявшись еще выше на стременах, чтобы было слышно всем людям вокруг, и громко заговорил:

– Уай, храбрые джигиты! Вы просите совета у своего нагаши. Но сейчас ваш нагаши не тот, что прежде, он кусает себе пальцы от досады. Немощен он, ибо во власти болезни… Но недаром же говорят в народе: не повторяй деяний муллы, а сам делай так, как он говорит. Ваш нагаши говорит вам наоборот: не слушайте его болтовню о немощи его собственной, а поступайте так, как он поступил бы в ваши годы! О, братья, вы же прекрасно знаете, что делал я в таком случае! Так чего ж вы стоите? Разве вас самих не унижал Оразбай? Пусть и не так жестоко и нагло, как Сеита, но неоднократно, да и по всякому!

Базаралы прервал свою речь. Лицо его было сурово, глаза в щелку сузились от гнева. Толпа смотрела на него снизу вверх, растянувшись от самой макушки холма Бозбиик до подножия, замерев в ожидании его новых слов. Базаралы не заставил себя ждать: широким взором окидывая окрестности, он видел, что здесь собрался весь люд края – и стар, и млад, все, кто был

способен держаться в седле. Он заговорил громким, зычным голосом, почти крича, его речь, полная проклятий в адрес врага, была похожа на боевое напутствие воинам.

– Неужели этот черный бес и сейчас уйдет от ответа? Неужели попранная честь джигита останется неотомщенной, как это было уже сотни раз? Над кем из вас он не издевался, не насильничал, кого не унижал, не обирал до последней нитки? Все его чванство откуда? От того, что много скота. Как он его нажил, откуда взял? У вас же! Именно вы проливали свой пот, слезы для того, чтобы этот выродок так разжирел. Не пора ли наказать одноглазого, раз и навсегда прекратить его злодеяния? Отомстите ему! И не только за Сеита, нашего дорогого азамата, стоящего тут со слезами на глазах, но и за Абая, которого любят и почитают все казахи. Помните, что он с ним сделал? Заступятся ли, наконец, за него люди или нет? Надо выступить всем миром! Идите! Мстите за свои унижения, мстите за этого джигита, мстите за Абая!

– Отомстим! Месть! Месть! – отозвалось, словно эхом, в толпе, едва Базаралы закончил.

Слова эти, слетевшие с уст джигитов, что стояли рядом, быстро понеслись по склону холма, как языки пламени, вспыхивая там и тут, разгораясь:

– Мстите, люди! За нашего джигита! За род наш! За Абая! За Абая!

Жестокий огонь мести возгорелся в каждой душе, прокатился волной по холму, облепленному людьми, сверху вниз и обратно:

– Кто только не плакал от его напастей!

– Кто из нас не пострадал от козней слепого крота!

Все эти возгласы, казалось, наполнили ненавистью воздух, – и саму землю заставили дрожать от гнева.

– В какой стороне аул Оразбая?

– На коней, люди!

– Аттан! Аттан!

И не осталось места никаким другим словам…

Базаралы вручил Абди свою восьмижильную камчу, неотразимую в бою, со словами:

– Отомсти и за меня! Не возвращайся назад, пока не размозжишь этой плетью головы десятка врагов.

Жомарт, Омар, Сеит, Абди, шагом съехав с вершины холма, тотчас у подножия припустили коней в галоп. Один за другим, к ним присоединялись джигиты, вооруженные кто чем: соилами, курыками, шокпарами, пиками… У большинства в руках были только камчи. Все это войско, численностью уже человек в пятьсот, перевалило через дальний пригорок и спустилось по другую его сторону, словно черный селевой поток. Оно шло, как проклятье Всевышнего, гневным бурлящим людским селем. Проскакав по взгорьям, войско мести обрушилось на аул Оразбая, где стояли нарядные белые юрты, и никто не ждал беды…

Сравнить его с селью было бы не достаточным: удар, нанесенный аулу Оразбая, был похлеще любого селя, страшнее всякой бури. На полном скаку, заваливая стены юрт, ломая уыки, джигиты хлестали всех встречных, заставляя их забиваться обратно в жилища и сидеть там, молясь Кудаю и дрожа от страха. С ходу порезав три аркана жели, разогнали в разные стороны сотню привязанных жеребят. В пух и прах разгромили аул Оразбая, забрав его трехтысячный табун.

Сам Оразбай и его сородичи, дети и женщины аула, не только не могли выйти наружу, но и не знали, куда спрятаться, в какую нору. Оразбай забился в угол своей кровати, а токал забросала мужа подушками и корпе, чтобы скрыть его от нападавших.

Это была сила народного гнева, самая мощная сила на свете, отважная и безрассудная. Она разорила волчью нору, а сам волк забился в дальний ее уголок.

По иронии судьбы, с Оразбаем сделали то же самое, что он многократно делал с другими. И не по личному распоряжению его врага Абая было сотворено отмщение, а выплеснулось само по себе. Люди, которых Оразбай всю жизнь обижал и грабил,

соединились в один крепкий кулак и нанесли ему этим кулаком сокрушительный удар.

Другие баи, связанные с ним узами сватовства, либо друзья его, либо те, кто некогда ходил с ним вместе на разбойные набеги, барымту, унося свои головы от бунта безымянных, спешно откочевывали прочь. Среди них были Абыралы, Наманай, Мусирали, Байкулак, Каражан из родов Сак-Тогалак, Жуантаяк, они убегали, как от прокаженных, от своих же родичей…

Вот так неожиданно и жестоко, спустя год после избиения Абая в Кошбике, не сговариваясь заранее, совершенно стихийно, те, кому сострадал Абай, сами прониклись к нему состраданием и отомстили за него злодею…

2

Словно новую историю – дастан, что привез в Акшокы Дармен, его рассказ о мести Оразбаю привел Абая, Баймагамбета и Мука́ в самые противоречивые чувства. Этот дастан поведал Дармену Базаралы, в чей аул он ездил по делам. Молодой джигит рассказывал его с выражением удовлетворения на лице – о событиях, происшедших у тогалаков.

Рассказав суть истории, Дармен передал слово в слово то, что поведал ему напоследок Базаралы:

– Я был на седьмом небе от радости, когда стоял на вершине холма – и услышал, как в пятьсот глоток люди из рода Сак-Тогалак кричат: «Ради чести! Ради нашего джигита! Ради Абая! Ради Абая!» В жизни не любовался более приятной картиной. Пыль только поднялась до неба, когда войско понеслось на аул одноглазого зверя! Сумел-таки обрушить народ свой соил на его голову, на корню изничтожить подлую тварь! Мне стало так весело на душе, так радостно, что я даже забыл все прошлые свои беды. И болезнь, что мучила меня, как рукой сняло, и я почувствовал себя так, словно взлетел на вершину горы без единого взмаха крыльев! Не думаю, что когда-нибудь увижу лучший

день, нежели этот. И если мне суждено скоро умереть, то нет у меня теперь больше никаких сожалений – вот последнее мое послание другу Абаю!

Баймагамбет и Мука принялись восторгаться старым батыром Базаралы, видя в его словах высочайший полет души этого человека… Дармен также чувствовал себя окрыленным, он смотрел в лицо Абая искрящимися глазами, чувствуя себя тем, кто принес для него радостную, даже исцеляющую – весть…

Но ничего не сказал Абай в ответ – лишь спокойно выслушал своего ученика. На его серьезном лице отражалось глубокое раздумье.

Позже, на закате солнца, оставив своих друзей-домочадцев, он вышел из юрты и, неторопливо ступая, медленно поднялся на вершину ближайшего холма. Этот высокий желтый холм назывался Ортен: отсюда просматривалось, раскрывшись по всей широте, небольшое осеннее пастбище.

Солнце повисло над землей на длину аркана. С вершины холма были хорошо видны горы, долины, не только давно знакомые Абаю своими очертаниями издали, но также исхоженные им вдоль и поперек за всю его жизнь… По левую сторону, на востоке, высились серые горы Орда, Токымтыккан, Бокай: их вершины окутывала сизая дымка. За ними, в бескрайней дали, затянувшись голубой завесой, слившись в единое целое, земля и небо тонули в густой, сплошной лазури. В плывущем мареве, где уже не было видно горизонта, будто парила над землей вершина Арката. Камень Байжана едва намечался своими извилистыми отрогами.

Прямо перед глазами, во всю ширь раскинувшегося юга, лежала всхолмленная степь, представ перед закатным солнцем вереницами своих серо-зеленых бескрайних долин, тянувшихся до самых предгорий Чингиза, а там уже возрастали огромные горы, с детства известные Абаю, милые душе долины, ущелья, овраги, высокие пригорки с зимовьями, стойбищами многочисленных родов. Там выделялись отдельные вершины

– далекий пик Борли, ближний Кан, скалы Караши, горы Туйеоркеш, Токпамбет, чьи названия ласкали слух. Далее за ними – величественная гора Карашокы, где обитали его сородичи, ближе – Кыдыр, со своими слоенными плоскими скалами, разбросанными по склонам… Далеко на востоке поднимались две вершины Шуная, несколько ниже – великолепная гора Догалан со стесанным отвесным краем. А еще ниже, начинаясь у подошвы Туйеоркеша и Караула, расстилается светлая безграничная степь.

Над ровной синей степью, покоившейся в безмолвной тиши, горы Шунай, Догалан и Орда показались Абаю тремя громадными кораблями, а степь сама – бескрайним морем в час полной тишины. Отдельные зеленые холмы взгорья представлялись маленькими корабликами, плывущими по этому морю.

В старых сказках говорилось о таинственных миражах, которые порой видел в степи одинокий путник. То был неподвижный, дремлющий в мертвом безмолвии, бездушный и бескрайний мир. Его наполняли видения – звери и люди, словно застывшие в камне, руины древних городов, остовы кораблей на дне моря. Таким удивительным, загадочным миражом и казался сейчас Абаю мир, которым он любовался на закате…

Прохладный вечерний ветер подул со стороны Чингиза, охладил лоб и плечи, словно огладив его всего своим нежным дуновением, и приятная истома разлилась по телу. Абай распахнул ворот, расстегнул рубашку по всей длине, открыл чапан и подставил грудь степной свежести.

– Надо же, какой добрый ветерок! – пробормотал он и улыбнулся, будто приветствуя это тихое природное явление.

И вот уже кажется ему, что это и не ветерок вовсе, а чистая родниковая вода, что ласкает его лицо, шею и руки, нежно струится вокруг, будто он сам купается в горной реке…

Долго стоял Абай, окидывая взглядом простор своей родины, все ее изгибы и закоулки, живущие и здесь, перед глазами, и глубоко в его душе…

Все ниже клонилось солнце, все больше менялся мир. Высокая вершина Караула, возвышенности Колькайнара теперь стали гораздо резче очертаниями в пологих лучах заката. Их привычный серый окрас сменился оранжевым и золотистым, скалы заблистали во всей своей новой красе.

А вот цепи холмов Кыдыра, особенно северные склоны Шуная, уже скрытые тенью, кажутся миром иным, символом холода и заката, последних часов самой жизни, словно отражают в себе прошлое, мрачную пору ушедших лет... Эти вершины на западе будто знают нечто, неведомое светлым скалам Караула и Колькайнара, что купаются в живительных солнечных лучах.

То были горы недоверия, подозрения. Горы печали и горести. Но вот и светлые вершины стали потихоньку обволакиваться тенью, все больше стало тьмы, все меньше – света, будто лицо мира покрывалось морщинами старости, тенью смерти... Все это было, как борьба удачи и несчастья, как жизнь сама. Вечер брал верх, что естественно. Все гуще становились ночные тени, все призрачней – свет.

Все выглядело так, как сам Абай сказал когда-то: «Наступят сумерки моей души печальной...» Лишь тоненькая кромка легкой позолоты лежала теперь по краю далекой горной гряды. Громадная тень гор поглотила и мелкие холмы предгорий. Все окрасилось в единый цвет, окружающий мир стал враждебным и диким. Даже легкий прохладный ветерок превратился в знобящий, колючий поток холода.

И в этот миг Абай посмотрел окрест каким-то новым взглядом: он увидел перед собой не степь, а саму свою жизнь... Эти горные цепи, тянувшиеся за горизонт, дальние ущелья со скалами наподобие верблюжьих горбов, река Караул, река Балпан – все это казалось ему страницами книги, на коих был записан его долгий, извилистый жизненный путь.

Все здесь открывало какие-то воспоминания – печали и тяжкие переживания, мытарства, коварные деяния врагов, толка-

ясь, теснясь, долгой вереницей проходили люди, которых уже нет ни в памяти, ни в жизни, вспыхивали, словно освещенные молнией, картины жизни…

Родная земля, оказывается, самый откровенный, искренний и полнокровный собеседник: она ясно и красноречиво поведала ему о давних, уже почти забытых вехах его жизни. Странная мысль пришла ему в голову. Вспомнив только что виденные им здесь волшебные корабли древних эпох на поверхности дивного моря, он подумал: а что, если здесь, в недрах этих гор, и в самом деле скрыта некая волшебная сила, непонятная нынешним созданиям, удивительная тайна? Ведь увидел же я историю своей жизни! А если и вся история человечества записана, словно тайными знаками, в этих скалах и ущельях, каменных глыбах и водопадах? И скрывают эти горы свою тайну потому лишь, что мир, задыхающийся под тяжкой злобой дня сегодняшней эпохи, не в состоянии пока ее понять? Но придет время, и проснется великая сила, дремлющая здесь, застыв в оцепенении, словно города из древних сказок…

О, увидеть бы тот мир, ту эпоху! Даже если и не суждено будет жить там, глянуть бы, как в щелочку одним глазом: отсюда – туда… Неужто такое невозможно? Может быть, хоть как-нибудь – чудесным путем искусства, поэзии…

Что еще может дойти до того времени из этой поры? Безусловно, эти горы, застывшая лава, дойдут до той поры неизменными, и будут так же радовать взоры грядущих людей. Ну а человек?

Абай помрачнел, подумав об этом, и мурашки пробежали по его спине. Другие люди заполнят этот безмолвный мир, ни одного из ныне живущих не останется в нем через каких-нибудь сто лет.

Исчезнет весь его народ, существующий сейчас, во времена, полные всяких бед стихийных и людских напастей. Не живет этот немногочисленный кочевой народ, а мучается. Он темен, невежествен, и правят им черные, чудовищные силы тяжелой

мглы. Нет будущего у такого мрака, он должен остаться в прошлом. А что же – в будущем будет как-то иначе?

Умереть бы сейчас, лечь бы где-нибудь в этих горах и раствориться в них, – и только ради того, чтобы потом, очнувшись, хотя бы на мгновение увидеть будущее, чтобы убедиться, что все его мечты и старания сделать мир лучше были не зря…

«А если и вправду умереть? – вдруг подумал он трезво, с леденящим холодком в душе. – Кажется, жизненный путь уже на исходе… Может быть, уже достаточно жить?»

Такая мысль пришла к нему впервые за всю его жизнь. Но желал он себе не просто смерти человеческой, а ее как избавления себя от этого постоянного зрелища – неизбывных страданий вокруг, ужасов, которые измучили людей, он хотел отделить себя от этой жизни, и саму эту жизнь – отделить от себя, отлететь от нее!

Думая обо всем этом, Абай вернулся к вопросу, который только что задал самому себе.

Природа, безусловно, вечна, мироздание вместе со всеми этими горами, носящими величавые названия – Чингиз, Шунай, Караул, Балпан, Акадыр, Орда – перейдет в грядущую эпоху. А что передадут туда, в далекое будущее, люди, живущие ныне среди этих гор? Какие свойства унаследует народ – самые благородные или самые темные?

Задав себе этот вопрос, Абай чуть улыбнулся, что значило: он знает ответ. «Нет у меня другой мечты», – сказал Базаралы, и это были слова, исходящие из самой глубины его души. Теперь же Дармен принес весть: по кличу благородного Базаралы поднялся народ и смел коварного злодея, словно неистовый снежный буран…

Отцы и деды Абая – Кунанбай, Оскенбай, Иргизбай – они ли доподлинно родные ему? Народ его породил, вот истинный отец его. Народ и вскормил – вот истинная мать. Разве не сможет этот народ посеять семена, что станут в будущем плодами благих деяний?

С такими мыслями, надеждами, Абай сошел с вершины холма и в сумерках вернулся в аул.

Неторопливо шагая по дороге, он все еще был во власти собственных размышлений. Он словно завел разговор с неким мудрецом из будущего, которое столь волновало его. Чем дольше он думал об этом, тем пуще волновался…

Возможно, все, что ни скажет Абай, будет для того мудреца сплошной загадкой… Чтобы понять гостя столетней давности, тому понадобятся немалые усилия. Поймет ли он, что гость из прошлого сражался с толпой невежд, бегал по темной степи с крошечным светочем в руке. Легко ли будет тому, дальнему человеку, чей взор наполнен горним светом, различить этот мизерный огонь в запредельном прошлом Арки?

– Восприми, узнай, найди меня и вспомни! – шептали губы Абая, когда он подходил к дому, и это было все, что осталось от размышлений на холме, ибо в душу его уже стучались стихи…

– Зажги лампу! – коротко попросил он Айгерим, торопливо войдя в дом.

Горячая волна накрыла его с головой, слова слетались, взбудоражив душу… Абай открыл шкапчик у изголовья кровати, дверца, украшенная костью, тонко скрипнула, матово поблескивая перламутром в мягко мерцавшем пламени… Абай быстро присел за свой круглый стол, и рука его побежала над листом бумаги, отбрасывая тень на его белое поле.

Стихи были новые, неожиданные, будто и впрямь навеянные беседой с грядущим мудрецом. Так родилось впоследствии известное стихотворение поэта, который был сейчас в полном расцвете своего мастерства…

Меня по шороху моей души
В своей душе узнаешь ты, грядущий…

Я тайны суть… Ты не вини меня,
Что жил я здесь, во многом по-другому.

Я в одиночку отвечал на гомон
Толпы, готовой
Испепелить поэта стрелами огня…[1]

В этих стихах Абай впервые сказал о своей смерти: «Когда умру, в сырую землю лягу…» Но в строках, идя рядом со смертью, тут же клокотала и жизнь, звучало благое слово о посмертной тайне, послание в далекое будущее души поэта. Нет, то были не слова старца, заглянувшего в могилу, а мысль мудреца, искренне верящего в бессмертие.

Закончив стихотворение, Абай взял домбру и заиграл что-то веселое, сразу наполнив очаг теплым домовым духом уюта. Айгерим тотчас подала знак Злихе, и та принесла большой самовар, давно уже пыхтевший у печи: служанка все это время поддерживала в его топке огонь ветками таволги.

К чаепитию успел Кишкене мулла, только что возвратившийся из города. Мулла передал письмо от Магаша и Какитая: они, в свою очередь, передавали в нем привет от Павлова…

Молодые друзья Абая настоятельно приглашали его в город, приводя существенные тому причины. Оказывается, среди карасакалов и аксакалов Семипалатинска уже давно идут разговоры о том, что на этом сходе примут участие достойные люди самых многочисленных родов города и степи – Аргын, Каракесек.

Начнется все с двоих – Бегеша из дальних верхних кереев и Ракыша из кереев низины. Эти «почитаемые», «рассудительные», «мудрые» казахи, соревнующиеся друг с другом в расторопности, деловитости, пригласят на совет нескольких известных людей из семей Матай и Сыбан рода Найман, в частности, Жумахана, близкого к хадже Серикбаю. Также причастен к этому таинственному делу некий человек от соседей Тобыкты, ближних Сыбанов, по имени Кабылан; от населения Кызылмола, родов Матай, Бура – Казангап и Кангужа; от уаков с Коке-

[1] Перевод А. Кима.

на, Семейтау – Серке; от населения Белагаша – расторопный краснобай, аткаминер Айтказы. Все эти люди и будут держать совет, встречаясь с городским баем Сейсеке из рода Каракесек – сватом Оразбая…

Тем временем пригласили и близких Абая, тех, кто тогда был в городе. Местом встречи избрали дом хаджи Билеубая, расположенный по эту сторону – большой, двухэтажный, с железной крышей. В четырех гостевых комнатах наверху велели от порога до тора расстелить дастарханы, вокруг них положить длинные корпе, пуховые подушки. В комнатах поставили глубокие чаши – тайжузгены, в каждой по ведру кумыса, который беспрестанно взбалтывали и подносили многочисленным гостям. Специальные крашеные желтые чашки то и дело передавались по кругу, опустошались и наполнялись вновь, а перед гостями поставили блюда, полные жирных кусков баранины, сваренных с сарбугой[1].

Магаш и Какитай не поняли причины такого значительного схода, пока об этом не сообщили особо – уже после того, как все досыта наелись мяса, затем плова, вдоволь напились кумыса и вишневого сока.

Гостей попросили встать и перейти в самую большую комнату, куда вмещалось до тридцати-сорока человек. Магаша усадили на тор, объявив присутствующим, что он сын Абая, затем, усадив рядом Какитая, сказали:

– Его младший брат.

Затем на тор пригласили Шубара и Азимбая, которые с готовностью заняли места, показывая тем самым, что им хорошо известны обстоятельства этого схода. Подле них проворно уселись известные шешены родов Уак и Керей – Серке и Бегеш. Обращаясь к Магашу, они по очереди начали разговор, и вскоре Магаш и Какитай поняли, в чем суть собрания: здесь затрагивалось прошлогоднее несчастье, происшедшее с Абаем, произносились слова, которые нельзя было услышать в широком кругу. Первым заговорил Бегеш:

---

[1] *Сарбуга* – лекарственная трава.

– Мы хотим поговорить о тяжелом происшествии, кое случилось с нашим уважаемым, дорогим Абаем-ага. Вы приходитесь детьми Абаю, нам – младшими братьями. Мы хотим поведать о своем решении только вам и через вас послать Абаю свой салем.

Бегеш на мгновенье прервался и окинул присутствующих внимательным взором.

– Посмотрите вокруг, поглядите на нас! – сказал он, обводя ладонью вокруг. – Кто мы есть? Здесь сидят самые достойные люди старшего рода Аргын, лучшие представители каракесеков. Есть среди них сыновья рода Керей из разных мест, джигиты рода Найман из низин, со степи. Вот рядом с вами сидит Серке. Кто они, вместе с Билеубай-хаджи, пригласившим нас за свой дастархан? Глаза ваши видят: они и есть настоящие казахи. Здесь присутствуют люди четырех славных родов Среднего жуза! А кто есть Абай? Тобыктинец. Но вместе с тем, он стал первым человеком, кто истинно возвысился над многими достойными в Среднем жузе…

– Он, как верблюд с колокольчиком, ведущий караван, он словно благодатный весенний дождь! – подхватил Серке. – Язык соловья, ноги скакуна! Караван находит покой, достигнув стойбища, спор находит решение перед судьей. Золото не станет медью, даже если вскипит на огне. Дорогой шелк не станет бязью, даже если навернешь его портянкой на ноги. Мы не желаем, чтобы кто-либо унижал достоинство Абая!

Сказав так, Серке умолк, с важным видом оглядывая гостей. В разговор вступил Айтказы:

– Я скажу за многочисленных людей степи, низин. Путь того, кто проникнут заботой о других, никогда не бывает легким. Но тяжесть, навалившаяся на плечи Абая, – дорогая тяжесть. Однако, как говорится, если не расплавишь свинец, то и не зальешь его в форму. Так и человек, наш Абай – он мучается в тяжких трудах, не ради себя, а ради людей. С заботой о людях он и бросился в огонь!

Вслед за Айтказы высказались по одному представителю от каждого рода, семьи, сказав примерно то же самое, что и он. Выслушав всех, снова заговорил Бегеш, он вещал для всех, но взоры свои обратил на Магаша.

– Магаш, голубчик! Ты хоть и молод, и, как говорится: молодость – пламя, старость – зола, но есть такие джигиты, что безошибочно находят мудрое решение в самой жестокой борьбе истин. Мы, хоть и старики, и весь Восток прошли до самого Самарканда, но знаем, что у молодой души найдутся слова, которые могут вразумить и старых людей. Вот и связываем с тобой большие надежды… Стыдно нам теперь смотреть в глаза друг другу, после того что случилось с Абаем, да и как же в глаза Старшего, Младшего жузов теперь заглянем? Решили мы наказать виновника, поставить его на колени перед Абаем. Пусть великодушно примет он наше послание! Ждем от него одобрения намерений наших. А вы, уважаемые Магаш, Какитай, Шубар, Азимбай, поспособствуйте тому, чтобы он дал нам свое благословление. Вот для чего и собран сегодняшний сход. Сейчас ли дадите нам ответ, или же завтра, выберите из нас одного-двух человек и скажите!

Магаш, к которому обращались все говорящие, не дал четкого ответа. Он сказал, что эти красивые слова, произнесенные замечательным шешеном, адресованы Абаю, а сам он не тот сын, что мог бы властвовать над отцом.

Не дали вразумительного ответа и другие – ни Какитай, ни Шубар с Азимбаем, хотя, как было видно, во время речей они оба подавались вперед, словно бы желая что-то сказать, но, увидев, что все взоры обращены на Магаша, прикусили языки.

Магаш, строго глянув на Шубара, который все-таки порывался что-то вставить, так сказал в завершение:

– Мы слышали ваши слова. Ответ человека, кому они были адресованы, мы почтем за долг донести до участников сегодняшнего схода.

Обратно все четверо внуков Кунанбая возвращались вместе, сидя в одной повозке. Шубар, желая показать Магашу, что он одобряет его решение, проговорил:

– Ох уж и сладкоречивы эти степные люди, какие слова звучали из их уст! Какой пестрый язык…

– И вправду, слова их словно узоры ковра! – поддакнул Азимбай. – Истинных соловьев нам пришлось выслушать…

– Тоже мне, нашли ораторов! Истинно говорят: иной бий, когда более ничего не умеет, стихами вас умаслит.

Какитай звонко расхохотался, но Магаш, вроде только что пошутивший, не смеялся. Он был зол на Шубара и Азимбая, которые привели их на этот сход в полном неведении. Повернувшись к Шубару, он прочитал две строчки из знаменитого стихотворения Абая:

Не стану, как старые бии,
Пустые пословицы сыпать,
Не стану, как ваши акыны,
Песней лгать за дары.

– Что же, Шубар, забыл ты эти слова? – язвительно сказал Магаш в завершение. – Ты, как я посмотрю, сам и акын, и краснобай, и никогда не ошибешься!

– Е, когда это я ошибался, Магаш, о чем ты говоришь? – взвился Шубар, будто бы даже испугавшись чего-то.

– Уа, перестань! – ответствовал Магаш. – Повели нас на этот сход, ничего не сказали, о чем там будет речь… Неужто можно утолить печаль моего отца пустопорожней болтовней?

Сказав так, Магаш отвернулся и умолк.

Именно после этого схода Магаш и Какитай написали письмо Абаю, и тот незамедлительно приехал в город, еще раз выслушал Магаша и Какитая по этому поводу, но ответа не дал… Магаш так и остался в неведении: никаких разговоров об этом больше не было…

Будучи в городе, Абай с радостью принял Федора Ивановича Павлова, который уже давно скучал по нему и с нетерпением ожидал встречи.

После прошлогоднего происшествия с Абаем в Кошбике они ни разу не виделись. Обо всем зная из третьих уст, Павлов сильно переживал за него: неужели Абай так и останется в одиночестве, в окружении врагов, не надломится ли он, придавленный своей глубокой печалью?

Недавно он узнал подробности этой тяжелой истории от Магаша и Какитая, которых пригласил к себе. Именно он и попросил их приписать одну строчку в письме: «Было бы хорошо, если Вы приехали бы в город».

После первых торопливых расспросов, в равной доле смешивающих искреннее дружеское участие и обыкновенную учтивость, Павлов глубоко всмотрелся в лицо Абая, разглядев сетку морщин вокруг его глаз, седину на висках, и серьезно, с необычайной теплотой спросил:

– Как вы себя чувствуете, Ибрагим Кунанбаевич? Пусть не впустую прозвучат эти обычные слова: как ваше здоровье, как жизнь вообще?

Красивые синие глаза Павлова выражали крайнюю заинтересованность, озабоченность. Абай ответил, не удержавшись от присущих его творческой натуре особенных словесных фигур:

– Вы говорите – жизнь! – отозвался он, думая и решаясь. раскрыть ли, поведать ли этому доброму другу тайну, что не знала ни одна живая душа? Решился… – Федор Иванович! По моему разумению, жизнь – это не только полосатая змея, что сворачивается днем и ночью. Жизнь, да и мир вообще – змея, которая может и наброситься, ужалить. Это и есть ее сущность! Вот каковы они – эта жизнь, и этот мир…

Сказано было с насмешкой, но по существу. Эти витиеватые слова на самом деле отображали долгие раздумья, которые ему было сложно передать на русском языке, но Павлов прекрасно понял и сравнение, и мысль, заложенную внутри сравнения. Он

даже расхохотался от радости, весь покраснев, кивая головой и хлопая себя по коленкам. «Какой в сущности, философ! – подумал он про себя. – Дар, настоящий Божий дар у Ибрагима…»

– Жизнь – коварное существо, Ибрагим Кунанбаевич. Но разве можно сравнить жизнь и мир? И нельзя применить это сравнение к обществу в целом, несправедливо утверждать, что такое положение вещей будет вечно.

– В этом вы правы, безусловно, – сказал Абай переменившись в лице. – Однако вы спросили о *моей* жизни. Попросили поведать о *моих* жизненных испытаниях, разве я не на это ответил?

– Безнадежность – вряд ли это путь акына.

– Зачем писать акыну, хотите вы сказать, если вокруг такое несчастье? Для кого он пишет, хотите вы знать?

– Независимо от вашей воли, думаете ли вы о ком-то или забываете, но талант сам рождает ваши творения. Раз так, то вам и следует только лишь писать! Даже в обычных словах, которыми вы ответили мне на приветствие, сокрыт глубокий поэтический дар.

– Но кто же все-таки нуждается в этих словах?

– Я, пожалуй, так скажу. Вы не для нынешних малочисленных почитателей пишете, а для будущих, которым несть числа!

Тут Абай подумал, что и в его собеседнике, возможно, сокрыт незаурядный поэтический дар. Пораженный его доводами, находчивостью, Абай невольно отступил в споре и задумался.

Произнеся слово «малочисленные», Павлов, пожалуй, несколько ошибся, и тут же сам осознал это. По своему роду деятельности Павлов часто общался с мастеровыми, грузчиками, людьми самого простого, черного труда. Спустившись со стороны аула Жоламан, побывал на заводе по обработке шерсти, что вблизи пристани. Затем вспомнил многочисленные поселения – Байгели-Шагала, Карашолак, Кенжебай, Коптаракты, Жалпак. Он часто бывал на кожевенном заводе, пимокатном, на шерстобитке и мойке по эту сторону реки. Он хорошо знал жителей

жатаков Ожерке и Секленки, всю казахскую бедноту ниже пристани, лодочников, дровосеков, сенокосов, различную прислугу. Павлов знал о быте и жизни городских казахов лучше кого бы то ни было из русских. Слушая его, Абай удивился, отметив, что тот поименно назвал многих из этих людей. И весь его рассказ имел прямое отношение к предыдущей беседе: он был связан именно с поэтическим даром Абая.

Павлов немало ходил по окраинам города и его окрестностям, интересуясь жизнью людей во всех ее проявлениях – их бытом, работой, а также культурой – во что люди одеваются, что едят, о чем они говорят и, наконец, – какие песни поют…

Свои истинные краеведческие намерения Павлов скрывал, чтобы не озадачить людей, не привыкших к отвлеченным, праздным для них разговорам, да и самого себя чтобы не выставить бездельником. Он прихватывал ружье и какую-то старую собаку, с куцыми ушами, выдавая ее за охотничью, и уходил в малолюдные степные просторы. Когда выпадало значительное свободное время – в субботние и воскресные дни – он брал с собой Сеита и Абена, а если отправлялся вверх-вниз по реке, то его неизменным спутником был лодочник Сеил.

И вот тогда, в компании этих большей частью музыкальных и певучих людей, выяснялось, что песни Абая были для жителей города и окрестностей как хлеб насущный: искусство акына было широко распространено в этой среде.

Павлов давно занимался такими хождениями в народ, и страстное желание поведать самому Абаю о его повсеместном успехе возникло еще в прошлом году, а после случая в Кошбике он еще сильнее возжелал рассказать Абаю, как выросла любовь к нему здешних людей. Теперь русский друг поведал об этом акыну. Павлов хотел, чтобы эти слова поддержали и воодушевили Абая…

Ценность свидетельства оказалась тем более высока, что Павлов был не обычный читатель Абая, а русский, то есть – читатель посторонний, беспристрастный. Именно это обстоятель-

ство и добавляло веса заявлению Павлова. Хорошо понимая это, он долго хранил свидетельство в себе, и принес его как некое радостное дружеское сообщение, и Абай высоко оценил это, и вправду слушая своего друга с радостью, с огромным удовлетворением, долго не перебивал и тихо улыбался, покручивая ус.

Еще одна подробность в рассказе Павлова обрадовала Абая: оказывается, когда Павлов ходил по людям вместе с Сеитом, то их встречали с особым уважением и радушием. Люди битком набивались в дом, где они останавливались, днем и ночью без устали слушали песни и стихи в исполнении Сеита. Павлов повидал немало джигитов и девушек, подростков, даже детей, страстно желавших запомнить, назубок заучить стихи и песни Абая.

Вместе с тем, у Павлова нашлось и несколько критических замечаний… Дело в том, что в городе немало казахской молодежи, учащейся в русских школах, интернатах по ту и по эту стороны реки. Летом вся молодежная орда разъезжалась по родным аулам, способствуя тому, что культуры города и степи смешивались, обогащаясь взаимно. Вот и сказал Павлов Абаю, который признался, что охладел к сути самой жизни, что негоже бросать всю эту молодежь, когда именно он, Абай, своими стихами, песнями просто обязан принять участие в их воспитании!

Абай выслушал друга с удивлением и радостью: дело в том, что те же самые мысли давно уже приходили в его голову…

Беседа их длилась целый день. В самом ее начале Павлов поделился с Абаем своими мыслями о будущем, и теперь Абай вновь перевел разговор на эту тему:

– Что же нас ждет в ближайшем будущем, Федор Иванович? Вы говорите, что будущее прекрасно, но когда же наступит эта благодатная пора? И главное: есть ли признаки ее наступления в дне сегодняшнем?

Именно последний вопрос был наиболее важен для Абая, составляя основную часть его смутных, загадочных мыслей, сомнений и видений…

На этот раз Павлов заговорил намного увереннее:

– Во-первых, Ибрагим Кунанбаевич, прекрасное будущее, о котором давно говорят ученые мужи, точно наступит, безусловно, оно придет. Во-вторых, если прошлые поколения лишь мечтали о светлом будущем, то у нас есть надежда собственными глазами увидеть его. Не сомневайтесь! Истинно светлые, радостные дни, бесспорно, придут, и вы убедитесь в этом воочию, – закончил Павлов, блестя глазами.

– Ну хорошо, – терпеливо спрашивал его Абай. – Когда примерно это произойдет? Чисто, так сказать, исходя из временного срока…

– Ну… – протянул Павлов. – В этом отношении, конечно, сложно мерить годами… Вы вот, лучше, послушайте, что сказал об этом Александр Сергеевич.

И Павлов прочитал на память стихотворение – послание Пушкина в Сибирь. В стихах этих, который Абай также давно знал, как раз и говорилось о том, что Федор Иванович имел в виду, говоря «во-вторых» – именно о надеждах на светлое будущее, кои питали люди, жившие семьдесят-восемьдесят лет назад. Затем Павлов припомнил Белинского, жившего в пятидесятые годы, который был уверен, что через сто лет наши потомки попадут в счастливое, прекрасное время.

– С тех пор, как были сказаны эти слова, прошло уже целых пятьдесят лет, – продолжал Павлов. – А ныне, уже на изломе веков, общество прекрасно понимает, что светлое будущее не за горами. Иные даже пытаются, – Павлов понизил голос и наклонился к Абаю, – своими руками приблизить его. Если взглянуть глазами человеческого общества в целом, то эпоха благоденствия, прекрасное время не так уж и далеко!

– Но как же мы узнаем, что прекрасная эпоха уже началась? – не унимался Абай. – Что будет самой первой, главной новостью той эпохи, ее признаком, который станет видным всем?

Павлов глядел не мигая, словно думая: сказать или нет? Наконец, решился, еще больше понизив голос, чтобы дать по-

чувствовать собеседнику самую секретную сторону своего откровения:

– Русский царь лишится короны. Со всеми последствиями. Соответственно: будут разрушены все ступени чиновничьих служб, изгнаны министры, генерал-губернаторы, уездные главы, даже ваши волостные правители лишатся власти. Вся прежняя жизнь подвергнется разрушению, безвозвратно уйдет в небытие.

Абай смотрел на друга с недоверием, вместе с тем, ему вдруг стало легко на душе, будто бы слова Павлова бросили какой-то огненный отблеск, внезапно обратившийся в настоящий вихрь новой жизненной силы… А Павлов меж тем продолжал:

– Вы не подумайте, что я сумасшедший. Это говорю не только я, провинциальный мечтатель Павлов. Об этом и пишется, и говорится немало. Ученые мужи видят такой ход событий, как столбовую дорогу, по которой движется страна. Поверьте, наконец, этому!

Абай, в принципе, не видел причин не верить ему. Спросил только:

– Но когда? Можно ли предположить хотя бы, что это прекрасное время наступит в жизни наших детей, или нет?

– Как раз в это и стоит верить! – воскликнул Павлов.

Такие весьма обнадеживающие слова Абай счел за подарок, полученный от сегодняшней встречи. Суть подарка была в том, что слова Павлова станут теперь путеводной нитью для его будущих размышлений, а это немало…

Разговор этот проходил за обильным столом: Абай с утра распорядился принести водки, приготовить куырдак[1], так любимый его гостем. Водки Абай не пил уже давно, и весь этот долгий разговор прошел еще веселее, в сопровождении неоднократно повторявшихся легких возлияний.

В завершении Абай взял домбру и спел Павлову несколько песен, которые написал в последний год, прочитал также и сти-

[1] *Куырдак* – жареное мясо с печенью, с ливером.

хи, не положенные на музыку, переводы из Лермонтова, а также Байрона, Гете, с переводов на русский самого Лермонтова.

Было уже довольно поздно, когда Абай проводил Павлова со двора, дав ему коляску. На прощанье Абай обещал чаще видеться с Павловым на этот раз, подольше побыть в городе. Еще он намеревался, также по совету Павлова, ближе познакомиться с горожанами из различных кругов, с теми, кому так полюбились его песни… Второе, о чем настоятельно попросил Павлов, да Абай и сам горячо желал этого, – теснее сойтись с казахской молодежью, обучающейся в разных школах и медресе города.

Так закончилась первая встреча с желанным другом… Отдохнув душой, Абай теперь должен был сделать то, зачем, собственно, и приехал в город. Какитай еще раз подробно рассказал ему о беседе в доме хаджи Билеубая. Абай принял к сведению этот долгий разговор, не уставая радоваться тому, как вел себя Магаш и что он ответил людям.

Тут Какитай повторил Абаю язвительные слова, что сказал Магаш на прощанье Шубару и Азимбаю. Определенно, сын и тут оказался на высоте! Рассудительный, со своим твердым характером, честолюбивых, благородных основ человек, Магаш прекрасно понимал общество, в котором теперь ему приходилось жить, и особенно радовало отца, что сын исповедовал именно те нравственные основы, о которых Абай писал в своих назиданиях. Последнее было утешением нынешнему состоянию его души…

Однако ответ, который был обещан его сыном, так и не прозвучал: Абай оставил пока без внимания разглагольствования влиятельных казахов на сходке Среднего жуза. Бегеш и Серке послали своего человека, который пришел за ответом к Магашу и Какитаю, на что Магаш опять высказался коротко:

– Нам неизвестен ответ. Но Абай-ага сам приехал в город. Если Бегеш и Серке так горят желанием, то пусть обращаются прямо к нему самому!

Таким заявлением Магаш снимал ответственность с себя и Какитая, что было вполне разумно.

Через день после этого случая к Абаю нагрянули гости, объявив с порога, что пришли с единственной целью: поприветствовать его. Первыми вошли Бегеш и Серке, за ними – еще несколько человек. Сразу было видно, что это были специально отобранные люди, представляющие, как было сказано на сходе, «четыре славных рода Среднего жуза». Бегеш был из рода Керей, Серке – из Уака, другие двое: Камбар – из Наймана и Сыбана, Кали – из Каракесека. Был среди гостей и Айтказы, тобыктинец, который жил в Белагаше, что в сосновом бору. Ясно, зачем его привели: он был сородичем и состоял с Абаем в дружеских отношениях.

Первым заговорил Бегеш. Не изменяя своей привычной для разговора манере, ничуть не стесняясь, что перед ним самый признанный знаток казахского языка, он принялся разливать целые потоки пустопорожнего красноречия. Для начала подольстился, по его представлению, вполне умело, как бы между прочим отметив многие достоинства Абая: образованность, недюжинный ум и огромные знания.

– Знание – источник счастья, а счастье без знания – пища неверных, – глубокомысленно начал Бегеш. – Что же будет, если народ лишится своего наставника? Разве народ хорош сам по себе? Нет, народ хорош лишь своим достойным главой. Разве выйдет из него что-то путное, не будь у него этой главы? Испортится, словно мясо на жаре, пропадет, словно мираж, изведется, словно мыльная пена. Часто ли встречаются на свете достойные люди? Не часто. Есть немало таких, которые устами луну достанут с небес, а деяниями своими ни на что не способны!

Абай по достоинству оценил красноречие Бегеша и ответил в его стиле, высказав, однако, горькую правду своей тяжелой думы:

– Ай, Бегеш, верные ты говоришь слова! Но что поделать с вечной заботой жизни человеческой? Лучше ли быть соломой

пшеничной, чем зерном карамыка[1]? Кем достойнее прослыть – хорошим среди плохих или плохим среди хороших?

Вопрос остался без ответа, и разговор, продолжая Бегеша, подхватил Айтказы. Давая понять, что он человек образованный, читающий даже стихи, напомнил слова из назиданий Абая: «Много ль пользы от жизни твоей, коль всю жизнь обижаешь ты тех, кого сам не достоин?» Затем, отметив, что в сегодняшней жизни у человека больше печали, нежели радости, невзначай перешел на собственные выводы. По его разумению, народ, даже плохой, остается близким, если он родной, и сама среда житейская, пусть даже и никудышная, но все же своя, – остается родной средой, и каждый должен считаться с этим…

– Абай-ага, – сказал он. – Не вы ли говорили, а я до гроба буду твердить это ваше назидание: «Каждый может ответить добром на добро, но на зло отвечает добром лишь достойный»? Вот и пришли мы к вам, именно как к достойному!

Этого Айтказы, невысокого, но крепко сбитого, широколобого человека, Абай всегда считал достаточно умным и гибким, красноречивым… Последнее свое свойство он только что и доказал. Абай пристально посмотрел в его в задумчивые, карие глаза, ясно блестящие на круглом румяном лице, и понял, что тот говорит искренне. Только не здесь следовало высказывать подобные мысли!

Не тот человек Оразбай, который может повиниться, и все они, пришедшие устроить это дело, все-таки не знают его так хорошо, как Абай. Оразбай не из тех, кто поступает бездумно, ненароком сбиваясь с пути. Он сознательно выбрал своим уделом преступление. Его имя не Оразбай, а само зло.

Повернувшись к Айтказы всем своим массивным телом, широкой грудью, Абай сказал:

– Разве не уместна мысль, только что высказанная тобой же? Говорить со злодеем, увещевать его в чем-то – все равно, как вилами писать по воде!

---

[1] *Карамык (куколь)* – сорняк из семейства гречишных.

«Вот так всегда, – подумал Серке, радостно засмеявшись, – стоит ему рот раскрыть, как что-то славное скажет!»

Он всегда слушал Абая с удовольствием, хвалил его за глаза и в глаза, особенно после прошлогоднего чрезвычайного съезда в Аркате, где именно своими произнесенными словами Абай положил на лопатки глав собственного рода перед простым людом Уака… Сказал, продолжая улыбаться:

– Вы – словно могучее дерево, мырза Абай: каждому предоставляете свою спасительную тень! Скажу вам тайну: стоит нам промеж собой заговорить о казахах вообще, как сразу вспоминаем вас, а затем только о вас и говорим, ибо только вы достойны столь высокой чести. И все мы ждем от вас новых благородных дел, даже тоскуем, видя, что вы уже год, как молчите. Если не вы, то как мы сохраним достоинство всего Среднего жуза?

Абай не поддался на столь явную лесть.

– Благородство остается таковым, если держать его в покое. Если же его растоптать и унизить, то грош ему цена! Как сказал знаменитый Шайхи-Сагди: «Легко раскрошить рубины Бадахшана, только не склеишь их потом!»

Тут подал свой голос Кали, до сих пор молчавший – красноречивый казах из рода Каракесек, давно знакомый Абаю: он не раз беседовал с ним, сидя за одним дастарханом. Казахи и татары, жившие в городе, почтительно называли его Кали Акбасов, причисляя к весьма образованным людям. Заговорив, он также начал со слов мудреца:

– Как сказал Фирдоуси: «Не трогай муравья, несущего зернышко». Вот и я хочу заступиться за тебя, любезный Абай, как за того трудягу муравья, что взвалил на себя всю тяжесть своего народа. Никто не посмеет винить меня за это. Придя к тебе, мы начали разговор не с пустопорожнего разглагольствования. Но рот – ворота, а слова – ветер, и мы не хотим называть неуместное уместным. Если нам хватит ума, то, расставляя по местам добро и зло, мы должны уравнять одно с другим. Собравшись вместе, мы желаем сохранить достоинство всего Среднего жуза. В этом и есть суть нашего разговора!

Эти слова показались Абаю более весомыми, нежели все предыдущее краснобайство. Он знал, какая правда и вера стоит за ними, и не стал спорить более. Пристально посмотрев на Кали, он молча кивнул, всецело соглашаясь с ним.

Тут подоспел чай, внесли белый, чистотой сверкающий самовар, большой дастархан в доме Кумаша ломился от пухлых токашей – отменных сдобных хлебцев, щедро обваленных в яйце и крепко зажаренных. Гости приступили к чаепитию в самом добром настроении…

Абай брал в руки пиалу, долго держал ее на весу, прихлебывал глоток и ставил ее обратно, и с дастархана не брал закуски. Бегеш, сидя рядом с Абаем, пододвинув к нему тарелку с токашем, шутливо заметил:

– Что ж это вы ничего не едите, мырза Абай? Хоть бы хлеба попробовали! Говорят же, мол, хлеб – самое святое!

Абай от души рассмеялся, подрагивая всем телом, и с прямотой, присущей ему с детства, сказал:

– Как говорится, «слов у народа не меньше, чем у сартов[1] ослов». По этой народной поговорке должно получиться, что святости больше там, где хлеба обильнее. Выходит, что больше всего святости, каковую ищут мусульмане, найдется у богатого рожью и пшеницей православного российского мужика!

Бегеш, Серке и Айтказы громко расхохотались в ответ на эти слова…

В довершение разговора Абай спросил Бегеша, кто еще участвует в благом начинании замирения, по поводу которого они тут собрались.

– О, многие люди от четырех славных родов! – с готовностью ответил Бегеш, не забыв затем перечислить роды – Аргын, Найман, Керей, Уак, а также назвать поименно всех присутствовавших на сходе в доме Билеубай-хаджи. Услышав, что от низинных кереев был Ракыш, Абай рассмеялся и произнес слова, достойные стать очередным его назиданием, чем люди

[1] *Сарты* – восточные торговцы.

за дастарханом, называвшие себя казахскими шешенами-ораторами, были изрядно удивлены:

– Е, говорите, и Ракыш был! Помнится, именно он и раззадоривал когда-то Оразбая, говоря: «Ибрай – враг народа». Его слова. Натравливал на меня и городских чиновников – уездного главу и судью. Теперь выходит, тот же самый волостной хочет защитить Абая! Да как быть миру прочным, если нет устойчивости в самой власти? Не ровен час, сами горы, скажем, Семейтау и Кокен, обретя собственные ноги, отправятся в путь. Чашу клятвы готов испить: так оно и будет!

За сегодняшний день Абай произнес немало подобных шуток, поскольку был в самом веселом расположении духа. Гости, сами известные остряки, в который раз дивились его находчивости, вскормленной поэтическим даром акына.

Люди, посетившие Абая, не оставили свою затею: в последующие дни они продолжали собираться вместе, подолгу упражняясь в красноречии – то в доме Жакыпа или Сейсеке по эту сторону, то за обильным дастарханом какого-нибудь крупного торговца – по ту сторону Иртыша. Раз встречались, когда в город приехал сын Оразбая – Елеу, чтобы дать ему ответ о продвижении дела. Их разговоры доходили до многих заинтересованных людей, например, в планы замирения был уже посвящен и Самен – черный шокпар в руке Оразбая.

Абай во всех этих разговорах участия не принимал, поскольку его занимало другое: теперь он хотел больше узнать о жизни людей, их быте, пристрастиях, внимательно присмотреться к ним. Он не пропускал ни одного приглашения, часто бывал в гостях по эту и по ту сторону, в самых разных домах – от беднейших горожан до мелких торговцев-перекупщиков, которых случайно встречал на базаре.

Один из таких домов принадлежал торговцу Есбергену, к нему и отправился сегодня Абай, никого, кроме Баймагамбета на козлах повозки, не взяв с собой.

Дом Есбергена стоял на высоком кирпичном фундаменте, его хозяин был торговцем небольшого достатка, как это назы-

валось – зависимым, то есть работал на более крупных поставщиков товара. Это был средних лет человек с коротко подстриженной бородкой, весьма приветливый и болтливый, один из многих знакомых Абаю городских середняков.

Сегодня Абай достаточно выведал у него, особенно интересуясь личными и деловыми отношениями между мелкими перекупщиками, такими, как Есберген, и крупными поставщиками – Касеном, Жакыпом, Сейсеке, хаджи Билеубаем.

В последнее время, если у какого-нибудь семипалатинского торгаша спросить, как идут его дела, он коротко, но выразительно ответит:

– Имампос!

Услышав такое, вопрошающий сочувственно вздохнет, покачает головой, и скажет в ответ:

– Ие, имампос-имампос… Настоящий аксабан!

Эти слова сейчас, когда розничная торговля переживает особо тяжелую пору, Абай часто слышал на базаре, в лавках, в караван-сарае, в лодке на переправе…

Что же это такое, «аксабан» и «имампос», что значат эти мудреные слова?

Оказывается, имампос и аксабан – это одно и то же, просто люди по-разному называют эту напасть…

Дело в том, что таких зависимых торговцев, которые существуют вывозом в степь товара на единственной арбе, запряженной единственной лошадью, насчитываются тысячи. Руки у них коротки, средства невелики, вот и приходится быть зависимыми от таких баев, как Сейсеке.

В чем суть зависимости? Сейсеке приводит Есбергена да еще человек десять-пятнадцать торговцев к городским богачам, таким как Деров, Плещеев, Михайлов-Малышев, или же к крупным татарским торговцам, владельцам собственных магазинов – Уали или Исхаку. Денег у торговцев нет, да они и не нужны на данный момент. Просто, заручившись посредничеством Сейсеке, они берут в магазине товар в долг, для своей последующей

торговли в степи – на сто, триста, пятьсот, порой – отдельные торговцы покрупнее, – на тысячу рублей.

Далее. Если Сейсеке приведет в магазин к Исхаку с десяток и более таких Есбергенов, то Исхак даст скидку на товар – в размере восьми копеек с рубля. Правда, скидку эту получает не Есберген, а сам Сейсеке. Суть «работы» бая заключается именно в том, то он, приведя в магазин множество мелких торговцев, сам становится крупным оптовым покупателем.

Таким людям, как Сейсеке, владельцы магазинов, где продаются одежда, продукты питания, всякие необходимые в степи вещи, оказывают свое особое расположение – именно потому, что те обеспечивают им значительные заказы, которые добывают, собирая и организовывая всяческих мелких торговцев, вроде Есбергена. Этих Есбергенов большие баи заставляют работать на себя, ради пополнения своей казны, безжалостно используя их, словно прислугу, малаев.

Восемью копейками дело не заканчивается. Значительную долю своих доходов баи получают с самих Есбергенов. Выдавая им товар, они выставят еще двенадцать копеек процента. Таким образом, в конечном итоге бай имеет по двадцать копеек с каждого рубля.

Но и это еще не все. Получая через Сейсеке товар, Есберген выдает ему «белый вексель», то есть пустую долговую расписку со своей подписью. Если он не отдаст в срок деньги, скажем, за товар, полученный в январе на шесть месяцев, то Сейсеке вначале впишет в пустой вексель свои проценты из расчета по двенадцать копеек на каждый рубль. Затем, при несвоевременном возврате долга, вписывает по своему усмотрению сумму штрафа и относит белый вексель нотариусу. В случае неспособности возврата долга, у Есбергена отберут дом со всем нажитым добром.

Срок возврата долга и называется имампосом или аксабаном. Основательно порасспросив сегодня Есбергена, Абай узнал все эти подробности торговых дел в городе. Есберген также при-

вел поговорку, вышедшую из уст мелких торгашей. Когда один у другого что-то просит, а тот не желает давать, то он отвечает: «Получишь либо в аксабан, либо – когда завоешь!»

Говорили, что все большие баи «открыли банки», иными словами, они имели свои текущие счета в государственном банке, а многочисленные мелкие торговцы, имевшие только подводу да единственную лошадь, такие как Есберген, Карипжан, Толепбек, которых знал Абай, были зависимы от крупных баев, словно связаны по рукам и ногам. Они были словно мухи, попавшие в расставленные сети, меж тем как баев, чьи высокие двухэтажные дома с красными да зелеными крышами возвышались среди неказистых жилищ жатаков, можно было уподобить паукам. Эти пауки расставили свои сети по всей махалле, не позволяя вести торговлю отдельным людям и в городе, и в степи. Прибрав все в свои руки, они стали крупными хозяевами торговли – через сотни, тысячи зависимых от себя.

Были и другие способы, коими пользовались баи, дабы пополнить свою казну…

Мелкие торговцы, вроде Есбергена или Толепбека, имели просторные дворы в городском жатаке, куда зимой и летом прибывали караваны со степи, привозя на продажу шкуры и кожи, шерсть и войлок, расписные кошмы и просто различную мелочь, а также – живой скот. Крупные баи старались, чтобы привезенный товар не уходил на сторону, для чего также использовали самих Есбергенов. Те, стараясь угодить баю, обманывали людей караванов, хитро обирая, обвешивая при приеме товара. Так, люди со степи, спешиваясь и ночуя в доме мелкого торговца целыми караванами, тоже становились зависимыми, но теперь уже – от Есбергенов.

Торговля, на самом деле весьма крупная, была невидимой: подле домов этих баев никто не толкался, высокие ворота, калитки постоянно были накрепко и надежно закрыты. Но Абаю удалось побывать, сопровождая Есбергена, Толепбека, Карип-

жана, в настоящих очагах этой торговли и вдоволь насмотреться всякого…

Сегодня за вечерним чаем, поздним ночным мясом Есберген рассказал Абаю и Баймагамбету о многих своих делах, объясняя их глубокую суть.

Как многие городские торговцы, Есберген был одет в камзол из черного сукна с короткими рукавами. Он никогда не расставался с деревянными счетами, на которых рассчитывал приход-расход, он и сейчас держал их перед собой, машинально постукивая костяшками. Запас его историй из купеческой жизни был неисчерпаем.

Абай лежал, вольно развалившись на двух больших подушках возле стола, а Баймагамбет привычно сидел на корточках, время от времени закладывая щепотку наса в ноздрю. Слушая рассказы Есбергена, он цокал языком и покачивал головой, отчего мерно болталась его густая рыжая борода. Сам Абай слушал рассказы Есбергена с интересом и удивлением, не отрывая от него неподвижного взгляда…

Есберген давно понял, что гости, хоть оба они пожилые и весьма рассудительные, мало что знают о жизни городских торговцев, и без всякого стеснения поделился с ними секретами своего ремесла, всей его подноготной, самой откровенной и горькой правдой. Зная, что Абай был истинным другом многих людей, он жаждал поплакаться ему о своих невзгодах, а их у Есбергена хватало: именно в эти дни он был в самом затруднительном положении, не зная, как вернуть баю Сейсеке долг в тысячу рублей по белому векселю.

– Ты говоришь, что у многих сейчас подобные неприятности, – сказал Абай. – Отчего это так?

– Имампос! – немедленно отозвался Есберген. – Последние дни все ходят, как в воду опущенные – Карипжан, Коныртай, Толепбек, Кайнарбай… Весьма обеспокоены все. Только и слышно отовсюду: «Ойбай, имампос идет! Некстати он наступил в этом году!»

– Да и ты говоришь об этом с тревогой, – заметил Абай. – Как это вы все оказались в лапах этого имампоса?

– Да и я только и слышу вокруг: «Имампос-имампос!» – вставил Баймагамбет, засмеявшись. – Чье это слово такое? Никогда прежде не слышал – книжное оно, что ли?

– Я же говорил, что через этих баев мы получаем товары в магазине русского купца. Их нам давали в долг на год или на десять месяцев. А теперь – всего на восемь месяцев. Если считать с января, то долги продлили до двадцать девятого августа, а этот день приходится на какой-то русский праздник. То ли это их ораза, то ли еще что-то, но его-то и называют – «имампос»!

Тут только Абай понял происхождение этого слова и от души рассмеялся: русский праздник, по-церковному именуемый «Усекновение главы Иоанна Крестителя», в просторечии назывался «Иван постный» – вот откуда, перейдя в казахский язык, и появился «имампос».

Как говорил Есберген, все торговцы взяли товар в январе, по оптовой цене и в долг. Самое смешное в том, что продавать его приходилось тоже в долг, поскольку зимой у степняков денег нет.

На этот раз Есберген взял через Сейсеке партию чая и с огромными мучениями возил всю зиму свой чай по глубокому снегу, студеному морозу в степь, в отдаленные аулы, не имеющие связи с городом. Чай в руках Есбергена, конечно, поднимался в цене, с добавлением процентов бая Сейсеке, да и самому купцу тоже ведь надо получить какую-то прибыль, иначе что же это будет за торговля? Просто так, утопая в сугробах, отмораживая уши, возить по степи чай, чтобы только оплатить проценты бая Сейсеке? Вот и растет цена этого несчастного чая, значительно подлетая на местах.

Когда лето перевалило за середину, торговцы снова отправились в степь, на сей раз – собирать долги… Но и сейчас не у всех в степи можно взять долг деньгами, ибо не всегда они есть. У одного берут овцу, у другого – барашка, бычка… Этот

сбор долгов, причем за уже выпитый чай, дается неимоверными трудами.

– Приходится запихнуть поглубже совесть… – с грустью отметил Есберген.

И вот теперь, приехав в город, он должен поскорее продать собранный в степи скот, чтобы выручить деньги на долг Сейсеке, и двадцать девятого августа, точно в день «имампоса» рассчитаться с баем, отдать долги по белому векселю и тем самым спастись от разорения.

– Спасусь – говорю я! – волнуясь, завершал свой рассказ Есберген. – Это если базар будет удачным, пригнанный скот окажется упитанным, не падет, не подохнет по дороге… В противном случае, если такие бакыры[1], как мы, не смогут выплатить долг или чего-то не довезут, то Сейсеке и ему подобные тут же превратят нас в рабов!

В последние дни Абай услышал немало таких рассказов из уст мелких торговцев, соседей Есбергена – Толепбека, Карипжана, также на тризне у Кайнарбая… Со стороны казавшиеся благополучными, все эти люди были накрепко связаны путами своего дела: жалкие степные купчишки и сами были зависимыми, и других обирали, обманывали, оставаясь в глубокой кабале у своей жизни, и трудно было представить, что все это может длиться вечно…

Карипжана, похоже, измучила жизнь: он выглядел старше, чем был на самом деле, но все еще держался, не унывал и любил пропустить шутку-другую в своих нехитрых разговорах. Абай говорил с ним серьезно, с упреком: ему было ясно, что и Карипжан, как все они, выезжая в степь, торгуя в долг, стремился обхитрить, надуть кротких аульных жителей, продать подороже.

– Правильно, что ругаетесь! – весело сказал Карипжан. – У таких божьих тварей, как мы, и впрямь нет ничего божеского. В степи мы не помним о шариате. Да и караван встречая, делаем с ним то же самое, что Сейсеке и Билеубай делают с нами.

---

[1] *Бакыр* – бедняга.

Стараемся, по возможности, уболтать степняков, чтоб отдали товар по нашим ценам.

Позднее Карипжан сотни раз передавал ответ Абая на эти слова – насмешливый и одновременно правдивый:

– В степи тоже есть воры, но они откровенно называют себя барымтачами. Вы ж говорите: «Мы всего лишь торгаши…» Вот какие, оказывается, в городе отменные манеры!

Оценив добрым смехом эту, впрочем, довольно укоризненную шутку, Карипжан принялся жаловаться на крупных торговцев: мол, это они во всем виноваты, они, пусть и посредством мелких, обманывают, обирают людей.

– Удивительно, что человек так и жаждет сотворить над другим человеком зло! – высказался по этому поводу Абай. – Даже волки грызут друг друга в самых редких случаях. Думаю, степные волки будут порой добрее вас, городских торговцев!

Обычно, надолго оставаясь в городе, Абай брал книги в библиотеке имени Гоголя, чтобы в тишине, в неподвижном затворничестве углубляться в чтение, но по вечерам он был вынужден прерывать это занятие, поскольку в доме отбоя не было от людей, желавших увидеть его, пригласить в гости.

Городские жатаки, как ни странно, еще не успели растерять одно прекрасное качество, присущее их степным сородичам: безграничную щедрость, гостеприимство. Считалось за большую честь выложить все, что есть в доме, пригласить уважаемого человека, не жалеть ничего, чтобы посидеть вместе с ним за одним дастарханом.

Так, Абаю довелось навестить дровосека Саудабая, сапожника Салмакбая, портного Сагындыка – бедных людей, существующих лишь своими мелкими ручными ремеслами.

Как выяснилось, Баймагамбет был хорошим другом многих простых горожан. Приезжая в город зимой и летом, он останавливался у них как желанный гость, за дастарханом рассказывал сказки, интересные истории, брал домбру и наигрывал песни Абая, читал его стихи, с музыкальным сопровождением и без оного… Теперь Баймагамбет стал водить и живого Абая по этим

людям, с радостью показывая его им. Днем и ночью они разъезжали то по среднему жатаку, то по нижнему, устраивали долгие беседы во многих домах.

В особо гостеприимном доме Сеита в Затоне они как-то невзначай зависли на целую неделю, бесконечно разговаривая с милыми душе Абая людьми пристани, кожевенного, мехового заводов, порой покидали дом Сеита, чтобы погостить и у них – у Акшолака и Жапека, Алипбека и Исака, у всем известного весельчака Абена... Все эти дружелюбные люди были приятелями Павлова и Маркова и по очереди приглашали Абая к себе. Разумеется, по уже неизменной традиции, старые друзья – одинокая вдова Дамежан и лодочник Сеил – также приняли Абая у своих очагов.

В этом году Абай вел себя совершенно по-другому, чем раньше, когда он большей частью сидел на квартире и там, в доме Кумаша, принимал всяческих гостей – как городских жителей, так и приезжих со степи. Теперь домочадцы Кумаша чаще всего задавали ему такие вопросы:

– И где ж это вас носит? Где вы с Баймагамбетом все время ходите?

В этом году, после хорошего совета Павлова, он в первый же день отправился в гости, желая поближе познакомиться с жизнью людей.

Абай любил подолгу гулять по кривым улочкам Затона, вечерами его сопровождали Сеит и Абен. Как-то раз во время такой пешей прогулки им встретился Даулеткельды, и Абай сразу отметил своим вниманием этого незаурядного человека.

Даулеткельды был родом из многолюдной среды Байкадам-Сапак. Он прибыл в Затон недавно и сразу завоевал горячую симпатию у его жителей, так как оказался интересным рассказчиком, певцом, да и вообще – знатным весельчаком и балагуром, несмотря на то что был беден до дыр. В скором времени он стал самым желанным гостем во многих домах: одно только его появление на пороге вызывало улыбки на лицах – все, стар

и млад, радостно замирали в ожидании услышать нечто интересное из его уст, увидеть нечто поразительное в его действиях. Он мог превратиться в кого угодно: стать артистом, исполнив роль какого-нибудь персонажа народного дастана, если надо – мог быть и акыном.

Его внешность невольно притягивала взгляд: прежде всего – полным отсутствием бороды, чем он сильно выделялся среди других казахов: особенно необычно он выглядел рядом с ярко-рыжим, здоровым грузчиком по имени Акшолак, в чей гостеприимный дом, располагавшийся поблизости, они все вместе и отправились, когда встретились вечером на улице Затона.

Красавцем Даулеткельды не был, но люди все же любовались его глазами – глубоко сидевшими в глазницах, ярко блестящими из-под крутых бровей. Эти маленькие, острые глаза были окружены веером тонких морщин, как у человека, который привык смеяться. Может быть, именно поэтому весь его неулыбчивый вид – впалые щеки, кости лица, выпирающие под кожей, серповидный нос – как бы обманывая и завлекая, грозил взрывом какого-то внезапного, беспечного и беспричинного веселья.

Обращаясь в поэта, Даулеткельды и на самом деле сочинял неплохие стихи: одну из его шуточных импровизаций Абай знал уже давно – она посвящалась матери весельчака. После вечернего чая Абай подсел к нему и обратился с необычной просьбой:

– Твои слова дошли до меня задолго до нашего знакомства. Будь ласков, поведай мне, что именно сказал ты своей матери, когда скончался тот серый жеребец?

Даулеткельды принялся за рассказ без промедления. На его лице не было и тени улыбки.

Когда-то у него, всю жизнь пребывавшего в бедности, была хорошая телка-трехлетка, от единственной коровы. В прошлом году она оказалась нестельной, о чем прослышал сосед. И вот, проследив, когда Даулеткельды повез сено в город на продажу, он обращается к его матери: «Твой сын безлошадный, а у меня

есть серый жеребец. Давай-ка поменяемся! Бери серого, а мне давай свою нестельную, – все равно от нее мало толку. А я твою рогатую трехлетку пущу на согым…»

Старуха думает: обрадую сына, ведь он же пеший! – и меняет корову на жеребца. Через неделю приезжает домой Даулеткельды, видит: телки нет, а выменянный конь еле жив от какой-то болезни и вскоре подыхает.

Измученная переживаниями, старуха заходит в дом, проходит на тор и сидит, грустно вздыхая. Даулеткельды и сам был изрядно огорчен, но, верный своей натуре, смотрит на мать исподлобья и говорит: «Надо же! Расселась тут, будто сватья!»

Зная, что сын будет упрекать ее, она сидит, не смея слова вымолвить, но при такой дерзости не сдержалась: «Апырай, что это ты мелешь, на самом деле!»

И тогда Даулеткельды, удивленно уставившись на мать, тут же сочиняет:

Ну зачем тебе стригун?
Ну твое ли это дело?
Поздно ты взялась за ум,
Стать богатой захотела[1]

Услышав такие стихи, мать кричит: «Прочь, окаянный, паршивый пес!»

Тотчас хватается за кочергу, лежавшую возле очага, бросается на сына, тот убегает…

– Вот и крикнул матери, уже на бегу, – невозмутимо завершил Даулеткельды свой рассказ, – чем это не «Сегиз аяк» Абая? Это же ведь точь-в-точь, как «Сегиз аяк»!

Даулеткельды говорил все это с самым серьезным видом, и Абай оценил виртуозное мастерство рассказчика: бесстрастно передавать самые умопомрачительные вещи. Такой незаурядный балагур был под стать самому Алдару-косе!

[1] Перевод Я. Смелякова.

Даулеткельды знал некий особый секрет... Бедность уже давно довлела над ним, как и над многими жителями жатаков Байкадам-Сапак, Жоламан, поселков Байгели-Шагала и Затона, где он частенько бывал и заставлял смеяться плачущих, таких же обездоленных, как и он сам. Успокаивая, утешая, придавая веры в собственные силы, смеясь даже и над самим собой, безудержным весельем боролся он с невзгодами близких людей. Это и был его секрет, сила искусства, которым он брал верх над любыми жизненными лишениями.

Заметив, что Абай слушает с улыбкой, с большим интересом, Сеит попросил Даулеткельды прочитать стихотворение, сочиненное им в Байгели-Шагала. Тот исполнил его просьбу без робости и смущения, но прежде рассказал, при каких обстоятельствах эти слова родились на свет:

– Принято, что в день айта человек должен побывать в сорока домах. Вот я и решил походить, посчитать всех бедняков жатака Байгели-Шагала. Думаю, неужели не отыщется в жатаке сорока бедняков? Перешагиваю через высокий порог одного дома, вдруг поскользнулся и как шлепнусь наземь! Видать, там дитя обмочилось, прямо на пороге. И вот, падая, в полете, успел зацепить дверь и отворить ее. Надо сказать, что у этого жалкого дома было выбито окно, и вместо него натянут бычий пузырь. Так вот, в тот момент, когда я дверь распахнул, пузырь этот от сквозняка и хлюпнул со странным таким звуком – «ух!» Тогда же, лежа у этого порога, я и сочинил следующие стихи:

Дверь откроешь – скажет «ах»,
А окно ответит «ух»,
Коль не тверд ты на ногах,
Здесь как раз испустишь дух[1]

Даулеткельды стал уже сам такой легендой среди своего круга, что рассказы о нем передавали и другие люди, причем –

[1] Перевод З. Кедриной.

что подтверждает значимость Даулеткельды – рассказывали о нем в его же собственном присутствии. Так, просмеявшись над прочитанным стихотворением, Абен сам взялся поведать историю, происшедшую с Даулеткельды…

Однажды Даулеткельды пришел выразить соболезнование по поводу смерти зажиточного аксакала, имевшего немалое поголовье овец. Дело было в Байкадам-Сапака. Умерший бай был человеком особого склада: возможно, он не видел никакой разницы между людьми и скотом, посему, наверное, и построил свой зимник так, что во дворе помещения для людей чудным образом перемежались с загонами и сараями для овец.

Выразив свое соболезнование, Даулеткельды выходит наружу и видит: прискакал и скатывается с седла некий пожилой, массивный туловищем бай. Плотно зажмурив глаза, повисает на плечах Даулеткельды и орет:

«Ойбай, родненький! Ойбай, дорогой мой! Куда же ты ушел, ойбай, кормилец?»

С этими истошными воплями, не размыкая глаз, страдающий бай рвется в дом покойного. Тут Даулеткельды берет его под руки, но заводит не в дом, а в темный загон для скота, сам прячется в углу – посмотреть, что же будет. И вот, этот страждущий бай шарит вокруг себя, стукается то в одно, то в другое бревно, ищет покойника…

– Изрядное время, – закончил Абен, – вопил, ревел и мычал этот бай в загоне для скота, словно сам был скотиной, а люди во дворе так и думали: скот по умершему хозяину там скорбит!

О недавней своей проделке, по просьбе слушателей, Даулеткельды рассказал сам…

В пору последней оразы он возвращался из города и к вечеру решил спешиться в ауле одного бая. Благочестивый хозяин предложил ему разговеться. Надо заметить, что Даулеткельды не придерживался поста, ел и пил с самого утра все, что хотел.

В том ауле были и другие гости, городские торговцы, хорошо знавшие Даулеткельды, они-то и сговорились подшутить над

ним. Перед трапезой, собираясь читать намаз «яшык», окружают его и говорят: «Будь имамом!» Тот хочет отказаться, но они якобы всерьез выставляют его вперед, будто настоящего имама, а один плутоватый торговец начинает суетиться, играя роль азанши[1] Даулеткельды пожимает плечами и говорит: «Ну, раз так, то попробую…»

Принялся читать агузы, затем перешел к алхамды[2]. Читал поначалу громко и четко, главное – правильно, но к концу перешел к бессмысленному, невнятному бормотанию: «Албисинэ лямге секин-аль, хисынха-альха, мемге секин-альхам, далтурду-альхамду…»

Все повторяют за ним без зазрения совести, но в итоге не выдерживают и падают от хохота на молитвенные коврики…

Эту историю Даулеткельды также рассказал с самым серьезным видом, к великому удовольствию слушателей.

Абаю так понравился этот человек, что после первой же встречи он взял его с собой, и несколько дней они вместе ходили по гостям и веселились. Даулеткельды был не просто шутником и балагуром. Он наизусть знал стихи, песни Абая, часто и много читал, исполнял их перед людьми. Самому Абаю казалось, что он впервые слышит собственные песни – так необычно, играючи, с неизменным своим серьезным видом исполнял Даулеткельды и «Игривая телом», и «Тот, кто заблудился, видит впереди простор пустой». В его устах стихи Абая, казалось, приобретали новый смысл, становились будто бы даже духовно богаче. Новый друг никогда не отказывал в просьбе рассказать что-нибудь и во всем держал себя на высоте…

Несколько раз по вечерам Абай специально встречался с детьми разного возраста, учащимися русских школ. Одну из таких детских групп субботним вечером он привез в дом Карима. В просторной кошевой повозке помещалось три-четыре человека, и Баймагамбету пришлось обернуться два раза.

---

[1] *Азанши* – муэдзин.

[2] *Агузы, алхамды* – суры.

Ребята были разного возраста, и с каждым Абай говорил особо, после вечернего чая расспрашивал о его классе, о домашних заданиях, о заученных стихах. Спрашивал о разных вещах и Баймагамбет.

Дети отвечали, нисколько не стесняясь и не робея, так как не раз уже виделись с Абаем у него в доме.

Девять юных джигитов, одетых в школьную форму, подпоясанные ремнями, вовсю старались ответить на вопросы взрослых. Самым старшим из них был Рахим – сын Даркембая. Ему уже исполнилось девятнадцать лет. За ним следовал Асан – четырнадцати лет. Это был внук старухи Ийс, оставшийся, как и Усен, сиротой после смерти пастуха Исы. Первое время они были питомцами Дармена: он окружил их вниманием и заботой, словно своих птенцов, затем Абай отдал их учиться в городскую русскую школу.

И Рахим, и Асан, а также двенадцатилетний Усен ходили в так называемое пятиклассное Городское училище – русскую школу по ту сторону Иртыша. Сейчас, согласно заявлению на имя степного генерал-губернатора, все трое получали стипендию. Вообще-то эта стипендия предназначалась для казахских детей, обучающихся в русских школах, и дополнительно к налогу на очаг собиралась в казахских волостях. Стипендия назначалась не каждому учащемуся, но этим, троим сиротам, повезло: они получали ее.

Четверо мальчишек носили черные костюмы с желтыми пуговицами – форму школы-интерната, открытой в слободке для детей городской бедноты. В интернате они обучались и жили. Двое из них были девятилетние сыновья рабочих Затона – Сеита и Абена. Они так и называли себя, если их спросить: Сеитов Аскар и Абенов Максут. Последний был большеглазый, русоволосый, с продолговатым лицом парнишка. Еще двоим, самым маленьким, исполнилось по восемь лет: внуку Дамежан – Жабикенову Мурату и младшему сыну лодочника Сеила – Шаке-

ту. Курносые, маленького роста, одетые в единую форму, эти четверо детей смахивали на ягнят-погодок. Они еще не успели отпустить волосы, были чистыми на лицо, упитанными и румяными. Казалось, будто бы их, словно жеребят по осени, остригли в один день. Все они были веселыми, смешливыми, подвижными.

Двое же мальчишек, толстых и смуглых, значительно отличались от других как внешностью, так и одеждой, потому что происходили далеко не из бедных семей. Это были двенадцатилетние Ныгмет и Жалел Кунанбаевы, и учились они в гимназии. Сегодня они надели мундиры, предназначенные для торжественных случаев. Стоячие расшитые воротники стягивали их короткие толстые шеи, до пупков тянулись цепочки блестящих пуговиц, числом не менее десятка.

Эти дети и держали себя иначе, чем остальные. Они мало смеялись, отвечали коротко и скупо, порой бросали надменные взгляды на ребят, сидевших рядом, гордясь и своими гимназическими мундирами с белыми пуговицами, и собственно тем, что они Кунанбаевы.

Ныгмет был сыном Азимбая. Всего от трех его жен родилось одиннадцать сыновей, четверо из них – от байбише. По примеру Абая, который своих детей обучал в русской школе, Такежан и Азимбай одного ребенка из одиннадцати также удалил в город – учиться русской грамоте. Старшие дети Азимбая, женившегося довольно рано, были шестнадцати-восемнадцати лет. Среднего из четырех сыновей от той самой байбише – Ныгмета, предварительно подготовив в разных местах, вот уже второй год обучали в гимназии.

Второй Кунанбаев, Жалел, – сын Какитая. Лицом эти двое друг на друга похожи не были, но что-то общее в них все же прослеживалось: оба двенадцатилетних подростка имели не по годам суровый вид.

Широкий лоб Жалела, казалось, был специально создан для узких, как щели, глаз. Эти маленькие раскосые глазки изрядно

заплыли жиром, их уголки были вздернуты, а нависшие веки закрывали ему обзор почти наполовину. Нос у мальчика маленький, зубы – мелкие и редкие, ее лицо калмыцкого типа.

Вислогубый сын Азимбая – Ныгмет пошел внешностью в мать: казалось, что его толстая нижняя губа и мохнатые брови вечно выражают надменное отвращение к кому-то. Кожа лица Ныгмета была серовато-смуглой, и это также отличало его от других, розовощеких детей. Его глаза смотрели зорко, часто кидаясь из стороны в сторону, будто бы постоянно ища повод для ссоры.

Жили оба мальчика в доме у русских, и это ощущалось сразу: за два года они значительно преуспели в русском разговорном языке.

Взяв с собой двоюродных племянников, Абай не стал уделять им особого внимания, зато много разговаривал с сыном Даркембая – юношей Рахимом. Раньше, когда Рахим только что поступил в Городское училище, Абай подшучивал над ним:

– Надо же! Ты так поздно пошел учиться, что кажешься отцом своим маленьким соклассникам!

Абай и сейчас пошутил по этому поводу:

– Ну а теперь, в третьем классе – подросли твои товарищи, те самые русские детишки, что называли тебя отцом?

Рахим хорошо знал Абая, относился к нему, как сын, поэтому свободно шутил с ним. Даже когда над этой шуткой вместе с Абаем засмеялись сидящие в доме дети, это нисколько не смутило его. Ответная шутка была под стать словам Абая:

– О чем тут говорить, Абай-ага! За три года они сами выросли на загляденье, стали настоящими джигитами. Это и спасло меня. Когда поступил в подготовительный класс, все соклассники еле достигали моего пупка. Играя с ними на перемене, я выглядел верблюжонком среди несмышленых ягнят!

Абай громко расхохотался, весьма довольный ответом парня… Затем он захотел послушать стихи на русском языке, как

их прочтут Асан и Усен. Последнего он попросил прочитать наизусть стихотворение, недавно заданное учителем: это оказалась басня Крылова «Осел и Соловей».

Усен читал неважно, ошибаясь в ударениях. Абай останавливал его и мягко, по-отечески журил:

– Апырай, Усен! Я русской грамоте в тридцать лет научился, и то лучше тебя говорю. Наверное, вы с Асаном вначале хотите обучиться по-мусульмански, а уж потом взяться за русский язык?.. Хорошо, расскажи-ка лучше своими словами, что делали Осел и Соловей?

Оказалось, что Усен даже не понял многие слова этой басни, да и содержания ее толком не знал…

Усен весь покраснел от стыда. Ныгмет и Жалел презрительно засмеялись, но мальчишка так и не смог толком ответить Абаю, по какому делу встретились Осел и Соловей.

– Ойбай, Усен! – воскликнул Абай. – Тебе, как я вижу, помощь нужна. Обязательно что-нибудь для тебя сделаю!

Затем он расспросил Максута и Асана, что они заучивают в школе. Оказывается, им задавали басни Крылова «Слон и Моська», «Стрекоза и Муравей», да и «Осел и Соловей» также.

Свое обещание помощи Усену Абай, конечно же, не забыл…

На торе другой комнаты в доме Карима для детей приготовили постели. Баймагамбет лег среди них так, что Аскар и Максут оказались по обе стороны от него. Абай дал им совет:

– Ребята, вы знаете, стоит открыть рот нашему Баке, как тотчас польется сказка. Попросите-ка его рассказать!

Абай стоял в ногах постели, с любовью глядя на детей, как они ворочаются, укладываясь поудобнее, и радостью переполнялось его сердце. Когда погасили лампу, дети еще долго слушали сказки Баймагамбета, играя, смеясь и пугая друг друга в темноте…

Абай остался в своей комнате один и немедленно принялся выполнять обещание, данное Усену. Именно в эту ночь он перевел на казахский язык басню Крылова «Осел и Соловей», а утром, когда дети сели за чай, сказал Усену:

– Ты смотри в свою книжку на русском языке, а я прочту на казахском. Дети, слушайте, как встретились Осел и Соловей!

И Абай четко, внятно прочитал перевод басни, над которым трудился до зари.

Начиная с этой ночи, будучи всю зиму в городе, в первые месяцы тысяча восемьсот девяносто девятого года Абай перевел немало басен Крылова, чтобы их могли заучить Усен, Асан, Рахим и многие другие ребятишки…

3

На этот раз Абай приехал в город по особому вызову. В середине зимы, в наступивших сумерках сани, запряженные парой лошадей, въехали во двор Кумаша. Встретив у крыльца, отряхнув снег с шубы Абая, хозяин провел его в дом, поселил его в просторную комнату на втором этаже.

О причинах своего неожиданного приезда Абай не мог ничего особенного сообщить Кумашу, кроме того, что к нему в степь пришло короткое приглашение. Сидя за чаем, Абай только и сказал:

– Кумаш, возможно, ты знаешь об этом деле даже больше, чем я. Слышал ли ты, – но мне сообщили, что городские казахи и татары собирались на какой-то сход. Говорят, обсуждали вопрос единения мусульманских народов вокруг общей религии. И решили теперь пригласить по этому поводу людей со всего края. Вот и до меня добрались. Ну, я и решил поехать.

Еще до начала чаепития Баймагамбет внес в дом большой сундук и две туго набитые дорожные сумы. Показав рукою на них, Абай сказал Кумашу:

– Ты же знаешь, – это книги. Хочу, как всегда, обменять их и увезти с собой. Сундук и коржуны наполним новыми книгами, чтобы хватило нам с Баймагамбетом на все лето! Скажу тебе честно, что это главное, за чем я и приехал в город.

Сейчас в доме Кумаша других гостей не оказалось. Хозяин был родом из Коканда, но дружил со многими казахами, не только с Абаем. Городской торговец, словно степной караванщик, встречался и имел знакомства с разными людьми. Кокандец, его жена и сын Алимкан, часто разъезжающие в степи по торговым делам, по внешнему виду и по обиходной жизни ничем не отличались от местных казахов.

Кумаш получил мусульманское образование. Он знал стихи Абая, переписывал их в сшитую книгу и хранил у себя дома. Также он был почитателем Баймагамбета-рассказчика и относился к нему тепло, как к родственнику.

Когда Баймагамбет приезжал с Абаем или один, Кумаш с превеликим удовольствием уединялся с ним и слушал его рассказы и сказки. И на этот раз, когда были занесены сундук и коржуны с книгами, Кумаш полушутливо, изысканно обратился к Баймагамбету, выражая этим свою почтительную просьбу:

– Книги из города, побывав в степи, возвращаются, я вижу, назад! Баке, думаю, ох, как много романов и повестей рассеялось по степи! А теперь – неужели они так и пройдут, туда и сюда, словно караваны, мимо человека, не умеющего даже их прочесть? Но, может быть, раскроются некоторые их страницы и заговорят вашими устами, Баке?

Абай с улыбкою смотрел на Баймагамбета, как бы говоря: спрашивают не у меня, а у тебя, что ты скажешь в ответ? Баймагамбет весьма невозмутимо ответил, что он с дороги не чувствует усталости и, пожалуй, после чая сможет устроиться где-нибудь поудобнее да рассказать одну интересную вещицу.

– Пусть это будет данью вашему гостеприимству, – сказал он. – Ведь с завтрашнего дня мы станем, считай, хозяевами вашего аула, потому что вам не будет больше покоя, – станут

приходить слишком много людей. Не буду спорить – вы оказались правы, в самый день приезда попросив меня рассказать что-нибудь. Рассказывать есть что! Книга называется «Князь Серебряный», написал ее один большой русский эфенди. – Так начал Баймагамбет пересказ романа Алексея Толстого.

В эту ночь Абай не видел никого из посторонних людей. Кумаш кое-что слышал о том деле, по которому приехал Абай, но ни с кем из подлинно сведущих людей еще не разговаривал об этом. Поэтому добродушный, приветливый хозяин не стал особенно распространяться, сказал лишь коротко: «Про это многие говорят, но я знаю лишь то, что слышали и вы, не больше того». И ночь была полностью отдана «роману» Баймагамбета, а городские новости были оставлены до утра.

На другой день, хорошенько выспавшись, гости проснулись поздно, чай пили уже в обеденное время. Когда чаепитие завершалось, пришли в дом первые посетители, узнавшие, что в город прибыл Абай. Явились два человека, отдать ему салем.

Один из них, высокий, дородный, с провисшим под лохматой бородою вторым подбородком, был акын Кокпай. Второй, низкорослый, коренастый, с плоским рябоватым лицом, с подстриженной бородкой, джигит по имени Альпеим являлся представителем рода Кокше. Хотя оба давно были знакомы Абаю, теперь он смотрел на них с превеликим удивлением. Пока шли они от порога до тора, Абай не отрывал от них изумленного взгляда. Прежде всего поражал их новый облик, удивляло их одеяние.

А ведь оба были казахи из его родного края! Кокпай даже был когда-то близок к Абаю, входил в его круг акынов, – но тогда он не носил татарский борик в виде горшочка, из куньего меха, с верхом из зеленого сукна. И на нем не было бешмета с прямыми подложенными плечами, сшитого татарским портным. Поверх же бешмета надет пестрый шелковый чапан, какой носят щеголеватые городские муллы. На ногах кожаные калоши-кебисы, с острыми загнутыми носами. Вошедший вместе с ним Альпе-

им был тоже одет по-городскому, также в портновском изделии – наряжен как шакирд, послушник медресе. Кокпай теперь назывался халфе главной мечети, а второй тобыктинец уже несколько лет корпел над книгами в медресе при этой же мечети. Несмотря на то что Альпеиму было немало лет, Кокпай привел его в мечеть, и он стал великовозрастным шакирдом.

Кокпай, в молодости сочинявший стихи и распевавший их на айтысах, теперь, достигнув сорокалетнего возраста, назывался муллой, халфе Кокпаем, и внешне вполне соответствовал своему духовному званию.

Поздоровавшись с Абаем, халфе Кокпай, бывший акын, так и сыпал теперь словечками, вроде «Богу помолимся», «слава Всевышнему». Вызывало удивление и сочувствие, что именно в эти морозные дни он сменил обычную зимнюю одежду – теплую меховую безрукавку, крашеную дубленку и купи, верхний чапан, – на легкую пеструю одежду, в которой совершают в мечети намаз. На ногах вместо надежных саптама с войлочными голенищами – эти холодные кожаные кебисы. Посмотрев на гостей, Абай подумал: «Ну, свершилось, – Кокпай, отдавшись служению Аллаху, не только внутренне, но и внешне переменился». У великовозрастного шакирда Альпеима Абай спросил:

– Е, Альпеим, рассказывай! Что ты сейчас проходишь в медресе?

– Мырза Абай, в эти дни я читаю «Наху», – ответил бородатый школяр медресе и простодушно осклабился, ожидая похвалы.

– Вот как! Тогда тебе уже недолго осталось ждать! – посмеиваясь, воскликнул Абай. – У арабов есть присловье: «Много читавший «Фикху» становится умным, а много читавший «Наху» – дураком».

Абай произнес это присловье по-арабски и, улыбаясь, добавил:

– Айналайын, Альпеим! Не взыщи, но эти слова придумал не я, а некие арабские мудрецы. – Помолчав немного, Абай миро-

любиво продолжил: – Твой отец Мукыр был сообразительный казах, он один из первых начал сеять зерно вдоль Такыра. Жаным, тебе бы тоже надо вернуться в родные края и заняться делом. А то что же получается? Кокпай заставил тебя и некоторых других слоняться из одной мечети в другую, таскаться с одного берега Иртыша на другой, вы ходите за Кокпаем, вьетесь вокруг него, – зачем это вам? Не завидуйте благам, которые он обрел здесь для себя, оставьте Кокпая с этими его благами, а сами возвращайтесь домой! – Так говорил Абай, и это были слова, выражавшие всю горечь разочарования учителя бывшим учеником, Кокпаем.

А тот, со свойственным ему видом человека, который готов внимать другому, понимая его душевное состояние и благожелательно относясь к нему, – молча, смиренно выслушал Абая. Но Кокпай про себя опасался, что если он попытается хоть в чем-нибудь возразить Абаю, тот сможет отхлестать его еще сильнее и, пожалуй, от беспощадных слов учителя навсегда останутся раны на сердце, как рубцы на теле от камчи. Поэтому лучше молчать, – тем и спасаться от Абая.

Но вскоре, после совместного чаепития, Кокпай должен был высказать то, с чем он, собственно, и пришел к Абаю. В разговоре выяснилось, что именно он и есть тот осведомленный человек, который знает дело, ради которого вызвали Абая в город. Оно оказалось весьма сложным, необычным, и люди, посылавшие приглашение Абаю, хорошо знали, к кому они обращаются с надеждою на поддержку. И теперь, с посещением Кокпая, начала проясняться вся суть этого дела.

Абая ждали в городе те, которых Кокпай называл представителями казахской и татарской «ученой среды», а в сущности – те же имамы, ишаны мечетей на обоих берегах города. Имамы трех мечетей – «Космечети», «Тасмечети», «Казахской мечети» и пригласили из степи Абая. Имена этих имамов: Габдулжаппар, Габдыразак, Хисами, Жамелиддин. Также был с ними имам Сарт-мечети – Миркурбан-ахон. По прибытии Абая захотели встретиться с ним и наставники левобережных мечетей – кари

Маликаждар, Ашим-ходжа, хазрет Ахметжан и многие другие халфе, кари…

Не дослушав длинный перечень имен, Абай перебил Кокпая скоропалительной шуткой:

– Е! Что же это выходит? Уж не собираются ли почтенные муллы и ходжи меня отправить в Мекку? Или же, зная, что я тот самый нерадивый мусульманин, который «не преклоняет голову в ежедневном намазе», вы все, имамы, халфе, собрались вместе и решили «наставить грешника на путь истинный», совершить богоугодное дело? Кокпай, так ли это?

Альпеим невольно рассмеялся. Кокпай же молча проглотил обидную шутку, сделал вид, что никакого каверзного вопроса не слышал, и с деловитым видом продолжал:

– Абай-ага, общество духовных лиц города очень хочет выслушать ваши советы! Настоятельно просит встречи с вами. Но не только они – встречи с вами желают многие знатные люди по этому берегу и по другому. На той стороне – богатые татары, у которых дома под зелеными крышами, лавки да магазины: бай Вали, бай Садык, байбатша Икрам, бай Исхак. И еще – сам байбатша Шернияз! На этой стороне и на той – ждут ваших советов и богатые казахи, такие как баи Сейсеке, Касен, Жакып, хаджи Билеубай, мырза Балажан, бай Турбек. Эти достойнейшие люди и духовные лица, хазреты, – все они хотят знать ваше мнение по общему мусульманскому делу.

Так говорил Кокпай, не забывая при этом украдкой наблюдать за выражением лица Абая. Он понимал в душе, что большинство из перечисленных людей, скорее всего, ненавистно для Абая, но, исполняя их поручение, не мог не назвать их имен, особенно казахских баев. И Кокпай, уже не глядя больше на Абая, продолжал свое длинное перечисление.

Далее были названы имена «каратаяков», как звали образованных казахов, ставших толмачами, конторщиками и мелкими чиновниками в городской управе. Некоторые из них стали широко известны среди местного населения, отменно разбогатели

и также завели себе кирпичные дома под зелеными крышами. Было названо Кокпаем и несколько имен казахов, которые, по его словам, учились в Петербурге, Москве или учатся там. Это были, по сведениям Кокпая, все отпрыски и потомки ханов или больших торе, отнюдь не дети простых смертных Сары-Арки. «Выходец из славного рода Суюндик... достойный потомок рода Каракесек... из младшего рода Аргын... человек из крепкого аула найманов...» – с завидной осведомленностью перечислял Кокпай, сам упиваясь собственным красноречием. Он раньше всегда воспевал в своих дастанах одних ханов да султанов, и сейчас вновь оседлал своего конька.

«Назови еще имена!» – велел Абай, когда речь зашла о тех, которые тоже были, как и он, специально приглашены в Семипалатинск для участия в обсуждении всемусульманского вопроса. И были названы: торе Жабайканов Азимкан, Сакпаев Сакип, учившийся на юридическом в Петербурге, Баспаков Башир, учившийся на ветеринара, и «большой торе» Нуржанов Кыдыр. Среди всего обширного списка прошли имена и семипалатинских чиновников: Сарманова, Самалбека, Данияра.

Абаю любопытно было узнать, как нашли между собою общий язык мусульманское духовенство и казахи-чиновники из городских ведомств. Но по этому поводу Кокпай не стал особенно распространяться. Одно дал ясно знать – все эти значительные люди из разных кругов хотят встретиться и говорить именно с Абаем. Услышав же ответ Абая о возможной встрече, Кокпай должен был передать его Ашиму-ходже и хазрету Ахметжану.

Итак, что же это за общее дело призвало собраться вместе стольких самых разных людей? Оказалось, что это – вопрос об избрании муфтия. Все мусульмане, населяющие Россию, должны были быть объединены под общим религиозным центром, во главе которого будет стоять муфтий. «Как духовному наставнику, ему должны подчиниться все мусульмане – татары, степные ногаи, казахи, проживающие в пределах Казани, Уфы, Оренбурга, Троицка, Омска, Кызылжара и нашего Семея»

– было сказано на первичном сборе. Целью создания муфтията является «собирание воедино тридцати миллионов мусульман России на основе единой веры».

К тому дню уже имелось всесветное объединение мусульман под эгидой религиозного центра Шайхул-ислам в Стамбуле. Теперь же и мусульманские сообщества, разбросанные по всей Российской империи, хотят объединиться, – с тем, чтобы потом всем вместе войти под стамбульский собор. Начало движения положили богатые верующие из местных мусульманских общин и других уалаятов, ездивших нынче в хадж на святую землю, в Мекку-Медину.

На прошедшем в Семипалатинске собрании духовных лиц и богатых казахов участвовали хаджи Габдыразак, бай Икрам, хазрет Ахметжан и хаджи Бакия. С согласия местных мусульман, они составили обращение к властям: «Мы желаем иметь своего главного духовного наставника – муфтия мусульман всей России. Пусть белый царь разрешит нам избрать нашего духовного главу, – из тех, кого возлюбят все наши верующие».

По сообщению Кокпая, белый царь вроде бы уважительно отнесся к просьбе мусульман и ответил им: пусть составят по всем мусульманским общинам приговоры, подпишут их. Пусть проведут везде разъяснительные беседы с народом, для чего им нужен единый главный наставник, – и тогда вскоре российские мусульмане будут жить со своим муфтием.

Зная об огромном влиянии Абая на самые разные племена и роды степного народа, его и решили привлечь к движению, чтобы он призывал людей к благому делу единения мусульман. На него возлагались большие надежды.

Обо всем этом поведал Абаю Кокпай, внимательно, настороженно глядя ему в лицо. Абай спокойно слушал Кокпая, тоже глядя на него с задумчивым видом. Однако на этот первый разговор Абай никак не откликнулся. По завершении рассказа Кокпая его учитель тотчас отвернулся от него и, обратившись к Баймагамбету, повелел ему: «Запрягай коней!» Затем встал и начал одеваться для выхода в верхнюю одежду.

Кокпай и Альпеим следовали за ним до самых саней, надеясь, что Абай даст им хоть какой-нибудь ответ. Но только после того, как сел в сани и удобно устроился, Абай дотронулся до Баймагамбета: попридержи, – и обратился к Кокпаю, выжидающе уставившемуся на него:

– Ждешь от меня ответа? Его не будет, пока я все не узнаю об этом деле, встретившись и переговорив с некоторыми людьми. Надо посоветоваться, подумать, взвесить. Передай своим имамам, – пусть ответ ждут не раньше, чем через три дня.

Больше не слушая Кокпая, который пытался что-то еще сказать, Абай снова дотронулся до Баймагамбета: трогай! Серый конь с белыми пежинами на ногах легко взял с места и помчал сани по заснеженной улице.

В эти дни немало людей, как и Кокпай, ходило по домам нижнего и среднего жатака, разговаривая с людьми об этом деле. Разъяснительные разговоры шли и вблизи паромной переправы, и в недалеких от слободы пригородных аулах жатаков. Читали проповеди по поводу мусульманского единения слепой кари, муэдзин Самурат, халфе Шарифжан, а также известные муллы по городским околоткам и аулам – халфе Закен, Габдышукир… Им мало было немногочисленных прихожан мечети, они решили выходить непосредственно в массу жителей городской махаллы.

На той стороне Иртыша они посетили Затон, проповедовали среди рабочих войлочного и кожевенного заводов. На этой стороне говорили с лодочниками, с рабочими скотобойни и прочей трудовой беднотой. Внушали им: «Надо идти под муфтия, всем объединяться под крылом ислама. Надо высказывать пожелания о необходимости власти «халифа-султана» для правоверных, об их единении с Шайхул-исламом.

Когда о подобных новых разговорах портовые грузчики Сеит и Абен рассказали своим друзьям, кузнецу Савелию и мастеровому Маркову из Затона, эти русские люди ответили: «Мы, русская беднота, ничего доброго не видали от попов и ничего хорошего не ждем от них. Дождетесь ли вы от своих мулл, чтобы

они устроили вам рай? Поговорить надо об этом с Павловым, он лучше разъяснит, что к чему».

Абаю также хотелось поговорить об этом с Павловым. Но найти его оказалось не так-то легко, он в эти дни был постоянно занят с рабочими. Абай встретился с ним, подождав его у самого дома, вечером. Но разговаривали они наедине в доме Кумаша, куда Абай привез Павлова.

Разговор, происходивший в эту ночь, принес немало нового для обоих. И на самом деле – до сих пор в беседах своих они почти не затрагивали тему религии. Когда-то, услышав от Абая: «Я мусульманин, преклоняющийся пред Аллахом», – Павлов деликатно обходил все разговоры на религиозную тему. Сейчас Абай советовался с Павловым, требуя от друга полной откровенности, и сам Павлов ждал от него того же. Павлов хорошо был осведомлен насчет того, как православные миссии действуют во вред мусульманам, казахам и татарам. Хорошо знал, как имперская власть подло и грубо попирает достоинство кочевого народа. Но со стороны тех русских, которых представляет сам Павлов, никаких насильственных, дурных дел не приходится ожидать степному народу, уверял он. Другое дело – отношение собратьев по духу Павлова к мусульманской религии.

– Так же, как и наши попы, ваши имамы сбивают с толку народ. И у вас, и у нас – посмотрите, что они делают. Вот, стоит белая церковь на левобережье, в слободе, недалеко от почты, рядом с пожарной каланчой. Вы знаете, что там находится? Эту церковь называют еще «миссией», и занимают ее высокие церковные чины. Сам архиепископ Акмолинский и Семипалатинский Адриан, имеющий чин, под стать по уровню с генерал-губернаторским, живет в этой миссии. А почему он поселился в бедной казахской слободке? А потому, что вознамерился «крестить казахов и татар», «переманить их с веры мусульманской в веру христианскую, православную». – Так говорил Павлов, и Абай еще немало узнал от него о тайных действиях миссии.

Возле белой церкви имеется школа. Рядом – длинное невзрачное здание сиротского приюта. Туда берут малолетних

сирот, оказавшихся в городе без родительской крыши над головой. Нынче там воспитываются около тридцати казахских и татарских детишек, все они крещены.

Павлов рассказал историю одного из этих тридцати сирот. В свою очередь, ему рассказал ее почтовый чиновник Ивашкин.

Как-то поехал этот Ивашкин по почтовым делам в городишко Знаменка, Семейтауской волости, и на обратном пути увидел на безлюдной дороге плачущего мальчика-казаха лет восьми-девяти. Он был оборван, немыт, в неимоверно изношенном одеянии. Остановившись, Ивашкин расспросил мальчика и узнал, что родители его умерли, а родичи выгнали, что сироту зовут Мекеш. Он сказал, размазывая кулаком слезы на лице, что идет в город, который, он слышал, находится в этой стороне, и там можно попрошайничать и не помереть с голоду. Ивашкин привез мальчика в город и сдал в сиротский приют при миссии. Оказывается, мальчик шел от дальней волости Акбота.

Ивашкин далее рассказал, что мальчика крестили и нарекли Михаилом, а фамилию дали новую – Бутин. Итак, Мекеш-Михаил, в обиходе – Мишка, одет был во все русское, и стали его учить говорить по-русски. Он был крещен восьми лет – и крестил его архиепископ Адриан. Крестника своего обещал воспитывать сам. «Теперь ты, чадо, будешь называться православный русский человек», – торжественно возвестил он после крещения.

– Мне как-то приходилось видеть его, – говорил Павлов. – Мальчишка очень хваткий, сообразительный. Приятный такой ребенок, с черными, как смоль, глазенками, курносенький. По-русски говорит сносно, хотя и не много знает слов. Старается говорить только по-русски. Ругает казахов. Кто-то научил его материть казахских мулл! – это особенно подчеркнул Павлов. – Кто бы это мог? Так что, дорогой мой, для сироты и русский поп плох, и казахский мулла не лучше! Они только и думают, чтобы посеять вражду к инаковерующему, сделать людей разной веры врагами!.. Что ты поделаешь? Однако посмотрите, что я принес для вас, – и Павлов передал Абаю газету. Это была револю-

ционная газета, и распространялась она тайно среди рабочего люда. – Вам будет что почитать!

Газета была датирована 1 декабря 1900 года. Павлов прочитал Абаю вслух одну статью из нее.

– Вот видите, как честные люди из русского общества, сознательные рабочие обвиняют царя и русскую церковь в том, что они натравливают народы друг на друга. А если задуматься, – что можно сказать про ваши обстоятельства? И разве не такие люди, как вы или Сеит, стоят на стороне обездоленных? Муллам, и татарским, и казахским, всем этим баям, волостным, хаджам нет дела до народа и его будущего!

Продолжая разговор, начатый Павловым, Абай поведал о предательских, постыдных, темных делах немалого числа поборников ислама. Их тайные мысли и устремления были направлены к тому, чтобы когда-нибудь привести своих мусульман к массовому поклонению Стамбулу, подчиниться духовной власти Шайхул-ислама, склонить к этому всех здешних имамов.

По этим вопросам и Павлов оказался осведомлен немало. Он рассказал Абаю много интересного о современной Турции. Примеров средневековой отсталости этого оплота нынешнего ислама было приведено достаточно. С иронической усмешкой сообщил, что по официальным сведениям у султана Абдулхамита в гареме содержится тысяча наложниц…

Первая же беседа на эту тему выявила полное совпадение взглядов двух друзей, их мысли слились в едином русле. Поворачивать мусульманский мир казахов в сторону султанского Стамбула – нельзя. Они договорились и впредь держать совет друг с другом по этому вопросу. Павлов взялся донести до казахских и татарских рабочих Семипалатинска совет Абая – хорошенько подумать над тем, подписывать или не подписывать приговоры, составленные сторонниками Шайхул-ислама и призывающие к избранию верховного муфтия российских мусульман.

Абай же назавтра отправится в город, чтобы встречаться и говорить с простыми людьми. Вместе с этим, он вступит в открытую схватку с городскими хазретами, имамами.

Через три дня народ уже сам повалил к Абаю. В дом Кумаша приходили со всех концов города. Среди них были люди, пользующиеся большим уважением, почитаемые в народе, – их Абай удерживал возле себя подольше. Говорил он со всеми коротко, но всегда ясно и убедительно. К нему приходили два представителя от головного и среднего жатаков. Это были лодочник Сеил и Бектогай Ботанаев, человек, давно известный Абаю, казах из Актобы, которого люди радушно привечали. Выходец из малочисленного рода Кипчак, он был, однако, вхож во многие сильные роды. Бектогай был небогатым человеком, но всюду пользовался уважением за свой ум и красноречие.

На любых торжествах или в невзгодах люди из жатаков шли за советом или помощью к Сеилу или к Бектогаю. После встречи с Павловым обоих пригласил к себе Абай, его русский друг тоже знал их очень хорошо. Им, как и другим ходокам, Абай внушал ясные, убедительные понятия, которые затем они разносили по всей округе:

– От кого бы ни исходило повеление, не составляйте сами и не подписывайте приговоры, ратующие за то, чтобы казахи шли под муфтия. Мы не хотим муфтия! Казахи никогда не были фанатичным народом, мы не воспитаны в покорном, богобоязненном духе! Нам хватает нашей природной сообразительности и рассудительности, мы всегда можем отличить черное от белого. У нас собственный путь, свои законы, обычаи и традиции. Нам незачем порывать со всем этим, стремясь зажить по-новому, согласно одним лишь законам шариата. Любой народ могут просветить только знания и искусства, а шариату не по пути с ними. Нам нужно стремиться к примеру просвещенных стран, а не обращаться к рутине шариата, идти под власть муфтия. Что это даст нам? Что значит – «объединиться в вере»? В целом наш народ не воспринимает этого. Нам такое не по душе. Это не та дорога, которая ведет к знаниям и искусству, наобо-

рот – отдаляет от них. И в верховном муфтии мы не нуждаемся, вполне хватит нам своих доморощенных мулл!

Бектогай, способный привлекать внимание людей своим красноречием, – понял всю значительность идей и понятий Абая, внимательно выслушав его. Поздно вечером он еще раз пришел к Абаю, чтобы уже наедине поговорить с ним. Человек любознательный, стремившийся узнать еще больше, чем услышал, обладавший острым духовным зрением, чутьем и слухом, Бектогай ощутил великую значимость того, что услышал от Абая. Когда он пришел к акыну, то застал у него Павлова. Абай усадил рядом Бектогая и, время от времени прерывая разговор с Павловым, с кем беседовал на русском языке, что-то записывал на больших листах бумаги, – таким образом и заполнил страниц пять-шесть.

После чая, провожая гостей из дома Кумаша, Абай протянул Бектогаю эти сложенные страницы, со словами:

– Эти бумаги прочти сам, никому другому не показывай. Прочти и запомни, прежде чем начнешь беседовать с людьми. Аллах одарил тебя незаурядным красноречием, вот и просвещай людей, доводи до них правду. И пусть «моя истина» станет «твоей собственной», – и записанные здесь мысли найдут путь к разуму людей.

Встопорщив рыжие усы, белозубо осклабившись в улыбке, Бектогай с довольным видом закивал головой.

– Это вы хорошо сказали, мырза Абай: «Моя истина пусть станет твоей». И тот казах, что сказал: «Даже плохой бий собирает вокруг себя людей» – имел в виду вот что. В законах порой бывает непроглядная тьма, люди хотят ясности. Уа, а мне больше хотелось бы сидеть возле вас и слушать – получать свою долю ваших сокровищ, чем выносить от вас и стараться вложить в чужие уши «ваши истины – мои истины», – сказал он, плутовато улыбаясь.

Бектогай говорил вот о каких сокровищах – намекал на новые стихотворения Абая, еще неведомые никому. Большой поклон-

ник акына, Бектогай записывал их сам или с большим рвением переписывал с чужих рукописей. И, держа где-нибудь слово, он с великой радостью и пользой для себя цитировал стихи Абая… Который смотрел на него сейчас с добродушной, понимающей улыбкой. Но, в продолжение своих слов, Бектогай не забыл и о переданных ему бумагах:

– Думаю, и эти бумаги обернутся пользой для меня, придадут большую силу моим новым выступлениям. Однако вы сказали, – и я буду помнить: надо быть осторожным, эти бумаги я никому не покажу. Никто другой даже не прикоснется к ним. – С этим и ушел Бектогай.

Подобно тому, как и Бектогай с Сеилом, были и другие ходоки-напарники к Абаю, например – Сеит и Абен. Приходили одиночки – как Кали Акбасов, настроенный решительно против избрания муфтия. Не во всем соглашаясь с Абаем, он был на его стороне. Его мнение было таким: «Если подчиниться муфтию, то все наши степные дела должны быть подчинены шариату. Жизнью людей будет управлять не власть, а мечеть. Властвовать будут мусульманские судьи – кази! Это неправомерно! Ведь в таком случае сватания невест, женитьбы, споры по аменгерству – эти дела будут решаться не по обычаям и законам степи, а по шариату! И я согласен с Абаем: не надо нам идти под муфтия!»

Непонятно, странно повели себя представители многочисленного сословия средних торговцев, таких как Есберген, Толепбек, Карипжан. Обычно они были в полной зависимости от хозяев домов с железными зелеными крышами, баев и байбашты города, ибо ежегодно брали у них кредит – где-то в начале января. По поводу выбора муфтия у них должно было быть одно мнение – такое же, как у богатых баев-кредиторов, перед воротами которых всякая мелкота, вроде Есбергена, топталась смиренно, ожидая подачки.

Но вот пришел к Абаю и Есберген. Встречаясь со множеством людей на караванных дорогах, на постоялых дворах, он узнал,

что у торговцев с «короткими руками», таких же, как и сам Есберген, составилось мнение: «не надо следовать за крупными баями, байбашты».

– Зачем нам это? – шептались они меж собой. – У баев и мулл общее мнение, но они и сидят за общим дастарханом. Мы же обязаны следовать за теми, которых большинство. У нас торговля с ними связана. И наше мнение насчет муфтия должно быть такое, как у большинства народа, а не как у баев и хазретов.

Правда, были среди мелких и средних торговцев и другие, подпадающие в разряд доверенных малаев от денежных тузов Семея. Эти доверенные и знать ничего не хотели о тех, которые намерены держаться иного мнения, чем их баи-байбашты. Ибо эти торговцы могли получать от своих благодетелей кредиты в размере от тысячи до пяти тысяч рублей. Таких, правда, было не так уж много, и они успели построить дома под тесовыми крышами – Конырбай, Кодыга и другие.

Приблизилось время, когда все мусульманское общество Семипалатинска – и правого берега, и левого, а также многочисленных аулов и поселений жатаков в округе – должно было высказать свое мнение о мусульманском единении вокруг верховного муфтия.

Но к наступлению решительного дня вдруг для хазретов, ишанов, мулл, каратаяков и городских мырз, жаждущих мусульманского сплочения, выяснилось одно неприятнейшее обстоятельство: почти не было «приговоров» от населения, желающего иметь муфтия! От многих тысяч жителей казахских и татарских махалла поступило прошений лишь с несколькими сотнями подписей! Раздосадованные, встревоженные хазреты, халфе разослали своих людей, чтобы они обошли все махаллы города и пригорода, собирали вокруг себя на базарах верующих и призывали их поддержать избрание муфтия. В мечети созывались прихожане – специально по этому вопросу. Но, к великой досаде мулл, люди почти совсем не шли туда, если не считать самых фанатичных верующих и нескольких дряхлых

стариков, которые и так ежедневно обивали пороги храма божьего. Так называемый «народ махаллы», мелкие торговцы и странствующие караванщики, останавливавшиеся в городе, отнюдь не соизволили появиться в мечети.

А в многолюдных казахских махалла, в противоречие муллам, стал подниматься ропот: «Не желаем идти под муфтия! Пусть хазреты не навязывают нам свою волю!» И тогда богатые баи вместе с хазретами объявили созыв единого большого сбора правоверных мусульман. Местом схода назначили главную мечеть по эту сторону реки, которая была самой вместительной.

Абай на этот раз призывал всех идти на сход, оповестил об этом друзей, сторонников. Павлов, Сеит, Сеил, Бектогай и другие были предупреждены. Сам Абай также решил пойти в мечеть. В просторном помещении медресе поместилось несколько сотен человек. На полу были расстелены ковры, корпе. На почетном месте расположились хазреты Габдужаппар, Габдыразак, городские байбашта – Исхак, Салык, Сейсеке, хаджи Билеубай. В их ряду находились и хаджи Ашим, хазрет Ахметжан с того берега.

По обеим сторонам от почетного тора расположились каратаяки в белых воротничках, некоторые были в чиновничьих мундирах с расшитыми воротниками, с позолоченными пуговицами, другие в цивильных сюртуках. Богатая казахская и татарская знать парилась в черных, зеленых и синих бархатных и суконных шубах с воротниками из горлового меха лисицы. Кое-где виднелись енотовые шубы, мехом наружу. На головах хазретов величественно покачивались чалмы.

Первое слово на этом сборе, представляющем «все мусульманское сообщество», принадлежало хазрету Ахметжану. Он постарался привести все высокие доводы в пользу идеи объединения мусульман вокруг верховного муфтия, используя в своем внушительном выступлении много арабских цитат из Корана, перемежая их казахскими крылатыми выражениями. Оратором он слыл великим, краснобаем непревзойденным.

Абай расположился где-то в средних рядах длинного учебного зала медресе, сидел в окружении своих людей, среди которых были Бектогай, Сеит, Абен, Есберген. Рядом сидели Кали, Серке и другие. Все они шепотом переговаривались между собой, терпеливо слушали ораторов и ожидали только выступления Абая.

После Ахметжана говорил татарский байбашта Исхак. За ним выступил бай Сейсеке, и хотя он, не имея высокой учености, не мог ничего сказать по-арабски, – вполне ясно выразил на казахском мнение всей верхушки собрания: «Желания наши – общие! Да исполнятся они! Эй, казахи! Мы нуждаемся в муфтии!»

Абай увидел среди восседающих на торе молодого человека знатного происхождения, по фамилии Сакпаев, который учился в Санкт-Петербурге на юриста. Рядом сидел Нуржанов, чиновник, рослый и упитанный, с внушительным, надменным выражением на своем рябоватом темном лице.

Абай слышал, что во главе самой высокой и значительной группы чиновных и образованных казахов города стоял торе Азимкан Жабайканов. Абаю часто приходилось слышать об этом человеке, но увидеть его так и не пришлось. И вот, восседали перед народом чиновные казахи – Сарманов, Данияр, Самалбек, Нуржанов… Обведя всех их внимательным взглядом, Абай так и не заметил никого, кто мог быть этим известным торе. Бектогай, хорошо знавший Азимкана, сообщил Абаю, что тот отсутствует, – уехал накануне в Петербург, выразив перед этим уверенность, что казахское общество придет к единому мнению о необходимости выбора верховного муфтия. Абая это известие несколько огорчило, ибо ему непременно хотелось встретиться и открыто сойтись в словесном поединке с этим человеком, который являлся, по всей видимости, одним из главных вдохновителей идеи подчинения всех мусульман власти муфтия.

Люди выслушали всех, кто ратовал за него. Завершил их выступления Сакип Сакпаев, будущий адвокат. Однако, несмотря

на такую славную будущность, Сакпаев оказался весьма неважным оратором. Говорил он косноязычно, торопливо и небрежно пробрасывая слова, и делал при этом какие-то несуразные гримасы и движения руками: время от времени зажимал пальцами левой руки ноздри своего мясистого носа, выпучивал глаза, нелепо шевелил толстыми усами. Однако в напористости и самоуверенности ему нельзя было отказать, хотя в его скоропалительной речи не было не только связности, но и какого-нибудь внятного смысла. Говорил что попало. Похоже было, что мусульманской грамоте не обучался, с трудом, беспощадно коверкая, произносил некоторые арабские слова из обихода мулл, называл муфтия – «мупти». Но при всем том этот громоздкий, мясистый, с темным рябым лицом джигит имел весьма самодовольный вид. Раза два попытался произнести «Шайхул-ислам», однако, начав говорить, так и не смог до конца выговорить слово. У него выходило: «Шаху… шахе… ну, как его… ислам…»

После него, когда участники схода несколько поостыли и успокоились, слово взял Абай. Он сразу начал решительно, прямо и просто: «Казахам не нужно идти под власть муфтия!»

– Что это значит, когда говорят: создадим всеобщее исламское сообщество? Мол, братья-мусульмане Аравии, Индии, Египта, султанского Халифата, Шайхул-ислама из Стамбула и казахи, живущие в России, Сибири, – это самые истинные братья, потому что они братья по вере, и нет, мол, ближе родства. Но первое, что я скажу вам, казахи, – это самая настоящая ложь! Взгляните, чем люди живы? Не тем ли, что повседневно общаются друг с другом, существуют между собою в согласии, уважая друг друга? А те, которые призывают нас сблизиться с мусульманами Арабского Халифата, прежде всего хотят нас отдалить от тех, с кем мы живем в самом близком соседстве – с русскими. Разве это не понятно без всяких лишних слов? Эй, казахи, а как вы представляете свою жизнь без русского народа? Ведь жизнь – это вода, которую мы пьем, пища, которую мы едим, одежда, которую носим, и дом, в котором мы живем, это и земля, на которой мы обитаем, и воздух, которым дышим.

О чем тут думать? Ведь мы, семейские казахи, пьем воду Иртыша вместе с русскими, земля, на которой русские мужики пашут землю, сеют пшеницу, мелют муку на мельнице и дают нам хлеб – разве не наша общая? Русские в своих городах делают разные вещи, необходимые для нашей жизни, и одежда на нас, и дома, которые мы научились строить, – не приходят ли к нам с русской стороны, от их городов, от их науки и знаний? И ты, казах, хочешь отдалиться от всех этих благ жизни и прибиться к арабам Халифата? Что же, раздевайся тогда догола и скорее беги к ним! Иди, ищи себе родственников вдали! А во-вторых, – мы же народ темный, невежественный, из-за своей темноты испытавший великое множество несчастий, – откуда же нам взять свет знаний, как не с русской стороны? Нам нужно только раскрыть глаза шире на мир и с огромным желанием перенимать у русских все то, что приведет нас и наши будущие поколения к достойному месту в мире! И нам нужно спешить, спешить получать знания от лучших людей русского общества! Перенимать искусство, науки, – столько, сколько мы можем впитать! И всего этого нам не получить от муфтия, если даже мы его поставим над собой. А в-третьих, – его власти не захотят женщины наших степей! Подумайте, насколько они несчастны у нас! Но как бы им ни жилось тяжко – жизнь у женщин стран адата и шариата несравнимо тяжелее, чем у самых скорбных казахских женщин! И незачем надевать на них, помимо сегодняшней узды, еще паранджу и чадру да накидывать на ее голову темный чапан, чтобы она смотрела сквозь его щели на белый свет! Надобно нам избавляться от тьмы и невежества и гнета тяжкого прошлого, а не бежать обратно во тьму, держась за халат муфтия! Верить в то, что под его властью, среди родственников по вере, нам станет лучше – это глубокое заблуждение. И те, что толкают народ к этому, – его недобрые враги и вредители. Эй, кроткие, простодушные казахи, не верьте им, не слушайте их! Мой добрый народ, обо всем этом я и хотел тебе поведать!

Только сейчас Абай заметил, что за его спиной раздался ропот одобрения множества голосов, – людей, которые привстали

со своих мест, обернувшись сияющими лицами к нему. Все это был бедный люд, одетый в невзрачную будничную одежду, – те самые простые труженики, к которым он и обратился со словами: «Мой добрый народ!» И загудели голоса:

– Барекельди, Абай! Вот это слова!

– Верно сказано: не нужен нам муфтий! И кончено на этом!

– Айналайын, Абай! Говорит, как думает простой народ!

И гул голосов был настолько внушительным, а вид вскочивших с места людей столь решительным, возбужденным, что весь знатный тор хазретов, мулл, имамов, баев и каратаяков сидел молча, словно набрав в рот воды. Никто из них не решился слова сказать в ответ Абаю. И только Сакпаев Сакип, из каратаяков, вначале несуразно замахал руками, выпалил несколько слов по-русски, а потом косноязычно залопотал:

– Это как! Это что? Говорят, вы акын, а как так можно? Вы что, совсем не понимаете?

Абай остановил Сакпаева одним лишь пренебрежительным движением руки, резким окриком одернул его:

– Это вам надо понять! Вы, каратаяки, «ученые люди», «умные люди» – для чего притащились сюда, на этот сход? Или вы все разом потеряли свой ум и ученость?

Тут грядущий адвокат вспрыгнул на корточки и, снова нелепо размахивая руками, в крик заверещал:

– Государство без религии не может! Все хорошие страны имеют эту… религию! Через религию люди улучшаются, вот! Вы посмотрите на католиков, там, на русских дворян с князьями, на их поэтов, ученых, про которых вы больше всего говорите, – это ведь они набрались всего через свою религию, а как же!

Не слушая больше «адвоката», Абай отвернулся от него, насмешливо произнеся:

– Говорится ведь: «Колокол звонит громко, потому что изнутри пуст».

И вновь Абай заговорил взволнованно:

– Да, у всех хороших стран имеется религия, но это не значит, что они достигли благополучия под руководством вождей

своей религии! Наоборот – развитие в этих странах происходило в постоянных стычках светлых умов с главами строгих и жестоких религий. Вы, образованные казахи, вы-то должны знать это, – и что же вы теперь хотите внушить народу? Какую добрую помощь хотите оказать своим темным, безграмотным сородичам, господа каратаяки? Да вы же, как выясняется, становитесь сущей бедой для своего народа! А на тебя посмотреть, умник, так ты уже сейчас выглядишь плутом, а когда станешь торе, адвокатом, ох, немало людей введешь в заблуждение, собьешь с дороги своей ложью. Эй, вам лучше подальше держаться от народа! А вы, добрые казахи, держитесь подальше от таких торе, ибо все они всегда готовы любого продать и предать! Берегитесь их!

Теперь Абай говорил совершенно свободно, без напряжения и горячности, – однако властно и решительно. Люди с восторгом слушали его, потом вскочили с мест и со всех сторон кинулись к нему, чтобы пожать ему руки, при этом чуть не затоптав кучку рассевшихся пониже тора каратаяков.

– Довольно! Хватит ваших пустых слов!

– Не хотим никого слушать, кроме Абая!

С такими возгласами люди проходили мимо каратаяков и верхнего тора, где восседали имамы, муллы, баи – народ неудержимо стал уходить из мечети.

Абай понял, что одержал полную и окончательную победу. Муфтию – не бывать! Ему стало весело, и Абай, глядя на черного от гнева Сакпаева, что-то бормотавшего себе под нос, насмешливо молвил:

– Е, адвокат! По какому такому несчастному случаю ты стал заводить дружбу с имамами? Ведь если на то пошло – ты даже не можешь правильно выговорить «Шайхул-ислам». Говоришь – «какой-то там ислам». Разве это не доказывает, господин адвокат, что ты – отъявленный безбожник? Было бы вполне справедливо, если меня бы называли безбожником, а тебя – просто «кафир».

Услышав эти слова, долго, с удовольствием смеялись друзья Абая, сидевшие вокруг него, – Бектогай, Сеит, Кали и остальные.

Участники этого мусульманского схода разошлись, убедившись в полной победе Абая и в его правоте по вопросу избрания верховного муфтия. Простой люд его не захотел. Народ и в духовной жизни выбрал путь Абая. Но в итоге всего – по секретному приказу семипалатинского полицмейстера в этот же вечер был взят под стражу Федор Иванович Павлов и заключен в тюрьму.

В ту же ночь и на квартире, где остановился Абай, устроили трехчасовой серьезный обыск. В дом Кумаша нагрянули пятеро жандармов и все перевернули вверх дном. Искали что-то – по тайному доносу кого-то... Не исключено было – подозревать в том грядущего адвоката Сакпаева, а также двух-трех влиятельных городских баев. В доносе, – судя и по аресту Павлова, и обыску на квартире Абая, должно было значиться что-то вроде этого: «Абай вводит в заблуждение казахский народ. Его советчик – ссыльный русский революционер, социалист Павлов». Мол, у них могут быть какие-нибудь крамольные бумаги, листовки воззваний, написанные ими совместно.

Ничего не найдя у Павлова во время ареста, жандармский офицер надеялся по горячим следам отыскать эти бумаги в карманах просторного чапана Абая, с тем и подверг акына унизительному личному обыску. Но все было напрасно, ибо та самая искомая листовка с воззванием Абая не ходить под муфтия – в природе вещей существовала, но она была надежно спрятана Бектогаем, джигитом, умеющим хранить тайну. И так спрятана, что ее не смогли бы найти даже тысячи жандармов.

ДЖУТ

1

Несколько лет назад Абай распорядился построить новое зимовье в Аралтобе, что намного ближе к Семипалатинску, нежели Акшокы. Верхом на ходком коне до города отсюда можно было доскакать за день, меж тем как в обратную сторону, до Акшокы, всадник укладывался также в один день, но уже довольно неспешного пути.

Места эти были весьма людными: в трех верстах размещалось стойбище Акылбая, далее, в круге до семи-восьми верст, – множество аулов жатаков, где проживали выходцы из различных родов, иными словами – «многочисленные жатаки»

Новое зимовье сделали из толстых бревен, с прекрасными просторными комнатами и большими окнами. Оно было построено специально для Айгерим, меж тем как Магаш, Нурганым и Дильда по-прежнему жили в Акшокы. Нынешняя зима выдалась крепкой, суровой, и Абай проводил целые дни, коротал вечера за чтением книг в доме Айгерим.

Житие на зимовье Аралтобе было таким же дружным, как и в Акшокы. Соседями стали несколько добрых молодых семей, среди них – Дармен и Макен. Тут же, по распоряжению Абая, обосновался мулла Хасен – учтивый человек с бледным светлым лицом: он обучал соседских детей и маленьких внуков Абая.

Большей частью Абай проводил время в уединении за книгами. Ему нравилось, собирая по вечерам всех, кто был в это время свободен от труда, рассказывать о прочитанном в течение

дня: он делал это красиво, образно, увлекая Айгерим и аульную молодежь своим артистизмом и мастерством.

Так началась зима – тихо, спокойно: ничто не предвещало беды… С середины декабря весь Аралтобе переполнился сомнениями, тревогами и страхами.

Сначала чуткая Айгерим, затем – люди Акылбая в Талдыбулаке, прежние соседи Абая в Борли, и аул Ходжи, теперь расположенный по соседству, – все переполошились. Владельцы скота видели, как с каждым днем крепчают морозы, все быстрее летит и крутится снег в буранах, и хорошо знали, чем все это может кончиться…

Край этот назывался Бауыр, что значит – печень. Оправдывая свое наименование, печень первой принимала на себя удар джута: ее низины и овраги быстро заметались глубокими снежными сугробами, что и отличало Бауыр от Байгабыла, Чингиза, Жидебая, того же Акшокы, но с другой стороны – эти места были удобны для земледелия, не было здесь недостатка и в сенокосных угодьях – в чудесных низинах, поросших караганником и высокой, сочной травой… Одно здесь оставалось скверным – зима, которая, хоть и не каждый год, но все же доставляла людям края, которых здесь проживало великое множество, существенные неудобства…

Образ жизни всех этих людей определялся особыми условиями самой местности. Да и переселенцы сюда стекались особенные – именно те, кто предпочитал существовать оседлым трудом на земле, поскольку весь край в целом был удобен для занятия земледелием. Зная, что зимы здесь суровые, крестьяне Бауыра всегда старались заготовить побольше сена, подготовиться к зиме. Жители зимовья Абая в Аралтобе, Акылбая – в Талдыбулаке, Ходжи – в Борли также накашивали большие запасы корма, сравнительно с казахами, обитающими, скажем, на Чингизе. Здесь труженики не упускали своей возможности и, когда лето выдавалось благодатное обилием трав, закладывали самые огромные во всей округе скирды.

Люди Бауыра знали свои секреты – как подготовиться к непредсказуемой зиме, что было самым важным для них делом, также отличающим бауырцев от остальных кочевников. С начала декабря они зорко следили за погодой, часто собирались вместе и советовались, выслушивая друг друга по поводу своих наблюдений за капризной природой.

В том случае, если безусловно ожидался джут, скотоводы отводили своих овец и коров в ближайшее зимовье Акшокы, либо в далекие Жидебай и на Чингиз. Истощенный, ослабший скот, конечно, оставляли на месте, а крепкий, способный к дальним переходам, упорно гнали перед собой и там, на месте, в глубоких ущельях, густо заросших урочищах между серыми грядами Чингиза, располагались в гораздо более надежных зимовьях. Все знали: скот можно спасти, если только позаботиться об этом пораньше, не устрашась трудностей и хлопот.

Именно такое решение в середине декабря и принял аул Айгерим, срочно собравшись на короткую сходку для совета вместе с соседями из ближайших четырех-пяти мест. Вот что было решено в итоге: «Лето выдалось не ахти: травы накосили мало. По всему видно, что и нынешняя зима будет суровой, долгой, а если она затянется, то опасности нам не миновать. Пока скот в теле, нужно, не мешкая, гнать его в Акшокы, Жидебай, на Чингиз!»

Абай даже не стал вмешиваться в эти дела, с радостным удивлением замечая, что Айгерим прекрасно справляется с подобными хозяйственными заботами, проявляя недюжинные способности житейского ума, а уж твердости и жизненной силы ей хватало всегда. За вечерним чаем она часто хмурилась, сильно опасаясь неожиданных превратностей нынешней зимы. По утрам Абай слушал ее разговоры с аульными людьми – как она своим звонким голосом отдает распоряжения, наставляет, бранит кого-нибудь, и был доволен ее расторопностью и смекалкой.

В то же время, обдумывая предстоящий переход, Айгерим относилась с сочувствием к людям, которым надо гнать скот, и

жалела животину, которой предстояли тяжкие испытания. Сопровождающих гуртовщиков из родов Мамай и Байшора она выбрала сама, призвав людей со своих родных мест. Верному соседу Наймантаю, несмотря на его надежность, рассудительность и близкое с ним родство, она придала в спутники троих джигитов по имени Торгай, Мангаз и Акжол.

Последний был моложе других, крепких скотников, поднаторевших в своем ремесле. Айгерим подозвала к себе низкорослого, рябого Акжола и собственноручно обвязала его шею шарфом, хорошенько укутав его. Строго наказала:

– Будь осторожен в пути, смотри в оба! Особенно береги от мороза руки и лицо.

В день отправки скота выдался сильный мороз, как и во все прошлые дни. Радовало только одно: не было ветра. Обычно в этих краях дули сильные студеные ветра, со свистом нагоняя порошу и делая мороз непереносимым. Недаром такие морозы назывались в народе всякими тревожными словами – «ревущий», «кричащий» и даже «лающий» мороз. Холода в Бауыре, казалось, дышали самой смертью, нагоняя на людей необоримый страх. Не далее, как два дня назад пастух по имени Тунликбай обморозил лицо, несмотря даже на то, что слыл человеком закаленным, самого крепкого здоровья. После этого случая аульные люди, особенно те, у кого не хватало теплой одежды – простые пастухи-скотники, прислуга и дети, – боялись высунуть нос на двор. Конечно, все соседи сетовали, что выступать надо именно сейчас, когда над степью творится такая напасть. В любом ауле, будь то Байгабыл или Бауыр, на всех устах звучали слова тревоги…

– Что то еще будет, коли так рано пришла зима?

– Как теперь скот вырастет, если такое лето было засушливое, трава рано пожухла, недоели они?..

Снегу в этом году выпало так много, что степь стала гладкой, как яйцо. Нигде не видно ни единого кустика. Таволга, караганник, чий – все скрылось из глаз, не говоря о траве, которую скот

уже не в силах достать из-под снега. Вдобавок к тому ветер, беспрестанно дувший дней десять, намел высокие сугробы, а мороз, после кратковременной оттепели, прохватил их насквозь, сковал сверху прочной ледяной коркой.

– Лишь сильные жеребцы могут разломать этот наст копытами, – говорили люди, – а овцам да коровам не под силу такое!

Еще на одну общую трудность сетовали люди:

– Только и остается, что сено, запасенное во дворе! Но разве скот выдержит такое содержание? В этом краю никогда не получалось запастись сеном вдоволь, на всю зиму да для всей скотины. А по нынешней погоде – в особенности.

– Эх, надо было больше постараться! Разве по лету не поняли, что надвигается джут?

Подобные разговоры Абай и Айгерим частенько слышали из уст и молодых, и пожилых людей из окрестных аулов, что иногда останавливались в их доме. Возможно, они и навели Айгерим на решение отогнать скот, и Абай тотчас одобрил жену. Что из всего этого выйдет – время покажет, но гурты ушли, наконец, в долгий и трудный переход.

Дорог в этой местности не было, и приходилось самим прокладывать путь по снежной целине, для чего двинулись все вместе, в один день, чтобы по очереди утаптывать дорогу скоту.

В сопровождении выступили джигиты и самые крепкие женщины, взяли с собой теплую одежду, достаточно еды. Каждый аул выдвинул вперед по нескольку саней, доверху набитых зеленым сеном, скот потянулся за ними. Огромный караван скота, растянувшись, как черная река, тронулся в сторону Байгабыла, Акшокы, Жидебая.

Айгерим, Дармен и Макен, все трое тепло укутанные, долго стояли во дворе и смотрели, не отрывая глаз, пока вереница овец и три высоких копны сена на санях не скрылись за далеким холмом…

Теперь в ауле осталось не так много скота: кое-какой овечий молодняк, старый дойный скот, несколько верблюжат одного-

двух лет и жеребята-стригунки, за коих опасались – как бы не попали в какую беду на зимней дороге. Оставили также крепких домашних коней для джигитов, чтобы оседлать при надобности.

Весь оставшийся разношерстный скот не требовал ни какой-то особой заботы, ни слишком уж многих хлопот. Для подобной надобности у Айгерим хватало женщин и подростков, что жили по соседству в домах прислуги.

С отходом каравана, наряду с хозяйственными волнениями, стали стихать и разговоры на все эти хлопотные темы, изрядно отвлекавшие Абая в Аралтобе. Стала успокаиваться и Айгерим, которая весь декабрь только и говорила, что о животине и скотниках, о дорожных сборах джигитов, так беспокоилась, что и румянец на ее щеках пропал, и лицо даже пожелтело, да и сама она изрядно исхудала за эти дни… Но все кончилось: вновь из дальних комнат все чаще доносился ее переливчатый смех, и появлялась она на пороге не иначе, как в сиянии своей прежней красоты, с притягательной улыбкой, которая полностью преображала ее облик.

Теперь за трапезой Айгерим вновь стала расспрашивать супруга о книгах, что читал он, и тогда Абай, прищурившись, потирая крупными пальцами уставшие глаза, словно продолжая чтение, рассказывал, и Айгерим слышала о самых невообразимых вещах.

Поняв, что долгий рассказ уже начался, она тут же посылала мальчика или прислугу за Дарменом, Макен и муллой Хасеном. Войдя, они устраивались поудобнее и слушали удивительные истории о прекрасных, благородных людях, красивых и лицом, и телом, носящих роскошные одежды, обитающих в теплых, солнечных краях, где растут невиданные фрукты и цветы… Иные герои были смелые, отчаянные, боролись со злом и побеждали его. Эти бесстрашные люди в одиночку сражались с темными силами, превосходящими их в могуществе, грозными, коварными и жестокими врагами…

Так, после исхода гуртов скота, в зимовье наступило умиротворение, два-три дня длилась ровная, размеренная жизнь, и лишь сегодня, в самый полдень, когда Абай, сидя за круглым столом перед резной кроватью Айгерим, читал толстый французский роман в русском переводе, открылась дверь, и у порога большого дома появился гость, узнать которого поначалу было совершенно нельзя.

Едва он вошел, как Абая обдало холодом – не от того, что вслед за ним в теплый натопленный дом ввалился, в клубах морозного пара, студеный воздух, а от самого облика посетителя. Абай поежился, увидев ледяные сосульки, что тряслись на его бороде и усах, сизый иней, которым гость был покрыт весь. Чапан, сапоги, даже камча – зловеще сверкали в лучах зимнего дня, безмятежно льющихся из окна, – все на человеке запушилось от инея. А тымак, который он поспешно снял, переступая порог, был запорошен снегом даже изнутри.

Особое внимание привлекала обувь гостя: довольно поношенные сапоги-саптама с союзками из толстой сыромятной кожи, с войлочным чулком, они были также белыми от инея, однако, быстро оттаивая от печного тепла, темнели, намокая на глазах. Казалось, будто вошедший человек просто насквозь пробит морозом, дышит холодом, и в комнате от него пошла слоями леденящая дымка…

Быстро оглядев пришельца, Абай подал ему ладонью знак, чтобы тот располагался поближе к тору. Только сейчас хозяин узнал его и радушно поприветствовал. Тут друг за другом в комнату вошли Айгерим, Дармен и Макен, также здороваясь с гостем. Вскоре он чувствовал себя как дома и, разглаживая бороду и усы, чтобы разобраться со своими сосульками, принялся рассказывать, откуда он идет…

Все, конечно, узнали Абди, горожанина, верного друга, который когда-то, не раздумывая, заступился за Дармена и Макен, пролив ради их соединения собственную кровь.

– Вот, еду из города, – начал он, – едва добрался до вас по этому глубокому снегу, а в пути пришлось два раза заночевать… Конь-то у меня не слишком упитанный, а вчера был просто ревущий мороз! Еду медленно, все поглядываю на конягу, чуть что с ним не так – остановлюсь у кого-нибудь, чтобы дать ему передохнуть. Сегодня выехал от Канаев, задержался у Коп-Сакауов…

Абай смотрел на Абди дружеским взглядом: он хорошо знал, какой это честный, прямой джигит, гордый характером, хоть и происходил он из весьма бедной семьи. Такого человека надо встретить как самого дорогого гостя…

– Видать, ты сильно замерз! – воскликнул Абай и, повернувшись к своим женщинам, весело сказал им: – Айгерим, Макен! Скоро ли будет готов обед? Пока же поторопитесь с горячим чаем. Да и курту разведите, ведь человек уже не первый день едет по холоду! – отдав такое распоряжение, Абай снова посмотрел на Абди: – Давай, присаживайся, первым делом надо согреться! Лучше вытащи руки из рукавов, так будет теплее.

Айгерим и Макен тихо пошептались меж собой, решив позвать помощницу. Макен крикнула ей через дверь, и та вскоре вошла – светлолицая женщина по имени Карибжан.

Абди снял чапан, встряхнул и накинул его на плечи, согреваясь понемногу в теплой комнате, лицо его оттаивало, покрываясь румянцем. Абай принялся расспрашивать путника о дороге, разговорах в городе и городских делах вообще. Абди отвечал охотно, но больше всего его волновала одна тема, к которой он возвращался вновь и вновь – нынешняя суровая зима:

– Абай-ага, сейчас зима у каждого второго на устах! Поговаривают, мол, нынче она с самого начала взялась крепко, и с каждым днем от нее все больше людей мучается.

Абай знал, что Абди ехал мимо зимовий своего рода Уак, и спросил его, как там дела у людей. Абди рассказал, что Балта-Орак, Мукыр, Аркалык, Кушикбай, Канай – все занесено тол-

стым слоем снега, а сугробы так высоки, что люди вынуждены держать скот во дворах. Те, у кого еще есть силы, погнали скот вдоль Иртыша, в сторону, где остался хоть какой-то корм.

– Зима не сулит ничего хорошего, мороз с каждым днем крепчает, – сказал Абди. – И люди, и скот страдают неимоверно. Я видел своими глазами…

На своем пути он встречал караваны, что направлялись в сторону города и обратно – невозможно было смотреть на людей: у одного обморожен нос, у другого – подбородок, у третьего – щеки. Лица обезображены красно-бурыми пятнами коросты…

Абай спросил, в каких еще волостях такое положение? Абди, оказывается, был хорошо осведомлен о состоянии дел в степи. Он сказал:

– Тревожные вести приходят со всех сторон, и люди всюду говорят только об одном!

Помимо Семипалатинского дуана, подобные тяготы испытывает и население соседнего с ним Карабужыра, Калбы, в стороне Усть-Каменогорска, дальних Кокпекти, Тарбагатая. То же самое происходит и к западу – в родах Акботы, Дегелен, Каракесек и Караоткель, на этой стороне – в Суюндик и Куандык…

Абди продолжал говорить об этом и за чаем, и позже, за трапезой, когда пришел Дармен и стал расспрашивать его о жизни в городе, так как он был сильно обеспокоен тем, как переживают джут его городские знакомые – Абен, Сеит и многие другие.

– В городе все подорожало, люди с трудом могут купить себе еду, – отметил Абди. – В иных бедных очагах нет ни хлеба, ни чая. Это все потому, что урожай нынче был плохой, на базар поступило мало зерна. Если в бедных семьях зимою и без того было голодновато, то сейчас – вовсе стало невыносимо!

Говоря все это, Абди сознавал, что он явился сейчас довольно плохим вестником. Высказав все эти нерадостные новости, он замолчал, но затем вдруг повеселел и молвил:

– А теперь о другом… Ведь порой путника ненароком просят: расскажи сначала все плохое, затем – хорошее. Вот я так и начал – говорить о напастях. Но есть и приятные вести!

Оказывается, в эти самые дни в городе проходит большой чрезвычайный съезд с участием огромного количества людей из родов шести дуанов. Собрался весь цвет общества – самые достойные люди с низин, со степи, долины и возвышенности, и вот уже целую неделю проводят время в словопрениях, всячески блистая красноречием.

– Собрались представители всех окрестных родов, – говорил Абди. – Видимо, идет война двух уездов. Оказывается, и у них люди могут калечить друг друга, все воюют, набеги устраивают, как у нас Кереи с Тобыкты и Найманами. – Абди повернулся к Абаю, взглядом давая понять, что помнит о его свидетельстве на другом чрезвычайном съезде. – Не знаю я, что стало причиной: то ли убийство человека, то ли погром аула, то ли барымта-сырымта, но нет людям покоя от споров и разбирательств. Какое-то событие явно возмутило людей, обернулось напастью для многих!

Дальнейшее Абди говорил уже с чужих слов, перечисляя дела, рассматриваемые на съезде, называя имена людей, прославивших себя как благородными, так и дурными деяниями.

Говорят, что на чрезвычайном расхваливали тех, кто способствует мирному решению споров, тех, кто умеет «примирить непримиримое», и особенно во всем Семипалатинском дуане весьма лестными словами отзываются о Магаше.

Теперь все, кто бы то ни был – с низины или со степи, – со своими спорами-раздорами идут к Магашу. Абди сам видел, когда пришел поприветствовать Магаша в дом Сулеймена, что весь двор был битком набит людьми, пришедшими поделиться своими бедами, напастями с Магашем, чтобы услышать его справедливые слова. Абди тогда обратил внимание на тымаки, чапаны, тавра на конях и сделал вывод, что все ходатаи и жалобщики – не из тобыктинцев.

– Это были люди из родов Бошан, Шакантай, Керей, Теристанбалы, Матай, Сыбан! – перечислил он, явно пораженный и гордый тем обстоятельством, что слава Магаша дошла до столь отдаленных родов.

Абди заметил, что люди, пришедшие в надежде на защиту Магаша, в большинстве своем носили жалкие одеяния – обветшалые чапаны, старые тымаки и чекмени, да и по рассказам горожан, – те, что приходили со своими бедами и горестями к Магашу, были, как правило, бедными, обездоленными.

Абди так и не удалось повидать Магаша: поняв, насколько он занят со всеми этими просителями, он ушел со двора, чтобы не мешать, – ему хватило и той радости, которую он испытал, убедившись, насколько уважаем и почитаем Магаш в народе. Эта приятная весть обрадовала и Абая со всеми домочадцами.

Спустя два-три дня в Аралтобе появился еще один столь же редкий гость и, так же как Абди, не сразу был узнан, да и по той же причине – свирепая зима делала неузнаваемым облик людей.

Путник приехал к вечеру, когда уже темнело: сначала он долго возился во дворе – заводил сани на подветренную сторону дома, привязывал коня и аккуратно раскладывал в санях мешки с зерном, укрывая их кошмой, алашой. Сидя под яркой лампой, Абай слышал эти звуки за стеной, все гадал, не прекращая чтения, кто бы это мог быть, затем, когда дверь распахнулась, он заложил пальцем книгу и поднял голову.

Вместе с гостем в комнату вошли Дармен и мулла Хасен, все трое были в сапогах, их тусклый блеск сразу померк от влажной морозной дымки. И Абай, и Айгерим, готовившая чай, были в легкой домашней одежде, оба вздрогнули от хлынувшего в дом холода, Айгерим даже придвинулась поближе к мужу, будто желая согреться…

Холод на дворе был действительно ужасный, гость принес с собой его малую частицу, которая была, все же, слишком значительной, даже для такой большой, жарко натопленной комнаты.

Влажный пар покатился клубами по полу, окутывая новые черные сапоги путника, меж тем как лицо его было забрано инеем, будто его с головою, вместе с тымаком, окунули в воду и выставили на мороз. Единственное, что поначалу бросилось в глаза Абаю на этом, казалось, и впрямь покрытом коркой льда лице, была окладистая заиндевелая борода.

По этой-то бороде да и по голосу, хотя слова приветствия, слетевшие с окаменевших губ, прозвучали невнятно, Абай и узнал этого человека. Поначалу поздоровавшись с сомнением, почти наугад, он все больше, по мере оттаивания усов и бороды полузамерзшего человека, различал знакомые черты Альпеима, пожилого шакирда, который уже полностью обозначился, когда снял свой старенький тымак из черной мерлушки с серым, выцветшим верхом, – теперь вообще казавшийся сшитым из снега и льда…

– Уай, Альпеим, неужто это ты? – обрадовался Абай и, хорошо зная обстоятельства его жизни, добавил: – Ну, как твои дела – до сих пор изучаешь наху или нашел себе более достойное занятие?

Альпеим, долгое время не в силах совладать с околевшим языком, наверное, превратившимся в твердую ледышку, – наконец с довольной улыбкою ответил:

– Оставил я свой наху, Абай-ага! И все по тому вашему совету… Теперь вернулся в родные места и на Такыре занимаюсь ремеслом моего отца. Стал, как вы сказали тогда, «настоящим человеком земли»…

– Барекельди! – воскликнул довольный Абай и позже, дав гостю несколько отогреться за чаем, принялся расспрашивать его.

Ехал Альпеим из города, где был по хозяйственным хлопотам: значительную часть своего урожая размолол на мельнице, продал половину на базаре, другую – вез теперь домой в мешках, уже мукой. За вырученные деньги накупил на зиму продуктов: сахара, чая, также кое-какой одежды и прочих мелочей.

Абай был доволен Альпеимом, а сам Альпеим – тоже очень доволен собой: ведь сейчас он пожинает плоды своего труда на земле, будучи в значительном выигрыше по сравнению с голодающими кочевниками степи, которые не желают обременять себя такого рода деятельностью, как хлебопашество...

Абай и сейчас похвалил Альпеима перед своими домочадцами, отчего тот возрадовался и повеселел, с еще большей охотой отвечая на вопросы. По всему было видно, что он разумный, обходительный джигит, к тому же – весьма и весьма языкастый. Таким он раньше вовсе не представлялся.

– Все о скоте спрашивают, о нем пекутся, – заметил он, – а я вот думаю, как бы не пострадали люди!

Оказывается, он хорошо разузнал о положении аулов, расположенных ниже и выше по течению Иртыша, о чем и рассказал подробно. Люди из Шоптигак, Жоламан, Ожерке, Байгели-Шагала, Карашолак, Кенжебай, Жалпак – целыми толпами подались в город в поиске работы и пропитания.

– На базаре все подорожало, – подтверждал Альпеим слова Абди, – потому что и у торгашей скудеют запасы. У крестьян, что живут в окрестностях города, в этом году случился неурожай. Аулы, что стоят вдоль дорог, больше не принимают караваны, даже не разрешают сварить еду из собственных продуктов, так как запас дров у всех самый малый, не говоря уже о сене для чужих лошадей. А мороз все крепчает. В последние дни опять разыгрался сильнейший буран – это в окрестностях Кушикбая и Мукыра.

Слушатели поежились от слов Альпеима о морозе, чье холодное дыхание, казалось, вошло в дом вместе с ним.

Вот уже и второй человек говорил то же самое, и, так же, перейдя к хорошим вестям, принялся рассказывать о чрезвычайном съезде, проходящем в городе. Память у него была хорошая: он замечательно передавал слова людей. С удовольствием глядя на Абая и Айгерим, гость начал расхваливать Магаша:

– И от жителей города, и от участников съезда, что приходили со своими спорными делами, не раз мне приходилось слышать, что Магаш, мол, опережает всех, справедливо отличая белое от черного! Ростом неказист, говорят, лицом бледноват, но одарен крепким умом.

Абай спросил: точно ли он слышал все это своими ушами, на что Альпеим ответил весьма красноречиво:

– Я задержался в городе на два дня, как только управился со своими делами, чтобы просто побыть среди людей. Притворившись жалобщиком, пришел на чрезвычайный съезд. И вот что я там услышал…

Все домочадцы замерли, ожидая, что Альпеим непременно расскажет нечто интересное. Тот начал так:

– Как известно, из шести уездов на чрезвычайный приехали около ста биев, разместили их в пяти-шести домах. Среди них оказался и Магаш… У каракесеков есть некий проныра Кали. Сам он говорил, что однажды сидел рядом с вами, Абай-ага, и участвовал в общем разговоре…

Альпеим посмотрел на Абая, тот кивнул, давая понять, что помнит такое. Рассказчик меж тем продолжал:

– Этот Кали намного старше Магаша, и он, оказывается, пользуется немалым авторитетом. Считается одним из четырех биев Семипалатинска. И вот, я своими глазами видел, как перед Кали сели двое уаков со своими спорами. Они раньше были тамырами, всем друг с другом делились. Случилось так, что они поссорились, наверное, не выдержав взаимных просьб и обещаний. Вот и пришли к бию со своим спором.

– При чем же тут Магаш? – не вытерпел Абай.

– Да ведь он присутствовал тут же, – пояснил Альпеим, – когда Кали сначала слушал их чрезмерно долго, затем пытался примирить, прилагая немало усилий, а те упрямились. Тогда Магаш учтиво заметил: «Кали-ага, неужто так сложно найти решение этому спору? Если разрешите, то скажу я». И вправду, говорит: «Были побратимами – дарили имущество от все-

го сердца. Но дар сердца не долг – не возвращается! Почему бы вам не решить таким образом этот спор? Почему бы впредь нам не придерживаться подобного порядка и в других схожих случаях?» При этих словах пятнадцать биев, обвешанных пятнадцатью медными знаками, одобрительно загалдели, закивали головами. Я сам свидетель, каким находчивым был ваш сын Магаш в тот день!

Абай был настолько же польщен, насколько и удивлен. Он обратился к Дармену:

– Е, это для меня что-то новое. Неужели наш Магаш так и сказал?

– Это же слова настоящего акына! – радостно засмеялся Дармен. – Так мог сказать только он, Магаш!

Альпеим меж тем продолжал свой рассказ:

– Выслушав Магаша, бий Кали не скрыл, что сердится на джигита, который прервал его, не позволив ему высказать собственное решение. Вот и говорит Магашу с издевкой: «Голубчик, ведь ты похож на ягненка, рожденного от барана! С какой стати ты выскакиваешь вперед? Я же старше тебя». Магаш тут же шутит в ответ: «А вы не принимайте во внимание мои слова, если они ничего не стоят! Говорят же: двум ревнивцам в одном ауле не ужиться». Кали в ответ молчит, но другие бии ждут, готовые ловить каждое его слово, к тому же все они – сами скорые на язык. Вот один, сидевший поодаль, бий рода Бура, ровесник Кали, так и не дождавшись ответа, отпускает шутку в его сторону: «Еще говорят, Кали-ага, что лису в горах изловит борзая с низины. Хорошую подножку подставил вам мальчик Магаш!» Кали не знает, что ответить, и сидит молча, а Магаш, дабы старик не волновался так, утешает его: «Кали-ага, в шутке нет мести, как в сплетне – границ. Потому и не сердитесь!» Этим он опять смешит всех вокруг и смягчает обстановку. Кали же, несколько придя в себя, набрасывается на того бия, своего ровесника, что задел его: «Как на безобразном лице иногда сияют красивые глаза, так и уста глупца могут порой изрыгнуть истину.

За все двадцать дней, что мы здесь сидим, мне ни разу не пришлось услышать от тебя хоть одно дельное слово, что помогло бы залатать порванное, связать разорванное. Вот и пришлось обратиться за помощью к моему младшему брату Магашу, а ты, похоже, с нетерпением ждал этой минуты!» Таким образом Кали успешно вышел из весьма затруднительного положения и поставил подножку тому бию… Вот так мне и пришлось видеть собственными глазами, как Магаш взял верх над почтенными пожилыми биями! – закончил Альпеим свой долгий рассказ, и слова его одарили Абая безмерной радостью…

Спустя неделю в Аралтобе остановился еще один путник, который, наряду с другими городскими вестями, привез письмо от Магаша. Это был далеко не чужой Абаю человек – мулла Самарбай, который возвращался из Семипалатинска.

Высокого роста, худой, с красивыми глазами и прямым носом, с коротко подстриженными рыжими усами – Самарбай, несмотря на свою молодость, считался весьма образованным муллой. Он был выходцем из соседнего жатака рода Мамай, одним из детей-сирот, которых Абай сам отдавал в учебу лет пятнадцать-шестнадцать назад.

Вот уже три года Самарбай учил детишек в ауле Акшокы, став Магашу младшим братом. Он славился красивым почерком, страстно любил книги и вообще – был способным молодым человеком, прекрасно понимающим, что русское образование сейчас не менее ценно, чем мусульманское.

Благодаря умению слушать и понимать, Самарбай приобрел немало полезных знаний. Он хранил в памяти стихи и переводы Абая, заученные им по чтению Абиша, Магаша и Какитая. Он был замечательным рассказчиком: мог мастерски передать длинные сказки, дастаны и целые романы. Сидя в кругу людей, надолго завладевал их вниманием, воспроизводя в слове интересные события, происшедшие с ним самим.

В письме из города, что привез Самарбай, содержалась некая тяжелая тайна… Айгерим взяла из костяной шкатулки очки

и подала Абаю. Она сразу заметила, как дрожат его руки, когда он читал это письмо. Позже он долго не мог прийти в себя, никак не желая воспринимать написанное, хотя эту страшную правду и ранее чувствовало его перепуганное сердце…

Подняв глаза от письма, Абай посмотрел на Самарбая поверх очков. Мулла также переменился в лице, увидев его взгляд, переполненный страхом.

Вот что писал Магаш в своем письме:

«В последнее время я чувствую, что болен. Обращался к врачам, хожу в ожидании ответа от них. Сейчас не могу бросить дела в городе и приехать в аул. Не знаю, что будет со мной дальше. Может, остаться в городе и тщательно лечиться, или же, взяв предписанные лекарства, с разрешения доктора поехать домой? Я нуждаюсь в вашем совете!»

По причине учтивости, мягкости своего характера Магаш не мог написать Абаю прямо, чтобы он приехал, но по тону и тщательно выбранным словам письма Абай понял, как он желает, чтобы сейчас отец был рядом с ним.

Сердце Абая страшно забилось, на лбу выступил холодный пот. Он встал, прошелся по комнате… Снова сел за стол, но от чая отказался.

«Неужели еще одно горе, еще одна смерть?! – думал он, совершенно потеряв покой. – Неужели завянет еще один цветок – единственная опора моя на всю оставшуюся жизнь, мое дитя? Снова рухнет отцовская надежда, едва начавшая сбываться, – последняя мечта моего измученного сердца…»

Домашние меж тем расспрашивали Самарбая о Магаше, в то время как Абай молча смотрел в его лицо, в надежде прочитать хоть какой-нибудь знак. Сдержанный, но чуткий, хорошо понимающий настроения людей, Самарбай обстоятельно отвечал на расспросы, но в то же время искал слова утешения для Абая. Гость рассказывал о том, что сейчас Магаш обрел большую известность, что он любим людьми, что заслужил от них немало слов благодарностей…

«Утешь меня!» – будто бы молча просил гостя Абай, глядя на него глазами, полными печали, и тот, лихорадочно ища новых слов, вдруг понял, о чем он должен сейчас рассказать…

Как-то раз Какитай и Самарбай остались с Магашем наедине. Весь тот день к Магашу шли люди с просьбами разрешить их споры. Магаш тогда чувствовал себя плохо и лежал в постели, но не переставал принимать посетителей. Вечером Какитай и Самарбай сели по обе стороны от него и решили дать ему совет:

– Тебе надо скорее уехать домой. Поедем завтра же! Надо избавить тебя от нескончаемого человеческого потока.

Магаш ответил:

– Чего вы мне предлагаете остерегаться? Никто не ушел от смерти, даже Темир Би. Если меч смерти над тобой занесен, то он, пожалуй, разрубит и железо!

Затем он объяснил, почему не может изменить сложившееся положение:

– Люди спрашивают: есть ли в тебе справедливость? Ведь перенял же ты что-то от своего благородного отца. Дай мне это снадобье! Каждый взывает... Кто я? Что я храню в душе, что хочу вынести на суд людей? Я должен ответить на все эти вопросы…

Другие, очень значимые слова, крепко запечатлелись в памяти Самарбая: «Чем золото лучше камня, если то и другое спрятать, засыпав песком?» Многие слова Магаша повторил Самарбай, запомнив их, словно стихи: «Как бы ни было дорого каждое мгновение жизни, каждый ее вздох, – нельзя упросить эту жизнь длиться вечно! Движение даже маленькой стрелки часов быстрее галопа самого лучшего скакуна…»

Абай подивился, какой незаурядный ум стоит за словами его дорогого сына, которые люди уже передают из уст в уста, но в то же время им овладела глубочайшая скорбь. Всю ночь Абай ворочался, в страхе просыпаясь… Наутро, быстро собравшись,

он отправился в город. Баймагамбет правил санями, верный Дармен сопровождал его.

Поехали, несмотря на трескучий мороз, который стоял в степи и сегодня: только оделись потеплее, укрывшись от ветра, да в сани Абай распорядился постелить толстую кошму.

Прощаясь, он не сдержал слез, плакала и Айгерим, ее горячие слезы катились из глаз крупными каплями, тотчас замерзая на длинных ресницах. Такой облик жены, с прозрачными льдинками на светлом лице, еще долго стоял перед глазами Абая, когда сани, запряженные двумя конями, стремительно понеслись в сторону города, в вихре белой морозной пыли… Бледная, исхудавшая Айгерим, оставшаяся позади, будто бы молча говорила ему о своей безграничной любви и печали.

Не ел и не спал в этой тревожной дороге Абай. Измученный тяжелыми думами, он выглядел хуже больного. В город приехали вечером, сани развернулись во дворе дома, где жил Магаш. Тот, услышав скрип полозьев на дворе, быстро надел бешмет, тымак и выскочил наружу. Увидев перепуганного отца, он прильнул к нему, стараясь как-то успокоить его…

Абай залюбовался своим сыном, когда тот в сумерках бежал к нему навстречу через заснеженный сад Сулеймена. С первого взгляда он узнал его не сразу, поскольку Магаш, уже долго находясь в городе, сшил себе новую одежду.

Это был хрупкий юноша, прекрасно одетый и красивый лицом, хоть оно и выделялось на фоне темной одежды изрядной бледностью. Его бешмет обращал на себя внимание хорошим городским покроем, а ткань была мягкой, пуховой, сотканной из обычной нити вперемежку с верблюжьей шерстью. Ворот и рукава были темно-коричневого бархата, довольно искусной работы. Глаза сына горели в вечернем сумраке радостью и тревогой…

То, что в обличье столь изящного молодого человека к нему бежит именно его сын, Абай понял по привычно звонкому го-

лосу, когда тот приветствовал его. Это не был голос больного человека, как думал о нем Абай: лежит, исхудав, в постели, но, напротив – он легко бежал по неглубокому снегу двора, и всем своим видом, движением казался бодрым и полным сил.

Абай, одетый довольно тепло и бывший от этого совсем уж толстым, неповоротливым, едва поместился на узкой лестнице крыльца и, обняв сына, поцеловав его в лоб, указал рукою вперед:

– Иди сначала ты, веди меня в дом!

Тут Абай и заметил впервые, что Магаш, идущий перед ним по лестнице, движется как-то неловко и вяло, словно пожилой человек, и это глубоко опечалило и насторожило его. Похоже, только что пробежав по двору, он истратил все свои силы, и действительно серьезно болен…

Абай умел подмечать даже мельчайшие обстоятельства, и тут, в этой печальной обстановке, этот дар, увы, не покинул его: нет, не нравилось Абаю теперешнее состояние сына, очень не нравилось, как он поднимается по лестнице…

Но ведь он все же ходит, не лежит, неужто отступила болезнь? Или это лишь временное облегчение? И вновь забилось отцовское сердце в тревоге…

Весь вечер Магаш старался держать себя по возможности бодро, в приподнятом настроении, весело рассказывая о чрезвычайном съезде, о событиях в городе, высказывал свои взгляды на разные явления жизни.

Магаш вовсю старался рассмешить отца, артистически изображая людей, знакомых Абаю и никогда им не виданных, приехавших на съезд из дальних мест. Милосердный, благородный и прямодушный Магаш преображался, изображая смешные или досадные сценки, разыгравшиеся на чрезвычайном: слишком уж он гневался на этих плутоватых аткаминеров, наглых кляузников, на ненасытных взяточников, у кого на уме были самые коварные намерения. И в то же время, бичуя их невежество,

темноту, глупость, он жалел всех этих людей, называя их несчастными.

Магаш был в городе с начала нынешней зимы, вот уже несколько месяцев вдали от отца: Абай видел, что в нем произошли разительные перемены – он возмужал, стал даже как будто выше ростом.

Абай понимал, что именно в этой сложной обстановке, среди множества людей, участвуя в горячих словесных противостояниях, не раз размышляя над всякими явлениями и обстоятельствами, молодой джигит набрался немалого жизненного опыта. Умный, рассудительный, образованный, в меру взвешенный, Магаш, похоже, теперь вполне готов держать себя на равных с людьми, умудренными солидным жизненным опытом.

Все рассказы, которые донесли до Абая путники, ехавшие из города, были правдивы: он теперь сам убеждался, каков стал его Магаш! Но, чем больше его душа наполнялась радостью и надеждой, тем горше становились думы о здоровье Магаша. Как бы сын ни уводил разговор в сторону, в этот вечер Абай все же улучил минуту и напомнил ему о докторе. Что это за доктор, у которого лечится Магаш? Насколько он образован? Как отзываются о нем Павлов и его жена? Спросив один раз, Абай все чаще стал переводить разговор в это русло, беспрестанно переспрашивая сына о докторе: что это за человек, как он лечит его?

Магаш говорил, что сейчас он находится под наблюдением доктора Станова, человека среднего возраста, образованного, с большим опытом. Этот врач приехал в Семипалатинск недавно, и они с ним не просто познакомились, но сблизились, стали друзьями. Сам Павлов и привел его к Магашу. Станов наблюдает за Магашем с особым вниманием.

Пусть отец сам поговорит со Становым, посоветуется с Павловым и выскажет свое мнение. Магаш очень нуждается в совете Абая. Ничего такого страшного он сам не чувствует, и отцу также не о чем волноваться.

Так утешал Магаш Абая в тот первый вечер, принимая его в доме Сулеймена как дорогого гостя, но он все равно не мог успокоиться. Эта ночь для обоих была бессонной… Абай не спал, издали чутко прислушиваться к любому шороху, дыханию, редким покашливаниям Магаша за дверью. Временами отец, незаметно проваливаясь в сон, вдруг просыпался от кошмара, снова лежал с открытыми в темноте глазами, не переставая тяжко вздыхать. Магаш, также лежа без сна на высокой кровати в соседней комнате, явно чувствовал беспокойное состояние отца. Они будто вели меж собой бесконечно печальный разговор.

Ничто не может сравниться с этим бессловесным разговором двух чутких сердец. Даже в обычной, спокойной обстановке многое понятно без всяких слов – между отцом, искренне любящим своего сына, и сыном, искренне любящим своего отца. Но когда одному из них угрожает опасность, эта тонкая связь обостряется, восприятие каждого усиливается во сто крат, и в таком состоянии человек обретает особую чувствительность, которая способна наполнить его душу смертным страхом другого, самого близкого – умирающего человека...

Души этих двух людей, одаренных великой человечностью, – достойного отца и не менее достойного сына – способны были разговаривать, чувствовать друг друга в кромешной темноте зимней ночи, – по каждому движению, шороху, самому незначительному звуку. Такой немой разговор двух сердец и называется любовью.

Лежа в темноте, Магаш, по своей привычке к последовательным, самым глубоким размышлениям, все думал, как утешить отца, как отвлечь его от роковых мыслей… Даже человека незаурядного ума и огромной души, гениального по природе, можно увлечь, словно малое дитя, хотя бы чем-то и незначительным. Магашу казалось, что он сам – лекарь своего старого отца, и теперь ему надо больше думать об отце, нежели о себе. «Если что-то случится со мной, он же не выдержит, рухнет, потеряет

всякую надежду, опору в жизни! Отец! Неужели он так и уйдет, словно сорвавшись в бездонную глубину, и никого не будет рядом с ним у края бездны?»

Даже думая о своей болезни, Магаш не бывал столь огорчен, как от этих мыслей об отце… На его глаза навернулись слезы, к горлу подкатил горький ком, и он заплакал. Магаш судорожно ловил воздух ртом, словно задыхаясь в этой темной комнате…

На следующий вечер, исполняя свою новую роль лекаря при отце, Магаш направил к Абаю детей. К тому времени, по совету сына, Абай сменил обстановку на более ему привычную: переехал вместе с Дарменом и Баймагамбетом в дом Кумаша, где, как всегда, царили покой и тишина. День был субботний, и к Магашу, как обычно в выходные дни, приехала ночевать учащаяся молодежь, ее-то и отправил Магаш на санях к Абаю.

Дети изрядно повзрослели. Самым старшим из них был Рахим, сын Даркембая, а несколько городских и степных детишек, которых хорошо знали и Магаш, и Абай, годились Рахиму в младшие братья: Асан, Усен, Аскар, Максут, Шакет, Мурат и другие – ныне подросшие дети бедных друзей Абая. Были и близкие сородичи – шестнадцатилетние учащиеся пятого класса гимназии – Ныгмет и Жалел Кунанбаевы.

Рахим уже окончил русскую школу и поступил в Учительскую семинарию, недавно открытую в Семипалатинске. Асан в этом году завершал обучение в Городском пятилетнем училище. Дети грузчиков и жатаков, Аскар и Мурат, тоже многому научились, получив хорошее воспитание, несколько подросли и возмужали.

В свои двенадцать-тринадцать лет эти ребята уже начали отпускать волосы, делать прически. Хорошо, по размерам сшитые мундирчики сидели на них весьма ладно. Лица их выглядели свежими, загорелыми, а руки, не знавшие тяжелого труда, были тонкими, узкими, с красивыми белыми пальцами.

Ныгмет и Жалел стали, что называется, джигитами-подростками. Считая себя выходцами из аристократической семьи, они держатся надменно и горделиво.

Угрюмый, с холодными глазами на смуглом мрачном лице, бесспорно доставшимися от Азимбая, Ныгмет вдруг весь преображался, неприятно поражая людей, едва ему приходило в голову захохотать. Вначале чуть выпячивалась, словно насмехаясь над кем-то, его нижняя ярко-красная губа, затем, сделав обратное движение, она открывала крупные белоснежные зубы. Правда, порой мальчишка забывал о своей роли вельможи и становился самым обыкновенным балагуром-пересмешником.

Больше всех внимание Абая привлекал сын Какитая – Жалел. Его жесткие, черные, как уголь, волосы, растущие торчком, словно ежовые иглы, делали огромной и без того большую голову. Также и некое сходство этих волос с коротко обрезанным конским хвостом выдавало упрямство, капризность характера. Если большой гладкий лоб Жалела свидетельствовал о недюжинном уме, то раскосые узкие глазки под угрюмыми бровями хранили особую холодность. Эти маленькие хмурые глаза были накрыты мясистыми складками, отчего казалось, что у мальчика вовсе нет ресниц, и неподвижный взгляд его жутковато напоминал змеиный. Несуразно маленький нос Жалела представлялся чужеродным на его большом, плоском лице, а редко посаженные мелкие зубы отнюдь не украшали бедолагу даже в то время, когда он весело хохотал.

Характерно, как оба гимназиста относились к Абаю. Эти двое мальчишек вообще привыкли, что в любом из домов Кунанбаевых их хвалят и носят на руках. Живя в городе и обучаясь наукам, они считали себя выше других казахов, в том числе и Абая, который по одежде ничем не отличался, скажем, от их собственного деда. Им и в голову не приходило, что степной казах может стоять на одной ноге с ними, такими образованными и умными. Кроме того, как это ясно видел Абай, они были весьма далеки от таких понятий, как «талант», «акын» и тому по-

добное. Особенно они не прощали Абаю его выговора: ведь он освоил руский язык довольно поздно и некоторые слова произносил неточно. Так, стоило Абаю на русском языке произнести имена поэтов, названия книг, прочитать стихи, как они тотчас выражали свое детское презрение – высокомерным взглядом или снисходительной улыбкой.

Сегодня, будучи гостями Абая, Ныгмет и Жалел вели себя по привычке, как всегда в доме у родственников. Подложив под головы большие подушки, с папиросами во рту, то на бок поворачиваясь, то на спину, нагло раскинув ноги, они шептались меж собой по-русски. Эти разговоры касались то некой гимназистки, с которой они намедни познакомились, то недавней гулянки, опять же – девушек, что были на этой гулянке, да молодой хозяйки квартиры, в которой они оба жили, и где также закатывали всякие гулянки…

Не имея никакого желания слушать Абая, Жалел и Ныгмет вскоре вообще ушли в другую комнату и там, разлегшись рядышком на постели, беспечно потягиваясь, посмеиваясь, окунулись в свои привычные разговоры о тайных похождениях.

А что же другие дети? В отличие от этих двоих, которые считали стремление к познанию пустым занятием, они тянулись к Абаю, видя в нем мудрого наставника, с особой чуткостью желая понять состояние его души. Даже самые маленькие из них – Шакет и Мурат, с огромным желанием старались быстро, исчерпывающе отвечать на каждый вопрос. Рахим и Асан знали о болезни Магаша, хорошо понимали, что сейчас испытывает его отец, и с искренним сочувствием внимали каждому грустному вздоху его. Об этом предупредил их сам Магаш, и они выполняли его назидание…

Именно поэтому Рахим и Асан, придя вечером к Абаю и усевшись за большой круглый стол дома Кумаша, завели разговор осторожно, стараясь не ранить Абая. Говорили о том, что происходило в городе…

Вначале Абай по очереди спросил Мурата, Аскара, Максута и Шакета об их семейных делах. Мурата он спросил о Сеите,

Абене и Сеиле, а также о старой матери Дамежан и о его отце Жумаше – чем они нынче существуют, каким ремеслом заняты, нет ли голода в их домах, не остались ли их отцы без заработка?

Из ответов всех четверых мальчишек Абай понял, что сейчас их семьям приходится туго: во всех жатаках, во всем городе – безработица, что осложняет существование простых людей. Слушая их, Абай почувствовал, насколько ребята выросли, возмужали. Сын Сеита – Аскар даже приятно удивил Абая.

– Такого тяжелого года, как нынче, еще на моей памяти не было, – степенно сказал мальчик. – Даже самые сильные, самостоятельные мужчины, такие, как мой отец, не могут заработать денег на семью. Мать страшится, она так и говорит: если бы не твоя стипендия, то мы бы все голодали!

Этот чистый, кристально честный мальчик и мыслями, и душой был вместе с другими людьми, близко к сердцу принимал их тяготы и невзгоды. Впрочем, таковыми были все, оставшиеся с Абаем в комнате за круглым столом, в отличие от двух маленьких степных аристократов, что развалились на высокой кровати за стеной, чьи смешки и какое-то шутейное звериное ворчание доносилось до них, сидящих здесь, совершенно иных людей…

Аскар, Максут, Мурат и другие не были оторваны от своих родных очагов, они искренне проникались заботой о близких людях, прекрасно знали об их лишениях и невзгодах, глубоко понимали нужду аула.

– И впредь будьте такими, – твердо сказал Абай. – Все знайте о людях, внимайте им!

Ребята, в свою очередь, сами видели, с каким огромным желанием разговаривает с ними этот пожилой человек, со всей душой, внимательно слушает их… И они стали еще более откровенными, рассказывая о тяжестях и невзгодах, обрушившихся на город в последние дни. Рахим и Асан по очереди обстоятельно поведали Абаю об этом.

– И казахи, и татары, и русские – все говорят об одном: в этом году в городе стало совсем тяжело… – начал Рахим. – Осенью сюда приехало множество крестьян-переселенцев из внутренней России, которых отправляют в Жетысу, в Сибирь. В большинстве своем, это бедные семьи, не имеющие ни средств, ни пропитания. По дороге в Жетысу они услышали, что Семипалатинск большой город, и толпами подались к нам. А в Жетысу нынче тоже случилась засуха, как в нашей области. Люди и там остались без урожая. Не умирать же их детям с голоду! Вот эти крестьяне и заходят в каждый городской дом, пошли на поклон к баям, во все те места, где берут людей на работу. За гроши нанимаются!

Когда Рахим замолчал, тотчас подхватил Асан:

– Мне пришлось слышать, что здоровые мужики стали наниматься за черный хлеб, за разовую горячую похлебку. Что и надо баям. Дешевые рабочие руки. Оказывается, баи увольняют прежних рабочих, говоря «дорого просите», и вместо них берут этих бедных крестьян!

Теперь, осмелев, в разговор вступили Аскар, Максут и Шакет. Они стали говорить о том, что слышали от своих отцов. Аскар смущенно заметил:

– Заводы в Затоне – кожевенный и пивоваренный – увольняют прежних работников и также принимают тех, дармовых.

– Они же ведь уволили и моего отца, и Сеита-ага – тоже! – возмущено воскликнул Абенов Максут и далее, видимо, повторяя слова взрослых, сказал: – Подрядчики последовали примеру богатых байбатша!

Абай покачал головой. Эти, пусть и чужие слова, значили для него многое: оказывается, работодатели – подрядчик и управляющий в погоне за мизерными барышами не останавливались и перед тем, чтобы отказаться от услуг опытных местных грузчиков, хороших знатоков своего дела…

Вступил в разговор и Усен, который неожиданно и невозмутимо начал говорить басовитым голосом взрослого, – впрочем,

он всегда старался так говорить, что свидетельствовало о его сложном недетском характере.

– Сейчас в город толпами идут не только крестьяне, – сказал он. – Идут и пешие жители слободки, бедных аулов с той стороны. Куда им теперь податься, раз нынче случился неурожай, и они остались без пропитания? Тоже задарма нанимаются к городским баям, только ради еды. А баям, вы знаете, Абай-ага, только этого и надо!

Его товарищи заулыбались, кто-то захихикал над «взрослым голосом» Усена…

Шакета и Мурата, выходцев из жатака по эту сторону, Абай сам спросил об их семьях и соседях. Слушая старших домашних, они тоже хорошо знали все новости. Внук Дамежан, Мурат, курносый мальчишка с большими черными глазами, часто слушал свою бабушку и, по-видимому, повторил ее слова:

– Городской не пойдет наниматься за хлеб и похлебку – из-за достоинства и гордости. Пусть даже дадут пятнадцать копеек в день, но он потребует: заплати за труд! А что делать голодному пришельцу, которому пойти некуда? Так и толпятся у ворот баев целыми днями всякие пешие люди из аулов Карашолак, Шоптигак, Жоламан, обивают пороги, ищут себе работу. А городские теперь не могут подработать, в прошлый забой скота их уже не брали на бойню. Совсем тяжко приходится им!

– Е, вы только поглядите на него! – рассмеялся Усен. – Говорит, прямо, как взрослый джигит…

Остальные ребята также громко расхохотались, весело поглядывая друг на друга, иные, смущаясь Абая, прыскали в кулак, безуспешно пытались укротить свой смех. Мурат, конечно же, сразу обиделся, покраснел и выпалил с досадой:

– Чему смеетесь, разве это неправда?

Он смотрел на Абая широко раскрытыми, черными глазами, полными обиды, прося помощи. Абай понял этот проницательный взгляд и заступился за Мурата:

– Не смейтесь, он верно говорит. Ни от кого в городе я не смогу узнать про все это! Пусть Мурат рассказывает дальше.

Поведай-ка нам о своем отце – Жумаше, о соседях – Бидайбае, Жабайкане, о вдове Шарипе.

Мальчик добросовестно рассказал обо всех…

Из его последующих слов Абай узнал также и о том, что работодатели ведут себя нагло: владельцы бойни, торговцы шкурами, лавочники – все как один ругаются, издеваются, язвительно насмехаются над людьми, что приходят к ним в надежде получить работу.

«Будешь артачиться? Будешь просить повышения? Потребуешь завтра двадцать копеек в день? Раз так, то лежи себе дома, а мы другого наймем!» Так говорят с работниками Сейсеке, Билеубай-хаджи, Жакып и Хасен, тем самым и другим подают пример для подобных насмешек над людьми – джигитами, женщинами, даже крепкими мастеровыми. Сыновья и младшие братья этих баев повторяют их слова, болтают все, что приходит на ум. То же и подрядчики Отарбай и Корабай – стоит жатаку достойно возразить, ему говорят: «Ах, он еще и обижается!» Выматерив, выгоняют его вон, что уж совсем непонятно: неужто им не нужны хорошие работники?

Все это поведал Мурат, полный взрослыми заботами. Потом заговорил младший сын Сеила – Шакет.

Лодочник Сеил, как всегда, зимой ходит без работы и вместе со своими двумя гребцами обивает пороги баев, но никто их так и не взял до сих пор, ни одного из троих. На днях Сеилу чуть повезло: подвизался колоть лед и ловить рыбу на Иртыше с бакенщиком Мешелом и еще одним русским рыбаком. Другое еще дело у него: летом запасся сухими ветками тугая на дрова и сеном, теперь излишек возит на ручных санках, стараясь продать.

По рассказам отца, Шакет хорошо знал о тяготах и невзгодах, что терпят люди и в долине, и в степи из-за нынешних крепких морозов.

– Отец говорит, что такой ужасной зимы ему не приходилось видеть лет тридцать! Один раз он отморозил пальцы на ногах.

В другой раз пришел с обмороженным подбородком и совсем белой левой щекой. Теперь все его лицо какое-то пестрое, в темных пятнах. Говорит: «В первый раз за всю жизнь так обморозил лицо! В самые лютые морозы не случалось со мной такого. Нынешняя зима – страшная!»

Когда закончил Шакет, в разговор снова вступил юный джигит Рахим. По выводам, прозвучавшим из его уст, Абай догадался, что он передает слова Абена, который, в свою очередь, услышал их, наверное, от Павлова:

– Если есть в городе угроза голода, если все это происходит по вине переселенцев, то почему они-то покинули свои дома? Почему тронулись из родных мест черным, как сель, потоком, будто единое племя? Похоже, и в России нынешний год выдался тяжелым. Ходят слухи о грядущем голоде. Говорят, что голодные безземельные крестьяне могут стать возмутителями спокойствия, и сам белый царь боится их. Вот и стали переселять крестьян из срединной России в наши края, где много земли, но мало людей!

Слова, произнесенные юношей Рахимом, дали Абаю повод для размышления, а вопрос, им затронутый, Абай и сам был бы не прочь поставить. В самом деле, разве правильно связывать тяжелую жизнь города только с появлением переселенцев, с нынешним неурожаем?

Рахим показал себя смышленым молодым джигитом. Он думал о других людях, а это главное… Абай слушал его с огромным вниманием, одобрительно кивая головой.

– Верно говоришь, Рахимжан, со знанием дела!..

Абай хотел было добавить еще несколько добрых слов, но тут вдруг объявился Жалел. Оказывается, двое гимназистов Кунанбаевых, которые посмеивались и скабрезничали за стеной, ненароком замолчав, услышали сказанное Рахимом. Жалел, хохоча, соскочил с постели и быстро вошел в комнату. Теперь он стоял, отвернув полы длинного мундира, засунув руки в карманы штанов, и глядел на Рахима свысока, как в переносном,

так и в буквальном смысле. Его косые глазки, заплывшие мясистыми веками, так и сверлили сидящего на стуле Рахима. На чисто русском языке он с упреком стал выговаривать ему:

– Неужели ты думаешь, что царь, государство так уж и боятся крестьян, которые только вчера были рабами? Они что, первый день терпят скотское существование, эти крестьяне? Разве первый раз они видят такой голод? Если не знаешь, не разбираешься толком, то не болтай чушь, а лучше попридержи свой язык!

Рахим стал было возражать, говоря по-казахски, но Жалел махнул в его сторону рукой:

– Довольно, и слушать тебя не желаю!

Абая возмутило такое поведение, и он сказал строго и вместе тем ласково:

– Нет, Жалел, ты неправ. Причины переселения крестьян – сложный и обширный вопрос, а вот о том, что государство может опасаться народных волнений, Рахим правильно говорит. И почему бы царю не беспокоиться, если его народ испытывает неимоверные тяготы, вынужден голодать? Голубчик Жалел, оказывается, это ты поверхностно понимаешь все обстоятельства!

Увидев, что Абай от него отвернулся, Жалел вышел из комнаты, так и не найдя, что сказать, лишь мрачно, с холодной неприязнью глянул на него…

Вечером, уложив ребят спать, Абай, Дармен и Баймагамбет перешли в другую комнату и сами стали готовиться ко сну. Абай не хотел в эту ночь оставаться один, и друзья понимали это, расположившись тут же на полу. Дармен и Баймагамбет раздевались, устраивали свои постели. Абай лежал навзничь, на высокой деревянной кровати, он заговорил, как бы сам с собой:

– Давно уже стал замечать… Что-то мне не нравится этот Жалел, сын Какитая. Стоило ли давать ему образование? Что, разве нет у него других детей, более способных к русской грамоте?

Дармен весь вечер говорил мало, все больше наблюдал за детьми. Он видел, что и Абай занят тем же самым. Юный Жалел ему явно был не по душе. Дармен хорошо знал ответ на вопрос Абая и охотно заговорил об этом:

– Абай-ага, если этот сын никудышный, то откуда другим быть лучше? Ну, вот, есть у него сын по имени Дархан. Какитай показывает его Магашу еще в колыбели и спрашивает: «Как ты думаешь, хорошим он человеком вырастет?» А Магаш возьми да и пошути: «Разве у хорошего человека может быть такой толстый лоб? На целый палец толще, чем бывает у хороших!» Затем Магаш приводит высказывание одного русского писателя, тот говорил про своего героя что-то вроде того: «Лоб его совести покрыт медным щитом». Медный лоб, то есть... После чего Какитай убоялся, наверное, да и отдал учиться не Дархана, а этого самого Жалела. Хоть у него точно такой же медный лоб, поди...

Абай слушал Дармена с улыбкой, затем заметил:

– В шутке Магаша, как видим, была доля правды. Жалел и Дархан – потомки Кунанбая, и у них, должно быть, общие не только лбы. Боюсь, выйдет из этого самого Жалела настоящий злодей, а в лучшем случае – просто никудышный человек. Бывает, что учеба, познания перерождают характер. Было бы чудом, если бы так случилось с Жалелом. В противном случае, завязнет в этой своей меднолобой напасти – станет мырзой в степном ауле, чванливым и наглым! – закончил Абай, тем самым дав ответ на свой собственный вопрос.

Дармен и Баймагамбет, не любившие Жалела за его высокомерие, надменность, неумеренные приступы внезапного буйства и особенно – за его поганый язык, полный отборной и пошлой матерщины, дружно рассмеялись.

2

Здоровье Магаша с каждым днем ухудшалось. Те едва уловимые признаки болезни, которые насторожили Абая при пер-

вой встрече с сыном, теперь проявлялись все резче: Магаш стал тяжело дышать, его лоб порой покрывался мелким потом, часто повторялся пока еще не сильный, но хорошо известный Абаю сухой кашель…

За свою долгую жизнь он не раз видел эту болезнь – у детей, молодежи, джигитов-подростков. Он знал, сколько она длится и чем кончается. Тем не менее, отец, словно хватаясь за соломинку, тешил себя самой незначительной, призрачной надеждой. Допустим, поговорить с доктором, может быть, есть какие-то средства, чтобы не дать болезни усилиться, приостановить ее, а затем окружить сына вниманием и заботой, пока болезнь не зашла далеко – может быть, это поможет ему?

Сегодня пополудни, сидя в гостиной на квартире Магаша, Абай с нетерпением ждал доктора. Тот должен был появиться с минуты на минуту, ибо отличался пунктуальностью, верностью своему слову и ремеслу. Вместе с ним собирался прийти и Павлов, который до этого уже заходил к Абаю в дом Кумаша.

Наконец, они появились – Павлов и Станов, его хороший знакомый, опытный врач. Это был невысокого роста средних лет человек, с красивой кудрявой бородой и приятным, внимательным лицом. Щеки доктора цвели здоровым румянцем, густые каштановые усы были аккуратно подрезаны, широкий открытый лоб свидетельствовал о недюжинном уме, а чуть вздернутый нос, будто в изящное дополнение к этому красивому лицу, делал его еще притягательнее.

Станов вошел, на ходу раздеваясь и учтиво кланяясь Абаю. Не дожидаясь приглашения, быстро прошел в дальнюю комнату, к Магашу. Павлов и Абай остались в гостиной, сидя напротив друг друга за письменным столом.

Абай пригласил Павлова, настоятельно просил его сегодня прийти, чтобы получить совет и у него касательно болезни Магаша. Теперь же, пока доктор был у больного, Павлов заговорил о другом, и Абай, погруженный в мысли о сыне, рассеянно слушал его…

Станов тем временем осматривал Магаша, тщательно и долго. Много говорил с ним с глазу на глаз о предстоящем лечении. Магашу, в первую очередь, необходимы хорошие условия. Больной должен быть внимателен к себе, пристально следить за своим состоянием. Никаких волнений – сходов, собраний, происходящих в городе. Чаще находиться в доме, в тишине, в спокойной обстановке среди близких людей. Надо быть разборчивым в еде, соблюдать чистоту. В общем, всего этого можно достичь лишь в том случае, если Магаш вернется в родные края…

Пока Станов был у Магаша, Павлов заговорил на привычные для него темы. Дело в том, что он получил некие известия от своих товарищей из внутренней России, и сведения эти были весьма необычны.

Павлов говорил то же самое, что и юный Рахим, вернее, джигит как раз и повторял те же самые слова Павлова, дошедшие до него ранее. Оказывается, имперские власти уже давно ожидают крупных беспорядков. Прошлым летом российские губернии уже сотрясали крестьянские бунты, да и в городах происходили какие-то рабочие выступления. Кроме того, некие тайные силы, к коим, как Абай уже давно догадался, имеет отношение и сам Павлов, готовы не только продолжать, но и усиливать деятельность, которая, в конце концов, приведет страну к самой настоящей революции!

Встревоженная этим, царская власть решила прибегнуть к особенной мере, к некой уловке, а именно: переселить в дальние края огромную массу обездоленных, обнищавших крестьян, тех, что участвовали в прошлогодних бунтах.

– Их обнадежили: «Те края очень богаты, в Сибири, в Жетысу, много свободной земли, приедете, забудете о лишениях и невзгодах, заживете в сытости и достатке!» – говорил Павлов. – Так, обманом и отправили в безвестность бесчисленные толпы крестьян, которые сейчас как раз заполонили Семипалатинск. Кроме того, именно там, куда направили крестьян, на

этот год пришелся неурожай зерновых – в Сибири, Жетысу и также здесь. К чему может привести голод среди крестьян, и без того недовольных, жестоко обнищавших?

То ли сам Павлов искренне так считал, то ли его товарищи из центральной России об этом писали, но ему казалось, что достаточно сказать лишь несколько слов, как все эти крестьяне поднимутся на самые решительные действия, и вот тогда революции, о которой так мечтал Павлов, точно не избежать! А сказать крестьянам надо всего лишь следующее: «Все эти напасти исходят от царской власти! От жестоких и коварных намерений вельмож и аристократов…»

– Будущее России весьма тревожно. Дело в том, что царской власти оказалось мало удалить крестьян на окраину страны. Положение настолько серьезно, что надо чем-то отвлечь и другие слои населения. Выход был найден следующий: правительство полным ходом готовится к войне. Противник – Япония, хотя и не так уж важно, с кем воевать. Главное – вовремя запустить всякие патриотические воззвания, лозунги, проникновенные слова и назидания: «Империи угрожает враг, войны не избежать! В армию требуются граждане! Защита Отечества – дело чести каждого! Страна нуждается в сплочении, народ должен смело выступить на защиту Родины, дать достойный отпор чужеземному врагу!» Простой люд в своей массе темен и наивен, – продолжал Павлов, завершая свои речи. – Вот так власти и повернут его в другую сторону, настроив на нужный лад. Думаю, в ближайшее время мы непременно услышим сообщение о начале войны с Японией!

Многое из того, что говорил Павлов, было Абаю не внове. Мысли относительно переселенцев ему уже передал Рахим. Но одно обстоятельство сильно беспокоило Абая... Во время всех страстных речей русского друга он даже забыл на миг то ужасающее, мучительное, о чем думал неотступно…

– Неужто и в самом деле будет война? – спросил он, заметно волнуясь. – Выходит, ни в чем не повинному народу придется идти и гибнуть, добиваясь победы!

– Ни в коем случае! – быстро ответил Павлов. – В этой войне нужно добиваться не победы, а поражения…

– Как это так, Федор Иванович? – не понял Абай.

– Именно! Я не ошибусь, заявив, что выражу мысли всего нашего передового общества: безусловно, для России выгодно поражение в этой войне – самой же России!

Абай помолчал, пытаясь осмыслить то, что он сейчас услышал. Сказал сдержанно:

– По этому поводу я бы допустил кое-какие возражения.

– Что за возражения? Говорите, я весь внимание, Ибрагим Кунанбаевич! – улыбаясь, отозвался Павлов, впрочем, сразу же приняв задумчивый вид.

– Мы, – начал Абай, – а под словом *мы* я разумею народ, миллионы различных людей – русских крестьян, казахский степной люд, многочисленное население городов, – так вот, мы, Федор Иванович, чем будем озабочены, начнись война? По моему мнению, в подобном случае люди думают лишь об одном… В них проявится чувство *патриотизма* к своему *Отечеству*, *государству*, и они никак не выскажутся за поражение своей страны.

По крайней мере, три слова из своей речи Абай по-русски впервые в жизни произносил вслух – раньше просто не было повода. Несмотря на это, он выговорил их четко и ясно.

– В любом случае, – продолжал он, – думая о чести, каждый будет желать победы своего Отечества! Иначе не могут думать, – ни стар, ни млад. Да, Федор Иванович, все мы будем охвачены горячим чувством патриотизма, искренне желать победы своего государства!

Абай был уверен, что привел самые очевидные доказательства своей правоты, но Павлов выглядел еще уверенней. Помолчав, он невозмутимо возразил:

– Конечно, на первый взгляд, вы говорите правильно. Кажется, что любой человек, если он не сумасшедший, непременно должен мыслить именно так. Однако враг миллионов людей,

от имени которых вы говорите, не только Япония. Это дальний враг, внешний. Но есть еще и другой враг – он гораздо ближе! Это враг внутренний.

Абай, похоже, стал понимать, куда клонит Павлов, и с грустью подумал, что в чем-то он не сможет понять до конца своего друга…

– Если вы имеете в виду власть баев, аткаминеров, в конечном итоге – русскую царскую власть, то она, безусловно, не на стороне народа, но…

В этот миг Павлов перебил его и заговорил горячо и страстно:

– Не то, чтобы не на стороне, а просто враг! Враг, который рядом, самый коварный враг народа!

Сказав это, Павлов придвинулся вплотную к Абаю и, жарко дыша ему в лицо, заговорил шепотом, будто опасаясь, что доктор и Магаш, которые были поглощены своим скорбным делом в соседней комнате, услышат его. Последующие слова Павлова были преисполнены гневом и отвращением, душной мстительной злобой…

– Если эта власть потерпит поражение от столь серьезного, грозного врага, как Япония, то, несомненно, окажется в полной растерянности. А революции это только на руку, она может воспользоваться слабостью власти. Если же победу одержит империя, то она укрепится. В таком случае революция не сможет поднять головы. Она будет вынуждена угаснуть, отступить, затихнуть на многие годы!

Павлов продолжал говорить, уже не столь страстно – просто поясняя свои предыдущие слова. Он говорил о тех людях, которые сначала сопротивляются власти, говорят: «мы с народом», «против царя», «против рабства», – но потом сами становятся покорными рабами. Есть и такие господа, которые не верят в революцию, говорят, что для нее еще не пришло время… Их призывы: «Пока поддержим царя! Спасай Россию!» Вот эти-то блуждающие, со своим неприятием всякого насилия, явно наносят урон революции!

Последние слова Павлов произнес с великим гневом, и стало ясно, что этих блуждающих он ненавидит еще больше, чем своих явных врагов – власть имущих.

Но как бы там ни было, он был по-прежнему интересен Абаю, особенно восхищали воля, напор, уверенность в своей правоте его русского друга. В Павлове кипело пламенное желание незаурядного человека, который всей своей душой чуял приближение каких-то великих событий, и они, эти грядущие события, были для Федора Ивановича равнозначны всей жизненной мечте и надеждам, а этой своей мечтой-надеждой он стремился заразить близких ему людей.

Павлов не только отвлек сейчас Абая от его собственных переживаний, но своим ярким душевным светом озарил его собственную задавленную душу, придал ей сил, поэтому и сообщение доктора Станова, когда он вернулся из комнаты Магаша, Абай теперь слушал вполне спокойно.

Как говорил доктор, болезнь Магаша весьма тяжела и запущена. Никто не может обещать, что излечит ее. Пока и наука не смогла найти лекарственных средств, способных одержать верх над этой болезнью. Единственное, что можно сделать – это перевести ее в хроническую форму, с каковой люди живут довольно долго. Теперь врач видит лишь только эту цель, а достичь ее можно отменной заботой и вниманием к больному. Что и предписывал ему Станов, о чем и сообщил отцу.

Посоветовавшись с Абаем и Павловым, он повел их к Магашу и произнес свое окончательное решение. Теперь нужно было хорошо одеть Магаша, чтобы он не простудился в дороге, и везти его в родные края.

Хорошие условия содержания, здоровая пища, целебные свойства кумыса – на все это вполне можно положиться, по крайней мере, достаточно надеяться. Доктор Станов будет присылать лекарства из города. Абай должен регулярно писать ему о состоянии больного. Станов пообещал, что весной он обязательно сам приедет в аул Абая, чтобы проведать и врачевать

больного на месте. Абай понимал, что на такую дальнюю дорогу Станов готов пойти ради особого уважения к Магашу.

Итак, пришла пора готовиться к отъезду, несмотря на тяготы нынешней зимы. А она была настолько крепкой и настойчивой в своей морозной лютости, что теперь, перевалив за середину, достучалась уже до каждого. Сейчас и городские жители страшились уличной стужи: сначала решили не пускать в школу детей, затем и взрослые старались по возможности сидеть дома, и город в целом пребывал в растерянности и тревоге, в тишине и безлюдности на улицах..

Что же говорить о людях степи? Они уже давно ходили с обмороженными, в струпьях, почерневшими лицами. Будь то одинокие верховые, путники на санях, и особенно – медленные верблюжьи караваны, – все сетовали на неимоверные зимние мучения.

Но ехать все же необходимо… Абай собрал вместе всех родственников из аула, кто был в эти дни в городе, попросил их побыстрее завершить свои дела. Чтобы не застудить Магаша, если в степи потребуется вынужденная остановка, нужно выезжать на многих санях, всем сразу, в один день.

– В любое время может случиться буран, – сказал Абай. – Если дорогу заметет, то все сани будут по очереди прокладывать колею саням Магаша.

Те, кто слышал эти слова – аульные соседи на выезде, друзья-товарищи, – серьезно и с большой ответственностью приняли их к сведению, хотя Абай не давал распоряжений, а как бы высказывал свое пожелание. Степняки все же попросили несколько дней отсрочки. Они сами приехали в город не от хорошей жизни: озабоченные суровой зимой, должны были многое раздобыть для своих семей на базаре. Так прошли еще дни, наконец, решили: завтра ранним утром, на зорьке, многочисленные попутчики тронутся в путь с разных городских квартир.

Несмотря на тщательную подготовку, Абай был в сильном волнении. За день до отъезда к нему приехал проститься Федор Иванович Павлов.

Его большие голубые глаза так и сияли, наполняя комнату светом бодрости и деятельной душевной энергии. Казалось, что он еще не остыл от каких-то приятных встреч, разговоров, известий…

Войдя в комнату, Павлов обычно садился рядом с Абаем, но сейчас он был так возбужден, что не мог найти себе места и принялся вышагивать из угла в угол. Какитай, Дармен и Кумаш, сидевшие сейчас с Абаем, не могли не заметить более чем странного состояния гостя, который, похоже, был переполнен какими-то своими мыслями, и тотчас вышли из комнаты, чтобы тот высказал их Абаю наедине. Едва дверь захлопнулась, как Павлов подскочил к Абаю и горячо заговорил:

– Ибрагим Кунанбаевич, помните, я недавно говорил вам, что грядет война? И она началась! Причем начали ее сами японцы, решив, что войны все равно не миновать. Напали на город Порт-Артур, где расположена гавань наших военных кораблей, и захватили его. Это же потрясающий удар, прямо в морду русского царя!

Сказав так, Павлов захохотал, и потом быстро, страстно заговорил, перечисляя, как ему казалось, самые важные обстоятельства… Многих его слов Абай просто не понял, таких, как, например, «эксплуататорский класс» и «жандарм Европы», да и не до того ему было сейчас. Павлов терпеливо повторил сказанное, но уже в более простых выражениях:

– Россия давно довлеет над всей Европой, поэтому она для народов Европы и есть жандарм. Однако класс угнетателей и в Европе боится поражения России в этой войне, меж тем как трудящиеся массы той же Европы стоят за Японию. Словом, если Россия проиграет, то и вся Европа освободится от российского жандарма. Те же, кто ранее сомневался в революции, станут ее

сторонниками. А если в революцию поверят множество людей, то она на самом деле произойдет!

Радость Павлова бросила какой-то отдаленный свет на опечаленную душу Абая. Революция, о которой все время говорил Павлов, была созвучна сокровенным мыслям Абая о каком-то светлом грядущем, о том удивительном времени, когда все люди будут счастливы. Как бы ни был он сейчас подавлен насущным бытием, своими печальными думами, сам светлый облик Павлова, его воодушевление озарили мрак в душе Абая. Внимая речи своего русского друга, Абай словно слышал за своей спиной шорох расправляющихся крыльев, и чей-то властный, влекущий голос звал его: «Иди! Не возись на месте – устремляйся вдаль... Придет светлая пора жизни твоей, и там, в грядущем, осуществится мечта твоя. Иди. Окрылись мечтой, тянись к ней днем и ночью, тянись неустанно...»

В последний месяц сама жизнь казалась Абаю каким-то кошмарным сном. То ему бредилось, будто он падает со скалы. Будто земля ускользнула из-под ног, и он стремительно летит на дно темного каменного ущелья. Иногда этот бред наяву сменялся на другое: он чувствовал, что барахтается в мутных волнах бездонной, бескрайней, кровавой воды. Другой раз – словно на него, зависнув, как чудовище, опускается ветреная и мглистая ночь, своей черной пастью заглатывая его. Абай оказывался то в беспросветной глубине, то в жуткой холодной грязи, то в неком безжалостном чужом мире, где нет никакого устройства, где затерялась его вера в самого себя, – и нет возврата назад, и не сойти уже с этого пути.

Участь Магаша безмерно тревожила Абая. Его каждодневная жизнь представала перед ним такой же пугающей, неразрешимой, неизлечимой, как и болезнь сына. И он видел в Павлове крылатого вестника милосердия, светлого посланника восходящей зари будущего...

Когда Павлов ушел, Абай еще долго чувствовал легкий остаток тепла. Именно некими перелетными птицами кажутся ему

такие люди, как он. Люди, которые будут жить в грядущем, хозяйничать в той незнакомой жизни.

Свою собственную жизнь Абай представлял безмолвной степью, окутанной тяжелой мглой. Никакого светлого луча, вестника из будущего, не промелькнет в этой степи. Никакого утреннего проблеска надежды. В такие минуты ему вновь и вновь кажется, будто барахтается он все в той же бездонной, мутной воде. Но вот, в последний миг, уже не зная, с какою силою вскинуть руки, чтобы остаться на плаву, он вдруг видит впереди смутные очертания берега…

Но точно ли это берег, или просто песчаная коса, отмель посередине реки? Вот ему чудится, что впереди маячит какая-то фигура. Будто бы некто машет рукой, как бы кличет, зовет: «Плыви сюда!..» То глухая, беспросветная темень стоит вокруг, то вдруг на горизонте зарозовеют первые проблески зари. И вот, как бы откинув завесу ночи, обнажается ясное, открытое в своей красе майское небо, чистое, как молоко…

Такими были мысли, мечты Абая, когда он остался наедине с собой. Словно пелена спала с его глаз: он чувствовал, что видит далеко, гораздо дальше, чем еще вчера…

Накануне отъезда к Абаю пришли друзья, чтобы проститься с ним, пожелать счастливого пути. Сначала появились Сеил и Дамежан. Абай отдал распоряжение Баймагамбету – сварить мясо и принести кумыс. Вскоре с той стороны, с Затона, несмотря на мороз и пургу, пешком по льду реки пришли еще несколько человек, во главе с Сеитом и Абеном. Абай распорядился поставить еще мяса, принести еще больше кумыса. Теперь он понял, что друзья и близкие сговорились заранее, чтобы прийти вместе. Абай хорошо принял всех этих людей, с которыми ему приходилось не раз встречаться, делить трапезу, радость и горе.

Еще заранее Сеил обратился к жителям Затона, чтобы они пришли в этот день к Абаю, так как он пребывает в печали, опасаясь за жизнь сына, самого близкого человека.

«Говорят, что он превращается в старика, задавленного несчастьем и горькими думами, – передавал в своем послании Сеил. – Всегда, при любых невзгодах мы оказывались рядом с Абаем, нельзя оставаться безучастными и сейчас. Хотя бы покажемся ему на глаза, выразим свое сочувствие, проведаем и поприветствуем его!»

Все эти люди, как недавно их дети и внуки, поведали Абаю о своих делах. Они говорили коротко, скупо, и Абай догадался, что и об этом они условились заранее: зачем нести свои неурядицы человеку, который и сам пребывает в печали?

Абаю стало тепло и радостно на душе: он много рассказывал и шутил со своими гостями. Заговорили о войне: эта новость облетела уже всех горожан, правда, многие из них знать не знали, что на свете есть какая-то Япония. Сеил, Сеит и Абен наперебой спрашивали Абая: где расположена такая страна, больше ли она размером, нежели Россия, и в каком море потопили русские корабли?

Абай обстоятельно рассказал обо всем, что знал сам, выбирая простые, понятные слова. Люди слушали его с огромным желанием, что было видно по выражению их внимательных лиц. Наверное, Павлов и Марков уже успели высказать Сеиту и его друзьям свое мнение о войне, и Абай теперь высказывал свое.

Сеит и Абен не хотели знать пустопорожних слухов: они желали, чтобы Абай сказал им нечто самое важное, главное, как всегда он говорил обо всем, и особенно им были интересны те замечательные, неповторимые слова и образы, в которые он облекал любую мысль.

Абай был на самой вершине своей речи, когда в дом вошел Дармен, а вслед за ним – еще целая группа людей, среди которых был Шубар. Абай коротко поздоровался и, повернувшись к своим гостям, продолжал, завершая свою сегодняшнюю мысль:

– Мне трудно гадать о том, сколько пройдет времени – годы или десятки лет… Наверное, знающие люди, пророки и мыс-

лители, умеющие заглянуть в далекое будущее, могли бы назвать день и час любых свершений. Я лишь знаю одно… Когда-нибудь этот привычный, знакомый вам мир будет перевернут кверху дном, все изменится на корню, грядут великие и страшные события… Наступит иная эпоха, и будет она такова, что ни вы, ни ваши предки, дальние и ближние, даже представить себе не могли!

Слушатели испытали чувство радостного удивления. Их горестные морщины разгладились, а темные лица, измученные многодневным джутом, казалось, посветлели. Абай переводил взгляд с Сеила на Дамежан, Сеита, Абена и видел, что его слова достигли цели: все улыбались, забыв о тяжести жизни, о суровой зиме… Многие из тех, кто пришел позже и застал лишь конец речи Абая, просто радовались напору его слов, не вдаваясь в их смысл.

Баймагамбет, севший за дастархан пониже, был весьма доволен, что мучительная печаль Абая рассеялась, что опять воспрянула его страдающая душа. Он все поглядывал на Сеила, который и привел сюда всех остальных, на Дамежан, чьи уста шепотом провозглашали тихую благодарность…

Радовался и Дармен, усевшись напротив Абая. Как часто с ним случалось, он мысленно обращался к наставнику, с благоговением глядя на него, но не произнося ни слова вслух: «Славный мой ага! Есть у тебя, в числе прочих, одно благородное свойство: будто освещая все вокруг себя, рассеивать в душах людей тяжелый туман, раскрывая им глаза на окружающий светлый мир!»

И тотчас в душе самого Дармена пробудилось вдохновение, и дальнейшая его мысль, вскормленная благодарной памятью, создала новый художественный образ: «Ты – будто упорный земледелец в пустыне. Всю жизнь сеешь семена добра и света. Пусть пока и не свершилось великое чудо в этой степи: не зашумели густые леса, не выросли прекрасные сады, не заколыхались поля пшеницы. Но, мой мудрый ага, в сотнях и тысячах

душ загорелись ярким огнем твои назидания! Это и есть семена, что бросил ты в душу каждого нынешнего человека, и прорастут они на благо потомков, всех последующих поколений!»

Когда Абай кончил говорить, ни единого возгласа не раздалось в ответ – так были поражены его слушатели, так непривычны были слова, произнесенные, к тому же, в самой обычной обстановке.

Абай не мог видеть лиц последних вошедших, что сидели за его спиной. Вдруг среди этих людей раздался голос человека, который был неприятен ему. То был не кто иной, как Шубар.

Он не изменил своей привычке – говорить громко, сдабривая свои слова лукавыми насмешками. Даже сейчас, когда все сидящие в доме чувствовали себя в каком-то легком полете, вновь обрели надежду, сидели улыбаясь, задумчиво опустив глаза, вдруг резко прозвучал, рассекая тишину, язвительный голос Шубара:

– Абай-ага, столь удивительно мне слышать ваши слова о светлом будущем, когда многие вокруг говорят о конце света! Как я был бы счастлив, окажись все это правдой! Только, прошу вас, поясните подробнее. Близко ли это светлое будущее, увидит или нет его кто-нибудь из ныне здравствующих, сидящих перед вашими глазами?

Сказав так, Шубар расхохотался, словно удачно пошутил, но никто из сидящих не поддержал его смех. Абай не ответил на его слова, даже не повернулся к нему, не обратил на него внимания. Взглянув приветливо на Сеила, он заговорил с ним, поскольку этот человек Абаю был гораздо интереснее …

Гости разошлись в глубоких сумерках. Баймагамбет и Дармен напоили всех чаем на дорогу, приготовили для них сани и развезли по домам. Поздно вечером оба вернулись и вошли к Абаю, который коротал время в потемках пустой комнаты.

Дармен зажег большую яркую лампу, стоявшую на выступе печи, взял ее и перенес на стол к Абаю. Не успев сесть, расположиться поудобнее, лишь второпях опустившись на одно

колено, он посмотрел на Абая так, что тот понял: есть у него какая-то важная просьба.

Аккуратно подстриженные усы Дармена были красиво закручены. В его умных, проницательных глазах светился беспокойный огонь, будто молодой акын был во власти вдохновения. Абай видел многих казахских юношей, писавших стихи, и всегда чувствовал в людях это великое пламя, которым сейчас горел Дармен.

В такие моменты он добивался от Абая всего, чего желал. О чем бы он ни спрашивал, Абай не мог ограничиться легким ответом. И сейчас, накоротке с наставником, Дармен поведал Абаю свою просьбу, которую хранил в душе весь вечер:

– Абай-ага, сегодня вы рассказывали о чем-то новом, не слыханном ранее. Мы не решились спросить, когда о том же дерзко заговорил Шубар. Однако этим заинтересовался и Абен, я тоже сейчас горю желанием узнать. Когда же наступит время, о котором говорили вы? Пусть даже не мы, но хотя бы наши дети – увидят его или нет? Сможет ли до своей кончины стать свидетелем этой светлой, счастливой поры кто-нибудь из нас, ныне живущих?

Задав свой нетерпеливый, трепещущий вопрос, Дармен застыл, глядя на Абая с мольбой. На миг задумавшись, Абай ответил:

– Поколение наших детей точно увидит. Возможно, некоторые из взрослых людей – тоже. Пожалуй, до этой поры доживут и хорошие, и плохие люди. Конечно, и хороший, и плохой получит свое, соразмерно благородным или поганым деяниям. Я желал бы, чтобы ты до того времени дожил. Возможно, ты и впрямь доживешь!

Последние слова Абай почему-то произнес с дрожью в голосе. Дармен всмотрелся в лицо учителя и увидел, что глаза его полны слез. Эти мудрые, глубокие глаза смотрели невидящим взглядом, и Дармен испугался резкой перемены, происшедшей с Абаем.

Он плакал, но это не были слезы скорби, они казались благими слезами милосердия, слезами, что стоят лишь в блаженных пророческих глазах. И там, будто в чаше родника, вдруг увидел Дармен, в тени глубоких размышлений о настоящем, – яркие отблески дум о будущем.

Рано утром, попив чая, заваренного еще ночью, Абай, Дармен и Баймагамбет сели в сани, запряженные парой коней, и спорым ходом доехали до двухэтажного дома Сулеймена, где квартировал Магаш. Расположенный сразу за базаром, дом этот и стал местом сбора каравана: со двора, поскрипывая на свежем снегу, вереницей выехали шесть саней. Последние сани закрывала большая, толстая кошма, поверх нее лежала еще одна кошма, поменьше. Это были сани Магаша.

Заметив Абая, кучер головных саней натянул было поводья, останавливаясь, но Абай, указывая в сторону городской заставы, откуда начиналась санная дорога в родные места, скомандовал:

– Не останавливайтесь! В путь!

И потянулась вереница саней к окраине города, минуя серые жилища жатаков слободки, взяв в середину каравана тяжелые сани Магаша…

Восходящий день обещал быть морозным, как и все прочие, вот уже много недель подряд. Сильный, порывистый ветер свирепствовал по всему тракту, с жутким гулом завывая в придорожных кустах и пронизывая путников холодом до костей.

3

Эта зима, с самого начала обрушившая на землю тяжкие снега и лютые холода, превратила степь в сплошное белое яйцо, пролежавшее под хмурыми небесами до самого марта. Снежный покров к весне оставался все таким же сплошным, не тронутым, слепил глаза и, выглаженный до блеска зимними буранами, застыл твердой заледеневшей скорлупой. Под толсты-

ми сугробами была погребена прошлогодняя трава подножного корма.

В иные хорошие времена в марте месяце, к его середине, земля уже оттаивала где-нибудь на пригорках, днем степь дышала обнадеживающим теплом. А нынче не было еще никаких признаков прихода весны. Только смертная тень джута надвигалась на аулы.

Некоторые многолюдные аулы ощутили беду еще в декабре, когда небывалые снега обрушились на землю, неделями дул буранный ветер, выравнивая ровные лога и глубокие овраги сплошными сугробами. У хозяев к весне закончились запасы сена, скот начал гибнуть. Кое-где и люди начали умирать с голоду.

В загонах для скота, по углам, у глинобитных стен лежали наваленные друг на друга трупы павших овец, коров. По окраинам аулов зловещими горками громоздились околевшие верблюды – слабый молодняк и оголодавшие, вконец истощенные самки. Взрослые же матерые самцы уцелели, кормясь колючками чингиля и караганником, мощными ногами разрывая сугробы и добираясь до верхушек кустов. Днем они самостоятельно разбредались по окрестностям аулов, к ночи возвращались в теплые загоны. Степняки ценили этих животных, самых неприхотливых в еде, выносливых, стойких и совсем не сложных в уходе за ними.

Еще от далеких предков идет поговорка: «Верблюду стоит всего шесть раз наполнить себе рот, чтобы насытиться». В аулах остались в живых одни только сильные атаны – холощеные верблюды-самцы. Джут унес всех ослабевших овец и весь молодняк – жеребят, телят. Тех баранов, что остались еще в живых, хозяева подкармливали незначительными запасами соломы, сена. На подворьях оставались по одной, две лошади для обихода, остальных лошадей отогнали на дальние пастбища. Не имея о них никаких сведений, бедствующие люди сильно тревожились, но хранили в душе последнюю надежду, что

лошади целы и вернутся к ним. О них только и могли с живым чувством говорить кочевники в эти окаянные дни.

– Нет, кони легко не поддаются джуту!

– Лишь бы трава осталась на земле – лошадь копытами раскидает снег, по брюхо вроется в сугроб, а до корма доберется! На добрую лошадь вся надежда!

– Стоит ей только найти траву под сугробом, лошадь не уйдет, пока не выест корм. Пусть даже закружит снежный буран!

– Е, какая скотина может сравниться с лошадью? Она как человек, у которого в руках топор и кайло.

Нынешний джут принес и для лошадей немалый урон, намного сократив их поголовье. До людей, живущих в горных аулах, и до жителей низин доходили в эти дни тяжелые вести. Начался массовый падеж коней в отгонных табунах. На пастбищах в урочище Сырт, где было сосредоточено особенно много табунов, конюхи не уберегли лошадей в затяжные, сильные бураны, кони разбежались. И повсюду в степи стали находить их замерзшие трупы. Одни заблудились во вьюге, ослабели и пали, другие сорвались с высоких скал и разбились о валуны.

Ходили слухи, что от табунов с тысячу и более голов оставалось целыми голов по сто-двести. И те были явно обречены на гибель от голодной смерти. Если стихийное бедствие не прекратится, похоже, останутся в живых одни лишь табунщики.

Не многим лучше обстояло и с бедствующими людьми аулов. Страшную кару черного джута разделили они наравне со своей скотиной. Ползая по сугробам, разгребая снег руками, люди с обмороженными черными лицами, с потрескавшимися губами, собирали верхушки камышей и колючего чингиля, чия, чтобы протопить свои выстывшие жилища. И трудно было отличить мужчин от женщин, ибо все они потеряли свой прежний облик, выглядели одинаково страшно со своими потухшими, безразличными глазами, с изъязвленной кожей на руках, с глубокими морщинами и впадинами голодарей на скулах, – отстраненные от жизни кочевники, одичавшие от голода и холода, покорно проходящие еще через одно смертное испытание джутом.

Кочевники степей говорили: «Джут – о семи братьях», что означало: пришла эта беда, ожидай еще семь бед. От простуды многие женщины болели горячкой, после которой они за одну зиму превращались в немощных старух. Стойкий, лютый холод сопровождал старшего брата. У людей кончилось зерно, съедены были все заготовленные продукты питания – голод был другим братом джута… Кочевники, обычно ездившие в город в случае необходимости, сейчас, в силу утраты почти всех верховых лошадей, оказались запертыми, как в ледяном зиндане, на широких просторах своей родной степи – одиночество, беспомощность обреченных убивали не хуже холода и голода. Из-за ледяных ветров, лютых морозов, обвальных буранов прерывались сношения не только у степи и города, но и аула с аулом, стойбища с зимником. Разбросанные по укромным низинам, ущельям, на горных подолах, прятались в своих неприглядных темных зимниках бедствующие кочевники, словно сурки в норах. Они были забыты Богом среди снежных просторов, оторваны от внешней жизни людей. И настала такая пора, о которой сами кочевники говорят: «Кобчики летят в одну сторону, птенцы кобчиков – в другую». Что значило: каждый спасается сам по себе, надо разбредаться по сторонам.

Так и происходило: привязав маленьких детишек за спину, взяв в руки посохи, голодающие люди пошли по дорогам, надеясь, что где-то в другом месте кто-нибудь да поможет им не погибнуть в этом страшном, холодном мире.

Последний джут и мор людей от голода и холода народ назвал годом Великого бедствия, годом белого зайца, а после вспоминал о нем, как о годе страшной общей беды, которая никогда не забудется. Этот март увековечился в памяти людей как самая мрачная, многочисленная по человеческим жертвам, черная пора джута.

Все эти беды и напасти, падеж скота, коснувшийся почти всех, не миновали и хозяйства Абая и его близких людей. Отгонные табуны, отправленные им в отдаленный край Ажы, также не избегли всеобщей участи. Осенью Абай, Магаш, Ка-

китай объединили свои табуны, присоединили к ним небольшие косяки старых добрых соседей и создали совместный большой табун примерно в тысячу двести голов. Смотреть за лошадьми на отгонных пастбищах были назначены шестеро табунщиков, из них один был приставлен к приданным табуну коровам и к тому же должен был стряпать на всю бригаду конюхов. Главный табунщик Алтыбай, не без тайного расчета, назвал свой передвижной кос «станом Абая». И в середине зимы, услышав от знающих людей, что в краю Ажы была осенью хорошая трава, Алтыбай решил направить туда свой подопечный тысячный «косяк Абая». Замысел удался, ибо в краю Ажы, как только услышали, что это кони из табунов Абая, сразу разрешили их пасти на своих землях. Ибо в Кызылмолинской волости, к которой относилась земля, люди хорошо знали Абая – и охотно предоставили его лошадям свои просторные пастбища, покрытые снегом. У самих людей края Ажы своих коней было немного, и никакого урона не могли нанести им табуны Абая. Тем более, что он известил хозяев: им хорошо заплатят за разрешение на тебеневку. Табунщики передали людям Ажы несколько упитанных лошадей, а также жеребца-производителя.

Несмотря на стойкие морозы и снегопады, державшиеся весь февраль, «стан Абая» претерпел не очень много потерь, сумев продержать табуны на подножном корму. Однако за середину февраля начались и у Алтыбая падежи скота. Видимо, лучшие участки с травою были съедены. Сразу погибли исхудавшие жеребята-сосунки, в возрасте от пяти месяцев и до года, а также несколько молодых, не очень крепких кобылиц по третьему году. Все они пали, не выдержав холодов и от сильного истощения.

Вдруг ко всему этому добавилась еще одна беда. Совершенно внезапно прошли сильные ночные дожди с мокрым снегом, а наутро вновь навалились холода, – и снег превратился в ледяную корку, которою накрепко сковало всю землю на пастбищах. С этого времени джут взялся нешуточно. Сразу начались выки-

дыши у жеребых кобыл. Алтыбай решил тогда срочно покинуть край Ажы, уйти куда-нибудь еще дальше. Но приехал из аула Какитай, распорядился: «Немедленно откочевать с табунами обратно на Байгабыл, к стану Абая – Акшокы». И после этого, испытывая тягостные лишения, табун Алтыбая целый месяц добирался назад, к подножию Акшокы.

Алтыбай умело и внимательно вел борьбу за сохранение табунов, однако, как он ни старался, вид лошадей, особенно молодняка, был самым плачевным. Кочевники, исконные лошадники, определяли состояние табуна прежде всего по виду самых молодых жеребят. Если у жеребят-сосунков хвосты пушистые, при резвом беге поднимаются задорным султанчиком, приезжий казах говорил хозяину: «Е, а хвосты у твоих жеребят выглядят достаточно куцыми!» На что довольный хозяин выражал радость и учтиво благодарил гостя… У Алтыбая же теперь в табуне не только жеребята косматились длинными, обвисшими хвостами, заросли большой гривой и космами провисшей челки, но и у взрослых лошадей вид был неприглядным: хвосты, гривы спутаны в неряшливые колтуны, сплошь залеплены колючими шариками репейников. И даже у некоторых взрослых лошадей на их костлявых головах, по сторонам от брыл, словно торчала борода, – выросла дикая щетина. Резко выступившие на ногах сухожилия не красили коней. Сейчас в «стане Абая» не осталось ни одной упитанной лошади. Исхудали, неузнаваемо выглядели и племенные жеребцы – огромные их остовы выпирали жуткими ребрами.

Медленно продвигаясь к родным краям, косяк каждый день терял лошадей и становился все меньше. Отстав от табуна, обессиленные кони пытались брести куда-то, но потом останавливались на месте и вскоре валились на землю. Их трупами, с выпяченными животами, был усеян белый снег на пути табунного исхода. Падающий снег, низовая поземка постепенно засыпали их, строя над ними белые могильники.

Алтыбай каждый день садился на свежего жеребца и ехал впереди косяка, вел его за собой. По его примеру и другие та-

бунщики сменяли лошадей, вели табуны за собой. Так установилось, что впереди косяка двигалась группа из самых крепких коней. Но передвигаться быстрее все равно не удавалось. Лошади много времени теряли на то, чтобы копытами разбивать слежавшийся снег и, разгребая его, доставать из-под сугробов корм. Порой они тонули в сугробе по самое брюхо.

На весь путь, который обычный путник преодолевал за два дня, бедствующий косяк лошадей потратил целый месяц.

Но уже близок был аул Абая. Достигли, наконец, урочища Жымба, где, несмотря на глубокие сугробы, торчали кое-где из-под снега ветви тальника, темнеющие верхушки чия, таволги.

Верхняя одежда на табунщиках вся задубела после внезапного ночного дождя. Решено было разбить стан возле стойбища Аяк Жымба, поставить шалаш, разжечь огонь, подсушиться, отдохнуть. Алтыбай разрешил молодым джигитам немного поспать, а сам пошел в одиночку охранять табун.

Тихо бредущие лошади направились в сторону соседних зимовий – Кашама, Белсу. Лошади довольно далеко отдалялись от шалаша, но Алтыбай решил им не мешать, зная, что замученной животине не уйти далеко. Сам он, смертельно уставший от многодневного безостановочного движения по люто холодному пространству, измученный постоянной бессонницей, обессиленный и голодный, медленно покачивался в седле, зажав шест волочащегося курука в сгибе руки. Вскоре он начал дремать, время от времени роняя голову на грудь, и ему снился, с перерывами, один и тот же неглубокий, смутный сон. Ему снилась его кроткая, тихая жена Инкар, которую он не видел всю зиму. Она жалела его, ухаживала за ним, приговаривая: «Устал, наверное! Замерз совсем… А ты ляг и поспи… Вот, я приготовила постель. Ложись! Отдохни! Хотя бы немного поспи!» И он действительно уснул, и поспал немного, уронив голову на грудь. Постоянная жизнь в седле, безразличие к ночи и дню, порожденное трудом кочевника, приучило Алтыбая к этому.

И мечты его во время этого сна осуществились – всю зиму-весну ему хотелось безмятежно полежать в юрте, возле жены и

детишек, отдохнуть, выспаться, наконец, за целую жизнь… Сон в седле дал ему это блаженство. Алтыбаю снилось, что он спит в юрте…

Иногда он пытался понять, почему выпала ему такая именно жизнь, но так и ни к чему вразумительному не приходил…

Выезжая в ночь, он выбрал под седло смирного коня, забрался на нем в самую середину табуна и неспешно продвигался вместе с пасущимися лошадьми. Даже сонный, табунщик остойчиво сидел в седле, и бредущие рядом лошади были послушны воле спящего пастуха.

И вдруг он в испуге проснулся, неудержимо вздрагивая от озноба. Левый рукав его шерстяного халата, сшитого из домотканой грубой материи, пропускал холод, и сейчас порывистый встречный ветер сильно остудил плечо Алтыбаю. Придя в себя со сна, он заметил, что погода в ночи сильно изменилась. начинался буран. Вокруг не стало видно ни зги. В лицо с силою била мутная, угрожающая, холодная мгла, засеянная колючими льдинками.

Снежная ночная буря, крутившая снежные вихри вокруг, продувала одежду Алтыбая, холод пронизывал его до костей. Он встряхнулся, охлопывая себя по плечам, стараясь скорее прийти в себя, согреться. Взнуздал коня. Голодный серый жеребец, чувствовалось, весь продрог, сильно ослабел и провис в спине. Обычно довольно ходкий, подвижный жеребец, теперь еле плелся, не выходя даже на скорый шаг. А вскоре и вовсе остановился, равнодушно опустив голову... В слепящей снежными хлопьями мгле Алтыбай не видел лошадей, не знал, сколько их ушло вперед. И он принялся зычным голосом, за долгое время ставшим привычным для табунов, призывать их. И в ту же минуту увидел сквозь снежную круговерть устрашающую картину. На него неслась черная стена лошадей, испуганных внезапным ночным бураном. Они скакали по ветру, подхлестываемые его ледяными порывами. Алтыбай дрогнул – словно других напастей было мало! Лошади понесли по направлению ветра, подгоняемые бешеным напором снежного урагана.

Время – ночное, и рядом нет других табунщиков. Оставшиеся, более или менее здоровые лошади, могли, отброшенные назад бураном, унестись в степь и там пропасть, заблудившись в снегах. Надо было как-то противостоять надвигающейся беде. «Что еще вас ожидает, славные вы мои? – с жалостью подумал Алтыбай о своих замученных лошадях. – Какую беду накликает эта воющая нечисть ночи, этот лающий мороз!» Подняв соил, зычно покрикивая, он противостал на самой теснине смутно видимого лошадиного вала и попытался его остановить. Табунщик пока не мог определить, в каком из косяков большого табуна он сейчас оказался, в какую сторону двинулась его основная масса. Но вот, словно помогая ему, к нему вышел жеребец Байге, из табуна Абая. С ним уходило по ветру лошадей сто, и это был тот самый косяк, который с февраля шел во главе всего большого табуна, разбивая копытами заледеневший снег на тебеневке. Неизменно в середине косяка, во главе с гнедым Байге, следовали кобылы и жеребята по третьему году, которые исхудали и ослабели раньше других.

Среди всех остальных лошадей объединенного косяка гнедой жеребец был единственным, который полностью сохранил и силы, и свою массивную стать, успешнее других добывая корм из-под снега. Казалось, он видит себя главным над всеми табунами, потому и не давался Алтыбаю поймать себя. Гордо, мощно шагая впереди всего косяка, гнедой жеребец ломал корку обледеневшего снега, проваливаясь в сугробы по самое брюхо, рвался вперед. Когда он выходил на те места, где была под снегом хоть какая-нибудь прошлогодняя трава, жеребец Байге оставался на месте и широкими копытами разгребал снег, не обращая внимания даже на то, что в это время вокруг неистовствовал буран. Рядом с ним останавливались и принимались за тебеневку другие лошади, постоянно ходившие вместе с гнедым жеребцом, – его родной табун. Глядя на них, делали остановку и начинали кормиться и другие табуны.

В затяжной буран, когда смертельно утомленные лошади поворачивались и уходили по ветру, они подвергали себя многим

опасностям. Убегая в страхе, голодные и замерзшие лошади могли упасть со скалы и разбиться, провалиться в сугроб, наполнивший невидимый глубокий овраг, и не выбраться оттуда, влететь в незамерзающие прорвы на солевых трясинах, а то и просто затеряться в степи, оказавшись в полном одиночестве, обессиленные и беспомощные, среди снежных просторов.

Известно было, что волки чаще всего нападают на конские табуны во время бурана. Когда кони в страхе бегут по ветру, они спасаются каждый сам по себе – разбегаются врассыпную и, обессиленные вконец, не находят обратной дороги к своему косяку. Одиноко блуждают по степи и становятся легкой добычей волков.

Алтыбай еще не совсем представлял размеров сегодняшней беды, когда решил следовать за бегущим от ветра косяком гнедого жеребца Байги. Но голодный серый конь, на котором ехал табунщик, не мог угнаться за ним, силы серого жеребца были на исходе. Человек решил остановить лошадей, подавая призывный голос, потом сбить их в единый косяк. Но они не остановились, и табунщик вскоре почувствовал, что совсем отстал от них. Единственное, что могло удержать табуны, – если остальные конюхи и табунщики попадутся навстречу их неудержимому роковому бегу. Но, оставленные отдыхать в шалаше, они не подавали никаких признаков о себе.

Алтыбай же кричал беспрестанно, желая привлечь их внимание, – и еще с тем соображением, чтобы лошадям было куда направить свой бег, если их станут преследовать волки. Он кричал все громче, напрягая голос: «уаха-хау!», «ой-хайт!». Сливаясь с шумом ветра, его гортанные выкрики улетали вдаль, без ответного эха.

По предположению Алтыбая, бегущие табуны должны как раз проследовать мимо стана табунщиков. Когда кони, миновав стан, окажутся с подветренной стороны от него, – все будет кончено! Уже ничем не остановить будет лошадей, а табунщики ничего не услышат, никакие звуки не дойдут сквозь грохот бури до них, тем более – слабый голос одинокого человека.

Но, думая об этом, Алтыбай не переставал кричать, – до хрипоты, до срыва голоса. Может быть, пока косяк еще недалеко, кто-нибудь выйдет из шалаша и услышит его крики. Все больше нарастал в его душе беспредельный страх перед той адской силой, которая гнала впереди себя ночной буран, табуны лошадей, его самого. Словно почувствовав страх табунщика, гнедой жеребец Байге, всегда разумно прислушивавшийся к голосам пастухов, стал и на этот раз соотноситься с голосом человека. Когда слабенький звук крика обрывался, заглушенный воем бури, Байге высоко поднимал голову, стриг ушами и переходил на медленный шаг.

На своем ослабевшем сером жеребце Алтыбай не поспевал за уходившим по ветру табуном, однако, еле плетясь по его следу, табунщик обгонял лошадей, совершенно потерявших силы и отставших от табунов. Старые кобылы, иссохшие до остова; тощие, плоские молодые жеребцы с удлиненными ногами, нежеребые кобылы по третьему году – кожа да кости, – все отставшие брели в мутной полумгле метелицы, еле передвигая ноги. Некоторые останавливались и, пошатнувшись, валились на землю, с копыт долой. Их ждала погибель на этом месте, и Алтынбай понимал, что это для них намного лучше, чем мучительное карабкание вперед. Куда, зачем? Упавшие на землю кони замирали на снегу, коченея и выставляя торчащие кверху ноги, словно деревянные лошадки.

Уже прошло немало времени, а помощи из стана табунщиков не было. Идущие по ветру кони, не сбавляя хода, устремлялись куда-то. Неведомо, к какой беде, на какую погибель шли они, несчастные... Еще оставались у них силы, и они двигались безостановочно. А те кони, у которых силы кончались, отставали от всеобщего исхода, останавливались и, пошатнувшись, тут же обрушивались на землю. У Алтыбая была такая же опасность – отстать от косяка и оказаться среди тех, кто уже пал на снег, в объятия холодной смерти. Ее леденящее дыхание табунщик уже ощущал на себе. Его крик звучал все слабее. Серый жеребец под ним еле передвигал ноги. Мутная пелена снежной

метели обволокла все пространство вокруг. Не видно было всего в нескольких шагах впереди. Но, переживший за свою жизнь немало буранов и кромешных метелей, Алтынбай мог увидеть в ее зловещей круговерти то, что для других было недоступно.

Так, порой, взвихренная метельная пороша, не позволявшая ничего разглядеть на расстоянии взмаха соилом, вдруг словно разглаживалась, и образовывалось окно просвета, в которое можно было увидеть что-нибудь очень отдаленное. Очертания запорошенных снегом лошадей, продолжающих свое отчаянное движение вперед, их поднятые головы… И опять Алтынбай нашел силы на то, чтобы закричать… «Почему гнедой скакун не остановится? Ему-то зачем бежать по ветру? Что с ним сегодня происходит? Травы для тебеневки не ищет. А трава должна быть здесь. Или летом на этом месте был пожар и вся трава выгорела?» – приходят в голову табунщика отчаянные мысли.

Неужели какой-то голодный дракон снежной смерти выставился здесь, раскрыл свою пасть и засасывает все живое в округе? Земля и небеса постепенно переполняются гулом, ревом и воем, вокруг царит неистовство бурана – или это голос дракона снежной смерти? Он засасывает жадно – и могучий гнедой Байге сам безудержно устремляется навстречу своей смерти.

Алтыбай заплакал, жалея эту малую горстку лошадей, оставшуюся от тысячного косяка, – которой также грозит погибель. Мимо него, с двух сторон, пронеслись словно два вытянутых серых хвоста туманов. Волки стремительно, как потоки селя, обтекали его. Они могли бы сходу опрокинуть всадника, но у волков была другая цель. Алтынбай начал снова кричать, разрывая себе глотку, мгла перед ним на мгновение снова расчистилась. И он увидел нагрянувших врагов. Это была волчья стая, зверей в двадцать. На его глазах волки набросились на лошадей, шедших впереди табуна. Волков манила живая, сильная кровь живых лошадей. Алтынбай изо всех сил старался понукать своего серого жеребца, но конь не шел, еле плелся.

Остановившись, человек смотрел на то, что происходило перед ним в буранной ночи. Обычно при нападении волков

матерые кони издавали оглушительное ржание с визгом и, выгнув дугой шею, начинали носиться вокруг табуна, сбив в его середину жеребят, стригунков, молодых кобылиц. Жеребцы выстраивались в круговую оборону и, ощерив огромные зубы, рвали землю копытами, с визгом поднимались на дыбы, развевая гривами, совершали бешеные прыжки. Они могли наброситься на волков и грызться с ними, истекая кровью, и не бежали от зверья благородные кони! Гнедой жеребец Байге в былые годы, когда был в теле и не мучился голодом в джут, дал повод табунщикам рассказывать не одну легенду о своих подвигах. Он дрался с волками, словно свирепый медведь.

Теперь, изнуренные джутом, погибающие кони не смогли дать отпор волкам, объединившись, как в былые времена. Вместо могучих, трубных призывов прозвучало слабое, визгливое ржание нескольких матерых кобылиц да утробный рык вожака, гнедого жеребца Байге. Раньше табунщики различали голос Байге за шестью холмами. Сегодня у него не получилось могучего ржания. И крупная, с плоским костлявым телом, игреневая кобыла, самая злая и драчливая в табуне, не смогла должным образом призвать других лошадей к отпору волкам.

Три стаи хищников из разных пометов вышли сегодня в набег, во главе был старый, огромный волк с отвисшей толстой складкой шкуры на шее. Стремительные, злые самки и многочисленный их взрослый приплод устремились в резню, напав на обессиленных голодом лошадей. Звери подогнали остаток табуна к большому оврагу в Бас Жымбе, где была уготована коням бесславная смерть.

Длинный и глубокий, как ущелье, овраг преградил коням путь. Когда гнедой Байге, пытаясь остановить табун, свернул в сторону и побежал перед ним, он вдруг провалился по самую шею в глубокий сугроб. Все шло к его гибели – снег завалил овраг до самого верха, и ничто не показывало, что там – снежная трясина.

Впереди волчьей стаи был старый зверь с отвислой складкой на шее, громадный вожак с разбегу вспрыгнул на круп гне-

дого Байге, встал передними ногами на холку – и сомкнул свои страшные клыки на шее коня, когда жеребец обернул голову, пытаясь достать волка оскаленными зубами.

Перепуганные нападением волков, кони, увидев, как их вожак прыгнул с края оврага в снег, тоже стали бросаться с яра вниз – и увязли в сугробе, на погибель себе. Куда ушли остальные? Сколько уцелело? Обо все этом Алтыбай уже не думал. Как безумный, соскочив с серого, он стоял на краю заснеженного яра и грозил дубиной, стараясь не подпустить волков к увязшим в снегу беспомощным лошадям. Тяжелые слезы застилали ему глаза. Он не помнил, не думал даже, что погибающие лошади – чужие, не его животина.

Все лето и зиму эти кони были перед его глазами, привыкли к его голосу, и, поедая траву на выпасах, опустив голову к земле, они чутко прислушивались к его отдаленным крикам. Сейчас лошади, беспомощные, увязнув в глубоком снегу, обращались к табунщику с жалобным криком, словно к близкому другу, умоляя его спасти их… Алтыбай не мог больше оставаться в бездействии. Подбежал к краю оврага, туда, где серый вожак грыз Байге, вцепившись ему в шею. Расставил для остойчивости ноги пошире, взмахнул дубиной и нанес страшный, точный удар в волчье темя. Серый вмиг передернулся всем телом, обмяк и отпал от коня. Зверь лег рядом с Байге, который умирал, хрипя, пытаясь вскинуть голову, разбрызгивая кровь по снегу.

Но вокруг множество других зверей, набросившись на увязших в глубоком сугробе лошадей, вспарывали их, грызли, рвали, – пьянея от крови и впадая в неистовство от беспомощности жертв.

Алтыбай не мог прыгнуть в сугроб, чтобы защитить других лошадей. Он ходил по краю оврага, размахивая соилом, но уже ни до кого из зверья дотянуться было невозможно. Серый вожак оказался пока единственным, который был в пределах доступности для удара дубиной. Сойти в снежный ров – значило самому оказаться беспомощным перед волками, и они понимали это. Не обращая внимания на его крики и угрожаю-

щие размахивания соилом, звери молча совершали свою кровавую работу.

Пробежавшись по верху яра, ниспадавшего в овраг, Алтыбай смог добраться еще до одного зверя, сидевшего на живой еще лошади и вырывавшего кусок плоти из ее разодранного брюха. Табунщик ударом соила уложил на снег большого белого волка.

Тут он услышал знакомое ржание, – но полное муки. Оглянулся и увидел, что на том месте, где он оставил серого, происходит его казнь. Небольшая стая волков, завалив жеребца, насела на него со всех сторон, – кто впился ему в шею и грыз горло, кто рвал зубами подбрюшье. Когда Алтыбай подбежал, едва слышно сипя осевшим голосом, размахивая над головой дубиной, волки вдруг разом отпрянули от разодранных останков серого жеребца. Их было четверо. Даже не оглянувшись на человека, звери перебежали к тому месту, где находился убитый Байге. Насытившись убийством множества беспомощных лошадей, голодные волки приступили к насыщению утробы, пиршеству, не обращая никакого внимания на присутствие человека. Повсюду вдоль оврага шло это жуткое пиршество.

Вскоре волки в единый миг, словно сговорившись, стали уходить, побежали по сугробам, взметывая за собой белые вихри снега. Алтыбай остался стоять в одиночестве. Звери исчезли с его глаз, и он стал осматриваться вокруг, желая понять величину утраты. Но понимать тут было нечего, – утеряно было все.

Накануне вечером, когда поднялась встречная буря, около сотни самых крепких лошадей сбились в табун вокруг Байге и пошли за ним, уходя по ветру. Теперь все оставшиеся еще в живых лошади этого табуна были в беспомощном состоянии, увязнув в снегу, наполнившем доверху длиннейший ров глубокого оврага, преодолеть который кони не смогли. Другие были убиты волчьей стаей, растерзаны и раскиданы вдоль рокового рва в окровавленном снегу.

Что стало с остальными лошадьми, которые разбрелись, разбежались по степи во время начавшего бурана, Алтыбай

не знал. Наступила глубокая ночь, но до рассвета предстояло пережидать нескончаемое, страшное, мучительное время. Оставшемуся без коня Алтыбаю предстояло выбираться к людям пешим. А мороз только крепчал, ветер усиливался. Весь скот погиб – тысячное поголовье лошадей, чьи-то быстроногие скакуны, дойные кобылицы, могучие, щедрые, плодовитые племенные жеребцы, входившие в силу молодые скакуны – четырехлетки, пятилетки, которые радовали, обнадеживали своих хозяев-детей, с любовью вешавших своим скакунам на шею обереги из перьев филина... Все лошади потеряны: остались в сугробах глубокого оврага, растерзанные волками, замерзшие в снежной трясине, заблудились в безлюдной степи, поглощенные снежным бураном. Огромного табуна больше не было – рассеялся по обжигающему буранному ветру, утонул в снежных трясинах, околел от голода, исчез в холодном пламени джута, что страшнее степного пожара. Дракон снежной смерти пожрал их всех.

Неделю неистовствовал лютый буран. На седьмой день – так же внезапно, как и начался, ветер утих. Пришло ясное, солнечное утро, но по-прежнему морозное. Табунщики, на которых надеялся и которых до последнего часа выкликал Алтыбай, вышли на поиск табуна лошадей и нашли только их страшные останки. Дойдя до сая Жымба, увидели они обгрызенные конские туши в сугробах вдоль длинного оврага. Из снега торчали задранные окоченевшие головы, гривы и хвосты мертвых лошадей. Нигде не было видно Алтыбая. На краю оврага Жымба нашли только клочья от его старого чапана из домотканой толстой шерсти. Недалеко, в другом месте, нашлась оторванная подошва от сапога-саптама, рядом и весь сапог с разорванным голенищем, с оторванным носком. Еще дальше обнаружили в снегу торчавший из снега мерлушковый треух Алтыбая. Это было все, что осталось от табунщика. Из тридцати пяти лет, которые прожил он на свете, ровно двенадцать он ходил в дальние зимние отгоны с байскими лошадьми. Ел и спал на снегу, подкладывая под

голову кусок льда, не знал покоя ни днем, ни ночью. О лошадях заботился больше, чем их хозяин. Славный труженик степи, табунщик Алтыбай стал одной из самых скорбных жертв этой зимы. Он погиб, пытаясь спасти байский скот.

Время спустя, когда настало лето, люди пришли к оврагу Жымба и увидели жертв страшного зимнего джута. Прыгнувшие с высокого яра, вслед за вожаком, гнедым жеребцом Байге, лошади все до одной погибли. Часть – зарезанная волками, большинство же – увязнув в снежной трясине и постепенно околев на холоде. Весной, когда настало тепло и сугроб начал подтаивать, весь табун мертвых коней стал медленно оседать, опускаться ко дну оврага вместе со снегом. И крутосклонный длинный овраг, который внизу был намного уже, чем вверху, оказался к тому времени, когда весь снег истаял, набит тесно притертыми друг к другу телами мертвых лошадей. Такими их и увидели потрясенные кочевники – целый табун стоящих на дне оврага мертвых скакунов. Их оказалось ровно тридцать. Истинно, это были жертвы зимнего дракона смерти.

Лишения и беды страшной зимы не миновали и Байтуяка, двоюродного младшего брата Алтыбая. После его гибели именно Байтуяк должен был остаться кормильцем и защитником семьи старшего брата. В Акшокы на краю большого овечьего загона были устроены три-четыре тесные, черные землянки. В какой-то из них ютилась семья Алтыбая – старая мать, жена, трое детей. День и ночь стоял в ней плач по утраченному хозяину и отцу. В соседней землянке лежал больной Байтуяк, двадцатилетний, недавно женатый джигит. Он заболел в ту же окаянную зиму джута, когда погиб его старший брат, и его также довел до беды байский скот. С начала зимы пас овец у Дильды, в январе заболел, оставшись в буранной степи один с отарой овец.

Еще раньше, как-то раз вернувшись со степи сильно озябшим, Байтуяк пришел к Дильде пожаловаться, что у него для зимы одежонка худая, сапоги дырявые – в дыры снег набивает-

ся. Однако в тот день Дильда, вся изведенная тревогой о Магаше, который был на излечении в городе, с раздражением отмахнулась от пастуха, сварливо выговорив ему: «Осенью отдала твоей матери овечьи шкуры, сами виноваты, что не сшили себе ничего. И не лезьте со своими заботами, мне и своих тревог о Магаше хватает! Вон отсюда, с глаз моих долой!»

К тому времени о Магаше, который уже давно лечился в городе, пришло известие, что он возвращается домой. Близкие и родственники не могли радоваться его возвращению, находясь в мучительном состоянии ожидания. Ибо стало известно, что Магаш, похоже, «болен той же болезнью, что и Абиш». Дильда не могла прийти в себя от горя, причитала день и ночь, обливаясь слезами. Ей ни до чего остального не стало дела. И обычно-то не очень прилежная в хозяйственных делах, теперь она вовсе не прислушивалась к разговорам людей, которые еще с начала зимы толковали, что «будет джут, зима лютеет», «пасти скот не легче, чем отбиваться от врага», «мужчинам, джигитам сейчас крепко достается».

Дильда была черства, себялюбива, сохранив до старости привычки избалованной дочери богатого бая. Она, как говорят, свои беды делала достоянием других и вовсе не относилась к тем хозяйкам аулов, которые заботятся о своих слугах, пастухах и бедных «соседях». Не знала она, кто чем дышит, чем живет, что ест-пьет, есть ли у человека конь… Кто ходит голодным, на кого свалилась беда, болезнь – этим она не интересовалась. И когда Байтуяк посетовал перед ней: «Тулуп старый, чекмень рваный, мерзну в степи, особенно в морозы и вьюгу», – она и внимания не обратила на его слова. Он говорил ей: «Байбише, я мерзну так, что терпежу нету! Слезаю с коня и начинаю бегать, чтобы согреться! А в дырявые сапоги набивается снег, тает, и ноги мои пухнут от сырости!» – а она прогнала его прочь.

Так ничего хорошего и не добился от Дильды молодой Байтуяк, каждый раз уходил от нее со слезами обиды на глазах. Приходилось ему, как и прежде, мерзнуть в бураны и лютые морозы.

В благодатных долинах меж холмами предгорий Акшокы не бывает таких свирепых буранов, что разметывают по степи овечьи отары. Зато устойчиво и цепко держались здесь ветры, называемые «акжорга». Это ежедневные, налетающие и стихающие – и вновь возникающие небольшие резкие метели, холодные мелкие вьюги, поднимающие невысокую поземку, бросающую колючий снег человеку прямо в лицо или сыплющую его за ворот. В год джута ветер «акжорга» так же, как и всегда, не перерастал в буран, не переходил в несусветную вьюгу, но дул с отвратительным постоянством каждый божий день. И эти холодные порывы акжорга наносили в овраги и степные низины толстые снежные завалы.

Однажды в феврале, пешком пригнав к вечеру отару в аул, отощавший Байтуяк еле добрел до своей землянки. Едва перебравшись через порог, он тут же рухнул на пол у двери. Его сотрясало от сильной дрожи, из глаз лились слезы. Старенькая мать его сморщенными ладонями стала отирать слезы с его впалых шершавых щек, ласковыми словами стараясь утешить сына. Еле шевеля распухшими губами, он только и сказал:

– Кончено! Добили они меня. Я тоже умираю, апа… А они – пусть настигнет их божья кара! Проклинаю их за то, что они морили меня голодом и продержали на холоде без теплой одежды всю зиму!

Он лег, отвернувшись лицом к стене, и свернулся калачиком.

А в соседней землянке в это время стоял плач по гибели Алтыбая. Измученный, больной Байтуяк не нашел в себе силы пойти утешить родню.

С того дня он не вставал с постели. Его бил постоянный озноб. Через месяц он начал задыхаться в мучительном кашле. У него открылась быстротечная чахотка. Воспалилось горло, он не мог глотать пищу. Молодое поджарое тело его совсем высохло, еще живой, он выглядел как труп. Своим последним отчаянием в этой жизни он делился со своей матерью и кроткой, несчастной женой Тулымды.

Он ушел из жизни в начале апреля, лежа в темном углу сырой землянки. Зима еще никак не уходила, в апреле выпал обильный снег. А у пастухов Акшокы кончились уже дрова. Юный джигит Байтуяк умер, так и не почувствовав на себе тепла жизни.

К этому времени и болезнь Магаша, усилившись, стала брать верх над ним. Черная, страшная весть расползлась от дома и дошла до всех родственников: «Совсем ослабел мырза. Душа едва держится в теле. Болезнь одолевает».

После десятого числа апреля зима, наконец, стала отступать. Снег начал быстро сходить с земли. Уходила страшная зима Великого бедствия, неслыханно долгого, жестокого джута, неистовствовавшего по всей степи. Продлись еще немного, и этот джут мог уничтожить весь кочевой народ степи, обрекая его на всеобщий голод и мор... С пятнадцатого по двадцатое апреля прошло бурное таяние снега, и земля в Акшокы и на Корыке полностью очистилась от него. Дороги установились, с гор и отдаленных аулов стали прибывать родичи, чтобы успеть попрощаться с умирающим Магашем.

Прибывшие люди не помещались в домах зимника. Озабоченные этим, Абай, его родные и друзья быстро привезли юрты и поставили их на окраине зимовья Магаша. Сам Абай тоже перекочевал с очагом Айгерим. Поставили рядом юрты и старшие братья Магаша, Акылбай и Какитай. По просьбе Абая прибыли и поставили свой дом молодоженов, отау, Дармен и Макен. Но и они в своей юрте для молодых принимали прибывающих гостей.

Эти гости прибывали не для праздников и увеселений. Они собирались накануне трагического события. Смерть молодого мырзы ожидалась со дня на день. Гостевые юрты, свадебный отау, белые юрты богатых родственников – все эти очаги уже назавтра могут обрести траурное обличье. Но жилища эти были поставлены, в нарушение традиции, раньше времени. Ведь человек еще не умер.

Однако веские причины для этого были. Когда сошли снега, установились дороги – многие аулы могли вздохнуть с об-

легчением и двинуться хоть куда-нибудь с проклятых мест, где настигала их костлявая рука голодной и холодной смерти. Люди, в домах которых не сохранилось никаких запасов пищи, не осталось ни одной головы скотины, пешком направились по дорогам, заходя в аулы, в которых дело обстояло не так плачевно, как у них. Люди-изгои шли со своим детьми, стариками, приближались к порогам зажиточных и богатых домов с одной целью: получить любую работу, за один лишь прокорм, хотя бы тем самым спасти свои семьи от голодной смерти.

Потерявшие в эту зиму мужей вдовы приводили своих детей, изголодавших, высохших до костей, в дома близких родственников, которые могли еще хоть чем-то поделиться с ними. Словно птицы, уносившие в клювах своих птенцов от погибели, эти матери старались спасти своих детей. Еле передвигавшие ноги старухи и старики просили подаяние у порогов домов, где еще шел дым из тундуков.

Бросив свои опустевшие загоны для скота, оставив невзрачные покосившиеся подворья, полуразрушенные дома, вконец обездоленный люд жуткими вереницами нищих бродяг брел по дорогам, одни навстречу другим – вдоль Чингиза, мимо склонов Кыдыра, по направлению Караул-Балпан, Чи, Корыкты.

Те кочевники, у кого остались еще какие-то силы для дальнейшей жизни, стали приходить в себя и, услышав, что «в городе нет голода», пешком потянулись туда. Истощенные, полумертвые люди, бредущие по дорогам, представляли собою жуткую картину, казались образом самой степи, которая была безжалостна к кочевнику, обрекая его на несчастия, лишения, безнадежность и погибель.

Ползли по всему краю темные, страшные слухи о покинутых аулах, где остались брошенные дети-сироты. Их горестный плач звучал несколько суток, днями и ночами, и у тех, кто слышал эти скорбные звуки обреченных на смерть детей, – страшный плач этот уже никогда не стихал в ушах.

А степь с каждым днем наполнялась все большим числом опухших от голода женщин, старух, безумных от голода стари-

ков – все они по одиночке выбирались из своих смертных углов на большие дороги.

Но даже угроза голодной смерти не могла заставить кочевников есть палую скотину. Раздутые трупы животных, погибших в джут, валялись всюду в оврагах, придорожных канавах, вдоль заборов в аулах, возле мазаров, у переполненных ям скотомогильников. Порой возле богатых когда-то аулов можно было увидеть целые горы наваленных друг на друга палых овец. Эти жуткие курганы уже разлагались на солнце и, слипшись мокрой шерстью, мертвые животные истекали смертной сочащейся гнилью. Валялись дохлые коровы, со страшно раздутым брюхом, судорожно вытянув прямые, как дубины, закоченевшие ноги, бессмысленно выпучив белесые, тускло поблескивающие глаза. Запах тлена, гниющей плоти отравил воздух степи.

Над истерзанными зимовьями с оглашенным карканьем летали тучи черных ворон, кружились в огромном количестве стервятники. Эти летающие падальщики набрасывались копошащимися кучами на трупы животных и устраивали себе чудовищный пир. Все в избытке получали свою долю, – черные вороны, желто-белые пустельги, огромные сарычи – и жирели от обилия пищи, разбросанной вокруг аулов. И только голодные толпы людей ничего не получали, проходя скорбным шествием через них. Зажиточные кочевники, сохранившие немало скота, делиться с голодающими не хотели, чтобы самим не умереть с голоду, и проявить милосердие не торопились.

Были такие баи, которые кричали на попрошаек, стариков и старух, истощенных женщин и плачущих, высохших детишек, показывая им на горы овечьих трупов у скотомогильников, – зачем просите, мол, разве не видите, что сами без ничего остались. Не отставали от своих мужей и суровые, сварливые байбише, часто срывая на несчастных и беспомощных попрошайках всю досаду, зло и вымещая свою беду.

Наступил май, и жизнь в степи вступила в совсем иные берега. В некогда богатейших аулах, имевших тысячные табуны лошадей, где шумела здоровая, бодрая жизнь, нынче воцарилось

уныние, звучали жалобные речи. «Наступили последние дни, пришел страшный, жестокий, роковой год» – такие слова стали звучать в обиходе. «В таком-то ауле жители весною вышли встречать своих лошадей с отгонных пастбищ – и нашли вместо трехсот голов всего семнадцать тощих кобыл да трех жеребцов».

В мае повсюду говорили только о неприятном, бедственном: о людских смертях, о падеже скота, о потере главного достояния кочевника – лошадей. «Такой-то аул в Кыдыре вернул с зимнего отгона лишь двадцать три лошади из табуна в четыреста голов». «На Чингизе три аула вернули из тысячного табуна всего двадцать семь коней». «Из всех лошадей, отогнанных с Чи во владения рода Уак, вернулось только пятьдесят голов».

Обычно пять-шесть табунщиков, ходивших за большим табуном, не были работниками одного богатого бая – походные станы нередко создавались объединением небольших косяков разных хозяев. Вот эти-то табунщики отгонного выпаса претерпели во время джута потерю всего своего скота. Отогнавшие коней на ту сторону Чингизского хребта, в низинную часть земель рода Тобыкты, в сторону родов Уак, Керей – к весне вернулись пешими. Некоторые лишь принесли на себе седла, конскую упряжь, другие вынуждены были все это продать, впридачу еще и зимнюю пастушескую одежду из домотканой шерсти, – чтобы вернуться домой живыми.

Также немало было обмороженных, тяжело заболевших, покалеченных людей из байских пастухов, они пострадали, оберегая, как зеницу ока, байский скот. Много молодых, отважных джигитов, умелых, крепких табунщиков, свалились в болезни, как Байтуяк, и так и не поднялись с постелей.

И в эти трагические для всего народа дни должна была произойти еще одна кончина, которую ожидали уже давно, с которою уже заранее примирились.

В юрте, где только что приступили к утреннему чаю, рядом с Абаем, кроме Айгерим, находились двое маленьких детишек Магаша. Также сидела вместе со всеми десятилетняя Рахиля,

осиротевшая дочь Абиша. Были тут родственники и друзья Магаша, которые совершали бдение возле постели умирающего. Сам Абай безысходно присутствовал здесь. У него, как и у всех, уже никаких надежд на лучшее не оставалось. Дом наполнился тревожным ожиданием: «Сегодня? Завтра?»

Бесконечная скорбь, яд отчаяния, невыносимая боль переполняли душу Абая, отнимая у него все силы жизни. Даже садясь за чай, он не мог справиться с этой болью, разрывающей ему грудь, и горький, обжигающий ком подкатывал к горлу…

Дней десять назад, собрав остатки всех своих сил, Магаш в последний раз поговорил с отцом. Было понятно, что сын уже не собою занят, но бесконечно жалеет своего несчастного отца. Абай был растерян, подавлен, жалок, сильно похудел и постарел… Оказавшись наедине с отцом, Магаш взял его большую руку в свои тонкие, с сухой шелестящей кожей, прохладные ладони. Нежно погладил эту родную отцовскую руку. И тихим шепотом, слабея от подступивших слез, кротко произнес:

– Помните, ага… я вернулся из Алматы, похоронив Абиша…– сказав это, с утомленным видом закрыл глаза, помолчал. Затем продолжил: – Передавал вам соболезнования от акына Жамбыла из Старшего жуза…

– Помню, мой Магаш! Это неграмотный человек, но он из тех казахов, чья душа щедра, и кто одарен на слово… Айналайын, но почему ты вспомнил его?

– Жамбыл говорил про вас: «Он всегда утешал плачущих, страдающих, как старший брат, как родной отец. А люди из народа переживают его горе вместе с ним. Они всегда возле него. Он может смириться с потерей достойного, близкого человека и жить дальше. Но невозможно ему жить, оторвавшись от народа… Пусть живет он думами и заботами о простых людях!» – Эти слова дались Магашу нелегко, он прерывался, задыхаясь и кашляя.

Учтивый сын Магаш, прощаясь с отцом, свои мысли и пожелания передал отцу через слова Жамбыла. И о своей смерти он высказался словами Жамбыла. Понимая глубоко сына, Абай

лишь молча кивнул головой. Умирая, Магаш передавал старого отца в руки любящего его и любимого им народа. Нагнув свою тяжелую, большую голову, Абай поцеловал сына в его воспаленные, влажные от слез глаза. Надолго замер в поцелуе. Затем выпрямился и тихо молвил: «Шырагым, я буду хранить в душе все, сказанное тобой!»

С того дня Магаш ушел в сумеречное полубессознательное состояние. Настали его последние часы...

Вдруг резко откинулась резная дверь в юрте, на пороге показалась служанка Айгерим, Злиха. Остановившись в дверях, она молчала, не в силах справиться со своим волнением. Глаза ее были полны слез. Наконец произнесла срывающимся голосом:

– Абай-ага!.. Магашу плохо… Вас просит!

Понимая, что происходит нечто ужасное, закричали, заплакали дети. И Абай, словно ребенок, в испуге быстро вскочил с места и стал накидывать на себя чапан, который все соскальзывал с его вздрагивающих плеч. Вмиг потеряв все силы, он никак не мог ослабевшими руками натянуть на ноги кожаные кебисы. Казалось, что он вот-вот упадет на землю.

Подбежала плачущая Айгерим, удержала его, помогла надеть кебисы, натянула на плечи мужа чапан. Вид Абая, вмиг постаревшего, с серым бескровным лицом, был страшен и жалок. Расширившиеся от ужаса глаза стали неподвижны, огромны. Они обморочно закатывались вверх. Айгерим никогда не видела у мужа такого лица. Она испугалась, зашептала: «О, Кудай! Сбереги… сохрани! Как бы не припадок…» Но Абай пошел к выходу из дома. Айгерим последовала за ним, сама вся белая, не сознавая себя.

Когда Абай вошел в комнату, где лежал Магаш, то мужчины и женщины, которые сидели полукругом около умирающего, тотчас расступились, давая Абаю подойти. Тяжело дыша, Абай приблизился и грузно опустился на пол, возле изголовья смертного одра. Недавно столь испугавшие Айгерим расширенные глаза Абая были неподвижны, взгляд их был безумен. И вдруг

из этих широко открытых глаз полились частые, дробные, как зерна пшеницы, горячие слезы.

Почувствовав, что пришел отец, Магаш открыл глаза и взглянул на него, взглядом этим и слабым движением век подавая еле уловимый знак. Несчастный отец понял его и близко склонился к нему. Слегка пошевелив пальцами правой руки, лежавшей на груди, он, едва двигая губами, внятно прошептал свои последние слова:

– Отец… Вот она какая… жизнь! – только и успел он сказать.

Тут же Магаш испустил дух.

Находившиеся в доме, в передних комнатах, и все, столпившиеся во дворе, перед входной дверью, люди зимовья издали разом вопли скорби и горестные стенания: «О, баурым!», «Мой Магаш!», «Магатай, мой родненький!», «опора моя», «брат мой», «агеке»... Казалось, будто скорбно зазвучала сама земля его родины: «Мой Магаш…» – голосами бородатых матерых мужчин, сморщенных старух, плачущих детей оплакивала она свою утрату.

Но в то время, когда люди вокруг исходили в громком плаче, сам Абай впал в странное оцепенение. Он сидел, глядя в пространство перед собой, не плакал, не рыдал, не голосил. Из его уст не прозвучало ни единого слова. Лишь из широко раскрытых, не моргающих глаз беспрестанно лились крупные слезы.

Теперь он был во всем послушен: позволил себя вести, взятый родными под руки, садился там, куда его приводили, – но по-прежнему не произносил ни слова.

Народу, съехавшегося на похороны Магаша, было очень много. Плачи, скорбные стенания и причитания не стихали семь дней.

Прибывшие в эти дни родные, сородичи, дальние родственники, чтобы скорбеть по утрате, разделились на два родственных потока: собственно Кунанбаевых и – представителей всего Иргизбая. Всех, приходивших в траурных одеяниях, с белыми посохами в руках, с молитвами, со словами соболезнования

на устах, – людей из других родов встречали стар и млад от Иргизбая.

Первые три дня в ряду родственников, встречающих траурных гостей, стоял и Абай. Его с двух сторон поддерживали Какитай и Дармен. Явить положенные скорбь и плачи пожелали и Такежан с Азимбаем, пришли с подобающими случаю словами утешения: «пусть земля будет пухом», «на все воля Аллаха!» Опершись обеими руками на поставленные перед собой толстые, с очищенною корою палки, низко опустив головы, они замерли рядом с Абаем. Поближе к нему встал и Шубар. В траурной комнате дома вместе с безутешной Дильдой находились старшие женщины рода Кунанбаев: байбише Такежана – Каражан, вдова Оспана Зейнеп, здесь же сидела жена Исхака, Манике, толстуха с холодным, неприступным лицом. Приехала и Нурганым, вдова хаджи Кунанбая, тоже очень полная, с огрубевшими крупными чертами лица.

Согласно древнему степному обычаю, прибывший на похороны родственник еще издали кричал: «Ойбай! Баурым!» – соскакивал с коня, бежал к траурному дому и падал ниц перед ним...

К нему навстречу из широкого ряда встречающих на траурe выбегали быстрые молодые джигиты, подхватывали прибывшего под руки и вели, в первую очередь, к самым близким родственникам покойного. Выразив им соболезнование, обнявшись и поцеловавшись, прибывшего человека отводили дальше, к большой юрте, где в траурных одеждах сидели и голосили женщины.

В этом скорбном доме находятся прислужницы, которые выбегают навстречу пришедшим и подводят их под руки к старшим женщинам, с которыми траурный гость, обнявшись, должен плакать вместе. На похоронах Магаша особенно много было дальних родственников, просто близких людей, желавших отдать ему последний поклон. И в ауле Магаша, поставленном за окраиной зимника, было возведено много гостевых юрт. Привезенные из разных мест родственниками, из Акшокы, Корыка,

войлочные дома эти давали кров и пищу всем прибывшим на похороны. Человек по двадцать-тридцать принимали в каждом таком доме.

Но в связи с похоронами Магаша – совпавшими с трагичными днями Великой беды, проявилась одна особенность. Обычно на похороны и тризну знатного покойника приезжают родственники и друзья со своими юртами, скотом на забой, обслуживающими людьми. А тут – не счесть было совсем бедных людей, в изодранных шубах, рваных чапанах, в истоптанных сапогах-саптама, худых, темноликих, морщинистых, неприглядных от недавно пережитых дней голода и мучений. Таких было раз в пятнадцать больше, чем богатых родственников. И всех надо было принять, разместить, накормить. В большинстве это были бедные люди из нижней степи, жатаки и ремесленники, издавна почитавшие Абая, многим обязанные ему, любившие его, искренне соболезнующие несчастному отцу, потерявшему уже двух своих сыновей. Немало было здесь и переживших страшный джут: потерявших опору в жизни, обреченных на вечное горе людей – мужчин и женщин, скотников, пастухов, прислуги, лишившейся хозяев, потерявшей работу и свой единственный способ пропитания. Все они когда-нибудь да встречались с Абаем, слышали его стихи и песни, любили их. Эти люди с плачем и скорбными возгласами приходили пешком в траурный аул. Не обращая внимания на других родственников, которых могли и не знать, бедные люди бросались обнимать одного только Абая и рыдали вместе с ним, склонив головы.

Хотя это были похороны, с освященными в веках традициями гостеприимства, – верные своей натуре Азимбай и Шубар и некоторые иже с ними проявляли свое недовольство в связи с тем, что на жаназу и тризну собралось слишком много нищего, бродячего народа.

«Пришли, будто бы почитать молитвы, а у самих в уме – как бы побольше набить брюхо едой! Да получить кое-какое подношение! Так они прямо и сгорают от сочувствия, как же!»

Но Абай, не проливавший слез в кругу родных, плакал навзрыд вместе с этими бедняками, которые пришли пешком, чтобы искренне разделить с ним его горе и утрату. Истинно, их скорбь выглядела по-другому, их безыскусные плачи звучали честнее и трогательней, чем многоречивые соболезнования всей знати родов Иргизбай, Кунанбай. Но это заметили лишь сам Абай и его верный ученик Дармен.

Перед Абаем в эти дни пролилось много слез народных. Очевидно, что это было проявление искреннего сочувствия простых людей к его еще одной отцовской утрате. Но трагической подоплекою нескончаемых стенаний у этих сломленных бедою степняков были и их собственные беды, гибель семьи от голода, разорение, скорбный путь нищеты в дальнейшем. Несчастный народ оплакивал вместе с Абаем их общую беду. Эти люди могли посетовать, излить в плачах жалобы только перед Абаем, единственно близким для них человеком – из всех значительных людей степи. И Абаю в эти дни горя открылась великая правда, имевшая неоценимое значение для него.

Это огромное число людей, пришедших на похороны, явилось не для того, чтобы выразить соболезнование знатным родичам покойного из Иргизбая, из рода Кунанбая, которые стояли в траурном ряду родственников, опираясь на белые палки, изображая невыносимую скорбь... Нет, народ пришел ради него, Абая, и вместе с ним проливал и свои кровавые слезы потерь и невосполнимых утрат.

Но именно простые люди прекрасно знали и ценили высокие достоинства Магаша. Несмотря на то что он прожил совсем короткую жизнь в своем степном мире и не успел явить людям всех сокровищ своей души, и сделал для них не так уж много, – народ успел поверить в него и связывал с ним свои лучшие упования. Его уход был для многих еще одной утраченной надеждой, разрушенной мечтой.

Невыносимую скорбь и тоску утраты испытывал Дармен – скорбь по другу Магашу, а также тревогу по Абаю. За долгую безнадежную болезнь Магаша Дармен, казалось, давно привык

к горькой мысли, что друг вскоре уйдет, но когда это случилось, справиться с горем никак было невозможно… Вместе с Магашем для Дармена ушла навсегда из этого мира огромная часть того доброго, чистого, светлого, к чему тянулась его собственная молодая душа. И она осталась стоять в оцепенении перед зияющей бездной смертной пустоты. Великое одиночество печали почувствовал Дармен, и он стал сторониться других людей. Только с одной юной женой Макен он мог поговорить, открыть ей душу, – и то в часы бессонные, ночные.

– Жаным, что происходит в этом мире? Что это за превратный мир? Зачем он непременно сталкивает нас со смертью? Неужели это и есть единственный исход жизни? Еще вчера цвела она, а сегодня увяла, и нет ее. Исчез с глаз, улетучился целый мир, необъятный, красивый…

Жалко Магаша. Жалко Абая… О, Абай! Он сегодня находится один – между смертью и жизнью. Между мертвыми и живыми. Хорошо, что в эти дни приходят к нему простые люди, которых он всегда любил беспредельно. Их слезы сочувствия учитель воспринимает как свои собственные – слезы великой печали, неизбывного горя, неутихающей боли.

Они как бы говорят: «Пришли горевать, плакать вместе с тобой. Ничего другого у нас больше нет».

И однажды среди тех, кто подходил к нему со слезами на глазах, со словами сочувствия на устах, явился простодушный бедняк по имени Даулеткельды. Ничем особенным он не выделялся среди остальных, так же, как и другие, обнимал Абая и причитал привычными словами: «Ойбай, дорогой брат мой! Ойбай, несчастный Абай-ага! Душа болью исходит за вас! Как же оставлять вас одного в объятиях такого горя!»

И вот, в ту самую минуту, когда Даулеткельды, обняв Абая, выражал ему братское сочувствие, Абай вдруг резко выпрямился и отстранился на шаг. Ему вдруг померещилось, что причитают не по смерти Магаша, а по кончине его самого – Абая. Остановившимися глазами он смотрел на Даулеткельды и бормотал: «И то правда… Оно и верно. Да, я умру, я должен уме-

реть… Это и на самом деле – моя кончина…» Мгновенно лицо его стало совершенно неузнаваемым. В глазах высохли слезы, в них загорелся странный огонь. Абай ясно представил свою смерть, самого себя, читающего молитву на собственных похоронах. И с этого мгновенья он стал смотреть на окружающую жизнь, на людей глазами человека, давно ушедшего из бренного мира. Он считал себя – человеком умершим. Обо всем этом решил хранить перед людьми полное молчание.

Невидимая перемена произошла мгновенно. Перед ним замаячил его собственный бестелесный призрак, бормоча его назойливые мысли, бессвязные обрывки мыслей: «Скорбящие люди… стенания, плачи… люди плачут… Жизнь уходит… проходит… Люди плачут, их заставляет плакать моя жизнь, которая ушла…»

Смерть Магаша подавила Абая, он принял ее как свою собственную. Дармен с прозорливостью любящего сердца, обострившейся после смерти друга и брата, первым почувствовал опасную перемену в Абае. Его душевное состояние, распадающееся сознание не ускользнуло от внимания ученика, друга, младшего брата – Дармена. Своими тревогами он поделился с Какитаем, Баймагамбетом: Абай в большой беде.

Дух его в плену горя и скорби, окончательно сломивших хребет его воли. Порой он будто теряет память, ничего не осознает вокруг себя, затем постепенно приходит в разум. О своем самочувствии ничего никому не говорит. После семидневных поминок, с наступлением обычной для этого времени погоды, аулы двинулись в кочевку на летние джайлау в сторону Чингиза. Из Акшокы люди откочевали в среду многочисленных родичей, тобыктинцев, расположившихся в этом году в горных долинах Чингиза и в урочищах Чи. На новом месте в аул Абая потянулись, как и в первые дни траура, многочисленные соболезнующие, богомольцы и плакальщики.

Но Абай не выходил ни к кому. Он прислушивался лишь к Дармену, Айгерим, Баймагамбету, оборачивался только на их голоса. Они одевали его, подводили к дастархану, выводили

на воздух. Сейчас Абай почти перестал есть, еда его совсем не привлекала. Если выводили из юрты и вели куда-то, он покорно шел с провожатыми, словно малый ребенок. Он казался человеком, потерявшим разум. Трое близких людей – три самых близких для него существа, день и ночь находились рядом, заботились о нем – и все их помыслы, разговоры между собой были только о тревожном, пугающем состоянии его здоровья. Но Абай никаких забот о себе не замечал.

На тридцатый день траура по Магашу верный Баймагамбет наедине с Айгерим и Дарменом поделился одним своим наблюдением над Абаем. Это произошло вскоре после похорон Магаша. Тогда, после десяти дней, люди аула пошли на мазар, к могиле Магаша, прежде чем отправиться в многодневную кочевку на джайлау. Абай остался внутри ограды мазара, посадив возле себя малых сирот Магаша и детей Баймагамбета, – всех остальных, женщин и мужчин, Абай попросил удалиться. Посидев молча внутри мазара довольно значительное время, он подал знак Баймагамбету – «забирай детей и сам уходи». Баймагамбет вывел детишек за ограду, усадил их в повозку и стал ждать. Абай два часа просидел у свежей могилы сына, казалось, он вовсе и не собирался уходить. Позже, уже к вечеру, он все же вышел из мазара, и Баймагамбет не узнал его. Перед ним был слабый старик с поседевшей бородой, с серым бескровным лицом, – краше в могилу кладут. И Баймагамбет только сейчас вспомнил, как Абай произнес тогда слова, предвещавшие его собственную скорую кончину…

Впервые услышав этот жутковатый, тяжелый рассказ Баймагамбета, Дармен также поделился и своим: рассказал, как скрыл от Абая сокрушительную для него весть. Этой весною ушли из жизни самые старые, верные друзья Абая, спутники всей его жизни – Ербол и Базаралы. Оба сгорели от тифа – сначала Ербол, затем Базаралы. Когда совсем тяжко стало Ерболу, Базаралы приехал к нему и ухаживал за ним десять дней. В час кончины Ербола друг прощался с ним, положив его голову себе на колени.

При тяжких обстоятельствах всеобщей беды, джута, мора людей и гибели скота по всему краю, смерть и похороны Ербола проходили в присутствии совсем небольшого числа самых близких людей и родных. Находясь возле Ербола, Базаралы почувствовал, что тоже заболевает. Жар быстро охватывал его тело, лишая сил, но Базаралы достойно проводил друга в последний путь, с начала и до конца руководил похоронами.

Вернувшись домой, Базаралы свалился в постель. Через три дня он сгорел от страшного тифозного жара. О его болезни не успели сообщить даже в соседние аулы. Батыр умер в одиночестве.

Эти две смерти произошли в то время, когда безнадежно больной Магаш был привезен из города и лежал дома на смертном одре. Абаю тогда об этих смертях Дармен решил не сообщать, – и без того ага был еле жив от горя. И только спустя двенадцать дней после кончины Магаша два младших друга Абая-ага, два его ученика, Дармен и Какитай явились к нему и без посторонних, наедине поведали ему обо всем.

Произошло это два дня спустя после того, как Абай вышел из мазара сына совсем седым.

Тогда надломился его дух и, не в силах удержаться на высях жизни, рухнул в невнятную, темную бездну… Тогда он долго, очень долго просидел молча, затем, словно решив в последний раз высказаться перед людьми, произнес изменившимся неузнаваемым голосом:

– Я остался один-одинешенек, словно старый пень, бесполезная коряга! Один… Да, остался один, словно могила дервиша в пустыне. Эй, кто тут рядом со мной? Ведь никого, никого... – бормотал он все тише и тише, порой совсем переходя на шепот.

– Эй, мое несчастное время, что еще ты уготовило для меня? Разве есть яд, не испитый мной? Ты, злое время, посмотри на пробитое сердце мое, разве есть в нем живое место? Почему ты так жестоко со мной, в чем я не угодил тебе, где моя вина? Отнимаешь даже мое слабенькое дыхание в этой старой груди!

Неужели уже просто дышать воздухом я не достоин? – продолжал он говорить, встрепенувшись, словно подстегнутый своею больной, отравленной мыслью.

Не выдерживая больше страшных стенаний учителя, Какитай прижал кулаки к глазам и заплакал. Затем вскочил и стремительно выбежал из дома. Остался сидеть возле Абая один Дармен, с болью в глазах наблюдая за каждым движением любимого человека, которого так безжалостно казнило горе. И Абай, оставшись с ним наедине, поведал ему притчу:

– В открытой, пустынной желтой степи стояло одно-единственное дерево. Стояло месяцы, годы, века. С нетерпением ждало каждую весну, чтобы распустить свои зеленые листочки, раскрыть свои цветы. Проходят еще годы. И каждый год от него срывались и улетали созревшие после цветов семена. Неисчислимые листья увядали, падали на землю, устилали ее, а потом исчезали, истлевая. Но в один роковой день бьет грозовая молния в дерево и расщепляет его на кусочки. Не будет больше на убитом дереве листьев, цветов, плодов, семян, не будет в нем бежать живительный сок. Оно лишилось всего этого за единый миг. И обращается дерево к небу, вздымая к нему свои иссохшие ветви: за что? В чем я провинилось, какое злодейство совершило, чего ужасного натворило перед тобою? Вот, мне приходит конец, синее небо, – и к тебе я обращаюсь, больше не к кому. Ты – свидетель и моего цветения, и моей погибели. Так скажи мне… Я умру, но останутся ли после меня в веках потомки от цветов, плодов, семян моих, сорванных с ветвей твоими поднебесными ветрами? Хотя бы где-нибудь в маленькой лощинке – прорастут они, потянутся ли к тебе, небо? Дадут ли и свои плоды? А потом, через годы и пространства – может, разбегутся от них плодовые сады, тенистые рощи по всей земле? Горлинки, соловьи запоют в них, весело прыгая с ветки на ветку! И всюду под тенистыми кущами зазеленеет молодая, сочная жизнь! – Все это было сказано вдохновенным голосом, молодо, сильно, поэтично!

Но вслед за этим Абай умолк. И больше Дармен не слышал ничего подобного. Он говорил Айгерим, Какитаю: «Астапырал-ла! Боюсь, как бы не было это последним взлетом Абая-ага!» Сказав это, Какитай прижал ладони к глазам, чтобы скрыть свои слезы. И ему в эту минуту открылось, что он слышал, в сущности, последние стихи великого акына! Совершенно особенные, волшебной силы стихи.

Последнее, драгоценное, таинственное, что всплыло из глубин его великой души. Неважно, сказано прозой или стихом, – но это была сама поэзия, сама изначальная красота души и сокровенного мира Абая!

Мысль Дармена улетела дальше. «Абай себя сравнивал с этим могучим одиноким деревом, – думал молодой поэт. – Это он сам всю жизнь щедро разбрасывал в степи кочевнической свои цветы, плоды, семена! И когда же он высказывает обо всем этом? Не в ту ли минуту, когда роковая молния бьет в это дерево и убивает его? И оставляет на его месте старый иссохший пень… У дерева были три-четыре великолепных, могучих ветви: это сыновья Абиш и Магаш, это друг Ербол, это соратник в борьбе – батыр Базаралы. И вот молния судьбы – огненная молния смерти одним ударом отсекает все эти ветви!» Только теперь понял Дармен: слово о могучем дереве было словом прощания Абая со своими сыновьями, с Ерболом, с Базаралы. Это было его прощальным «Кош, кош!» – вместо горьких стенаний, рвущихся из кровоточащего сердца.

Все это понимал Дармен, как может один поэт понимать другого поэта. Абай предстал перед ним человеком, вдруг ясно осознавшим, что жизненный путь его завершен. Прозрение пришло во время последнего возвращения к нему ясного сознания. Понимая это, Дармен не смог больше сдержаться и, сидя рядом с учителем, разразился горькими слезами отчаяния…

Вскоре Абай впал в бессмысленное состояние. Потеряв двух любимых сыновей, лишившись дорогих его душе друзей, не выдержав груза печалей и горестей, Абай ушел от всего этого в свое запредельное одиночество.

Вот что, оказывается, однажды у могилы сына он сказал Баймагамбету: «Дни мои сочтены. Скоро и я уйду, я знаю». Когда сын Исхака Какитай, старший сын Абая Акылбай и другие родственники предложили: «Пригласим доктора», – Абай, услышав это, сделался мрачен и с недовольным видом покачал головой. Дал понять, что решительно отказывается. Он почти перестал спать, ночами вовсе не смыкал глаз. Ни с кем не заговаривал, никому не отвечал, лишь время от времени неожиданно произносил какие-то невразумительные слова…

Абай не отвечал и на ласковые, трепетные обращения Айгерим, которая, отчаявшись, как-то три дня подряд находилась возле него, вилась вокруг мужа, плакала, ласкалась, стараясь пробиться сквозь его страшное равнодушие. Не переставая, растерянно повторяла: «Жаным, что случилось?», «Душа моя, что с вами?» Но Абай лишь молча гладил ее по спине, проводил рукой по ее волосам, по лицу, с былой нежностью лаская жену. На третий день он осторожно поцеловал ее в глаза, полные слез, и подал знак рукой: «Теперь уходи, ничего больше не говори...»

Перед Абаем рушился, раскалывался на куски мир, тот самый мир, которому он сам принадлежал, который был известен ему весь. Этот мир рушился, уходил – кончалась и жизнь Абая.

Народ бедствует, голодает, безысходно мучается, вымирает. Люди степи вышли на последнюю кочевку – куда? Неизвестно. Громада обнищавших кочевников, которая называлась «народом», двинулась по дорогам, разбредаясь, рассыпаясь во все стороны, рассеиваясь по всему белу свету, постепенно исчезая… Скоро исчезнет и сам Абай, который перешиблен напополам, упал на землю после того, как рухнула его опора – Магаш. В знакомом мире наступил некий разлад, ломаются все основы, – и вместе с этим сломалось что-то в сущности самого Абая. С каждым днем он теряет, одно за другим, свои достойные человеческие качества. Увядает телом, хиреет духом, теряет силы, неотвратимо дряхлеет.

Теперь все это не имеет значения, – он ничего этого не замечает, уйдя в полную бессознательность. Он не знает нужды ни в пище, но во сне, ни в разговоре. Сознание угасло, он не плачет, не смеется, не желает ни радости и утешения, ни хорошего или плохого, – ничего. Дни и ночи, сомкнувшись в одно целое, превратились для него в сплошной зыбкий мираж.

Иногда в подсознании его возникало ощущение, что он барахтается в мутной воде, в холодной глубине, и делает вялые попытки всплыть. Всплывает и хочет устремиться куда-то. Но, оглядываясь вокруг, нигде не видит берега. Лишь в одном месте, в страшной дали, у самого горизонта, затянутого пеленой дымки, виднеются очертания высокого темно-серого острова. Он предстает силуэтом, сумрачный отсвет ночной мглы на нем, – но за ним, на разгорающемся небосклоне, пронизанном золотыми лучами восходящего солнца, играет, трепещет лучезарный восток. Душа Абая в великом порыве устремляется туда, к заре восходящего рассвета, – как к священной кыбла, той стороне неба, куда должно направлять молитвенные обращения. Но чем с большей силою душа его рвалась к новой призрачной действительности, всплывшей из холодной, мутной бездны, – тем быстрее разрушался для него и угасал, рассыпался в прах мир подлинный.

Это неизъяснимое состояние, предрекавшее нечто очень важное, уже не уходило из сумеречной души Абая. И находясь в таком состоянии, в окружении серого, неподвижно висевшего над водами тумана, – в серую, холодную эпоху ушла великая душа из мира сего. Абай умер на следующий день после сорокадневной тризны по Магашу. Прервалось горячее дыхание человека, остановилось могучее течение его жизни, которая, как полноводная дарья, проложила себе путь через пустынную вековую степь. Рухнула на землю могучая чинара, в высоком одиночестве стоявшая на вершине отвесного утеса, возвышаясь над каменистыми долинами. Из жизни ушел Абай.

ЭПИЛОГ

Спустя месяца полтора, уже в приближении осени, с горных джайлау потянулись, перевалив через хребет Чингиза, вереницы кочевых караванов на низовые пастбища. Луговая трава на родине Абая, у материнского стойбища, Жидебая, уже давно вызрела и стояла высокой стеной. Степная же трава по всей округе вся пожелтела. Ковыли, типчак на склонах холма Ортен, что недалеко от Жидебая, выглядели невзрачными, скудными, невеселыми, словно задумались о призрачности прошедшей жизни и наступлении скорого конца своего существования.

Все это унылое, желтое, пожухлое пространство степи как бы говорило о недуге бытия, о печали души, и тускло-мертвенная желтизна представлялась желчной рвотой в отчаянии умирающего сознания. Но на зеленых лугах вдоль Жидебая ветер раскачивал густую, высокую траву, гнал травяную волну в одну сторону, на север. Дующий с Чингиза прохладный ветер был облегчительным в эти наступившие душные дни позднего лета.

В мертвенно тихом, безлюдном, беспамятно сонном Жидебае не было заметно ни одного живого движения, не слышно никакого звука, кроме шелеста покачивающихся на ветру пожухлых придорожных трав. Здесь, в Жидебае, на руках старенькой бабушки Зере и благословенной своей матери Улжан рос беспечным мальчишкой Абай, словно беззаботный жеребенок-стригунок. Вокруг аульного поселка тянулись глиняные растрескавшиеся такыры, высились невысокие пригорки, усеянные некрупными камнями, стояли большие холмы в окружении зеленого чия у своих подножий. Там, в дни своего беззаботного детства, бегал, играл маленький Абай.

На длинном изволоке склона низкого, широкого холма поднималось высокое, о четырех углах, надмогильное сооружение – мазар Оспана. У левого угла, внутри ограды, стоял надгробный камень, уже не выглядевший новым, на нем было высечено имя Оспана. В середине лета рядом с этой могилой появилось захоронение Абая, с его надгробным камнем.

Сегодня на эти могилы свернули с дороги многолюдные кочевые караваны. Впереди, как это и повелось, ехали на смирных лошадях старейшины аула, отцы и матери, за ними их дети, внуки на стригунках, многочисленная родня. Позади пастухи гнали перед собой овец, коров, им помогала многочисленная прислуга – малаи. С самого утра на могилах побывало очень много людей.

После полудня к мазару прибыли люди из аула Абая, приехали целой вереницей арб, верхом, а многие пришли из Жидебая пешком. Этот караван растянулся на довольно приличное расстояние.

Просторный, о четырех углах, с площадкой на теневой стороне, мазар был вместительным, и туда набилось много скорбящих людей. Они стояли и снаружи – большой тесной толпой. Сначала все молча плакали. Спустя время зазвучали песенные плачи и причитания.

Раздался сильный, гортанный красивый женский голос. Услышав его, люди зашептались, заговорили друг с другом. Между тем все услышали ее возглас: «Кос коныр! Кос коныр!» – что означало обращение, призыв: о, родной, драгоценный брат!..

– Кто она?

– Кто начал плач? – раздалось вокруг.

– Зейнеп, – отвечал кто-то из знающих.

– Это Зейнеп, тетушка Зейнеп, – давали знать молодые келин, стоявшие впереди, пожилым женщинам, находившимся сзади.

«Кос коныр» плакальщицы относилось к Оспану, чьей вдовой была Зейнеп, и к Абаю, ее деверю, недавно умершему. Плачи

ее были известны в народе, их заучивали и повторяли на новых похоронах. Они трогали всех, кто слышал их, и заставляли их плакать – долго, безудержно.

И вот, спустя мгновенье после окончания ее плача, вдруг взлетел над могилами и над толпой скорбящих чудесный, полнозвучный, трепетный, высокий голос. Это запела Айгерим: любимая жена, друг Абая, которую он бережно пронес через всю свою жизнь, которою гордился безмерно, любовался… Уже давно оставившая свое певческое искусство, Айгерим сейчас вновь возродила его в себе, посвящая свое исполнение невозвратному счастью любви и горькой утрате любимого человека.

По глубине поэтического содержания и могучей скорби этот плач был совершенно иным, чем обычные, традиционные, освященные стариною плачи. Подобного раньше в степи не слышали. И слова плача были необычными, их написал акын, ученик Абая – Дармен. Напев же плача, пронзительно печальная мелодия, изошла от души Айгерим, вылетела из ее таинственной глубины. Этот плач на могиле Абая не исторгал слез у многочисленных слушателей, не повторял привычных жалобных слов стенаний… В плаче Айгерим соединились ее великий голос, ее музыка и глубокие, сильные стихи Дармена. Пением этого плача она, словно после свидания с душой родного человека, возводила ему бессмертный памятник.

Слова плача Айгерим были необычными для поминальных воплей, исстари звучавших в этом краю. Выходец из простого народа, Дармен вложил в уста любимой жены Абая слова, исходившие от сердца самого народа. Слова о том, чем Абай был дорог для людей. Как почитали и любили его простые люди. Слова его стихов и песен утешали несчастных матерей, настигнутых горем и печалью. В умах людей он сеял добрые мысли, как любящий отец, как рассудительный азамат. У него в этом мире был свой неповторимый голос, свое великое душевное пространство, свои ярчайшие мечты. Он упорно наставлял молодое племя быть непримиримыми ко всякому злу, учил тер-

пению и вере в будущий светлый день. И потому Абай – жив сегодня.

Подумайте! Разве можно сказать, что умер поэт,
Если в стихах его виден бессмертия след!

Это твои собственные слова, Абай-ага!

Волшебное золотое дерево, великий азамат, устремленный к свету, ты будешь вечно жив! И пусть через неисчислимые сонмы лет останется последний человек из твоего народа, сын его или дочь, – и в душе своей он будет хранить твое имя! Твоя жизнь сохранится в его жизни, над ним будет сиять твоя звезда. Впереди у тебя светлый путь вечности, ты всегда знал, что так будет. Твой народ никогда не скажет, что ты умер, что тебя больше нет с ним. Когда ты огласил младенческим плачем родительский очаг, – здесь, в Жидебае, вблизи Корыка и Чи, тебя нежно и ласково приняли материнские руки. И эта первая, земная мать поднесла тебя к своей груди. А сегодня другая мать – великая Вечная Мать вознесла тебя в свои божественные объятия. Прижав тебя к своему любящему сердцу, она хочет унести тебя в далекий путь, в светлое будущее, в счастливые времена! Есть души, неподвластные смерти. Их немного – ты один из них. А на просторах нашей Арки – нет другого такого, как ты!.. Это прозвучало из уст Айгерим, и слова эти сокровенные, незабвенные, были сказаны на могиле Абая перед множеством людей.

Ее скорбный голос, выражавший боль смертельно раненой души, доходил до каждого. Красота и величие песни-плача были сродни высокому сверкающему куполу храма… Летела в голубом поднебесье стройная птица-лебедь, и ее белоснежные подкрылки, освещенные лучами закатного солнца, загорелись чистым золотом. О, вы слышали ее далекий трубный голос, – чудесную лебединую песнь, слышали вы хоть раз лебединую песню, которою оглашает весь белый свет красавица-птица?

Это была последняя песня Айгерим, ее прощальная лебединая песня у могилы Абая…

Умолкли последние звуки дивной песни, умолк завораживающий волшебный голос, который некогда заставлял сладко замирать сердце Абая.

Песня Айгерим ушла навсегда в небытие у могилы его. Вместе с Абаем ушла любовь Айгерим. Никогда больше не зазвенеть серебряными переливами ее голосу.

Это понимали друзья, любившие Айгерим и ее высокое искусство. Дармен, с изменившимся лицом, весь бледный, сидел на земле, уставив неподвижные глаза на могилу Абая. Рядом находились молодые джигиты, все учившиеся в городе благодаря его усилиям, – Рахим, сын покойного Даркембая, Усен, Мурат, Шакет.

Не отводя глаз от могилы учителя, Дармен произнес перед юными джигитами слова, похожие на некую клятву.

– Сохраню! Сохраню, словно золото за пазухой, все заветы, оставленные вами, ага! Все драгоценные семена…

Затем вскинул кверху глаза и, словно обращаясь к бездонному синему небу, говорил дальше:

– Абай-ага, мой добрый отец! Твои семена не погибнут, не пропадут. Правда, в эти недобрые времена да в нашем краю им не прорасти густым лесом, не зацвести благоуханным садом. Но семена ваших плодов разлетелись по всей великой Арке – и уже проросли в самых разных местах обильными, щедрыми зелеными побегами. И будет с годами их все больше и больше. Ага, ради того, чтобы они росли и цвели, я буду стараться, трудиться всю свою жизнь, до самой смерти. Родной ага, я оправдаю ваши надежды.

Сопровождаемый песнью-плачем верной Айгерим, Абай ступил на свой вечный путь. Он шагнул в бессмертие. Траурный плач, написанный Дарменом, явился первым произведением про самого Абая. В последующих веках таких произведений будет великое множество, – и разойдутся по всему миру. Вместе

с рождением первой песни об Абае – родился и новый бессмертный Абай.

Словно осознавая это великое явление в мире, толпившиеся вокруг кочевники долго, молча стояли возле могилы Абая. Это были согбенные старики, это была молодежь степи, джигиты, женщины – люди из проходящих караванов, завернувших к могиле самого великого казаха. Этого, может быть, не осознавали еще ни Айгерим, ни Дармен, ни безусая учащаяся молодежь, самые юные друзья Абая. Но это уже знал народ – огромная толпа молчаливых кочевников, которые безмолвно сидели позади друзей Абая, когда они слушали плач Айгерим. Это был народ-отец, народ-мать, с благодарностью воспринимающий новое рождение Абая.

СОДЕРЖАНИЕ

ВО ТЬМЕ 3
НАД БЕЗДНОЙ 111
В ПЕЧАЛИ 183
ВО ВРАЖДЕ 263
В СХВАТКЕ 344
ДЖУТ 438
ЭПИЛОГ 521

Мухтар Омарханович Ауэзов

ПУТЬ АБАЯ

Роман-эпопея

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

Под общей редакцией *Б.М. Канапьянова*

Подстрочный перевод –
К. Жорабеков, М. Тнимов

Редактор – *А. Шаихова*
Консультанты – *Г. Бельгер, Б. Хабдина*
Художественное оформление – *Ж. Алимбаев*
Верстка – *И. Селиванова*

ISBN 978-601-294-111-1

9 786012 941111

Подписано в печать 20.09.2012.
Формат 60x84 $^{1}/_{16}$. Усл. п. л. 30,6.
Гарнитура «Arial».
Бумага офсетная. Печать офсетная. Тираж 2000 экз.
Заказ №7228.
Издательский дом «Жибек жолы».
050000, г. Алматы, ул. Казыбек би, 50, оф. 55,
тел. 8 (727) 261-11-09, факс 8 (727) 272-65-01.